

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

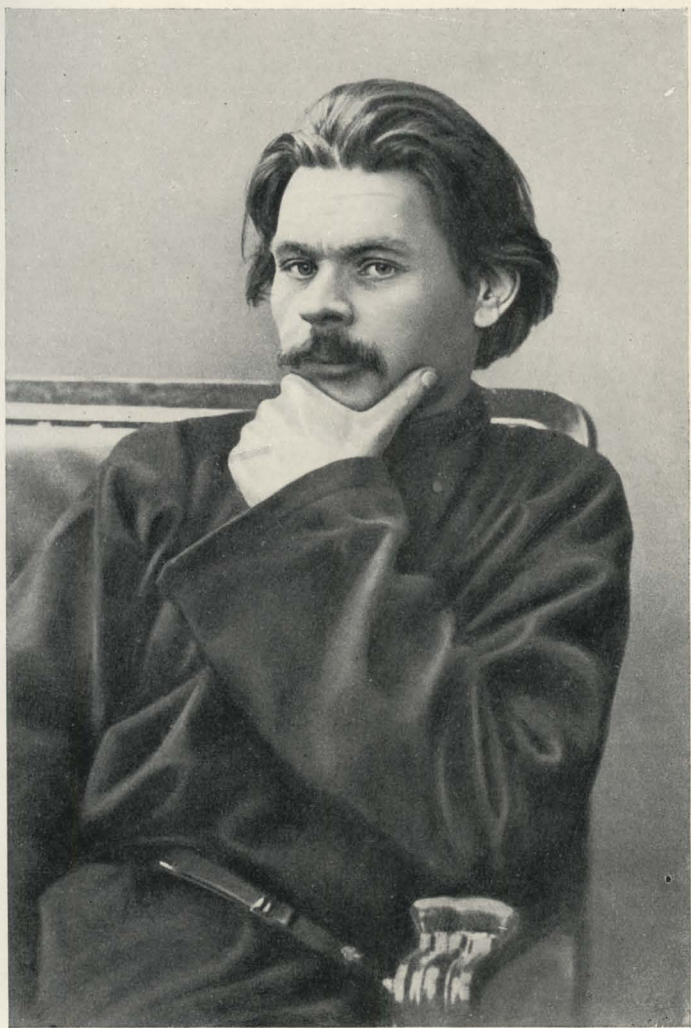
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 5

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ, СТИХИ

1900—1906



А. М. ГОРЬКИЙ
Москва, 1903 г.

TPOE

Среди лесов Керженца рассеяно много одиноких могил; в них тлеют кости старцев, людей древнего благочестия, об одном из таких старцев — Антипе — в деревнях, на Керженце, рассказывают:

Суровый характером, богатый мужик Антипа Лунев, дожив во грехе мирском до пятидесяти лет, задумался крепко, затосковал и, бросив семью, ушел в леса. Там, на краю крутого оврага, он срубил себе келью и жил в ней восемь лет кряду, зиму и лето, не допуская к себе никого: ни знакомых, ни родных своих. Порою люди, заблудясь в лесу, случайно выходили к его келье и видели Антипу: он молился, стоя на коленях у порога ее. Был он страшный: иссох в посте и молитве и весь, как зверь, оброс волосами. Завидев человека, он поднимался на ноги и молча кланялся ему до земли. Если его спрашивали, как выйти из леса, он без слов указывал рукою дорогу, еще кланялся человеку до земли и, уходя в свою келью, запирался в ней. За восемь лет его видели часто, но никто никогда не слышал его голоса. Жена и дети приходили к нему; он принимал от них пищу и одежду и, как всем людям, кланялся им земно, но, как всем людям, им тоже ни слова не сказал.

Умер он в год, когда разоряли скиты, и смерть его была такова:

Приехал в лес исправник с командой, и увидали они, что стоит Антипа среди кельи на коленях, безмолвно молится.

— Ты! — крикнул исправник. — Уходи! Ломать будем твое логовище!.. — Но Антипа не слышал его.

И сколько ни кричал исправник — ни слова не ответил ему старец. Исправник велел вытащить Антипу из кельи. Но люди, видя старца, который, не замечая их, все молился истово и неустанно, смутились пред твердостью его души и не послушали исправника. Тогда исправник приказал ломать келью, и осторожно, боясь ударить молящегося, они стали разбирать крышу.

Стучали над головой Антипы топоры, трещали доски, падая на землю, гулкое эхо ударов понеслось по лесу, заметались вокруг кельи птицы, встревоженные шумом, задрожала листва на деревьях. Старец молился, как бы не видя и не слыша ничего... Начали раскатывать венцы кельи, а хозяин ее все стоял неподвижно на коленях. И лишь когда откатали в сторону последние бревна и сам исправник, подойдя к старцу, взял его за волосы, Антипа, вскинув очи в небо, тихо сказал богу:

— Господи милосливый... Прости их!

И, упав навзничь, умер.

Когда это случилось, старшему сыну Антипы, Якову, было двадцать три года, а младшему, Терентию, — восемнадцать лет. Красавец и силач Яков, еще будучи подростком, приобрел в селе прозвище Бесшабашного, а ко времени смерти отца был первым кутилой и буяном во всей округе. На него все жаловались — мать, староста, соседи; его сажали в холодную, пороли розгами, били и просто так, без суда, но это не укрощало Якова, и все теснее становилось ему жить в деревне, среди раскольников, людей хозяйственных, как кроты, суровых ко всяким новшествам, упорно охранявших заветы древнего благочестия. Яков курил табак, пил водку, одевался в немецкое платье, на молитвы и радения не ходил, а когда степенные люди увещевали его, напоминая ему об отце, он насмешливо отзывался:

— Погодите, старички почтенные, — всему мера есть. Нагрешу вдоволь — покаюсь и я! А теперь — рано еще. Батюшкой меня не корите, — он пять десятков лет грешил, а каялся — всего восемь!.. На мне грех — как на птенце пух, а вот вырастет греха, как на вороне пера, тогда, значит, молодцу пришла каяться пора...

— Еретик! — говорили про Якова Лунева, ненавидели и боялись его. Года через два после смерти отца Яков

женился. Он под корень подорвал разгульной жизнью крепкое, тридцатилетним трудом сколоченное хозяйство отца, и уже никто в родном селе не хотел выдать ему девушку в жены. Где-то в дальней деревне он взял красавицу-сироту, а для того, чтоб сыграть свадьбу, продал отцов пчельник. Его брат Терентий, робкий, молчаливый горбун с длинными руками, не мешал ему жить; мать, хвора, лежала на печи и оттуда говорила ему зловещим, хриплым голосом:

— Окаянный!.. Пожалей свою душеньку!.. Опомнись!..

— Не беспокойтесь, маменька! — отвечал Яков. — Отец за меня перед богом заступится...

Сначала, почти целый год, Яков жил с женою мирно и тихо, даже начал работать, а потом опять закутил и, на целые месяцы исчезая из дома, возвращался к жене избитый, оборванный, голодный... Умерла мать Якова; на поминках по ней пьяный Яков изувечил старосту, давнего своего врага, и за это был посажен в арестантские роты. Отсидев срок, он снова явился в деревню, бритоголовый, угрюмый и злой. Деревня все более ненавидела его, переноса свою ненависть и на семью Якова, а особенно на безобидного горбуна Терентия, — он с малых лет служил посмешищем для девок и парней. Якова звали арестантом и разбойником, Терентия — уродом и колдуном. Терентий молчал в ответ на ругань и насмешки, Яков же открыто грозил всем:

— Ладно! Погодите!.. Я вам покажу!

Ему было около сорока лет, когда в деревне случился пожар; он был обвинен в поджоге и сослан в Сибирь.

На руках Терентия осталась жена Якова, помешавшаяся в уме во время пожара, и сын его Илья, десятилетний мальчик, крепкий, черноглазый, серьезный. Когда этот мальчик появлялся на улице, ребятишки гонялись за ним и бросали в него камнями, а большие, видя его, говорили:

— У, демоненок! Каторжное семя!.. Чтоб те сдохнуть!..

Неспособный к работе, Терентий до пожара торговал дегтем, нитками, иглами и всякой мелочью, но огонь, истребивший половину деревни, уничтожил избу Луневых и весь товар Терентия, так что после пожара у Луневых

осталась только лошадь да сорок три рубля денег — и больше ничего. Видя, что в деревне нельзя и нечем жить, Терентий сдал жену брата на попечение бо-былке за полтинник в месяц, купил старенькую телегу, посадил в нее племянника и решил ехать в губернский город, надеясь, что там ему поможет жить дальний родственник Луновых Петруха Филимонов, буфетчик в трактире.

Выехал Терентий из родного пепелища ночью, тихо, как вор. Правил он лошадью и все оглядывался назад большими, точно у теленка, черными глазами. Лошадь шла шагом, телегу потряхивало, и скоро Илья, зарывшись в сено, уснул крепким сном ребенка...

Проснулся он среди ночи от какого-то жуткого и странного звука, похожего на волчий вой. Ночь была светлая, телега стояла у опушки леса, около нее лошадь, фыркая, ципала траву, покрытую росой. Большая сосна выдвинулась далеко в поле и стояла одинокая, точно ее выгнали из леса. Зоркие глаза мальчика беспокойно искали дядю, в тишине ночи отчетливо звучали глухие и редкие удары копыт лошади по земле, тяжелыми вздохами разносилось ее фыркание, и уныло плавал непонятный дрожащий звук, пугая Илью.

— Дя-дя! — тихо позвал он.

— Ась? — торопливо отозвался Терентий, и вой вдруг замер.

— Ты где?

— Тут... Спи, знай...

Илья увидал, что дядя, черный и похожий на пень, вывороченный из земли, сидит у опушки леса на холме.

— Я боюсь, — сказал мальчик.

— Чего бояться?.. Одни мы...

— Кто-то воет...

— Приснилось тебе...

— Ей-богу, воет...

— Ну — волк это... Он — далеко... Спи...

Но Илье не спалось. Было жутко от тишины, а в ушах все дрожал этот жалобный звук. Он пристально оглядел местность и увидал, что дядя смотрит туда, где, над горой, далеко среди леса, стоит пятиглавая белая церковь,

а над нею ярко сияет большая, круглая луна. Илья узнал, что это ромодановская церковь, в двух верстах от нее, среди леса, над оврагом, стоит их деревня — Китежная.

— Недалеко мы уехали, — сказал он задумчиво.

— Что? — спросил дядя.

— Дальше бы уехать, говорю... Еще придет кто-нибудь оттуда...

Илья неприязненно кивнул головой по направлению к деревне.

— Уедем, погоди! — молвил дядя.

Снова стало тихо. Илья, облокотясь на передок телеги, тоже стал смотреть туда, куда дядя смотрел. Деревню было не видно в густой, черной тьме леса, но ему казалось, что он видит ее, со всеми избами и людьми, со старой ветлой у колодца, среди улицы. У корней ветлы лежит отец его, связанный веревкой, в изорванной рубахе; руки у него прикручены за спину, голая грудь выпятилась вперед, а голова будто приросла к стволу ветлы. Лежит он неподвижно, как убитый, и страшными глазами смотрит на мужиков. Их много, все они кричат, ругаются. От этого воспоминания мальчику сделалось скучно и у него начало щипать в горле. Он почувствовал, что заплачет сейчас, но ему не хотелось тревожить дядю, и он сдерживался, все плотнее сжимая свое маленькое тельце...

Вдруг снова в воздухе раздался тихий вой. Сначала кто-то тяжело вздохнул, всхлипнул и потом нестерпимо жалобно заныл:

— О-о-у-о-о!..

Мальчик вздрогнул от страха и замер. А звук все дрожал и рос в своей силе.

— Дядя! Это ты воешь?.. — крикнул Илья.

Терентий не ответил, не пошевелился. Тогда мальчик прыгнул с телеги, подбежал к дяде, упал ему на ноги, вцепился в них и тоже зарыдал. Сквозь рыдания он слышал голос дяди:

— Выжили нас... Го-спо-ди! Куда пойдем... а?

А мальчик, захлебываясь слезами, говорил:

— Погоди... вырасту большой... я им задам!..

Наплакавшись, он стал дремать. Дядя взял его на руки, снес в телегу, а сам опять ушел прочь и снова завыл протяжно, жалобно, как маленькая собака.

Помнил Илья, как он приехал в город. Проснулся он рано утром и увидал перед собою широкую, мутную реку, а за нею, на высокой горе, кучу домов с красными и зелеными крышами и густые сады. Дома поднимались по горе густою, красивой толпой все выше, на самом гребне горы они вытянулись в ровную линию и гордо смотрели оттуда через реку. Золотые кресты и главы церквей поднимались над крышами, уходя глубоко в небо. Только что взошло солнце; косые его лучи отражались в окнах домов, и весь город горел яркими красками, сиял золотом.

— Вот так — а-яй! — воскликнул мальчик, широко раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и замер в молчаливом восхищении. Потом в душе его родилась беспокойная мысль, — где будет жить он, маленький, вихрастый мальчик в пестрядинных штанишках, и его горбатый, неуклюжий дядя? Пустят ли их туда, в этот чистый, богатый, блестящий золотом, огромный город? Он подумал, что их телега именно потому стоит здесь, на берегу реки, что в город не пускают людей бедных. Должно быть, дядя пошел просить, чтобы пустили.

Илья с тревогой в сердце стал искать глазами дядю. Вокруг их телеги стояло еще много возов; на одних торчали деревянные стойки с молоком, на других корзины с птицей, огурцы, лук, лукошки с ягодами, мешки с картофелем. На возах и около них сидели и стояли мужики, бабы, — совсем особенные. Говорили они громко, отчетливо, а одеты не в синюю пестрядину, а в пестрые ситцы и яркочерный кумач. Почти у всех на ногах сапоги, и хотя около них расхаживал человек с саблей на боку, но они не только не боялись его, а даже не кланялись ему. Это очень понравилось Илье. Сидя на телеге, он осматривал ярко освещенную солнцем живую картину и мечтал о времени, когда тоже наденет сапоги и кумачную рубаху.

Вдали, среди мужиков, появился дядя Терентий. Он шел, крепко упираясь ногами в глубокий песок, высоко подняв голову; лицо у него было веселое, и еще издали

он улыбался Илье, протянув к нему руку, что-то показывая.

— Господь за нас, Илюха! Дядю-то сразу нашел я... На-ка вот, погрызи пока что!..

И дал Илье баранку.

Мальчик почти с благоговением взял ее, сунул за пазуху и беспокойно спросил:

— Не пускают в город-то?

— Сейчас пустят... Вот придет паром — и поедem.

— И мы?

— А как же? И мы!

— Ух! А я думал — нас не пустят... А там где мы будем жить-то?

— Это неизвестно...

— Вон бы в том большом-то, красном...

— Это казарма!.. Там солдаты живут...

— Ну, ин вон в том, — в-вон в этом!

— Ишь ты! Высоко нам до него!..

— Ничего! — уверенно сказал Илья. — Долезем!..

— Э-эх ты! — вздохнул дядя Терентий и снова куда-то ушел.

Жить им пришлось на краю города, около базарной площади, в огромном сером доме. Со всех сторон к его стенам прилипли разные пристройки, одни — поновее, другие — такие же серо-грязные, как сам он. Окна и двери в этом доме были кривые, и все в нем скрипело. Пристройки, забор, ворота — все наваливалось друг на друга, объединяясь в большую кучу полугнилого дерева. Стекла в окнах тусклы от старости, несколько бревен в фасаде выпятились вперед, от этого дом был похож на своего хозяина, который держал в нем трактир. Хозяин тоже старый и серый; глаза на его дряхлом лице были похожи на стекла в окнах; он ходил, опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было носить выпяченный живот.

Первые дни жизни в этом доме Илья всюду лазил и все осматривал в нем. Дом поразил его своей удивительной емкостью. Он был так тесно набит людьми, что казалось — людей в нем больше, чем во всей деревне Китежной. В обоих этажах помещался трактир, всегда полный народа, на чердаках жили какие-то пьяные бабы; одна из них, по прозвищу Матица, — черная, огромная, басо-

витая, — пугала мальчика сердигыми, темными глазами. В подвале жил сапожник Перфишка с больной, безногою женой и дочкой лет семи, тряпичник дедушка Еремей, нищая старуха, худая, крикливая, ее звали Полоротой, и извозчик Макар Степаныч, человек пожилой, смирный, молчаливый. В углу двора помещалась кузница; в ней с утра до вечера горел огонь, наваривали шины, ковали лошадей, стучали молотки, высокий, жилистый кузнец Савел густым, угрюмым голосом пел песни. Иногда в кузнице являлась Савелова жена, небольшая, полная женщина, русоволосая, с голубыми глазами. Она всегда накрывала голову белым платком, и было странно видеть эту белую голову в черной дыре кузницы. Она смеялась серебристым смехом, а Савел вторил ей громко, точно молотом бил. Но — чаще он в ответ на ее смех рычал.

В каждой щели дома сидел человек, и с утра до поздней ночи дом сотрясался от крика и шума, точно в нем, как в старом, ржавом котле, что-то кипело и варилось. Вечерами все люди выползали из щелей на двор и на лавочку к воротам дома; сапожник Перфишка играл на гармонике, Савел мычал песни, а Матица — если она была выпивши — пела что-то особенное, очень грустное, никому не понятными словами, пела и о чем-то горько плакала.

Где-нибудь в углу на дворе около дедушки Еремея собирались все жившие в доме ребяташки и, усевшись в кружок, просили его:

— Де-едушка! Расскажи сказочку!..

Дедушка смотрел на них болящими, красными глазами, из которых, не иссякая, текли по морщинам лица мутные слезы, и, крепко нахлобучив на голову старую, рыжую шапку, заводил нараспев дрожащим, тонким голосом:

— «А и в некотором царствии, вот и в некотором государствии уродился фармазон-еретик от неведомых родителей, за грехи сыном наказанных богом господом всевидящим...»

Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и тряслась, когда он открывал свой черный, беззубый рот, тряслась и голова, а по морщинам щек одна за другой все катились слезы.

— «А и дерзок был сей сын-еретик: во Христа-бога не веровал, не любил матери божией, мимо церкви шел — не кланялся, отца, матери не слушался...»

Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча смотрели в его лицо.

Всех внимательнее слушал русский Яшка, сын буфетчика Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по всем предметам, точно боясь остановиться на чем-либо, а остановившись, странно выкатывались, придавая лицу мальчика овечье выражение. Он выделялся из кучи ребят тонким бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой. Илья сразу подружился с ним, в первый же день знакомства Яков тайноспрошен спросил нового товарища:

— У вас в деревне колдунов много?

— Есть, — ответил Илья. — У нас шабер колдун был.

— Рыжий? — шопотом осведомился Яков.

— Седой... они все седые...

— Седые — ничего... Седые — добрые... А вот которые рыжие — ух ты! Те кровь пьют...

Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между сараем и домом; здесь было тихо, и, кроме неба над головой да стены дома с тремя окнами, из которых два были заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках липы чирикали воробьи, на земле, у корней ее, сидели мальчишки и тихо беседовали обо всем, что занимало их.

Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и шумом что-то большущее, пестрое и ослепляло, оглушало его. Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором дядя Терентий, потный и мокрый, мыл посуду, Илья смотрел, как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся, поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них, и в этом дыму они возятся, как полоумные...

— Эй-эй! — говорил ему дядя, потряхивая горбом и неустанно звеня стаканами. — Ты чего туг? Иди-ка на двор! А то хозяин увидит — заругает!..

«Вот так — а-яй!» — мысленно произносил Илья свое любимое восклицание и, ошеломленный шумом трактирной жизни, уходил на двор. А на дворе Савел стучал молотом и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась веселая песня сапожника Перфишки, сверху сыпались ругань и крики пьяных баб. Пашка, Савелов сын, скакал верхом на палке и кричал сердитым голосом:

— Тпру, дьявол!

Его круглая, задорная рожица вся испачкана грязью и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь ее бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья, заплавав, пожаловался дяде, тот только руками развел, говоря:

— Ну что сделаешь? Потерпи!..

— Я вот пойду да так его вздую! — сквозь слезы пообещал Илья.

— Не моги! — строго молвил дядя. — Никак этого нельзя!..

— А он что?

— То — он!.. Он тутошний... свой... А ты — чужой...

Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с «тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, еще больше сдружился с Яковом.

Яков вел себя степенно: он никогда ни с кем не дрался, даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой, дочерью сапожника Перфишки, чумазой тоненькой девчоночкой, — ее маленькая головка, осыпанная темными кудрями, с утра до вечера торчала на дворе. Ее мать тоже всегда сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на спине, она постоянно шила, низко согнувшись над работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь, Илья видел ее лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное, как у покойника, черные, добрые глаза на этом неприятном лице тоже неподвижны. Она никогда

ни с кем не разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь иногда — очень редко — вскрикивая хриплым, задушенным голосом:

— Маша!

Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но, когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами и скоро помрет, — он стал бояться ее.

Однажды, когда Илья проходил вблизи нее, она протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного мальчика к себе.

— Попрошу я тебя, — сказала она, — не обижай Машу!..

Ей трудно было говорить: она задыхалась отчего-то. — Не обижай, — милый!..

И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого дня Илья вместе с Яковом стал внимательно ухаживать за дочерью сапожника, стараясь оберечь ее от разных неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны взрослого человека, потому что все другие большие люди только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик Макар лягался ногами и шлепал ребятишек по лицу мокрой тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл пролетку. Савел сердился на всех, кто заглядывал в его кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками. Перфишка швырял чем попало во всякого, кто, останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет... Иногда били и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми. Только дедушка Еремей не дрался.

Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить, чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь дядя запретил уходить со двора. Там просторнее, тише, там все люди делают одно и то же всем понятное дело, — здесь каждый делает, что хочет, и все — бедные, все живут чужим хлебом, впроголодь.

Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику, тяжело вздыхая:

— Осень идет, Илюха.. Подвернёт она нам с тобой гайки-то!.. О, господи!..

Он задумался, уныло глядя в чашку со щами. Задумался и мальчик. Обедали они на том же столе, на котором горбун мыл посуду,

— Петруха говорит, чтобы тебя с Яшуткой в училище отдать. Надо, я понимаю... Без грамоты здесь — как без глаз!.. Да ведь одеть, обуть надо тебя для училища!.. О, господи! На тебя надежда!..

От вздохов дяди, от грустного его лица у Ильи защемило сердце, он тихо предложил:

— Давай уйдем отсюда!..

— Ку-уда-а? — протяжно и уныло спросил горбун.

— А — в лес?! — сказал Илья и вдруг воодушевился. — Дедушка, ты говорил, сколько годов в лесу жил — один! А нас — двое! Лыки бы драли!.. Лис, белок били бы... Ты бы ружье завел, а я — силки!.. Птицу буду ловить. Ей-богу! Ягоды там, грибы... Уйдем?..

Дядя поглядел на него ласковыми глазами и с улыбкой спросил:

— А волки? А медведи?

— С ружьем-то? — горячо воскликнул Илья. — Да я, когда большой вырасту, я зверей не побоюсь!.. Я их руками душить стану!.. Я и теперь уж никого не боюсь! Здесь — житье тугое! Я хоть и маленький, а вижу! Здесь больше дерутся, чем в деревне! Кузнец как треснет по башке, так там аж гудит весь день после того!..

— Эх ты, сирота божия! — сказал Терентий и, бросив ложку, поспешно ушел куда-то.

Вечером этого дня Илья, устав бродить по двору, сидел на полу около стола дяди и сквозь дрему слушал разговор Терентия с дедушкой Еремеем, который пришел в трактир попить чайку. Тряпичник очень подружился с горбуном и всегда усаживался пить чай рядом со столом Терентия.

— Ничего-о! — слышал Илья скрипучий голос Еремея. — Ты только одно знай — бог! Ты вроде крепостного у него... Сказано — раб! Бог твою жизнь видит. Придет светлый день твой, скажет он ангелу: «Слуга мой небесный! иди, облегчи житье Терентию, мирному рабу моему...»

— Я, дедушка, уповаю на господа, — что больше могу я? — тихо говорил Терентий.

Голосом, похожим на голос буфетчика Петрухи, когда он сердился, — дед сказал Терентию:

— На снаряженье Илюшки в училище я тебе дам!.. Поскребусь и наберу... В займы. Богат будешь — отдашь...

— Дедушка! — тихо воскликнул Терентий.

— Стой, молчи! А покамест ты его, мальчишку-то, дай-ка мне, — нечего тут ему делать!... А мне вместо процента он и послужит... Тряпку поднимет, кость подаст... Все мне, старику, спины не гнуть...

— Ах ты!.. Господь тебе!.. — вскричал горбун звенящим голосом.

— Господь — мне, я — тебе, ты — ему, а он — опять господу, так оно у нас колесом и завертится... И никто никому не должен будет... Ми-ила-й! Э-эх, брат ты мой! Жил я, жил, глядел, глядел, — ничего, окромя бога, не вижу. Всё его, всё ему, всё от него да для него!..

Илья заснул под эти речи. А на другой день рано утром дед Еремей разбудил его, весело говоря:

— Айда гулять, Илюшка! Ну-ка, живенько!

Хорошо зажил Илья под ласковой рукой тряпичника Еремея. Каждый день, рано утром, дед будил мальчика, и они, вплоть до позднего вечера, ходили по городу, собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки железа, куски кожи. Велик город, и много любопытного в нем, так что первое время Илья плохо помогал деду, а все только разглядывал людей, дома, удивлялся всему и обо всем расспрашивал старика... Еремей был словоохотлив. Низко наклонив голову и глядя в землю, он ходил со двора на двор и, постукивая палкой с железным концом, утирал слезы рукавом своих лохмотьев или концом грязного мешка и, не умолкая, певуче, однотонно рассказывал своему помощнику:

— А этот дом Пчелина купца, Саввы Петровича. Богатый человек купец Пчелин!..

— Дедушка, — спрашивал Илья, — а как богатыми делаются?

— Трудятся для этого, работают, значит... И день работают, и ночь, и всё деньги копят. Накопят — выстроят дом, заведут лошадей, посуду разную и всякое такое, эдакое. Новое все! Наймут приказчиков, дворников и разных людей, чтобы они работали, а сами отдыхают — живут. Ну, тогда говорится: разжился человек честным трудом... н-да!.. А то есть, которые от греха богатеют. Про Пчелина-купца

говорят люди, будто он душу погубил, когда молодой был. Может, это от зависти сказано, а может, и правда. Злой он, Пчелин-то, глаз у него пугливой... Все бегаёт глаз, прячется... Может, и врут про Пчелина... Бывает, что человек богатеет сразу... Удача ему... Удача на него взглянула... Один бог в правде живет, а мы все ничего не знаем!.. Люди мы! А люди — семена божии... семена, душа, люди-то! Посеял нас господь на земле — растите! А я погляжу, — какой хлеб насущный будет из вас?.. Так-то! А вот это вот — Сабанеев дом, Митрия Павлыча... Он еще Пчелина богаче. Уж он настоящий злодей, — я знаю... Не сужу — богу судить, — а знаю верно... В нашей деревне бурмистром он был и всех нас продал, всех ограбил!.. Долго ему бог терпел это, да и начал с ним считаться. Перво-наперво — оглох Митрий Павлов, потом сына у него лошади убили... А недавно вот дочь сбежала из дома...

Илья внимательно слушал его, поглядывая на огромные дома, и порой говорил:

— Хоть бы глазом одним в нутро-то взглянуть!..

— Увидишь! Знай — учись, вырастешь — все увидишь! Может, и сам разбогатеешь... Живи, знай... Охо-хо-о! Вот я жил-жил, глядел-глядел — глаза-то себе и испортил... Вот они, слезы-то, текут да текут у меня... и оттого стал я тощой да хилый... Истек, значит, слезой-то!

Приятно было Илье слушать уверенные и любовные речи старика о боге, от ласковых слов в сердце мальчика рождалось бодрое, крепкое чувство надежды на что-то хорошее, что ожидает его впереди. Он повеселел и стал больше ребенком, чем был первое время жизни в городе.

Он с увлечением помогал старику рыться в мусоре. Очень интересно раскапывать кучи разного хлама, а особенно приятно было видеть радость старика, когда в мусоре находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья нашел большую серебряную ложку, — дед купил ему за это полфунта мятных пряников. Потом он откопал маленький, покрытый зеленой плесенью кошелек, а в нем оказалось больше рубля денег. Порой попадались ножи, вилки, гайки, изломанные медные вещи, а в овраге, где сваливался мусор со всего города, Илья отрыл тяжелый медный

подсвечник. За каждую из таких ценных находок дед покупал Илье гостинцев.

Находя такую диковину, Илья радостно кричал:

— Дедушка, гляди-ка! Вот так — а-яй!

А дед, беспокожно оглядываясь, увещевал его:

— Да ты не кричи! Не кричи ты!.. ах, господи!..

Он всегда пугался, когда находили необыкновенные вещи, и, быстро выхватывая их из рук мальчика, прятал в свой огромный мешок.

— Молчи, знай, — помалкивай!.. — ласково говорил старик, а слезы всё текли и текли из его красных глаз.

Он дал Илье небольшой мешок, палку с железным концом, — мальчик гордился этим орудием. В свой мешок он собирал разные коробки, поломанные игрушки, красивые черепки, ему нравилось чувствовать все эти вещи у себя за спиной, слышать, как они постукивают там. Собрать все это научил его дед Еремей.

— А ты собирай эти штучки и тащи их домой. Принесешь, ребятишек обделишь, радость им дашь. Это хорошо — радость людям дать, любит это господь... Все люди радости хотят, а ее на свете ма-ало-мало! Так-то ли мало, что иной человек живет-живет и никогда ее не встретит, — никогда!..

Городские свалки нравились Илье больше, чем хождение по дворам. На свалках не было никого, кроме двух-трех стариков, таких же, как Еремей, здесь не нужно было оглядываться по сторонам, ожидая дворника с метлой в руках, который явится, обругает нехорошими словами да еще и ударит, выгоняя со двора.

Каждый день, порывшись в свалках часа два, Еремей говорил мальчику:

— Будет, Илюша! Отдохнем давай, поедим!

Вынимал из-за пазухи ломоть хлеба, крестясь, разламывал его, и они ели, а поев, отдыхали с полчаса, лежа на краю оврага. Овраг выходил устьем на реку, ее видно было им. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага свои волны, и, глядя на нее, Илье хотелось плыть по ней. За рекою развertyвались луга, стоги сена стояли там серыми башнями, и далеко, на краю земли, в синее небо упиралась темная зубчатая стена леса. Было в лугах тихо, ласково, и чувствовалось, что воздух там

чистый, прозрачный и сладко пахучий... А здесь душно от запаха преющего мусора; запах этот давил грудь, щипал в носу, у Ильи, как у деда, тоже слезы из глаз текли...

Лежа на спине, мальчик смотрел в небо, не видя конца высоте его. Грусть и дрема овладевали им, какие-то неясные образы зарождались в его воображении. Казалось ему, что в небе, неуловимо глазу, плавает кто-то огромный, прозрачно светлый, ласково греющий, добрый и строгий и что он, мальчик, вместе с дедом и всею землей поднимается к нему туда, в бездонную высь, в голубое сиянье, в чистоту и свет... И сердце его сладко замирало в чувстве тихой радости.

Вечером, возвращаясь домой, Илья входил на двор с важным видом человека, который хорошо поработал, желает отдохнуть и совсем не имеет времени заниматься пустяками, как все другие мальчишки и девчонки. Всем детям он внушал почтение к себе солидной осанкой и мешком за плечами, в котором всегда лежали разные интересные штуки...

Дед, улыбаясь ребятишкам, говорил им какую-нибудь шутку.

— Вот и пришли Лазари, весь город облазили, везде напроказили!.. Илья! Иди, помой рожу да приходи в трактир чай пить!..

Илья вразвалку шел к себе в подвал, а ребятишки гурьбой следовали за ним, осторожно ощупывая содержимое его мешка. Только Пашка дерзко, загораживая дорогу Илье, говорил:

— Эй, ветошник! Ну-ка, кажи, что принес...

— Погодишь! — говорил Илья сурово. — Напыюсь чаю, покажу...

В трактире его встречал дядя, ласково улыбаясь.

— Пришел, работник? Ах ты, сердяга!.. Устал?

Илье было приятно слышать, что его называют работником, а слышал это он не от дяди только. Однажды Пашка что-то созорничал; Савел поймал его, ущемил в колени Пашкину голову и, нахлестывая его веревкой, приговаривал:

— Не озоруй, шельма, не озоруй! На вот тебе, на! на! Другие ребята в твои годы сами себе хлеб добывают, а ты только жрешь да одежду дерешь!..

Пашка визжал на весь двор и дрягал ногами, а веревка все шлепалась об его спину. Илья со странным удовольствием слушал болезненные и злые крики своего врага, но слова кузнеца наполнили его сознанием своего превосходства над Пашкой, и тогда ему стало жаль мальчика.

— Дядя Савел, брось! — вдруг закричал он.

Кузнец ударил сына еще раз и, взглянув на Илью, сказал сердито:

— А ты — цыц! Заступник!.. Вот я те дам!.. — Отшвырнув сына в сторону, он ушел в кузницу. Пашка встал на ноги и, спотыкаясь, как слепой, пошел в темный угол двора. Илья отправился за ним, полный жалости к нему. В углу Пашка встал на колени, уперся лбом в забор и, держа руки на ягодицах, стал выть еще громче. Илье захотелось сказать что-нибудь ласковое избитому врагу, но он только спросил Пашку:

— Больно?

— У-уйди! — крикнул тот.

Этот крик обидел Илью, он поучительно заговорил:

— Вот — ты всех колотишь, вот и...

Но раньше, чем договорил он, Пашка бросился на него и сшиб с ног. Илья тоже освирепел, и оба они комом покатались по земле. Пашка кусался и царапался, а Илья, схватив его за волосы, колотил о землю его голову до поры, пока Пашка не закричал:

— Пусти-и!

— То-то! — сказал Илья, вставая на ноги, гордый своей победой. — Видал? Я сильнее! Значит — ты меня не задирай теперь!

Он отошел прочь, отирая рукавом рубахи в кровь расцарапанное лицо. Среди двора стоял кузнец, мрачно нахмутив брови. Илья, увидев его, вздрогнул от страха и остановился, уверенный, что сейчас кузнец изобьет его за сына. Но тот повел плечами и сказал:

— Ну, чего уставил буркалы на меня? Не видал раньше? Иди, куда идешь!..

А вечером, поймав Илью за воротами, Савел легонько щелкнул его пальцем в темя и, сумрачно улынувшись, спросил:

— Как делншики, мусорщик?

Илья радостно хихикнул, — он был счастлив. Сердитый кузнец, самый сильный мужик на дворе, которого все боялись и уважали, шутит с ним! Кузнец схватил его железными пальцами за плечо и добавил ему еще радости:

— Ого-о! — сказал он. — Да ты — крепкий мальчишка! Не скоро износишься, нет, парень!.. Ну, расти!.. Вырастешь — я тебя в кузню возьму!..

Илья охватил у колена огромную ногу кузнеца и крепко прижался к ней грудью. Должно быть, Савел ощутил трепет маленького сердца, задохавшегося от его ласки: он положил на голову Ильи тяжелую руку, помолчал немножко и густо молвил:

— Э-эх, сирота!.. Ну-ка, пусти-ка!..

Сияющий и веселый принялся Илья в этот вечер за обычное свое занятие — раздачу собранных за день диковин. Дети уселись на землю и жадными глазами глядели на грязный мешок. Илья доставал из мешка лоскутки ситца, деревянного солдатики, полинявшего от невзгод, коробку из-под ваксы, помадную банку, чайную чашку без ручки и с выбитым краем.

— Это мне, мне, мне! — раздавались завистливые крики, и маленькие, грязные ручонки тянулись со всех сторон к редкостным вещам.

— погоди! Не хватай! — командовал Илья. — Разве игра будет, коли вы всё сразу растащите? Ну, открываю лавочку! Продаю кусок ситцу... Самый лучший ситец! Цена — полтина!.. Машка, покупай!

— Купила! — отвечал Яков за сапожникову дочь и, доставая из кармана заранее приготовленный черепок, совал его в руку торговцу. Но Илья не брал.

— Ну — какая это игра? А ты торгуйся, чо-орт! Ни-когда ты не торгуешься!.. Разве так бывает?

— Я забыл! — оправдывался Яков.

Начинался упорный торг; продавец и покупатели увлекались им, а в это время Пашка ловко похищал из кучи то, что ему нравилось, убегал прочь и, приплясывая, дразнил их:

— А я украл! Разини вы! Дураки, черти!

Он такими выходками приводил всех в исступление: маленькие кричали и плакали, Яков и Илья бегали по

двору за воров и почти никогда не могли схватить его. Потом к его выходкам привыкли, уже не ждали от него ничего хорошего, единодушно не влюбились в него и не играли с ним. Пашка жил в стороне и усердно старался делать всем что-нибудь неприятное. А большеголовый Яков возился, как нянька, с курчавой дочерью сапожника. Она принимала его заботы о ней как должное, и хотя звала его Яшечка, но часто царапала и била. Дружба с Ильей крепла у него, и он постоянно рассказывал товарищу какие-то странные сны.

— Будто у меня множество денег и всё рубли — огромный мешок! И вот я тащу его по лесу. Вдруг — разбойники идут. С ножами, страшные! Я — бежать! И вдруг будто в мешке-то затрепыхалось что-то... Как я его брошу! А из него птицы разные ф-р-р!.. Чижи, синицы, щеглята — видимо-невидимо! Подхватили они меня и понесли, высоко-высоко!

Он прерывал рассказ, глаза его выкатывались, лицо принимало овечье выражение...

— Ну? — поощрял его Илья, нетерпеливо ожидая конца.

— Так я совсем и улетел!.. — задумчиво доканчивал Яков.

— Куда?

— А... совсем!

— Эх ты! — разочарованно и пренебрежительно говорил Илья. — Ничего не помнишь!..

Из трактира выходил дед Еремей и, приставив ладонь ко лбу, кричал:

— Илюшка! Ты где? Иди-ка спать, пора!..

Илья послушно шел за стариком и укладывался на свое ложе — большой куль, набитый сеном. Сладко спалось ему на этом куле, хорошо жил он с тряпичником, но быстро промелькнула эта приятная и легкая жизнь.

Дедушка Еремей купил Илье сапоги, большое, тяжелое пальто, шапку, и мальчика отдал в школу. Он пошел туда с любопытством и страхом, а воротился обиженный, унылый, со слезами на глазах: мальчики узнали в нем спутника дедушки Еремея и хором начали дразнить:

— Тряпичник! Вонючий!

Иные щипали его, другие показывали языки, а один подошел к нему, потянул воздух носом и с гримасой отскочил, громко крикнув:

— Вот так вонько пахнет!

— Что они дразнятся? — с недоумением и обидой спрашивал он дядю. — Али это зазорно, тряпки-то собирать?

— Ничего-о! — глядя мальчика по голове, говорил Терентий, скрывая свое лицо от вопрошающих и пытливых глаз племянника. — Это они так... просто озоруют... Ты потерпи!.. Привыкнешь...

— И над сапогами смеются, и над пальтом!.. Чужое, говорят, из помойной ямы вытащено!..

Дед Еремей, весело подмигивая глазом, тоже утешал его:

— Терпи, знай! Бог зачтет!.. Кроме его — никого!

Старик говорил о боге с такой радостью и верой в его справедливость, точно знал все мысли бога и проник во все его намерения. Слова Еремея на время гасили обиду в сердце мальчика, но на другой же день она вспыхивала еще сильнее. Илья уже привык считать себя величиной, работником; с ним даже кузнец Савел говорил благосклонно, а школьники смеялись над ним, дразнили его. Он не мог помириться с этим: обидные и горькие впечатления школы, с каждым днем увеличиваясь, все глубже врезывались в его сердце. Посещение школы стало тяжелой обязанностью. Он сразу обратил на себя внимание учителя своей понятливостью; учитель стал ставить его в пример другим, — это еще более обостряло отношение мальчиков к нему. Сидя на первой парте, он чувствовал у себя за спиной врагов, а они, постоянно имея его перед своими глазами, тонко и ловко подмечали в нем все, над чем можно было посмеяться, и — смеялись. Яков учился в этой же школе и тоже был на худом счету у товарищей; они прозвали его Бараном. Рассеянный, неспособный, он постоянно подвергался наказаниям, но относился к ним равнодушно. Он вообще плохо замечал то, что творилось вокруг него, живя своей особенной жизнью в школе, дома, и почти каждый день он вызывал удивление Ильи непонятными вопросами.

— Илька! Это отчего, — глаза у людей маленькие, а видят всё!.. Целый город видят. Вот — всю улицу... Как она в глаза убирается, большая такая?

Сначала Илья задумывался над этими речами, но потом они стали мешать ему, отводя мысли куда-то в сторону от событий, которые задевали его. А таких событий было много, и мальчик уже научился тонко подмечать их.

Однажды он пришел из школы домой и, оскалив зубы, сказал Еремею:

— Учитель-то?! Гы-ы!.. Тоже понятливый!.. Вчера лавошника Малафеева сын стекло разбил в окошке, так он его только пожурил легонько, а стекло-то сегодня на свои деньги вставил...

— Видишь, какой добрый человек! — с умилением сказал Еремей.

— Добрый, да-а! А как Ванька Ключарев разбил стекло, так он его без обеда оставил да потом Ванькина отца позвал и говорит: «Поддай на стекло сорок копеек!..» А отец Ваньку выпорол!..

— А ты этого не замечай себе, Илюша! — посоветовал дед, беспокойно мигая глазами. — Ты так гляди, будто не твое дело. Неправду разбирать — богу принадлежит, не нам! Мы не можем. А он всему мере знает!.. Я вот, видишь, жил-жил, глядел-глядел, — столько неправды видел — сосчитать невозможно! А правды не видал!.. Восьмой десяток мне пошел однако... И не может того быть, чтобы за такое большое время не было правды около меня на земле-то... А я не видал... не знаю ее!..

— Ну-у! — недоверчиво сказал Илья. — Тут чего знать-то? Коли с одного сорок, так и с другого сорок: вот и правда!..

Старик не согласился с этим. Он еще много говорил о слепоте людей и о том, что не могут они правильно судить друг друга, а только божий суд справедлив. Илья слушал его внимательно, но все угрюмее становилось его лицо, и глаза всё темнели...

— Когда бог судить-то будет? — вдруг спросил он деда.

— Неведомо! Ударит час, снизойдет он со облак судити живых и мертвых... а когда? Неведомо... Ты вот что, пойдем-ка со мной ко всенощной!

В субботу Илья стоял со стариком на церковной паперти, рядом с нищими, между двух дверей. Когда отворялась наружная дверь, Илью обдавало морозным воздухом с улицы, у него зябли ноги, и он тихонько топал ими по каменному полу. Сквозь стекла двери он видел, как огни свечей, сливаясь в красивые узоры трепетно живых точек золотом, освещали металл риз, черные головы людей, лики икон, красивую резьбу иконостаса.

Люди в церкви казались более добрыми и смиренными, чем они были на улице. Они были и красивее в золотом блеске, освещавшем их темные, молчаливо и смиренно стоящие фигуры. Когда дверь из церкви растворялась, на паперть вылетала душистая, теплая волна пения; она ласково обливала мальчика, и он с наслаждением вдыхал ее. Ему было хорошо стоять около дедушки Еремея, шептавшего молитвы. Он слушал, как по храму носились красивые звуки, и с нетерпением ожидал, когда отворится дверь, они хлынут на него и опажнут лицо его душистым теплом. Он знал, что на клиросе поет Гришка Бубнов, один из самых злых насмешников в школе, и Федька Долганов, силач и драчун. Но теперь он не чувствовал ни обиды на них, ни злобы к ним, а только немножко завидовал. Ему самому хотелось бы петь на клиросе и смотреть оттуда на людей. Должно быть, это очень хорошо — петь, стоя у золотых царских врат выше всех. Он ушел из церкви, чувствуя себя добрым и готовый помириться с Бубновым, Долгановым, со всеми учениками. Но в понедельник он пришел из школы такой же, каким и прежде приходил, — угрюмый и обиженный.

Во всякой толпе есть человек, которому тяжело в ней, и не всегда для этого нужно быть лучше или хуже ее. Можно возбудить в ней злое внимание к себе и не обладая выдающимся умом или смешным носом: толпа выбирает человека для забавы, руководствуясь только желанием забавляться. В данном случае выбор пал на Илью Лунева. Наверное, это кончилось бы плохо для Ильи, но как раз в этот момент его жизни произошли события, которые сделали школу окончательно не

интересной для него, в то же время приподняли его над нею.

Началось с того, что однажды, подходя к дому вместе с Яковом, Илья увидал какую-то суету у ворот.

— Гляди! — сказал он товарищу, — опять, видно, дерутся?.. Бежим!

Они стремглав бросились вперед и, прибежав, увидали, что по двору испуганно мечутся чужие люди, кричат:

— Полицию зовите! Связать его надо!

Около кузницы люди собрались большой, плотной кучей. Ребяташки пролезли в центр толпы и попятились назад. У ног их, на снегу, лежала вниз лицом женщина; затылок у нее был в крови и каком-то тесте, снег вокруг головы был густо красен. Около нее валялся смятый белый платок и большие кузнечные клещи. В дверях кузни, скорчившись, сидел Савел и смотрел на руки женщины. Они были вытянуты вперед, кисти их глубоко вцепились в снег. Брови кузнеца сурово нахмурены, лицо осунулось; видно, что он сжал зубы: скулы торчали двумя большими шишками. Правой рукой он упирался в косяк двери; черные пальцы его шевелились, и, кроме пальцев, все в нем было неподвижно.

Люди смотрели на него молча; лица у всех были строгие, и, хотя на дворе было шумно и суетно, здесь, около кузницы, — тихо. Вот из толпы вылез дедушка Еремей, растрепанный, потный; он дрожащей рукой протянул кузнецу ковш воды:

— На-ка, испей-ка...

— Не воды ему, разбойнику, а петлю на шею, — сказал кто-то вполголоса.

Савел взял ковш левой рукою и пил долго, долго. А когда выпил всю воду, то посмотрел в пустой ковш и заговорил глухим своим голосом:

— Я ее упреждал, — перестань, стерво! Говорил — убьё! Прощал ей... сколько разов прощал... Не вникла... Ну и вот!.. Пашка-то... сирота теперь... Дедушка... Погляди за ним... Тебя вот бог любит...

— И-эх ты-ы! — печально сказал дед и потрогал кузнеца за плечо дрожащей рукой, а из толпы снова сказали:

— Злодей!.. про бога говорит тоже!..

Тогда кузнец вскинул брови и зверем заревел:

— Чего надо? Прочь все!

Крик его, как плетью, ударил толпу. Она глухо заворчала и отхлынула прочь. Кузнец поднялся на ноги, шагнул к мертвой жене, но круго повернулся назад и — огромный, прямой — ушел в кузню. Все видели, что, войдя туда, он сел на наковальню, схватил руками голову, точно она вдруг нестерпимо заболела у него, и начал качаться вперед и назад. Илье стало жалко кузнеца; он ушел прочь от кузницы и, как во сне, стал ходить по двору от одной кучки людей к другой, слушая говор, но ничего не понимая.

Явилась полиция и начала гонять людей по двору, а потом кузнеца забрали и повели.

— Прощай, дедушка! — крикнул Савел, выходя из ворот.

— Прощай, Савел Иваныч, прощай, милый! — торопливо и тонко крикнул Еремей, порываясь за ним.

Кроме его — никто не простился с кузнецом...

Стоя на дворе маленькими кучками, люди разговаривали, сумрачно поглядывая на тело убитой, кто-то прикрыв голову ее мешком из-под углей. В дверях кузни, на место, где сидел Савелий, сел городской с трубкой в зубах. Он курил, сплевывал слюну и, мутными глазами глядя на деда Еремея, слушал его речь.

— Разве он убил? — таинственно и тихо говорил старик. — Черная сила это, она это! Человек человека не может убить... Не он убивает, люди добрые!

Еремей прикладывал руки к своей груди, отмахивал ими что-то от себя и кашлял, объясняя людям тайну события.

— Однако клещами-то ее не чорт двинул, а кузнец, — сказал полицейский и сплюнул.

— А кто ему внушил? — вскричал дед. — Ты разгляди, кто внушил?

— Погоди! — сказал полицейский. — Он кто тебе, кузнец этот? Сын?

— Нет, где там!..

— Погоди! Родня он тебе?

— Не-ет. Нет у меня родни...

— Так чего же ты беспокоишься?

— Я-то? Господи...

— Я тебе вот что скажу, — строго молвил полицейский, — все это ты от старости лопочешь... Пошел прочь!

Полицейский выпустил из угла губ густую струю дыма и отвернулся от старика. Но Еремей взмахнул руками и вновь заговорил быстро, визгливо.

Илья, бледный, с расширенными глазами, отошел от кузницы и остановился у группы людей, в которой стояли извозчик Макар, Перфишка, Матица и другие женщины с чердака.

— Она, милые, еще до свадьбы погуливала! — говорила одна из женщин. — Может, Пашка-то не кузнеца сын, а — учителя, что у лавошника Малафеева жил...

— Это застрелился который? — спросил Перфишка.

— Вот! Она с ним и начала...

Безногая жена Перфишки тоже вылезла на двор и, закутавшись в какие-то лохмотья, сидела на своем месте у входа в подвал. Руки ее неподвижно лежали на коленях; она, подняв голову, смотрела черными глазами на небо. Губы ее были плотно сжаты, уголки их опустились. Илья тоже стал смотреть то в глаза женщины, то в глубину неба, и ему подумалось, что, может быть, Перфишкина жена видит бога и молча просит его о чем-то.

Вскоре все ребятишки тоже собрались в тесную кучку у входа в подвал. Зябко кугаясь в свои одежки, они сидели на ступенях лестницы и, подавленные жутким любопытством, слушали рассказ Савелова сына. Лицо у Пашки осунулось, а его лукавые глаза глядели на всех беспокойно и растерянно. Но он чувствовал себя героем: никогда еще люди не обращали на него столько внимания, как сегодня. Рассказывая в десятый раз одно и то же, он говорил как бы нехотя, равнодушно:

— Как ушла она третьего дня, так еще тогда отец зубами заскрипел и с той поры так и был злющий, рычит. Меня то и дело за волосы дерет... Я уж вижу — ого! И вот она пришла. А квартира-то заперта была — мы в кузне были. Я стоял у мехов. Вот вижу, она подошла, встала в двери и говорит: «Дай-ка ключ!» А отец-то взял клещи и пошел на нее... Идет это он тихо так, будто крадется... Я даже глаза зажмурил — страшно! Хотел ей крикнуть: «Беги, мамка!» Не крикнул... Открыл глаза, а он все идет еще! Глазищи горят! Тут она пятится

начала... А потом обернулась задом к нему, бежать хотела...

Лицо у Пашки дрогнуло, все его худое, угловатое тело задергалось. Глубоким вздохом он глотнул много воздуха и выдохнул его протяжно, сказав:

— Тут он ее клещами ка-ак брякнет!

Неподвижно сидевшие дети зашевелились.

— Она взмахнула руками и упала... как в воду мырнула...

Он взял в руки какую-то щепочку, внимательно осмотрел ее и бросил ее через головы детей. Они все сидели неподвижно, как будто ожидая от него чего-то еще. Но он молчал, низко наклонив голову.

— Совсем убил? — спросила Маша тонким, дрожащим голосом.

— Дура! — не подняв головы, сказал Пашка.

Яков обнял девочку и подвинул ее ближе к себе, а Илья подвинулся к Пашке, тихо спросив его:

— Тебе ее жалко?

— А что тебе за дело? — сердито отозвался Пашка.

Все сразу и молча взглянули на него.

— Вот она все гуляла, — раздался звонкий голос Маши, но Яков торопливо и беспокойно перебил ее речь:

— Загуляешь! Вон он какой был, кузнец-то!.. Черный всегда, страшный, урчит!.. А она веселая была, как Перфишка...

Пашка взглянул на него и заговорил угрюмо, солидно, как большой:

— Я ей говорил: «Смотри, мамка! Он тебя убьет!..» Не слушала... Только просит, чтоб я ему не сказывал ничего... Гостинцы за это покупала. А фетьфебель всё пятаки мне дарил. Я ему принесу записку, а он мне сейчас пятак даст... Он — добрый!.. Силач такой... Усищи у него...

— А сабля есть? — спросила Маша.

— Еще какая! — ответил Пашка и с гордостью прибавил: — Я ее раз вынимал из ножен, — чижолая, дьявол! Яков задумчиво сказал:

— Вот и ты теперь сирота... как Илюшка...

— Как бы не так, — недовольно отозвался сирота. — Ты думаешь, я тоже в тряпичники пойду? Наплевал я!

— Я не про то...

— Я теперь что хочу, то и делаю!.. — подняв голову и сердито сверкая глазами, говорил Пашка гордым голосом. — Я не сирота... а просто... один буду жить. Вот отец-то не хотел меня в училище отдать, а теперь его в острог посадят... А я пойду в училище да и выучусь... еще получше вашего!

— А где одежду возьмешь? — спросил его Илья, усмехаясь с торжеством. — В училище драного-то не больно примут!..

— Одежу? А я — кузницу продам!

Все взглянули на Пашку с уважением, а Илья почувствовал себя побежденным. Пашка заметил впечатление и понесся еще выше.

— Я еще лошадь себе куплю... живую, всамделишную лошадь! Буду ездить в училище верхом!..

Ему так понравилась эта мысль, что он даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то пугливая, — мелькнув, тотчас же исчезла.

— Бить тебя уж никто теперь не будет, — вдруг сказала Маша Пашке, глядя на него с завистью.

— Найдутся охотники! — уверенно возразил Илья.

Пашка взглянул на него и, ухарски сплюнув в сторону, спросил:

— Ты, что ли? Сунься-ка!

Снова вмешался Яков.

— А как чудно, братцы!.. был человек и ходил, говорил и всё... как все, — живой был, а ударили клещами по голове — его и нет!..

Ребятишки, все трое, внимательно посмотрели на Якова, а у него глаза полезли на лоб и остановились, смешно выпученные.

— Да-а! — сказал Илья. — Я тоже думаю про это...

— Говорят — умер, — тихо и таинственно продолжал Яков, — а что такое умер?

— Душа улетела, — сумрачно пояснил Пашка.

— На небо, — добавила Маша и, прижавшись к Якову, взглянула на небо. Там уже загорались звезды; одна из них — большая, яркая и немерцающая — была ближе всех к земле и смотрела на нее холодным, неподвижным оком. За Машей подняли головы кверху и трое

мальчиков. Пашка взглянул и тотчас же убежал куда-то. Илья смотрел долго, пристально, со страхом в глазах, а большие глаза Якова блуждали в синеве небес, точно он искал там чего-то.

— Яшка! — окликнул его товарищ, опуская голову.

— А?

— Я вот все думаю... — голос Ильи оборвался.

— Про что? — тихонько спросил Яков.

— Как они... Убили человека... суется, бегают... говорят разное... А никто не заплакал... никто не пожалел...

— Еремей плакал...

— Он всегда уж... А Пашка-то какой? Ровно сказку рассказывал...

— Форсит... Ему — жаль, только он стыдится. А вот теперь побежал и, чай, так-то ли ревет, — держись!

Они посидели несколько минут молча, плотно прижавшись друг к другу.

Маша уснула на коленях Якова, лицо ее так и осталось обращенным к небу.

— А страшно тебе? — шопотом спросил Яков.

— Страшно, — так же ответил Илья.

— Теперь душа ее ходить будет тут...

— Да-а... Машка-то спит...

— Надо стащить ее домой... А и шевелиться-то боязно...

— Идем вместе.

Яков положил голову спящей девочки на плечо себе, охватил руками ее тонкое тельце и с усилием поднялся на ноги, шопотом говоря:

— Погоди, Илья, я вперед пойду...

Он пошел, покачиваясь под тяжестью ноши, а Илья шел сзади, почти упираясь носом в затылок товарища. И ему чудилось, что кто-то невидимый идет за ним, дышит холодом в его шею и вот-вот схватит его. Он толкнул товарища в спину и чуть слышно шепнул ему:

— Иди скорее!..

Вслед за этим событием начал прихварывать дедушка Еремей. Он все реже выходил собирать тряпки, оставался дома и скучно бродил по двору или лежал в своей темной

конуре. Приближалась весна, и в те дни, когда на небе ласково сияло теплое солнце, — старик сидел где-нибудь на припеке, озабоченно высчитывая что-то на пальцах и беззвучно шевеля губами. Сказки детям он стал рассказывать реже и хуже. Заговорит и вдруг закашляется. В груди у него что-то хрипело, точно просилось на волю.

— Будет тебе! — увещевала его Маша, любившая сказки больше всех.

— По...г-годи!.. — задыхаясь, говорил старик. — Сейчас... отступит...

Но кашель не отступал, а все сильнее тряс иссохшее тело старика. Иногда ребятишки так и расходились, не дождавись конца сказки, и, когда они уходили, дед смотрел на них особенно жалобно.

Илья заметил, что болезнь деда очень беспокоит буфетчика Петруху и дядю Терентия. Петруха по несколько раз в день появлялся на черном крыльце трактира и, отыскав веселыми серыми глазами старика, спрашивал его:

— Как делишки, дедка? Полегче, что ли?

Коренастый, в розовой ситцевой рубаше, он ходил, засунув руки в карманы широких суконных штанов, заправленных в блестящие сапоги с мелким набором. В карманах у него всегда побрякивали деньги. Его круглая голова уже начинала лысеть со лба, но на ней еще много было кудрявых русых волос, и он молодецки встряхивал ими. Илья не любил его и раньше, но теперь это чувство возросло у мальчика. Он знал, что Петруха не любит деда Еремея, и слышал, как буфетчик однажды учил дядю Терентия:

— Ты, Тереха, надзирай за ним! Он — скаред!.. У него в подушке-то, поди, накоплено немало. Не зевай! Ему, старому кроту, веку немного осталось; ты с ним в дружбе, а у него — ни души родной!.. Сообрази, красавец!..

Вечера дедушка Еремей попрежнему проводил в трактире около Терентия, разговаривая с горбуном о божьих и делах человеческих. Горбун, живя в городе, стал еще уродливее. Он как-то отсырел в своей работе; глаза у него стали тусклые, пугливые, тело точно растаяло в трактирной жаре. Грязная рубашка постоянно взползала на горб, обнажая поясницу. Разговаривая с кем-нибудь, Терентий

все время держал руки за спиной и оправлял рубашку быстрым движением рук, — казалось, он прячет что-то в свой горб.

Когда дед Еремей сидел на дворе, Терентий выходил на крыльцо и смотрел на него, прищуривая глаза и прислоняя ладонь ко лбу. Желтая борода на его остром лице вздрагивала, он спрашивал виноватым голосом:

— Дедушка Ерема! Не надо ли чего?

— Спасибо!.. Не надо... ничего не надо... — отвечал старик.

Горбун медленно повертывался на тонких ногах и уходил.

— Не оправиться мне, — все чаще говорил Еремей. — Видно, — время помирить!

И однажды, ложась спать в норе своей, он, после приступа кашля, забормотал:

— Рано, господи! Дела я моего не сделал!.. Деньги-то... сколько годов копил... На церковь. В деревне своей. Нужны людям божьи храмы, убежище нам... Мало накопил я... Господи! Ворон летает, чует кус!.. Илюша, знай: деньги у меня... Не говори никому! Знай!..

Илья, выслушав бред старика, почувствовал себя носителем важной тайны и понял, кто ворон.

Через несколько дней, придя из школы и раздеваясь в своем углу, Илья услышал, что Еремей всхлипывает и хрипит, точно его душат:

— Кш... кшш... про-очь!..

Мальчик боязливо толкнулся в дверь к деду, — она была заперта.

За нею раздавался торопливый шопот:

— Кшш!.. Господи... помилуй... помилуй...

Илья прислонил лицо к щели в переборке, замер, присмотрелся и увидал, что старик лежит на своей постели вверх грудью, размахивая руками.

— Дедушка! — тоскливо окрикнул мальчик.

Старик вздрогнул, приподнял голову и громко забормотал:

— Петруха, — гляди, — бо-ог! Это ему! Это — на храм... Кш... Ворон ты... Господи... тво-ое!.. Сохрани... помилуй... помилуй...

Илья дрожал от страха, но не мог уйти, глядя, как бессильно мотавшаяся в воздухе черная, сухая рука Еремея грозит крючковатым пальцем.

— Гляди — богово!.. Не моги!..

Потом дед весь подобрался и — вдруг сел на своем ложе. Белая борода его трепетала, как крыло летящего голубя. Он прогянул руки вперед и, сильно толкнув ими кого-то, свалился на пол.

Илья, взвизгнув, бросился вон. В ушах у него шипело, преследуя его:

«Кш... кш...»

Мальчик вбежал в трактир и, задыхаясь, крикнул:

— Помер...

Терентий охнул, затопал ногами на одном месте и стал судорожноправлять рубаху, глядя на Петруху, стоявшего за буфетом.

— Ну что ж? — перекрестясь, строго сказал буфетчик. — Царство небесное! Хороший был старичок, между прочим... Пойду... погляжу... Илья, ты побудь здесь, — понадобится что, прибеги за мной, — слышишь? Яков, постой за буфетом...

Петруха пошел, не торопясь, громко стучая каблуками... Мальчики слышали, как за дверями он сказал горбуну:

— Иди, иди, — дурья голова!..

Илья был сильно испуган, но испуг не мешал ему мечать все, что творилось вокруг.

— Ты видел, как он помирал? — спросил Яков из-за стойки.

Илья посмотрел на него и ответил вопросом:

— А зачем они пошли туда?..

— Смотреть!.. Ты же их позвал!..

Илья крепко закрыл глаза, говоря:

— Как он его толкал!..

— Кого? — любопытно вытянув голову, спросил Яков.

— Чорта! — ответил Илья не сразу.

— Ты видел чорта? — подбегая к нему, тихо крикнул Яков. Но товарищ его снова закрыл глаза, не отвечая.

— Испугался? — дергая его за рукав, спрашивал Яков.

— Погоди! — вдруг сказал Илья. — Я... выбегу на минутку... Ты отцу не говори, — ладно?

Подгоняемый своей догадкой, он через несколько секунд был в подвале, бесшумно, как мышонок, подкрался к щели в двери и вновь прильнул к ней. Дед был еще жив, — хрипел... тело его валялось на полу у ног двух черных фигур.

Во мгле они обе сливались в одну — большую, уродливую. Илья разглядел, что дядя, стоя на коленях у ложа старика, торопливо зашивает подушку. Был ясно слышен шорох нитки, продергиваемой сквозь материю. Петруха, стоя сзади Терентия, наклонясь над ним, шептал:

— Скорее... Говорил я тебе — держи наготове иглу с ниткой... Так — нет, вздевать пришлось... Эх ты!

Шопот Петрухи, вздохи умирающего, шорох нитки и жалобный звук воды, стекавшей в яму пред окном, — все эти звуки сливались в глухой шум, от него сознание мальчика помутилось. Он тихо откатнулся от стены и пошел вон из подвала. Большое черное пятно вертелось колесом перед его глазами и шипело. Идя по лестнице, он крепко цеплялся руками за перила, с трудом поднимал ноги, а дойдя до двери, встал и тихо заплакал. Пред ним вертелся Яков, что-то говорил ему. Потом его толкнули в спину и раздался голос Перфишки:

— Кто — кого? Чем — почему? Помер? Ах, — ч-чорт!.. — И, вновь толкнув Илью, сапожник побежал по лестнице так, что она затрещала под ударами его ног. Но внизу он громко и жалобно вскричал:

— Э-эхма-а!

Илья слышал, что по лестнице идут дядя, Петруха, ему не хотелось плакать при них, но он не мог сдержать своих слез.

— Ах ты!.. — восклицал Перфишка. — Так вы были уж там?

Терентий прошел мимо племянника, не взглянув на него, а Петруха, положив руку на плечо Ильи, сказал:

— Плачешь? Это хорошо... Значит, ты паренек благодарный и содеянное тебе добро можешь понимать. Старик был тебе ба-альшим благодетелем!..

И, легонько оттолкнув Илью в сторону, добавил:

— Но, между прочим, в дверях не стой...

Илья вытер лицо рукавом рубахи и посмотрел на всех. Петруха уже стоял за буфетом, встряхивая куд-

рями. Пред ним стоял Перфишка и лукаво ухмылялся. Но лицо у него, несмотря на улыбку, было такое, как будто он только что проиграл в орлянку последний свой пятак.

— Ну-с, чего тебе, Перфил? — поводя бровями, строго спросил Петруха.

— Могарыча не будет? — сказал Перфишка.

— По какому такому случаю? — медленно и строго спросил буфетчик.

— Эхма! — вскричал сапожник, притопнув ногой по полу. — И рот широк, да не мне пирог! Так тому и быть! Одно слово — желаю здравствовать вам, Петр Якимыч!

— Чю ты мелешь? — миролюбиво спросил Петруха.

— Так я, — от простоты сердца!

— Стало быть, поднести тебе стаканчик, — к этому ты клонил? Хе-хе!

— Ха, ха, ха! — раскатился по трактиру звонкий смех сапожника.

Илья качнул головой, словно вытряхивая из нее что-то, и ушел.

Он лег спать не у себя в каморке, а в трактире, под столом, на котором Терентий мыл посуду. Горбун уложил племянника, а сам начал вытирать столы. На стойке горела лампа, освещая бока пузатых чайников и бутылки в шкафу. В трактире было темно, в окна стучал мелкий дождь, толкался ветер... Терентий, похожий на огромного ежа, двигал столами и вздыхал. Когда он подходил близко к лампе, от него на пол ложилась густая тень, — Илье казалось, что это ползет душа дедушки Еремея и шипит на дядю:

«Кш... кшш!..»

Мальчику было холодно и страшно. Душила сырость, — была суббота, пол только что вымыли, от него пахло гнилью. Ему хотелось попросить, чтобы дядя скорее лег под стол, рядом с ним, но тяжелое, нехорошее чувство мешало ему говорить с дядей. Воображение рисовало сутулую фигуру деда Еремея с его белой бородой, в памяти звучал ласковый скрипучий голос:

«Господь меру знает... Ничего-о!..»

— Ложился бы ты! — не вытерпев, сказал Илья жалобным голосом.

Горбун вздрогнул и замер. Потом тихо, робко ответил:

— Сейчас! Сейчас!.. — и завертелся около столов быстро, как кубарь. Илья, поняв, что дяде тоже страшно, подумал:

«Так тебе и надо!..»

Дробно стучал дождь. Огонь в лампе вздрагивал, а чайники и бутылки молча ухмылялись. Илья закрылся с головой дядиным полушубком и лежал, затаив дыхание. Но вот около него что-то завозилось. Он весь похолодел, высунул голову и увидел, что Терентий стоит на коленях, наклонив голову, так что подбородок его упирался в грудь, и шепчет:

— Господи, батюшка!.. Господи!

Шопот был похож на хрип деда Еремея. Тьма в комнате как бы двигалась, и пол качался вместе с ней, а в трубах выл ветер.

— Не молись! — звонко крикнул Илья.

— Ой, что ты это? — вполголоса сказал горбун. — Спи, Христа ради!

— Не молись! — настойчиво повторил мальчик.

— Н-ну — не буду!..

Темнота и сырость все тяжелее давили Илью, ему трудно было дышать, а внутри kloкотал страх, жалость к деду, злое чувство к дяде. Он завозился на полу, сел и застонал.

— Что ты? Что!.. — испуганно шептал дядя, хватая его руками. Илья отталкивал его и со слезами в голосе, с тоской и ужасом говорил:

— Господи! Хоть бы спрятаться куда-нибудь... Господи!

Слезы перехватили ему голос. Он с усилием глотнул гнилого воздуха и зарыдал, ткнув лицо в подушку.

Сильно изменился характер мальчика после этих событий. Раньше он держался в стороне только от учеников школы, не находя в себе желания уступать им, сближаться с ними. Но дома он был общителен со всеми, внимание взрослых доставляло ему удовольствие. Теперь он начал держаться одиноко и не по летам серьезно.

Выражение его лица стало сухим, губы плотно сжались, он зорко присматривался ко взрослым и с подстрекающим блеском в глазах вслушивался в их речи. Его тяготило воспоминание о том, что он видел в день смерти деда Еремея, ему казалось, что и он вместе с Петрухой и дядей тоже виноват пред стариком. Может быть, дед, умирая и видя, как его грабят, подумал, что это он, Илья, сказал Петрухе про деньги. Эта мысль родилась в Илье незаметно для него и наполнила душу мальчика скорбной тяжестью и все более возбуждала подозрительное чувство к людям. Когда он замечал за ними что-нибудь нехорошее, ему становилось легче от этого, — как будто вина его пред дедом уменьшалась.

А нехорошего он видел много. Все во дворе называли буфетчика Петруху приемщиком краденого, мошенником, но все ласкались к нему, уважительно раскланивались и называли Петром Якимычем. Бабу Матицу звали бранным словом; когда она напивалась пьяная, ее толкали, били; однажды она, выпивши, села под окно кухни, а повар облил ее помоями... И все постоянно пользовались ее услугами, никогда ничем не вознаграждая ее, кроме ругани и побоев, — Перфишка приглашал ее мыть свою больную жену, Петруха заставлял бесплатно убирать трактир перед праздниками, Терентию она шила рубахи. Она ко всем шла, все делала безропотно и хорошо, любила ухаживать за больными, любила водиться с детьми...

Илья видел, что самый работающий человек во дворе — сапожник Перфишка — живет у всех на смеху, замечают его лишь тогда, когда он, пьяный, с гармоникой в руках, сидит в трактире или шляется по двору, наигрывая и распевая веселые, смешные песенки. Но никто не хотел видеть, как осторожно этот Перфишка вытаскивал на крыльцо свою безногую жену, как укладывал спать дочь, осыпая ее поцелуями и строя, для ее потехи, смешные рожи. И никто не смотрел на сапожника, когда он, смеясь и шутя, учил Машу варить обед, убирать комнату, а потом садился работать и шил до поздней ночи, согнувшись в три погибели над худым, грязным сапогом.

Когда кузнеца увели в острог, никто не позаботился о его сыне, кроме сапожника. Он тотчас же взял Пашку

к себе, Пашка сучил дратву, мел комнату, бегал за водой и в лавочку — за хлебом, квасом, луком. Все видели сапожника пьяным в праздники, но никто не слышал, как на другой день, трезвый, он разговаривал с женой:

— Ты меня, Дуня, прости! Ведь я пью не потому, что потерянный пьяница, а — с устатку. Целую неделю работаешь, — скушно! Ну, и —хватишь!..

— Да разве я виню? О, господи! Жалею я тебя!.. — хриплым голосом говорила жена, и в горле у нее что-то переливалось. — Разве, думаешь, я твоих трудов не вижу? Камнем господь положил меня на шею тебе. Умереть бы!.. Освободить бы мне тебя!..

— Не могли так говорить! Я не люблю этих твоих речей. Я тебя обижаю, не ты меня!.. Но я это не потому, что злой, а потому, что —ослаб. Вот, однажды, переедем на другую улицу, и начнется все другое... окна, двери... всё! Окна на улицу будут. Вырежем из бумаги сапог и на стекла наклеим. Вывеска! И повалит к нам нар-род! За-акипит дело!.. Э-эх ты! Дуй, бей, — давай углей! Шибко живем, деньги куем!

Илья знал до мелочей жизнь Перфишки, видел, что он бьется, как рыба об лед, и уважал его за то, что он всегда со всеми шутил, всегда смеялся и великолепно играл на гармонии.

А Петруха сидел за буфетом, играл в шашки да с утра до вечера пил чай и ругал половых. Вскоре после смерти Еремея он стал приучать Терентия к торговле за буфетом, а сам все только расхаживал по двору да посвистывал, разглядывая дом со всех сторон и стучая в стены кулаками.

Много замечал Илья, но все было нехорошее, скучное и толкало его в сторону от людей. Иногда впечатления, скопляясь в нем, вызвали настойчивое желание поговорить с кем-нибудь. Но говорить с дядей не хотелось: после смерти Еремея между Ильей и дядей выросло что-то невидимое, но плотное и мешало мальчику подходить к горбуну так свободно и близко, как раньше. А Яков ничего не мог объяснить ему, живя тоже в стороне ото всего, но на свой особый лад.

Его опечалила смерть старого тряпичника. Он часто с жалобой в голосе и на лице вспоминал о нем.

— Скушно стало!.. Кабы жив был дедушка Ерема — сказки бы рассказывал нам; ничего нет лучше сказок!

Однажды Яков таинственно сказал товарищу:

— Хочешь — я покажу тебе одну штуку? Только сперва побожись, что никому не скажешь! Будь я, анафема, проклят, — скажи!..

Илья повторил клятву, и тогда Яков отвел его в угол двора, к старой липе. Там он снял со ствола искусно прикрепленный к нему кусок коры, и под нею в дереве открылось большое отверстие. Это было дупло, расширенное ножом и красиво убранное внутри разноцветными тряпочками и бумажками, свинцом от чая, кусочками фольги. В глубине этой дыры стоял маленький, литой из меди образок, а пред ним был укреплен огарок восковой свечи.

— Видал? — спросил Яков, снова прилаживая кусок коры.

— Это зачем?

— Часовня! — объяснил Яков. — Я буду, по ночам, тихонечко уходить сюда молиться... Ладно?

Илье понравилась мысль товарища, но он тотчас же сообразил опасность затеи.

— А увидят огонь-то? Выпорет тогда отец тебя!..

— Ночью — кто увидит? Ночью все спят; на земле совсем тихо... Я — маленький: днем мою молитву богу не слышно... А ночью-то будет слышно!.. Будет?

— Не знаю!.. Может, услышит!.. — задумчиво сказал Илья, глядя на большеглазое бледное лицо товарища.

— Ты со мной будешь молиться? — спросил Яков.

— А ты о чем хочешь молиться? Я о том, чтобы умным быть... И еще — чтобы у меня все было, чего захочу!.. А ты?

— И я тоже...

Но подумав, Яков объяснил:

— Я просто так хотел, — безо всего... Просто бы молился, и всё тут!.. А он как хочет!.. Что даст...

Они уговорились начать молиться в эту же ночь, и оба легли спать с твердым намерением проснуться в полночь. Но не проснулись ни в эту, ни в следующую и так проспали много ночей. А потом у Ильи явились новые впечатления, заслонив часовню.

На той же липе, в которой Яков устроил часовню, — Пашка вешал западни на чижей и синиц. Ему жилось тяжело, он похудел, осунулся. Бегать по двору ему было некогда: он целые дни работал у Перфишки, и только по праздникам, когда сапожник был пьян, товарищи видели его. Пашка спрашивал их о том, что они учат в школе, и завистливо хмурился, слушая их рассказы, полные сознанием превосходства над ним.

— Не больно зазнавайтесь, — выучусь и я!..

— Перфишка-то не пустит!..

— А я убегу, — решительно говорил Пашка.

И действительно, вскоре сапожник говорил, посмеиваясь:

— Подмастерье-то мой! Сбежал, дьяволенок!..

День был дождливый. Илья поглядел на растрепанного Перфишку, на серое, угрюмое небо, и ему стало жалко товарища. Он стоял под навесом сарая, прижавшись к стене, и смотрел на дом, — казалось, что дом становится все ниже, точно уходит в землю. Старые ребра выпячивались все более, как будто грязь, накопленная в его внутренностях за десятки лет, распирала дом и он уже не мог сдерживать ее. Насквозь пропитанный несчастьями, всю жизнь свою всасывая пьяные крики, пьяные, горькие песни, расшатанный, избитый ударами ног по доскам его пола, — дом не мог больше жить и медленно разваливался, печально глядя на свет божий тусклыми стеклами окон.

— Эхма! — говорил сапожник. — Скоро лопнет лукошко, рассыплются грибы. Поползем мы, жители, кто куда... Будем искать себе щелочек по другим местам!.. Найдем и жить по-другому будем... Все другое заведется: и окна, и двери, и даже клопы другие будут нас кусать!.. Скорее бы! А то надоел мне этот дворец!..

Но сапожник напрасно мечтал: дом не разорвало, его купил буфетчик Петруха. Купив, он дня два озабоченно щупал и ковырял эту кучу старого дерева. Потом привезли кирпичей, досок, обставили дом лесами, и месяца два он стонал и вздрагивал под ударами топоров. Его пилили, рубили, вколачивали в него гвозди, с треском и пылью выламывали его гнилые ребра, вставляли новые и наконец, увеличив дом в ширину новой пристройкой, —

обшили его тесом. Приземистый, широкий, он теперь стоял на земле прямо, точно пустил в нее новые корни. На его фасаде Петруха повесил большую вывеску — золотом по синему полю было написано:

«Веселое убежище друзей П. Я. Филимонова».

— А внутри он все-таки гнилой! — сказал Перфишка.

Илья, слыша это, сочувственно улыбнулся. И ему перестроенный дом казался обманом. Он вспомнил о Пашке, который жил где-то в другом месте и видел все иное. Илья, как и сапожник, тоже мечтал о других окнах, дверях, людях... Теперь в доме стало еще хуже, чем раньше. Старую липу срубили, укромный уголок около нее исчез, занятый постройкой. Исчезли и другие любимые места, где, бывало, беседовали ребяташки. Только на месте кузницы, за огромной кучей щеп и гнилушек, образовался уютный угол, но там было страшно сидеть, — все чудилось, что под этой кучей лежит Савелова жена с разбитой головой.

Петруха отвел дяде Терентию новое помещение — маленькую комнатку за буфетом. В нее сквозь тонкую переборку, заклеенную зелеными обоями, проникали все звуки из трактира, и запах водки, и табачный дым. В ней было чисто, сухо, но хуже, чем в подвале. Окно упиралось в серую стену сарая; стена загораживала небо, солнце, звезды, а из окошка подвала все это можно было видеть, встав пред ним на колени...

Дядя Терентий оделся в сиреневую рубаху, надел сверх ее пиджак, который висел на нем, как на ящике, и с утра до вечера торчал за буфетом. Теперь он стал говорить с людьми на «вы», отрывисто, сухим голосом, точно лаял, и смотрел на них из-за стойки глазами собаки, охраняющей хозяйское добро. Илье он купил серую суконную курточку, сапоги, пальто и картуз, и, когда мальчик надел эти вещи, ему вспомнился старый тряпичник. Он почти не разговаривал с дядей, жизнь его тянулась однообразно, медленно. Все чаще он вспоминал о деревне; теперь ему особенно ясно казалось, что там лучше жить: тише, понятнее, проще. Вспоминались густые леса Керженца, рассказы дяди Терентия об отшельнике Антипе, а мысль об Антипе рождала другую — о Пашке. Где он? Может быть, тоже убежал в лес, вырыл там

пещеру и живет в ней. Гудит в лесу вьюга, воют волки. Это страшно, но сладко слышать. А зимой, в хорошую погоду, там все блестит серебром и бывает так тихо, что ничего не слышать, кроме того, как снег хрустит под ногой, и если стоять неподвижно, тогда услышишь только одно свое сердце.

В городе всегда шумно и бестолково, даже ночь полна звуков. Поют песни, кричат, стонут, ездят извозчики, от стука их пролетов и телег вздрагивают стекла в окнах. Озорничают мальчишки в школе, большие ругаются, дерутся, пьянствуют. Люди все какие-то взбалмошные — то жулики, как Петруха, то злые, как Савел, или никчемные вроде Перфишки, дяди Терентия, Матицы... Сапожник всех больше поражал Илью своей жизнью.

Однажды утром, когда Илья собрался в школу, Перфишка пришел в трактир растрепанный, невыспавшийся и молча встал у буфета, глядя на Терентия. Левый глаз у него вздрагивал и прищуривался, нижняя губа смешно отвисла. Дядя Терентий взглянул на него, улыбнулся и налил сапожнику стаканчик за три копейки, обычную Перфишкину порцию утром. Перфишка взял стакан дрожащей рукой, опрокинул его в рот, но не крикнул, не выругался, как всегда. Он снова уставился на буфетчика странно вздрагивающим левым глазом. а правый был тускл, неподвижен и как будто не видал ничего.

— Что это у вас с глазом-то? — спросил Терентий.

Перфишка потер глаз рукой, поглядел на палец и вдруг громко, внятно сказал:

— Супруга наша Авдотья Петровна скончалась...

Терентий, взглянув на образ, перекрестился.

— Царствие ей небесное!

— А? — спросил Перфишка, упорно разглядывая лицо Терентия.

— Говорю: царствие ей небесное!

— Да-с... Померли!.. — сказал сапожник, круто повернулся и ушел.

— Чудак! — сокрушенно качая головой, проговорил Терентий. Илье сапожник тоже показался чудаком... Идя

в школу, он на минутку зашел в подвал посмотреть на покойницу. Там было темно и тесно. Пришли бабы сверху и, собравшись кучей в углу, где стояла постель, вполголоса разговаривали. Матица примеривала Маше какое-то плагишко и спрашивала:

— Подмышками режет?

А Маша растопырила руки и тянула капризным голосом:

— Да-а-а!..

Сапожник, согнувшись, сидел на столе, смотрел на дочь, и глаз у него все мигал. Илья взглянул на белое, пухлое лицо усопшей, вспомнил ее темные глаза, теперь навсегда закрывшиеся, и ушел, унося тяжелое, жуткое чувство.

А когда он воротился из школы и вошел в трактир, то услышал, что Перфишка играет на гармонии и удалым голосом поет:

Эх ты, моя милая,
Мое сердце вынула.
Зачем сердце вынула,
Д'куды его кинула?

— Их — ты!.. Выгнали меня бабы! Пошел, кричат, вон, изверг неестественный! Морда, говорят, пьяная... Я не сержусь... я терпеливый... Ругай меня, бей! только дай мне пожить немножко!.. дай, пожалуйста! Эхма! Братья! Всем пожить хочется, — вот в чем штука! У всех душа одинакова, что у Васьки, что у Якова!..

Кто там рыдает?
Чего ожидает?
Молчи, не тужи,
Суши корочки гложи!

Рожка у Перфишки была отчаянно веселая; Илья смотрел на него с отвращением и страхом. Ему подумалось, что бог жестоко накажет сапожника за такое поведение в день смерти жены. Но Перфишка был пьян и на другой день, за гробом жены он шел спотыкаясь, мигал глазом и даже улыбался. Все его ругали, кто-то даже ударил по шее...

— Вот так — а-яй!.. — сказал Илья товарищу вечером после похорон. — Перфишка-то? Настоящий еретик!

— Пес с ним! — равнодушно отозвался Яков.

Илья и раньше замечал, что с некоторого времени Яков изменился. Он почти не выходил гулять на двор, а все сидел дома и даже как бы нарочно избегал встречи с Ильей. Сначала Илья подумал, что Яков, завидуя его успехам в школе, учит уроки. Но и учиться он стал хуже; учитель постоянно ругал его за рассеянность и непонимание самых простых вещей. Отношение Якова к Перфишке не удивило Илью: Яков почти не обращал внимания на жизнь в доме, но Илье захотелось узнать, что творится с товарищем, и он спросил его:

— Ты что какой стал? Не хочешь, что ли, дружить со мной?

— Я? Что ты врешь? — удивленно воскликнул Яков и вдруг быстро заговорил: — Слушай, ты — иди домой!.. Иди, я сейчас тоже приду... Что я тебе покажу!

Он сорвался с места и убежал, а Илья, заинтересованный, пошел в свою комнату. Яков прибежал, запер за собой дверь и, подойдя к окну, вынул из-за пазухи какую-то красную книжку.

— Иди сюда! — тихо сказал он, усевшись на постель дяди Терентия и указывая Илье место рядом с собою. Потом развернул книжку, положил ее на колени, согнулся над нею и начал читать:

— «Вдали храбрый рыцарь увидал гору... высотой до небес, а в середине ее железную дверь. Огнем отваги запылало... его мужественное сердце, он наклонил копьё и с громким криком помчался вперед, приш...порив коня, и со всей своей могучей силой ударил в ворота. Тогда раздался страшный гром... железо ворот разлетелось в куски... и в то же время из горы хлынуло пламя и дым и раздался громовой голос... от которого сотряслась земля и с горы посыпались камни к ногам рыцарев коня. «Ага! ты явился... дерзкий безумец!.. Я и смерть давно ждали тебя!..» Ослепленный дымом рыцарь...»

— Кто это? — удивленно спросил Илья, вслушиваясь в дрожащий от волнения голос товарища.

— А? — откликнулся Яков, подняв от книги бледное лицо.

— Кто это — рыцарь?

— Это такой... верхом на коне... с копьём... Рауль Бесстрашный... у него дракон невесту утащил... Прекрасная Луиза... да — ты слушай, чорт!.. — нетерпеливо крикнул Яков.

— Валяй, валяй!.. Погоди, — а дракон кто?

— Змея с крыльями... и с ногами... когтищи у нее железные... Три головы... и все дышат огнем — понимаешь?

— Здо-орово! — сказал Илья, широко открыв глаза. — Эдак-то он этому — за-адаст!..

Плотнo прижавшись друг к другу, мальчики с трепетом любопытства и странной, согревающей душу радостью входили в новый, волшебный мир, где огромные, **злые** чудовища погибали под могучими ударами храбрых рыцарей, где все было величественно, красиво и чудесно и не было ничего похожего на эту серую, скучную жизнь. Не было пьяных, маленьких людей, одетых в лохмотья, вместо полугнилых деревянных домов стояли дворцы, сверкая золотом, неприступные замки из железа возвышались до небес. Дети входили в страну чудесных вымыслов, а рядом с ними играла гармоника и разудалый сапожник Перфишка отчетливо выговаривал:

Меня после смерти —
Не утащат черти!
Я живой того добьюсь,
Как до чортиков напыюсь!

— Наяривай! Бог веселых любит!

Гармоника захлебывалась звуками, торопясь догнать звонкий голос сапожника, а он вперегонку с ней отчеканивал плясовой мотив:

И не пищи, что смолоду
Н-нaтeрпeлся холоду,
Сдохнешь — в ад попадешь,
А там — будет жарко!

Каждый куплет частушки вызывал рев одобрений, взрывы хохота.

А в маленькой конуре, отделенной от этой бури звуков тонкими досками, два мальчика согнулись над книгой, и один из них тихо шептал:

— «Тогда рыцарь стиснул чудовище в своих железных объятиях, и оно громоподобно заревело от боли и ужаса...»

После книги о рыцаре и драконе явился «Гуак, или непреоборимая верность», «История о храбром принце Францыле Венециане и прекрасной королевне Ренцивене». Впечатления действительности уступили в душе Ильи место рыцарям и дамам. Товарищи по очереди крали из выручки двугривенные, и недостатка в книгах у них не было. Они ознакомились с похождениями «Яшки Смертенского», восхищались «Япанчой, татарским наездником» и всё дальше уходили от неприглядной жизни в область, где люди всегда разрушали злые ковы судьбы, всегда достигали счастья.

Однажды Перфишку вызвали в полицию. Он ушел встревоженный, а воротился веселый и привел с собой Пашку Грачева, крепко держа его за руку. Пашка был такой же остроглазый, только страшно похудел, пожелтел, и лицо у него стало менее задорным. Сапожник притащил его в трактир и там рассказывал, судорожно подмигивая глазом:

— А вот вам, люди добрые, сам Павлуха Грачев! Только что прибыл из города Пензы по этапу... Вот какой народ нарождается, — не сидя на печи, счастья дожидается, а как только на задние лапы встает — сам искать счастья идет!

Пашка стоял рядом с ним, засунув одну руку в карман драных штанов, а другую все пытался выдернуть из руки сапожника, искоса, угрюмо поглядывая на него. Кто-то посоветовал сапожнику выпороть Пашку, но Перфишка серьезно возразил:

— Зачем? Пускай его ходит, авось, счастье найдет.

— А ведь он, поди-ка, голодный! — догадался Терентий и, протянув мальчику кусок хлеба, сказал ему:

— Пашка, на!

Мальчик, не торопясь, взял хлеб и пошел вон из трактира.

— Фи-ю-ю! — свистнул сапожник вслед ему. — До свидания, нежное создание!

Илья, наблюдавший эту сцену из двери своей комнаты, поманил Пашку к себе, но, прежде чем войти к нему, Пашка нерешительно остановился, а войдя, подозрительно оглядел комнату и сурово спросил:

- Что надо?
- Здравствуй!..
- Ну, здравствуй!..
- Садись!..
- А зачем?
- Так!.. Поговорим!..

Илью смущали сердитые вопросы Грачева и его сиповатый голос. Ему хотелось расспросить Пашку, где он был, что видел. Но Пашка уселся на стул и с решительным видом, кусая хлеб, сам начал расспрашивать:

- Кончил учиться-то?
- Весной кончу!
- А я уж выучился!..
- Н-ну? — недоверчиво воскликнул Илья.
- У меня живо!
- А где ты учился?
- В остроге, у арестантов!..

Илья подошел ближе к нему и, с уважением глядя на его худое лицо, спросил:

- Страшно там?
- Ничего не страшно!.. Я во многих острогах был... в разных городах... Я, брат, к господам прилип там... И барыни были тоже... настоящие! На разных языках говорят. Я им камеры убирал! Веселые, черти, даром что арестанты!..

- Разбойники?
- Самые настоящие вору, — с гордостью выговорил Пашка.

Илья мигнул глазами и почувствовал еще больше уважения к Пашке.

- Русские они? — спросил он.
- Некоторые жида... Первый сорт народ!.. Они, брат, ого-го какие! Грабили всех как следует!.. Ну, их поймали да — в Сибирь!
- Как же ты выучился?
- А так... Говорю: выучите меня, — они и выучили...
- И читать и писать?

— Писать плохо!.. А читать — сколько хочешь могу!
Я уж много книжек читал!..

Речь о книжках оживила Илью.

— И я с Яковым читаю!

Оба они наперебой друг перед другом стали называть прочитанные книжки. Вскоре Павел со вздохом сказал:

— Да-а, вы, черти, больше прочитали! А я — всё стихи... Там много было всяких, но хорошие-то только стихи...

Пришел Яков, удивленно выкатил глаза и засмеялся.

— Овца! — встретил его Пашка. — Чего хохочешь?

— Ты где был?

— Тебе туда не дойти!..

— Знаешь, — сказал Илья товарищу, — и он тоже книжки читал...

— О? — воскликнул Яков и тотчас же заговорил с Пашкой более дружески. Три мальчика уселись рядом, и между ними загорелся бессвязный, быстрый, удивительно интересный разговор.

— Я такие штуки видал — рассказать нельзя! — с гордостью и воодушевленно говорил Пашка. — Один раз не жрал двое суток... совсем ничего! В лесу ночевал... Один.

— Боязно? — спросил Яков.

— Поди, ночуй, — узнаешь! А то собаки меня загрызли было... Был в городе Казани... Там есть памятник одному, — за то, что стихи сочинял, поставили... Огромный был мужик!.. Ножищи у него во какие! А кулак с твою голову, Яшка! Я, братцы, тоже стихи сочинять буду, я уж научился немножко!..

Он вдруг съежился, подобрал под себя ноги и, пристально глядя в одну точку, — нахмуренный, важный, — скороговоркой сказал:

По улице люди идут,
Все они одеты и сыты,
А попроси у них поесть,
Так они скажут — поди ты
Прочь!..

Он кончил, взглянул на мальчиков и тихо опустил голову. С минуту длилось неловкое молчание. Потом Илья осторожно спросил:

— Это разве стихи?

— А ты не слышишь? — сердито крикнул Пашка. — Сказано: сыты — поди ты, — значит, стихи!..

— Конечно, стихи! — торопливо воскликнул Яков. — Ты всегда придираешься, Илья!

— Я и еще сочинил, — оживленно обратился Пашка к Якову и тотчас же быстро выпалил:

Тучи — серы, а земля — сыра,
Вот приходит осенняя пора,
А у меня ни кола, ни двора,
И вся одежда — на дыре дыра!

— О-г-го-о! — протянул Яков, широко раскрыв глаза.

— Вот это уж — прямо стихи! — в тон ему подтвердил Илья.

Лицо Пашки вспыхнуло слабым румянцем, и глаза его так сощурились, точно в них откуда-то дым попал.

— Я и длинные стихи буду сочинять! — похвально бормотал он. — Это ведь не больно трудно! Идешь и видишь — лес — лесá, небо — небеса!.. А то поле — воля!.. Само собой выходит!

— А теперь что ты будешь делать? — спросил его Илья.

Пашка мигнул глазами, оглянулся вокруг, помолчал и, наконец, негромко и неуверенно сказал:

— Что-нибудь!..

Но тотчас же снова решительным голосом объявил:

— А потом — опять убегу!..

Он стал жить у сапожника, и каждый вечер ребята собирались к нему. В подвале было тише и лучше, чем в каморке Терентия. Перфишка редко бывал дома — он пропил все, что можно было пропить, и теперь ходил работать поденно по чужим мастерским, а если работы не было — сидел в трактире. Он ходил полуголый, босой, и всегда подмышкой у него торчала старенькая гармоника. Она как бы срослась с его телом, он вложил в нее частицу своей веселой души, и оба стали похожи друг на друга — оборванные, угловатые, полные задорных песен и трелей. Вся мастеровщина в городе знала Перфишку как неистощимого творца разудалых и смешных «частушек», — сапожник был желанным гостем в каждой

мастерской. Его любили за то, что тяжелую, скучную жизнь рабочего люда он скрашивал песнями и складными, шутливыми рассказами о разных разностях.

Когда ему удавалось заработать несколько копеек, он половину отдавал дочери — этим и ограничивались его заботы о ней. Она была полной хозяйкой своей судьбы. Она очень выросла, ее черные кудри спустились до плеч, темные глаза стали серьезнее и больше, и — тоненькая, гибкая — она хорошо играла роль хозяйки в своей норе: собирала щепы на постройках, пробовала варить какие-то похлебки и до полудня ходила с подоткнутым подолом, вся испачканная сажей, мокрая, озабоченная. А состряпав обед, убирала комнату, мылась, одевала чистое платье и садилась за стол к окну чинить что-нибудь из одежды.

К ней часто приходила Матица, принося с собой булки, чай, сахар, а однажды она даже подарила Маше голубое платье. Маша вела себя с этой женщиной, как взрослый человек и хозяйка дома; ставила маленький жестяной самовар, и, попивая горячий, вкусный чай, они говорили о разных делах и ругали Перфишку. Матица ругалась с увлечением, Маша вторила ей тонким голосом, но — без злобы, только из вежливости. Во всем, что она говорила про отца, звучало снисхождение к нему.

— А чтоб в него печенки зсохлись! — гудела Матица, свирепо поводя бровями. — Что ж? Забыл он, пьянчуга, что в него дитя малое осталось? Гадка́ его морда, чтоб здох, як пес!

— Он ведь знает, что я уж большая и все сама могу... — говорила Маша.

— Боже мой, боже! — тяжело вздыхала Матица. — Что же это творится на свете белом? Что будет с девочкой? Вот и у меня была девочка, как ты!.. Зосталась она там, дома, у городи Хороли... И это так далеко — город Хорол, что если б меня и пустили туда, так не нашла бы я до него дороги... Вот так-то бывает с человеком!.. Живет он, живет на земле и забывает, где его родина...

Маше нравилось слушать густой голос этой женщины с глазами коровы. И, хотя от Матицы всегда пахло водкой, — это не мешало Маше влезать на колени бабе, крепко прижимаясь к ее большой, бугром выступавшей вперед груди, и целовать ее в толстые губы красиво очер-

ченного рта. Матица приходила по утрам, а вечером у Маши собирались ребяташки. Они играли в карты, если не было книг, но это случалось редко. Маша тоже с большим интересом слушала чтение, а в особенно страшных местах даже вскрикивала тихонько.

Яков относился к девочке еще более заботливо, чем прежде. Он постоянно таскал ей из дома куски хлеба и мяса, чай, сахар, керосин в бутылках из-под пива, иногда давал деньги, оставшиеся от покупки книг. Он привык делать все это, и все выходило у него как-то незаметно, а Маша относилась к его заботам как к чему-то вполне естественному и тоже не замечала их.

— Яша! — говорила она, — углей нет!

Через некоторое время он или приносил ей угли, или давал семишник, говоря:

— Ступай, купи!.. Украсть нельзя было!

Илья тоже привык к этим отношениям, да и все на дворе как-то не замечали их. Порой Илья и сам, по поручению товарища, крал что-нибудь из кухни или буфета и тащил в подвал к сапожнику. Ему нравилась смуглая и тонкая девочка, такая же сирота, как сам он, а особенно нравилось, что она умеет жить одна и все делает, как большая. Он любил видеть, как она смеется, и постоянно старался смешить Машу. А когда это не удавалось ему — Илья сердился и дразнил девочку:

— Черномазая чумичка!

Она прищуривала глаза и говорила:

— Скуластый чорт!..

Слово за слово, и они ссорились серьезно: Маша быстро свирепела и бросалась на Илью с намерением поцарапать его, но он со смехом удовольствия убегал от нее.

Однажды, за картами, он уличил Машу в плутовстве и в ярости крикнул ей:

— Яшкина любовница!

А затем прибавил еще одно грязное слово, значение которого было известно ему. Яков был тут же. Сначала он засмеялся, но, увидав, что лицо его подруги исказилось от обиды, а на глазах ее блестят слезы, он замолчал и побледнел. И вдруг вскочил со стула, бросился на Илью, ударил его в нос и, схватив его за волосы, повалил на пол. Все это произошло так быстро, что Илья даже защититься

не успел. А когда он, ослепленный болью и обидой, встал с пола и, наклонив голову, быком пошел на Якова, говоря ему: «Н-ну, держись! Я тебя...» — он увидал, что Яков жалобно плачет, облокотясь на стол, а Маша стоит около него и говорит тоже со слезами в голосе:

— Не дружись с ним. Он поганый... Он злющий! Они все злые — у него отец в каторге... а дядя горбатый!.. У него тоже горб вырастет! Пакостник ты! — смело наступая на Илью, кричала она. — Дрянь паршивая!.. тряпичная душа! Ну-ка, иди? Как я тебе рожу-то расцарапаю! Ну-ка, сунься!?

Илья не сунулся. Ему стало нехорошо при виде плачущего Якова, которого он не хотел обижать, и было стыдно драться с девчонкой. А она стала бы драться, это он видел. Он ушел из подвала, не сказав ни слова, и долго ходил по двору,нося в себе тяжелое, нехорошее чувство. Потом, подойдя к окну Перфишкиной квартиры, он осторожно заглянул в нее сверху вниз. Яков с подругой снова играли в карты. Маша, закрыв половину лица веером карт, должно быть, смеялась, а Яков смотрел в свои карты и нерешительно трогал рукой то одну, то другую. Илье стало грустно. Он походил по двору еще немного и смело пошел в подвал.

— Примите меня! — сказал он, подходя к столу.

Сердце у него билось, а лицо горело и глаза были опущены. Яков и Маша молчали.

— Я не буду ругаться!.. ей-богу, не буду! — сказал Илья, взглянув на них.

— Ну, уж садись, — эх ты! — сказала Маша.

А Яков строго добавил:

— Дурачина! Не маленький... Понимай, что говоришь...

— А как ты меня? — с упреком сказал Илья Якову.

— За дело! — резонным тоном сказала ему Маша.

— Ну, ладно! Я ведь не сержусь... я виноват-то!.. — сознался Илья и смущенно улыбнулся Якову. — И ты не сердись — ладно?

— Ладно! Держи карты...

— Дикий чорт! — сказала Маша, и этим все закончилось.

Через минуту Илья, нахмутив брови, погрузился в игру. Он всегда садился так, чтобы ему можно было хо-

доть к Маше: ему страшно нравилось, когда она проигрывала, и во все время игры Илья упорно заботился об этом. Но девочка играла ловко, и чаще всего проигрывал Яков.

— Эх ты, лупоглазый! — с ласковым сожалением говорила Маша. — Опять дурак!

— Ну их к лешему, карты! Надоело! Давайте читать!

Они доставали растрепанную и испачканную книжку и читали о страданиях и подвигах любви.

Когда Пашка Грачев присмотрелся к их жизни, он сказал тоном бывалого человека:

— А вы, черти, здорово живете!

Потом он поглядел на Якова и Машу и с усмешкой, но серьезно добавил:

— А потом ты, Яков, возьми замуж Машку!

— Дурак!.. — смеясь, сказала Маша, и все четверо захохотали.

Когда прочитывали книжку или уставали читать, Пашка рассказывал о своих приключениях, — его рассказы были интересны не менее книг.

— Как уразумел я, братцы, что нет мне ходу без пачпорта, — начал я хитрить. Увижу будочника — иду скоро, будто кто послал меня куда, а то так держусь около какого-нибудь мужика, будто он хозяин мой, или там отец, или кто... Будочник поглядит и ничего, — не хватает... В деревнях хорошо, там будочников совсем нет: одни старики да старухи и ребятишки, а мужики в поле. Спросят: «Кто такой?» — «Нищий!» — «Чей?» — «Без роду!» — «Откуда?» — «Из города». Вот и всё! Поят, кормят хорошо. Идешь это... идешь, как хочется: хоть бегом лупи, хоть на брюхе ползи... Поле везде, лес... жаворонки поют... так бы к ним и полетел! Коли сыт — ничего не хочется, все бы и шел до самого до края света. Как будто кто тащит тебя вперед... как мать несет. А то и голодал я — фью-ю! Бывало, кишки трещали — вот до чего брюхо высыхало! Хоть землю жри! В башке мутилось... Зато как добьешься хлеба да воткнешь в него зубы-то — ы-ых! День и ночь ел бы. Хорошо было!.. А все-таки как в тюрьму попал — обрадовался... Сначала испугался, а уж потом радостно стало! Очень я будочников боялся. Думаю, схватят меня да ка-ак начнут пороть — и запорют! А он

меня легонько... подошел сзади да за шиворот — цап! Я у магазина на часы смотрел... Множество часов — золотые и разные. Цап! Я как зареву! А он меня ласково: «Кто ты, да откуда?» Ну, я и сказал, — все равно они узнали бы: они всё знают... Он меня в полицию... Там разные господа... «Куда идешь?» — «Странствую...» Хохо-чут... Потом в тюрьму... Там тоже все хохочут. А потом господа эти меня к себе приспособили... Вот черти были! Ого-го!

О господах он говорил больше междометиями, — очевидно, они очень поразили его воображение, но их фигуры как-то расплылись в памяти и смешались в одно большое, мутное пятно. Прожив у сапожника около месяца, Пашка снова исчез куда-то. Потом Перфишка узнал, что он поступил в типографию и живет где-то далеко в городе. Услышав об этом, Илья с завистью вздохнул и сказал Якову:

— А мы с тобой, видно, так тут и прокиснем...

Первое время после исчезновения Пашки Илье чего-то не хватало, но вскоре он снова попал в колею чудесного и чуждого жизни. Снова началось чтение книжек, и душа Ильи погрузилась в сладкое состояние полудремоты.

Пробуждение было грубо и неожиданно — однажды утром дядя разбудил его, говоря:

— Умойся почище, да скорее...

— Куда? — сонно спросил Илья.

— На место! Слава богу! Нашлось!.. В рыбной лавке будешь служить.

У Ильи сжалось сердце от неприятного предчувствия. Желание уйти из этого дома, где он все знал и ко всему привык, вдруг исчезло, комната, которую он не любил, теперь показалась ему такой чистой, светлой. Сидя на кровати, он смотрел в пол, и ему не хотелось одеваться... Пришел Яков, хмурый и нечесаный, склонил голову к левому плечу и, вскользь взглянув на товарища, сказал:

— Иди скорее, отец ждет... Ты приходишь сюда будешь?

— Буду...

— То-то... К Маньке зайди проститься.

— Чай, я не навсегда ухожу, — сердито молвил Илья. Манька сама пришла. Она встала у дверей и, поглядев на Илью, грустно сказала:

— Вот тебе и прощай!

Илья с сердцем рванул курточку, которую надевал, и выругался. Манька и Яков, оба враз, глубоко вздохнули.

— Так приходи же! — сказал Яков.

— Да ла-адно! — сурово ответил Илья.

— Ишь зафорсил, приказчик!.. — заметила Маша.

— Эх ты — ду-ура! — тихо и с укором ответил Илья.

Через несколько минут он шел по улице с Петрухой, парадно одетым в длинный сюртук и скрипучие сапоги, и буфетчик внушительно говорил ему:

— Веду я тебя служить человеку почтенному, всему городу известному, Кириллу Ивановичу Строганому... Он за доброту свою и благодеяния медали получал — не токмо что! Состоит он гласным в думе, а может, будет избран даже в градские головы. Служи ему верой и правдой, а он тебя, между прочим, в люди произведет... Ты парнишка сурьезный, не баловник... А для него оказать человеку благодеяние — все равно что — плюнуть...

Илья слушал и пытался представить себе купца Строганого. Ему почему-то стало казаться, что купец этот должен быть похож на дедушку Еремея, — такой же тощий, добрый и приятный. Но когда он пришел в лавку, там за конторкой стоял высокий мужик с огромным животом. На голове у него не было ни волоса, но лицо от глаз до шеи заросло густой рыжей бородой. Брови тоже были густые и рыжие, под ними сердито бегали маленькие, зеленоватые глазки.

— Кланяйся! — шепнул Петруха Илье, указывая глазами на рыжего мужика. Илья разочарованно опустил голову.

— Как зовут? — загудел в лавке густой бас. — Ну, Илья, гляди у меня в оба, а зри — в три! Теперь у тебя, кроме хозяина, никого нет! Ни родных, ни знакомых — понял? Я тебе мать и отец, — а больше от меня никаких речей не будет...

Илья исподлобья осматривал лавку. В корзинах со льдом лежали огромные сомы и осетры, на полках были сложены сушеные судаки, сазаны, и всюду блестели

жестяные коробки. Густой запах тузлука стоял в воздухе, в лавке было душно, тесно. На полу в больших чанах плавала живая рыба — стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука дерзко металась в воде, толкала других рыб и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на пол. Илье стало жалко ее.

Один из приказчиков — маленький, толстый, с круглыми глазами и крючковатым носом, очень похожий на филина, — заставил Илью выбирать из чана уснувшую рыбу. Мальчик засучил рукава и начал хватать рыб как попало.

— За башки бери, дубина! — вполголоса сказал приказчик.

Иногда Илья по ошибке хватал живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскальзывала из его пальцев и, судорожно извиваясь, тыкалась головой в стены чана.

Илья уколол себе палец костью плавника и, сунув его в рот, стал сосать.

— Вынь палец! — басом крикнул хозяин.

Потом мальчику дали тяжелый топор, велели ему слезть в подвал и разбивать там лед так, чтоб он улегся ровно. Осколки льда прыгали ему в лицо, попадали за ворот, в подвале было холодно и темно, топор при неосторожном размахе задевал за потолок. Через несколько минут Илья, весь мокрый, вылез из подвала и заявил хозяину:

— Я разбил там какую-то банку...

Хозяин внимательно поглядел на него и молвил:

— На первый раз прощаю. За то прощаю, что — сам сказал... За второй раз — нарву уши...

И завертелся Илья незаметно и однообразно, как винтик в большой, шумной машине. Он вставал в пять часов утра, чистил обувь хозяина, его семьи и приказчиков, потом шел в лавку, мел ее, мыл столы и весы. Являлись покупатели, — он подавал товар, выносил покупки, потом шел домой за обедом. После обеда делать было нечего, и, если его не посылали куда-нибудь, он стоял у дверей лавки, смотрел на суету базара и думал о том, как много на свете людей и как много едят они рыбы, мяса, овощей. Однажды он спросил приказчика, похожего на филина:

— Михаил Игнатьич!

— Ну-с?

— А что будут люди есть, когда выловят всю рыбу и зарежут весь скот?

— Дурак! — ответил ему приказчик.

Другой раз он взял газету с прилавка и, стоя у двери, стал читать ее. Но приказчик вырвал газету из его рук, щелкнул его пальцем по носу и угрожающе спросил:

— Кто тебе позволил, а? Осел...

Этот приказчик не нравился Илье. Говоря с хозяином, он почти ко всякому слову прибавлял почтительный свистящий звук, а за глаза называл купца Строганого мошенником и рыжим чортом. По субботам и перед праздниками хозяин уезжал из лавки ко всенощной, а к приказчику приходила его жена или сестра, и он отправлял с ними домой кулек рыбы, икры, консервов. Любил он издеваться над нищими, среди которых было много стариков, напоминавших Илье о дедушке Еремее. Когда к дверям лавки подходил какой-нибудь старик и, кланяясь, тихо просил милостыню, приказчик брал за голову маленькую рыбку и совал ее в руку нищего хвостом — так, чтоб кости плавников вонзились в мякоть ладони просящего. И, когда нищий, вздрагивая от боли, отдергивал руку, приказчик насмешливо и сердито кричал:

— Не хочешь? Мало? Пшел прочь...

Однажды старуха-нищая взяла тихонько сушеного судака и спрятала его в своих лохмотьях; приказчик видел это; он схватил старуху за ворот, отнял украденную рыбу, а потом нагнул голову старухи и правой рукой, снизу вверх, ударил ее по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонив голову, молча пошла прочь, и Илье видел, как из ее разбитого носа в два ручья текла темная кровь.

— Получила? — крикнул приказчик вслед ей.

И, обращаясь к другому приказчику, Карпу, сказал:

— Ненавижу я нищих!.. Дармоеды! Ходят, просят и — сыты! И хорошо живут... Братия Христова, говорят про них. А я кто Христу? Чужой? Я всю жизнь верчусь, как червь на солнце, а нет мне ни покоя, ни уважения...

Другой приказчик, Карп, был человек богомольный, разговаривал только о храмах, певчих, архиерейской

службе и каждую субботу беспокоился, что опоздает ко всенощной. Еще его интересовали фокусы, и каждый раз, когда в городе появлялся какой-нибудь «маг и чародей», Карп непременно шел смотреть на него... Был он высок, худ и очень ловок; когда в лавке скоплялось много покупателей, он извивался среди них, как змея, всем улыбаясь, со всеми разговаривая, и все поглядывал на большую фигуру хозяина, точно хвастаясь пред ним своим умением делать дело. К Илье относился пренебрежительно и насмешливо, и мальчик тоже не взлюбил его. Но хозяин нравился Илье. С утра до вечера купец стоял за конторкой, открывал ящик и швырял в него деньги. Илья видел, что он делал это равнодушно, без жадности, и мальчику почему-то было приятно это. Приятно было и то, что хозяин разговаривал с ним чаще и ласковее, чем с приказчиками. В тихое время, когда покупателей не было, купец иногда обращался к Илье, понуро стоявшему у двери:

— Эй, Илья, дремлешь?

— Нет...

— А чего ты сурьезный всегда?

— Не знаю...

— Скушно, что ли?

— Да-а...

— Ну, поскучай! И я скучал, было время... С девяти до тридцати двух лет скучал по чужим людям... А теперь — двадцать третий год гляжу, как другие скучают...

И он покачивал головой, как бы договаривая:

«Ничего не поделаешь больше-то!»

После двух-трех таких разговоров Илью стал занимать вопрос: зачем этот богатый, почетный человек торчит целый день в грязной лавке и дышит кислым, едким запахом соленой рыбы, когда у него есть такой большой, чистый дом? Это был странный дом: в нем все было строго и тихо, все совершалось в незыблемом порядке. И было в нем тесно, хотя в обоих этажах, кроме хозяина, хозяйки и трех дочерей, жили только кухарка, горничная и дворник, он же — кучер. Все в доме говорили неполным голосом, а проходя по огромному, чистому двору, жались к сторонке, точно боясь выйти на открытое пространство. Сравнивая этот спокойный, солидный дом с до-

мом Петрухи, Илья неожиданно пришел к мысли, что в доме Петрухи лучше жить, хотя там и бедно, шумно, грязно. Мальчику страшно захотелось спросить купца: зачем он беспокоит себя, живя весь день на базаре, в шуме и суете, а не дома, где тихо и смирно?

Однажды, когда Карп ушел куда-то, а Михаил отбирал в подвале попорченную рыбу для богадельни, хозяин заговорил с Ильей, и мальчик сказал ему:

— Вам бы, Кирилл Иванович, бросить торговлю-то... Вы уже ведь богатый... Дома у вас хорошо, а здесь вонь... и скука!..

Строганный, облокотясь о конторку, зорко смотрел на него, рыжие брови у купца вздрагивали.

— Ну? — спросил он, когда Илья замолчал. — Все сказал?

— Все... — смущенно, с испугом в сердце, отозвался Илья.

— Подь-ка сюда!

Илья подошел. Тогда купец взял его за подбородок, поднял его голову кверху и, прищуренными глазами глядя в лицо ему, спросил:

— Это тебя научили, или ты сам выдумал?

-- Ей-богу, сам.

— Н-да... Коли сам, так — ладно! Ну, скажу я тебе вот что: больше ты со мной, хозяином твоим — понимаешь? — хозяином! — говоришь так не смей! Запомни! Пошел на свое место...

А когда пришел Карп, хозяин вдруг, ни с того ни с сего, заговорил, обращаясь к приказчику, но искоса и заметно для Ильи поглядывая на него:

— Человек всю жизнь должен какое-нибудь дело делать — всю жизнь!.. Дурак тот, кто этого не понимает. Как можно зря жить, ничего не делая? Никакого смысла нет в человеке, который к делу своему не привержен...

— Совершенно справедливо, Кирилл Иванович! — отозвался приказчик и внимательно повел глазами по лавке, отыскивая дело для себя. Илья взглянул на хозяина и задумался. Все скучнее жилось ему среди этих людей. Дни тянулись один за другим, как длинные, серые нити, разматываясь с какого-то невидимого клубка, и мальчику стало казаться, что конца не будет этим дням, всю жизнь

он простоит у дверей, слушая базарный шум. Но его мысль, возбужденная ранее пережитыми впечатлениями и прочитанными книжками, не поддавалась умиротворяющему влиянию однообразия этой жизни и тихо, но неустанно работала. Порой ему — молчаливому и серьезному — становилось так скучно смотреть на людей, что хотелось закрыть глаза и уйти куда-нибудь далеко — дальше, чем Пашка Грачев ходил, — уйти и уж не возвращаться в эту серую скуку и непонятную людскую суету.

В праздники его посылали в церковь. Он возвращался оттуда всегда с таким чувством, как будто сердце его омыли душистою, теплою влагой. К дяде за полгода службы его отпускали два раза. Там все шло попрежнему. Горбун худел, а Петруха посвистывал все громче, и лицо у него из розового становилось красным. Яков жаловался, что отец притесняет его.

— Все журит: «Дело, говорит, делай... Я, говорит, книжника не хочу...» Но ежели мне противно за стойкой торчать? Шум, гам, вой, самого себя не слышно!.. Я говорю: «Отдай меня в приказчики, в лавку, где иконами торгуют... Покупателя там бывает мало, а иконы я люблю...»

Глаза у Якова грустно мигали, кожа на лбу отчего-то пожелтела и светилась, как лысина на голове его отца.

— Книжки-то читаете? — спросил Илья.

— А как же? Только и радости... Пока читаешь, словно в другом городе живешь... а кончишь — как с колокольни упал...

Илья посмотрел на него и сказал:

— Какой ты старый стал... А Машутка где?

— В богадельню пошла за милостыней. Теперь я ей не много помогаю: отец-то следит... А Перфишка все хвораает... Манька-то начала в богадельню ходить, — шей там дают ей и всего... Матица помогает еще... Сильно бьется Маша...

— Тоже и у вас скушно, — задумчиво сказал Илья.

— А тебе очень скушно?

— Смерть!.. У вас хоть книжки... а у нас во всем доме один «Новейший фокусник и чародей» у приказчика в сундуке лежит, да и того я не добыюсь почитать... не дает, жулик! Плохо зажили мы, Яков...

— Плохо, брат...

Они поговорили еще немного и простились, оба грустные.

Прошло еще несколько недель, и вдруг судьба сурово, но все же милостиво улыбнулась Илье. Однажды утром, во время оживленной торговли, хозяин, стоя за конторкой, вдруг быстро начал перебирать все на ней. Лоб его покраснел, густо налившись кровью, и на шее туго вздулись жилы.

— Илья! — крикнул он. — Погляди-ка на полу, — не лежит ли где десятирублевка...

Илья взглянул на купца, потом быстрым взглядом окинул пол и спокойно сказал:

— Нет...

— Я те говорю — погляди как следует!.. — рявкнул хозяин густым басом.

— Да я глядел...

— Хорошо же, упрямая шельма! — пригрозил ему хозяин.

А когда покупатели ушли, он позвал Илью, схватил крепкими и толстыми пальцами его ухо и начал рвать из стороны в сторону, приговаривая рычащим голосом:

— Велят глядеть — гляди, велят глядеть — гляди...

Илья уперся обеими руками в брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвал ухо из его пальцев и злым голосом, с дрожью обиды во всем теле, громко закричал:

— Что вы деретесь? Деньги Михаил Игнатьич утащил... Они у него в левом кармане, в жилетке...

Совиное лицо приказчика изумленно вытянулось, дрогнуло, и вдруг, размахнувшись правой рукой, он ударил Илью по голове. Мальчик упал со стоном и, заливаясь слезами, пополз по полу в угол лавки. Как сквозь сон, он слышал звериный рев хозяина:

— Стой! Куда? Подай деньги...

— Он врет-с... — раздавался тонкий голос приказчика.

— Гирей кину в башку!

— Кирилл Иваныч... Мои это-с... Р-разрази меня...

— Молчать!..

И стало тихо. Хозяин ушел в свою комнату, оттуда донеслось громкое щелканье косточек на счетах. Илья, держась за голову руками, сидел на полу и с ненавистью

смотрел на приказчика, а он стоял в другом углу лавки и тоже смотрел на мальчика нехорошими глазами.

— Что, сволочь, здорово я тебя двинул? — тихо спросил он, оскалив зубы.

Илья дернул плечами и промолчал.

— А сейчас я тебе еще дам, памятку!

Он, не торопясь, пошел на мальчика, уставив в лицо его свои круглые, злые глаза. Но Илья встал на ноги, твердым движением взял с прилавка длинный и тонкий нож и сказал:

— Иди!

Тогда приказчик остановился, неподвижными глазами измеряя коренастую, крепкую фигурку с ножом в руке, остановился и презрительно протянул:

— А, ка-аторжное отродье...

— Ну, иди, иди! — повторил мальчик, шагнув навстречу ему. Пред глазами его все вздрагивало и кружилось, а в груди он ощущал большую силу, смело толкавшую его вперед.

— Брось нож! — раздался голос хозяина.

Илья вздрогнул, взглянул на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся с места.

— Положи, говорю, нож! — тише сказал хозяин.

Илья положил нож на прилавок, громко всхлипнул и снова сел на пол. Голова у него кружилась, болела, ухо саднило, он задыхался от тяжести в груди. Она затрудняла биение сердца, медленно поднималась к горлу и мешала говорить. Голос хозяина донесся до него откуда-то издали:

— Получи расчет, Мишка...

— Позвольте-с...

— Вон! А то полицию позову...

— Хорошо-с! Я — уйду... Но и за этим мальчиком вы поглядывайте... Он с ножичком... хе-хе!

— Вон!

Снова в лавке стало тихо. Илья вздрогнул от неприятного ощущения: ему показалось, что по лицу его что-то ползет. Он провел рукой по щеке, отер слезы и увидел, что из-за конторки на него смотрит хозяин царапающим взглядом. Тогда он встал и пошел нетвердым шагом к двери, на свое место.

— Стой, погоди! — сказал хозяин. — Мог ты ударить его ножом?

— Ударил бы! — тихо, но твердо ответил мальчик.

— Та-ак... У тебя отец за что в каторгу ушел — убил?

— Поджег...

— И то хорошо...

Пришел Карп, смиренно сел у двери на табуретку и стал смотреть на улицу.

— Карпушка! — с усмешкой глядя на него, сказал хозяин. — Михаила-то я прогнал...

— Воля ваша, Кирилл Иванович!

— Воровать стал, а?

— А-я-яй! — тихонько и с испугом воскликнул Карп. — Да неужто? А-а?

Рыжая борода хозяина вздрогнула от усмешки, и он расхохотался, покачиваясь за конторкой.

— Ах, Карпушка... фокусник ты у меня...

Потом он вдруг перестал смеяться, глубоко вздохнул и задумчиво, сурово сказал:

— Эх, люди, люди! Все-то вы жить хотите, всем жрать надо! Н-ну, Илья, скажи-ка мне, — замечал ты раньше, что Михайло ворует?

— Замечал...

— А что же ты мне не сказал про это? Боялся его, что ли?

— Нет, не боялся...

— Значит, — теперь ты мне со зла сказал...

— Да, — твердо ответил Илья.

— Ишь ты, — какой! — воскликнул хозяин. Потом он долго гладил свою рыжую бороду, не говоря ни слова и серьезно разглядывая Илью.

— Ну, а сам ты, Илья, воровал?

— Нет...

— Верю... Ты — не воровал... Ну, а Карп, — вот этот самый Карп, — он как — ворует?

— Ворует! — повторил мальчик.

Карп с удивлением посмотрел на него, мигнул глазами и спокойно отвернулся в сторону. Хозяин угрюмо сдвинул брови и снова начал гладить бороду. Илья чувствовал, что происходит что-то странное, и напряженно ждал

конца. В пахучем воздухе лавки жужжали мухи, был слышен тихий плеск воды в чане с живой рыбой.

— Карпушка! — окрикнул купец приказчика, неподвижно и со вниманием смотревшего на улицу.

— Чего изволите? — откликнулся Карп, быстро подходя к хозяину и глядя в лицо ему своими вежливо-ласковыми глазами.

— Слышал ты, что про тебя сказано? — с усмешкой спросил Строганий.

— Слышал...

— Ну и что же?

— Ничего!.. — пожав плечами, сказал Карп.

— Это как же — ничего?

— Очень просто, Кирилл Иванович. Я, Кирилл Иванович, имею свое достоинство, будучи человеком, уважающим себя, и потому на мальчика мне не подобает обижаться. Как сами изволите видеть, мальчик откровенно глуп, не имеет никаких понятий...

— Ты мне зубов не заговаривай! ты скажи — правду он говорил?

— Что такое правда, Кирилл Иванович? — воскликнул Карп, снова пожимая плечами, и склонил голову набок. — Конечно, ежели вам угодно — то вы его слова примете за правду... Воля ваша!..

Карп вздохнул и обиженно развел руками.

— Н-да, на все здесь воля моя... — согласился хозяин. — Так, по-твоему, мальчонка-то глуп?

— Совершенно глуп, — с глубокой уверенностью сказал Карп.

— Ну, это ты, пожалуй, врешь... — неопределенно сказал Строганий и вдруг захохотал.

— Нет, как это он ляпнул прямо в зенки тебе — хо-хо! «Ворует Карп?» — «Ворует!» Хо-хо-хо!

Когда хозяин засмеялся, Илья почувствовал, что в сердце его вспыхнула мстительная радость, он с торжеством взглянул на Карпа и с благодарностью — на хозяина. Карп прислушался к хозяйскому смеху и тоже выпустил из горла осторожный смешок:

— Хе-хе-хе!..

Но Строганий, услышав эти жиденькие звуки, сурово скомандовал:

— Запирай лавку!..

Когда Илья шел домой, Карп, потрясая головою, говорил ему:

— Дурак ты, дурак! Ну, сообрази, зачем затеял ты канитель эту? Разве так пред хозяевами выслуживаются на первое место? Дубина! Ты думаешь, он не знал, что мы с Мишкой воровали? Да он сам с того жизнь начинал... Что он Мишку прогнал — за это я обязан, по моей совести, сказать тебе спасибо! А что ты про меня сказал — это тебе не простится никогда! Это называется — глупая дерзость! При мне, про меня — эдакое слово сказать! Я тебе его припомню!.. Оно указывает, что ты меня не уважаешь...

Илья слушал эту речь, но плохо понимал ее. По его разумению, Карп должен был сердиться на него не так: он был уверен, что приказчик дорогой поколотит его, и даже боялся идти домой... Но вместо злобы в словах Карпа звучала только насмешка, и угрозы его не пугали Илью. Вечером хозяин позвал Илью к себе, наверх.

— Ага! Ну-ка, поди-ка! — проводил его Карп злоеющим восклицанием.

Войдя наверх, Илья остановился у двери большой комнаты, среди нее, под тяжелой лампой, опускавшейся с потолка, стоял круглый стол с огромным самоваром на нем. Вокруг стола сидел хозяин с женой и дочерьми, — все три девочки были на голову ниже одна другой, волосы у всех рыжие, и белая кожа на их длинных лицах была густо усеяна веснушками. Когда Илья вошел, они плотно придвинулись одна к другой и со страхом уставились на него тремя парами голубых глаз.

— Вот он! — сказал хозяин.

— Скажите, пожалуйста, какой! — опасливо воскликнула хозяйка и так посмотрела на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганный усмехнулся, погладил бороду, постучал пальцами по столу и внушительно заговорил:

— Позвал я тебя, Илья, затем, чтобы сказать тебе — ты мне больше не нужен, стало быть, собирай свою хурду-мурду и уходи...

Илья вздрогнул, удивленно раскрыл рот и, повернувшись, пошел вон из комнаты.

— Стой! — сказал купец, протянув к нему руку, и, стукнув по столу ладонью, повторил тоном ниже: — Стой!

Затем он поднял палец кверху и солидно, медленно заговорил:

— Позвал я тебя не за одним этим... Нет!.. Поучить тебя надо... Надо объяснить тебе, — почему ты стал мне вреден? Худа ты мне не сделал, — паренек грамотный, не ленивый... честный и здоровый... Все это — козыри. Но и с козырями ты мне не нужен... Не ко двору... Почему, — вопрос?..

Илья удивился: его хвалят и — гонят вон. Это не объединялось в его голове, вызывало в нем двойственное чувство удовольствия и обиды. Ему казалось, что хозяин сам не понимает того, что он делает... Мальчик шагнул вперед и почтительно спросил:

— Вы меня за то прогоняете, что я — с ножом давеча?..

— А, батюшки! — испуганно воскликнула хозяйка. — Какой дерзкий! Ах, господи!..

— Вот! — сказал хозяин с удовольствием, улыбаясь Илье и тыкая пальцем по направлению к нему. — Ты — дерзок! Именно так! Ты — дерзок... Служащий мальчик должен быть смирен, — смиренномудр, как сказано в писании... Он живет на всем хозяйском... У него пища хозяйская, и ум хозяйский, и честность тоже... А у тебя — свое... Ты, например, в глаза человеку лепишь — вор! Это нехорошо, это дерзко... Ты — ежели честный — мне скажи об этом — тихонько скажи... Я уж сам определяю все, я — хозяин!.. А ты вслух — вор!.. Нет, ты погоди... Коли из троих один честен — это для меня ничего не значит... Тут особый счет надобен... Если же один честен, а девять подлецы, никто не выигрывает... Но человек пропадает. А ежели семеро честных на трех подлецов — твоя взяла... Понял? Которых больше, те и правы... Вот как о честности рассуждать надо...

Строганный отер ладонью пот со лба и продолжал:

— Опять же — хватаешь ты ножик...

— О господи Иисусе! — с ужасом воскликнула хозяйка, а девочки еще плотнее прислонились одна к другой.

— Сказано — взявши нож, от него и погибнешь... Вот почему ты мне лишний... Так-то... На вот тебе полтинку, и — иди... Уходи... Помни — ты мне ничего худого,

я тебе — тоже... Даже — вот, на! Дарю полтинник... И разговор вел я с тобой, мальчишкой, серьезный, как надо быть и... все такое... Может, мне даже жалко тебя... но неподходящий ты! Коли чека не по оси — ее надо бросить... Ну, иди...

Речь хозяина Илья понял просто — купец прогнал его потому, что не мог прогнать Карпа, боясь остаться без приказчика. От этого Илье стало легко и радостно. И хозяин показался ему простым, милым.

— Прощайте! — сказал Илья, крепко сжав в руке серебряную монету. — Покорно благодарю!

— Не на чем! — ответил Строганий, кивнув ему головой.

— А-я-яй! Ни слезинки не выронил!.. — донесся вслед Илье укоризненный возглас хозяйки.

Когда Илья, с узлом на спине, вышел из крепких ворот купеческого дома, ему показалось, что он идет из серой, пустой страны, о которой он читал в одной книжке, — там не было ни людей, ни деревьев, только одни камни, а среди камней жил добрый волшебник, ласково указывавший дорогу всем, кто попадал в эту страну.

Был вечер ясного дня весны. Заходило солнце, на стеклах окон пылал красный огонь. Это напомнило мальчику день, когда он впервые увидел город с берега реки. Тяжесть узла с пожитками давила ему спину, — он замедлил шаги. По тротуару шли люди, задевая его ношу, с грохотом ехали экипажи; в косых лучах солнца носилась пыль, было шумно, суетливо, весело. В памяти мальчика вставало все то, что он пережил в городе за эти годы. Он чувствовал себя взрослым человеком, сердце его билось гордо и смело, и в ушах его звучали слова купца:

«Ты мальчик грамотный, неглупый, здоровый, не ленивый... Это твои козыри...»

Илья снова ускорил шаги, чувствуя в себе крепкую радость и улыбаясь при мысли, что завтра не надо идти в рыбную лавку...

Возвратясь в дом Петрухи Филимонова, Илья с гордостью убедился, что он действительно очень вырос за время службы в рыбной лавке. Все в доме относились

к нему со вниманием и лестным любопытством. Перфишка подал ему руку.

— Приказчику — почтение! Что, брат, отслужил? Слышал я о твоих подвигах — ха-ха! Они, брат, любят, когда язык им пятки лижет, а не когда правду режет...

Маша, увидав его, радостно вскричала:

— О-го-о! Какой ты стал!

Яков тоже обрадовался.

— Ну вот, и опять вместе будем жить... А у меня книжка есть «Альбигойцы», — ну история, я тебе скажу! Есть там один — Симон Монфор... вот так чудище!

И Яков торопливо, сбивчиво начал рассказывать содержание книжки. А Илья, глядя на него, с удовольствием подумал, что его большеголовый товарищ остался таким же, каков был. В поведении Ильи у Строганого Яков не увидел ничего особенного. Он просто сказал ему:

— Так и надо было...

Петруха был удивлен поведением Ильи и не скрыл этого, одобрительно сказав:

— Ловко ты их поддел, ловко, брат! Ну, а Кирилл Ивановичу, конечно, нельзя менять Карпа на тебя. Карп дело знает, цена ему высокая. Ты по правде хочешь, в открытую пошел... Потому он тебя и перевесил...

Но на другой день дядя Терентий тихонько сказал племяннику:

— Ты с Петрухой-то не тово... не очень разговаривай... Осторожненько... Он тебя ругает... Ишь, говорит, какой правдолюб!

Илья засмеялся.

— А вчера он меня хвалил!

Отношение Петрухи не умерило в Илье повышенной самооценки. Он чувствовал себя героем, он понимал, что вел себя у купца лучше, чем вел бы себя другой в таких обстоятельствах.

Месяца через два, после тщетных поисков нового места, у Ильи с дядей завязался такой разговор:

— Да-а!.. — уныло тянул горбун. — Нету местов для тебя... Везде говорят — велик... Как же будем жить, милачок?

А Илья солидно и убедительно говорил:

— Мне пятнадцать лет, я грамотный. А ежели я дерзкий, так меня и с другого места прогонят... все равно!

— Что же делать будем? — опасливо спрашивал Терентий, сидя на своей постели и крепко упираясь в нее руками.

— Вот что: закажи ты мне ящик и купи товару. Мылов, духов, иголок, книжек — всякой всячины!.. И буду я ходить, торговать!

— Что-то я не понимаю этого, Илюша, — у меня трактир в голове, — шумит!.. Тук, тук, тук... Мне слабо думаться стало... И в глазах и в душе все одно... Все — это самое...

В глазах горбуна действительно застыло напряженное выражение, точно он всегда что-то считал и не мог сосчитать.

— Да ты попробуй! Ты пусти меня... — упрашивал его Илья, увлеченный своею мыслью, сулившей ему свободу.

— Ну, господь с тобой! Попробуем!..

— Увидишь, что будет! — радостно вскричал Илья.

— Эх! — глубоко вздохнул Терентий и с тоской заговорил: — Рос бы ты поскорее! Будь-ка ты побольше — охо-хо! Ушел бы я... А то — как якорь ты мне, — из-за тебя стою я в гнилом озере этом... Ушел бы я ко святым угодникам... Сказал бы им: «Угодники божии! Милостивцы и заступники! Согрешил я, окаянный!»

Горбун беззвучно заплакал. Илья понял, о каком грехе говорит дядя, и сам вспомнил этот грех. Сердце у него вздрогнуло. Ему было жалко дядю, и, видя, что все обильнее льются слезы из робких глаз горбуна, он проговорил:

— Ну, не плачь уж... — Замолчал, подумал и утешительно добавил: — Ничего, — простят!..

И вот Илья начал торговать. С утра до вечера он ходил по улицам города с ящиком на груди и, подняв нос кверху, с достоинством поглядывал на людей. Нахлобучив картуз глубоко на голову, он выгибал кадык и кричал молодым, ломким голосом:

— Мыло! Вакса! Шпильки, булавки! Нитки, иголки!

Пестрой, шумной волной текла жизнь вокруг, он плыл в этой волне свободно и легко, толкался на базарах, заходил в трактиры, важно спрашивал себе пару чая и пил

его с белым хлебом долго, солидно, — как человек, знающий себе цену. Жизнь казалась ему простой, легкой, приятной. Его мечты принимали простые и ясные формы: он представлял себя чрез несколько лет хозяином маленькой, чистенькой лавочки, где-нибудь на хорошей, не очень шумной улице города, а в лавке у него — легкий и чистый галантерейный товар, который не пачкает, не портит одежды. Сам он тоже чистый, здоровый, красивый. Все в улице уважают его, девушки смотрят ласковыми глазами. Вечером, закрыв лавку, он сидит в чистой, светлой комнате, пьет чай и читает книжку. Чистота во всем казалась ему необходимым и главным условием порядочной жизни. Так мечталось ему, когда никто не обижал его грубым обращением, ибо с той поры, как он понял себя самостоятельным человеком, он стал чуток и обидчив.

Но когда ему не удавалось ничего продать, и он, усталый, сидел в трактире или где-нибудь на улице, ему вспоминались грубые окрики и толчки полицейских, подозрительное и обидное отношение покупателей, ругательства и насмешки конкурентов, таких же разносчиков, как он, — тогда в нем смутно шевелилось большое, беспокойное чувство. Его глаза раскрывались шире, смотрели глубже в жизнь, а память, богатая впечатлениями, подкладывала их одно за другим в механизм его рассудка. Он ясно видел, что все люди идут к одной с ним цели, — ищут той же спокойной, сытой и чистой жизни, какой хочется и ему. И никто не стесняется оттолкнуть со своей дороги другого, если он мешает ему; все жадны, безжалостны, часто обижают друг друга, не имея в этом надобности, без пользы для себя, только ради удовольствия обидеть человека. Иногда оскорбляют со смехом, и редко кто-нибудь жалеет обиженного...

От этих дум торговля казалась ему скучным делом, мечта о чистой, маленькой лавочке как будто таяла в нем, он чувствовал в груди пустоту, в теле вялость и лень. Ему казалось, что он никогда не выторгует столько денег, сколько нужно для того, чтоб открыть лавочку, и до старости будет шляться по пыльным, жарким улицам с ящиком на груди, с болью в плечах и спине от ремня. Но удача в торговле, вновь возбуждая его бодрость, оживляла мечту.

На одной из бойких улиц города Илья увидал Пашку Грачева. Сын кузнеца шел по тротуару беспечной походкой гуляющего человека, руки его были засунуты в карманы дырявых штанов, на плечах болталась не по росту длинная синяя блуза, тоже рваная и грязная, большие опорки звучно щелкали каблуками по камню панели. Картуз со сломанным козырьком молодецки сдвинут на левое ухо, половину головы пекло солнце, а лицо и шею Пашки покрывал густой налет маслянистой грязи. Он издали узнал Илью, весело кивнул ему головой, но не ускорил шага навстречу ему.

— Каким ты фертотом... — сказал Илья.

Пашка крепко стиснул его руку и засмеялся. Его зубы и глаза блестели под маской грязи весело.

— Как живешь?

— Живем, как можем, есть пища — гложем, нет — попищим, да так и ляжем!.. А я ведь рад, что тебя встретил, чорт те дерит!

— Ты что никогда не придешь? — спросил Илья, улыбаясь. Ему тоже было приятно видеть старого товарища таким веселым и чумазым. Он поглядел на Пашкины опорки, потом на свои новые сапоги, ценою в девять рублей, и самодовольно улыбнулся.

— А я почем знаю, где ты живешь!.. — сказал Грачев.

— Все там, у Филимонова...

— А Яшка говорил, что ты где-то рыбой торгуешь...

Илья с гордостью рассказал Пашке о своей службе у Строганого.

— Ай да наши — чувашаи! — одобрительно воскликнул Грачев. — А я тоже, — из типографии прогнали за озорство, так я к живописцу поступил краски тереть и всякое там... Да, чорт ее, на сырую вывеску сел однажды... ну — начали они меня пороть! Вот пороли, черти! И хозяин, и хозяйка, и мастер... прямо того и жди, что помрут с устатка... Теперь я у водопроводчика работаю. Шесть целковых в месяц... Ходил обедать, а теперь на работу иду...

— Не торопишься.

— А пес с ней! Разве всю ее когда переделаешь? Надо будет зайти к вам...

— Приходи! — дружески сказал Илья.

- Книжки-то читаете?
- Как же! А ты?
- И я клюю помалу...
- А стихи сочиняешь?..
- И стихи...
- Пашка снова весело захохотал.
- Приходи, а? Стихи тащи...
- Приду... Водочки принесу...
- Пьешь?
- Хлещем... Однако — прощай!..
- Прощай! — сказал Илья.

Он пошел своей дорогой, думая о Пашке. Ему казалось странным, что этот оборванный паренек не выказал зависти к его крепким сапогам и чистой одежде, даже как будто не заметил этого. А когда Илья рассказал о своей самостоятельной жизни, — Пашка обрадовался. Илья тревожно подумал: неужели Грачев не хочет того, чего все хотят, — чистой, спокойной, независимой жизни?

Особенно ясно чувствовал Илья грусть и тревогу после посещения церкви. Он редко пропускал обедни и всенощные. Он не молился, а просто стоял где-нибудь в углу и, ни о чем не думая, слушал пение. Люди стояли неподвижно, молча, и было в их молчании единодушие. Волны пения носились по храму вместе с дымом ладана, порой Илье казалось, что и он поднимается вверх, плавает в теплой, ласковой пустоте, теряя себя в ней. Торжественное настроение миротворно веяло на душу, и было в нем что-то совершенно чуждое суете жизни, непримиримое с ее стремлениями. Сначала в душе Ильи это впечатление укладывалось отдельно от обычных впечатлений дня, не смешивалось с ними, не беспокоило юношу. Но потом он заметил, что в сердце его живет нечто, всегда наблюдающее за ним. Оно пугливо скрывается где-то глубоко, оно безмолвно в суете жизни, но в церкви оно растет и вызывает что-то особенное, тревожное, противоречивое его мечтам о чистой жизни. В эти моменты ему всегда вспоминались рассказы об отшельнике Антипе и любовные речи тряпичника:

«Господь все видит, всему меру знает! Кроме его — никого!»

Илья приходил домой полный смутного беспокойства, чувствуя, что его мечта о будущем выцвела и что в нем же самом есть кто-то, не желающий открыть галантерейную лавочку. Но жизнь брала свое, и этот кто-то скрывался в глубь души...

Разговаривая с Яковым обо всем, Илья однако не говорил ему о своем раздвоении. Он и сам думал о нем только по необходимости, никогда своей волей не оставив мысль на этом непонятном ему чувстве.

Вечера он проводил приятно. Возвращаясь из города, шел в подвал к Маше и хозяйским тоном спрашивал:

— Машутка! Как у нас насчет самоварчика?

Самоварчик уже был готов и стоял на столе, курлыкая и посвистывая. Илья всегда приносил с собой чего-нибудь вкусного: баранок, мятных пряников, медовой коврижки, а иногда и варенья паточного, — и Маша любила поить его чаем. Девочка тоже начала зарабатывать деньги: Матица научила ее делать из бумаги цветы, и Маше нравилось составлять из тонких, весело шуршавших бумажек яркие розы. Иногда она зарабатывала до гривенника в день. Ее отец заболел тифом, слишком два месяца пролежал в больнице и пришел оттуда сухой, тонкий, с прекрасными темными кудрями на голове. Он сбрил свою растрепанную, бесшабашную бороденку и, несмотря на желтые, ввалившиеся щеки, казался помолодевшим. По-прежнему он работал у чужих людей и даже ночевать домой являлся редко, предоставив квартиру в полное распоряжение дочери. Она тоже стала звать отца, как все, — Перфишкой. Сапожник забавлялся ее отношением к нему и, видимо, чувствовал уважение к своей кудрявой девочке, умевшей хохотать так же весело, как сам он.

Вечернее чаепитие у Маши вошло в привычку Ильи и Якова. Они пили долго, много, обливаясь потом, разговаривая обо всем, что задевало их. Илья рассказывал о том, что видел в городе, Яков, читавший целыми днями, — о книгах, о скандалах в трактире, жаловался на отца, а иногда — все чаще — говорил нечто такое, что Илье и Маше казалось несуразным, непонятным. Чай был необыкновенно вкусен, а самовар, весь покрытый окисями, имел славную старческую рожу, ласково-хитрую. Почти всегда, когда ребята только что входили во вкус чаепития,

самовар с добродушным ехидством начинал гудеть, ворчать, и в нем не оказывалось воды. Маша хватала его и тащила доливать; каждый вечер ей приходилось делать это по нескольку раз.

Если всходила луна, то и ее луч попадал в компанию детей.

В этой яме, стиснутой полугнилыми стенами, накрытой тяжелым, низким потолком, всегда чувствовался недостаток воздуха, света, но в ней было весело и каждый вечер рождалось много хороших чувств и наивных, юных мыслей.

Иногда при чаепитии присутствовал Перфишка. Обычно он помещался в темном углу комнаты на подмостках около коренастой, осевшей в землю печи или влезал на печь, свешивал оттуда голову, и в сумраке блестели его белые, мелкие зубы. Дочь подавала ему большую кружку чаю, сахар и хлеб; он, посмеиваясь, говорил:

— Покорнейше благодарю, Марья Перфильевна. Чувствительно растрясен!

Иногда он со вздохом зависти восклицал:

— А хорошо вы живете, ребята, чтоб вас дождем размочило! Совсем как люди.

И потом, улыбаясь и вздыхая, рассказывал:

— Житье-то? Все улучшается! Все приятнее жить человеку год от года. Я в ваши года, бывало, только со шпандырем беседы вел. Начнет это он меня по спине гладить, а я от удовольствия вою что есть мочи. Перестанет он — спина обидится, надуется и ноет, по милом друге тоскует. Ну, он долго себя ждать не заставлял, — чувствительный был шпандырь! Только всего и удовольствия видел я, ей-богу! Вот вы теперь вырастете большие и будете все это вспоминать, — разговоры, случаи разные и всю вашу приятную жизнь. А я вот вырос — сорок шестой год мне, — а вспомниги нечего! Ни искры! Совсем нечего вспомнить. Вроде как бы слеп и глух был я в ваши годы. Только и помню, что во рту у меня всегда зубы щелкали с голоду да холоду, на роже синяки росли, — а уж как у меня кости, уши, волосы целы остались — этого я не могу понять. Не били меня, милого, только печкой, а об печку — сколько угодно! Н-да, старались, учили, как веревочку сучили... А хоть меня и били, и кожу

с меня лупили, и кровь сосали, и на пол бросали — русский человек живуч! Хоть толки его в ступе — он все на свое место вступит! Ха-ароший, крепкий человек... Вот я: меня и мололи, и в щепы кололи, а я живу себе кукушкой, порхаю по трактирам, доволен всем миром! Бог меня любит... Раз взглянул на меня, засмеялся, ах, говорит, — такой-сякой! И махнул на меня рукой...

Молодежь, слушая складные речи сапожника, смеялась. И Илья смеялся, но, в то же время, речи Перфишки будили в нем всегда одну и ту же навязчивую мысль. Однажды он с недоверчивой усмешкой спросил сапожника:

— Будто ты ничего и не хочешь?

— Кто говорит? Мне, примерно, всегда выпить хочется...

— Нет, ты правду скажи: ведь хочется чего-нибудь? — настойчиво спросил Илья.

— Вправду? Н-ну, тогда... гармонию бы!.. Ха-арошую бы гармонию желал я иметь... Целковых эдак в двадцать... пять! С-с-с!

Он тихо засмеялся, но тотчас же умолк, что-то сообразил и уже с полным убеждением сказал Илье:

— Нет, брат, и гармония тоже ни к чему мне... Во-первых — дорогую я обязательно пропью! Во-вторых — а вдруг она объявит себя хуже моей? Ведь теперь у меня какая гармония? Ей нет цены! В ней — душа моя квартирует! У меня гармония редкостная, — она, может, одна такая-то и живет на свете... Гармония — как жена... У меня вот жена тоже была — ангел, а не человек! И ежели мне теперь жениться, — как можно? Другую такую, как была, — не найдешь... К новой-то жене — обязательно старую мерку прикинешь, а она окажется уже... и будет оттого и мне и ей хуже!.. Эх, брат, не то ведь хорошо, что хорошо, а то — что люблю!

С похвалами сапожника своей гармонии Илья соглашался. Перфишкин инструмент своей звучностью у всех вызывал единодушное удивление. Но Илья не мог поверить тому, что у сапожника нет никаких желаний. Пред Луневым вставал определенный вопрос: неужели, всю жизнь живя в грязи, гуляя в отрепьях, пьянствуя и умея играть на гармонии, можно не желать ничего лучшего? Эта мысль позволяла ему относиться к Перфишке как

к блажененькому, но в то же время он всегда с интересом и недоверием присматривался к беспечному человеку и чувствовал, что сапожник по душе своей лучше всех людей в этом доме, — хотя он пьяница никчемный...

Иногда молодежь подходила к тем огромным и глубоким вопросам, которые, раскрываясь пред человеком, как бездонные пропасти, властно влекут его пытливый ум и сердце в свою таинственную тьму. Эти вопросы возбуждал Яков. У него образовалась странная привычка: он стал ко всему прижиматься, точно чувствовал себя нетвердым на ногах. Сидя, он или опирался плечом на ближайший предмет, или крепко клал на него руку. Идя по улице быстрым, но неровным шагом, он зачем-то дотрогивался рукою до тумб, точно считал их, или тыкал ею в заборы, как бы пробуя их устойчивость. За чаем у Маши он сидел под окном, прижимаясь спиною к стене, и длинные пальцы его рук всегда цеплялись за стул или за край стола. Склонив набок большую голову, покрытую гладкими и мягкими волосами цвета сырого мочала, он поглядывал на собеседников, и голубые глаза на его бледном лице то прищуривались, то широко открывались. Попрежнему он любил рассказывать свои сны и никогда не мог изложить содержание прочитанной им книжки, не прибавив от себя чего-то странного. Илья уличал его в этом, но Яков не смущался и просто говорил:

— Так, как я рассказывал, — лучше. Ведь это только священное писание нельзя толковать, как хочется, а простые книжки — можно! Людьюми писано, и я — человек. Я могу поправить, если не нравится мне... Нет, ты мне вот что скажи: когда ты спишь — где душа?

— А я почему знаю? — отвечал Илья, не любивший таких вопросов, — они вызывали в нем какую-то неприятную смуту.

— Я думаю, это верно, что она улетает, — объявил Яков.

— Конечно, улетает, — с уверенностью говорила Маша.

— А ты почему знаешь? — строго спрашивал Илья.

— Так...

— Улетает, — задумчиво улыбаясь, говорил Яков. — Ей тоже отдохнуть надо... Оттого и — сны...

Не зная, что сказать на это, Илья молчал, хотя всегда чувствовал в себе сильное желание возражать товарищу. И все молчали некоторое время, иногда несколько минут. В темной яме становилось как будто еще темнее. Коптила лампа, пахло углями из самовара, долетал глухой, странный шум: гудел и выл трактир, там, наверху. И снова раздавался тихий голос Якова:

— Шумят люди... работают и все такое. Говорится — живут. Потом — хлоп! Человек умер... Что это значит? Ты, Илья, как думаешь, а?

— Ничего не значит... Пришла старость, надо умирать...

— Умирают и молодые и дети... Умирают здоровые.

— Значит, не здоровы, коли умирают...

— А зачем живут все?

— Повез! — насмешливо восклицал Илья. — Затем и живут, чтобы жить. Работают, добиваются удачи. Всякий хочет хорошо жить, ищет случая в люди выйти. Все ищут случаев таких, чтобы разбогатеть да жить чисто...

— Так это — бедные. А богатые? У них все есть... Им чего искать?

— Ну, голова! Богатые! Коли их не будет — на кого бедным работать?

Яков подумал и спросил:

— Значит, все для работы живут, по-твоему?

— Ну да... Не совсем — все... Одни — работают, а другие просто так. Они уж наработали, накопили денег... и живут.

— А зачем?

— Да — чорт! Хочется им, или — нет? Ведь тебе жить хочется? — кричал Илья, сердясь на товарища. Но ему было бы трудно ответить, почему он сердится: потому ли, что Яков спрашивает о таких вещах, или потому, что он плохо спрашивает?

— Ты зачем живешь, — ну? — кричал он товарищу.

— Вот я и не знаю! — покорно говорил Яков. — Я бы и умер... Страшно... а все-таки — любопытно...

И вдруг он начинал говорить голосом ласковым и упрекающим:

— Ты сердишься, а — напрасно. Ты подумай: люди живут для работы, а работа для них... а они? Выходит —

колесо... Вертится, вертится, а все на одном месте. И непонятно, — зачем? И где бог? Ведь вот она, ось-то, — бог! Сказано им Адаму и Еве: плодитесь, множьтесь и населяйте землю, — а зачем?

И, наклоняясь к товарищу, Яков таинственным шопотом, с испугом в голубых глазах сказал:

— Знаешь что? Было и это сказано, сказано было — зачем? А кто-нибудь ограбил бога, — украл и спрятал объяснение-то... И это сатана! Кто другой? Сатана! Оттого никто и не знает — зачем?

Илья слушал бессвязную речь товарища, чувствовал, что она захватывает его, и молчал.

А Яков говорил все торопливее, тише, глаза у него выкатывались, на бледном лице дрожал страх, и ничего нельзя было понять в его словах.

— Чего бог от тебя хочет — знаешь? Ага?! — вдруг выделялось из потока произносимых им слов торжествующее восклицание. И снова из его уст сыпались бессвязные слова. Маша смотрела на своего друга и покровителя, удивленно раскрыв рот. Илья сердито хмурил брови. Ему было обидно не понимать. Он считал себя умнее Якова, но Яков поражал его своей удивительной памятью и умением говорить о разных премудростях. Уставши слушать и молчать, чувствуя, что у него в голове вырос тяжелый туман, он, наконец, сердито прерывал оратора:

— Ну те к чорту! Зачитался ты, сам ничего не понимаешь...

— Да я же про то и говорю, что ничего не понимаю! — с удивлением восклицал Яков.

— Так прямо и говори: не понимаю! А то лопочешь, как сумасшедший... А я его — слушай!

— Нет, ты погоди! — не отставал Яков. — Ведь ничего и нельзя понять... Примерно... вот тебе лампа. Огонь. Откуда он? Вдруг — есть, вдруг — нет! Чиркнул спичку — горит... Стало быть — он всегда есть... В воздухе, что ли, летает он невидимо?

Илью снова захватил этот вопрос. Пренебрежительное выражение сползло с его лица, он посмотрел на лампу и сказал:

— Кабы в воздухе он был, — тепло всегда было бы, а спичку и на морозе зажжешь... Значит, не в воздухе...

— А где? — с надеждой глядя на товарища, спросил Яков.

— В спичке, — подала голос Маша.

Но в разговорах товарищей о премудростях бытия голос девочки всегда пропадал без ответа. Она уже привыкла к этому и не обижалась.

— Где? — вновь с раздражением кричал Илья. — Я не знаю. И знать не хочу! Знаю, что руку в него нельзя совать, а греться около него можно. Вот и все.

— Ишь ты какой! — воодушевленно и негодуя говорил Яков. — «Знать не хочу!» Эдак-то и я скажу, и всякий дурак... Нет, ты объясни — откуда огонь? О хлебе я не спрошу, тут все видно: от зерна — зерно, из зерна — мука, из муки — тесто, и — готово! А как человек родится?

Илья с удивлением и завистью смотрел на большую голову товарища. Иногда, чувствуя себя забитым его вопросами, он вскакивал с места и произносил суровые речи. Плотный и широкий, он почему-то всегда в этих случаях отходил к печке, опирался на нее плечами и, взмахивая курчавой головой, говорил, твердо отчеканивая слова:

— Несуразный ты человек, вот что! И все это у тебя от безделья в голову лезет. Что твое жите? Стоять за буфетом — не велика важность. Ты и прстоишь всю жизнь столбом. А вот походил бы по городу, как я, с утра до вечера, каждый день, да поискал сам себе удачи, тогда о пустяках не думал бы... а о том, как в люди выйти, как случай свой поймать. Оттого у тебя и голова большая, что пустяки в ней топорщатся. Дельные-то мысли — маленькие, от них голова не вспухнет...

Яков слушал его и молчал, согнувшись на стуле, крепко держась за что-нибудь руками. Иногда его губы беззвучно шевелились, глаза ушащенно мигали.

А когда Илья, кончив говорить, садился за стол, Яков снова начинал философствовать:

— Говорят, есть книга, — наука, — черная магия, и в ней все объяснено... Вот бы найти книгу такую да прочитать... Наверно — страшно!

Маша пересаживалась от стола на свою постель и оттуда смотрела черными глазами то на одного, то на другого. Потом она начинала позевывать, покачиваться, наконец, сваливалась на подушку.

— Ну, спать пора! — говорил Илья.

— Погоди... вот я Машутку укрою да огонь погашу.

Но, видя, что Илья уже протянул руку и хочет отворять дверь, Яков торопливо и жалобно попросил:

— Да погоди-и! Я боюсь один, — темно!..

— Эхма! — презрительно воскликнул Лунев. — Шестнадцать лет тебе, а все ты еще младенец. Как это я ничего не боюсь, а? Хоть чорта встречу — не охну!

Яков молча суеился около Маши, потом торопливо дул на огонь лампы. Огонь вздрагивал, исчезал, и в комнате отовсюду бесшумно вторгалась тьма. Иногда, впрочем, через окно на пол ласково опускался луч луны.

Однажды в праздник Лунев пришел домой бледный, со стиснутыми зубами и, не раздеваясь, свалился на постель. В груди у него холодным комом лежала злоба, тупая боль в шее не позволяла двигать головой, и казалось, что все его тело ноет от нанесенной обиды.

Утром этого дня полицейский, за кусок яичного мыла и дюжину крючков, разрешил ему стоять с товаром около цирка, в котором давалось дневное представление, и Илья свободно расположился у входа в цирк. Но пришел помощник частного пристава, ударил его по шее, пнул ногой козлы, на которых стоял ящик, — товар рассыпался по земле, несколько вещей попортилось, упав в грязь, иные пропали. Подбирая с земли товар, Илья сказал помощнику:

— Это незаконно, ваше благородие...

— Ка-ак?.. — расправив рыжие усы, спросил обидчик.

— Драться нельзя...

— Да? Мигунов! Отведи его в часть! — спокойно приказал помощник.

И тот же полицейский, который позволил Илье стоять у цирка, отвел его в часть, где Лунев и просидел до вечера.

Столкновения с полицией бывали у Лунева и раньше, но в части он сидел еще впервые и первый раз ощущал в себе так много обиды и злобы.

Лежа на кровати, он закрыл глаза и весь сосредоточился на ощущении мучительно тоскливой тяжести

в груди. За стеной в трактире колыбался шум и гул, точно быстрые и мутные ручьи текли с горы в туманный день осени. Гремело железо подносов, дребезжала посуда, отдельные голоса громко требовали водки, чаю, пива... Половые кричали:

— Сичас!

И, прорезывая шум дрожащей стальной нитью, высокий горловой голос грустно пел:

Я-а не ча-ял... тебя измыкати...

Другой, басовой и звучный, утопая в хаосе звуков, подпевал негромко и красиво:

А-ах, измыкал я-а... сво-ою мо-лодо-ость.

Кто-то закричал так, точно горло у него было деревянное, высохшее, с трещинами:

— Вр-решь! Сказано: «Яко соблюл еси слово терпения моего, и аз тя соблюду в годину искушения»...

— Сам врешь, — отчетливо и горячо возражали ему, — там же сказано: «Понеже тепл еси, а не студен еси, ниже горящ — имам ти изbleвати из уст моих»... вот! Что, взял?..

Раздался громкий хохот, и за ним посыпалась визгливая дробь:

— А я ее — по личику, а я ее — по нежному! да в ухо ей, да в зубы ей! раз, раз, раз!

Хохотали, а визгливый голос, захлебываясь, продолжал:

— Она — хлясь оземь! А я ее опять в рожицу, опять в милую! Н-на! Я первый целовал, я и изуродую...

— На-ачетчик! — насмешливо воскликнул кто-то.

— Нет, я буду горячиться!

— «Аз люблю, обличаю и наказую»... забыл?.. И еще: «не суди, да не судим будеши»... Опять же — Давида-царя слова — забыл?

Илья слушал спор, песню, хохот, но все это падало куда-то мимо него и не будило в нем мысли. Пред ним во тьме плавало худое, горбоносое лицо помощника частного пристава, на лице этом блестели злые глаза и двигались рыжие усы. Он смотрел на это лицо и все крепче стискивал зубы. Но песня за стеной росла, певцы вооду-

шевлились, их голоса звучали смелее и громче, жалобные звуки нашли дорогу в грудь Ильи и коснулись там ледяного кома злобы и обиды.

Изоше-ол я, добрый молодец..
Эх, со устья до-о вершинушки...

И оба голоса слились в жалобу:

Всю сиби-ирскую сто-оронушку,
Да все искал домой до-оро-женьку...

Илья вздохнул, вслушиваясь в грустные слова. В густом шуме трактира они блестели, как маленькие звезды в небе среди облаков. Облака плывут быстро, и звезды то вспыхивают, то исчезают...

Ой, изжевал язык я с го-олоду,
Да изболели ко-ости с хо-олоду...

Илья подумал, что вот поют эти люди, хорошо поют, так, что песня за душу берет. А потом они напьются водки и, может быть, станут драться... Ненадолго хватает в человеке хорошего...

Эх! ты судьба ли мо-оя че-орная...

— жаловался высокий голос.

Бас сильно и густо запел:

Ты как ноша мне чу-гун-на-ая...

Память Ильи вызвала из прошлого образ деда Еремея. Старик говорил, потрясая головой, со слезами на щеках:

— Глядел я, глядел, а правды не видал...

Илья подумал, что вот дедушка Еремей бога любил и потихоньку копил деньги. А дядя Терентий бога боится, но деньги украл. Все люди всегда как-то дwoятся сами в себе. В грудях у них словно весы, и сердце их, как стрела весов, наклоняется то в одну, то в другую сторону, взвешивая тяжести хорошего и плохого.

— Ага-а! — рявкнул кто-то в трактире. И вслед за тем что-то упало, с такой силой ударившись о пол, что даже кровать под Илей вздрогнула.

— Стой!.. Ба-атюшки...

— Держи его...

— Кра-у-ул...

Шум сразу усилился, закипел, родилась масса новых звуков, все они завертелись, завывли, затрепетали в воздухе, сцепившись друг с другом, как стая злых и голодных собак.

Илья с удовольствием слушал, ему было приятно, что случилось именно то, чего он ожидал, и подтверждает его мысли о людях. Он закинул руки под голову и вновь отдал себя во власть думам.

«...А должно быть, велик грех совершил дед Антипа, если восемь лет кряду молча отмаливал его... И люди всё простили ему, говорили о нем с уважением, называли праведным... Но детей его погубили. Одного загнали в Сибирь, другого выжили из деревни...»

«Тут особый счет надобен! — вспомнились Илье внушительные слова купца Строганого. — Ежели один честен, а девять — подлецы, никто не выигрывает, а человек пропадет... Которых больше, те и правы...»

Илья усмехнулся. В груди его холодной змеей шевелилось злое чувство к людям. А память все выдвигала пред ним знакомые образы. Большая, неуклюжая Матица валялась в грязи среди двора и стонала:

— Ма-атинко!.. Ма-атинко ридна! Коли б ты минн ба-ачила!

Пьяненький Перфишка стоял около нее, покачиваясь на ногах, и укоризненно говорил:

— Нажралась! С-свинья...

А с крыльца смотрел на них, презрительно улыбаясь, Петруха, здоровый, румяный.

Скандал в трактире кончился. Три голоса — два женских и мужской — пытались запеть песню, — она не удалась им. Кто-то принес гармонию, поиграл на ней немного и нехорошо, потом замолк.

Раздался звонкий голос Перфишки, покрывая весь шум в трактире. Сапожник певучей скороговоркой кричал:

— И-эх, лей, кубышка, поливай, кубышка, не жалей, кубышка, хозяйского добришка! Будем пить, будем баб любить, будем по миру ходить! С миру по нитке —

бедному петля! А от той петли избавишься — на своих жилах удавишься...

Раздался веселый хохот, крики одобрения...

Илья встал, вышел на двор и остановился на крыльце, полный желания уйти куда-нибудь и не зная, — куда идти? Было уже поздно; Маша спала; Яков угорел и лежал у себя дома, куда Илья не любил ходить, потому что Петруха всегда при виде его неприятно двигал бровями. Дул холодный ветер осени. Густая, почти черная тьма наполняла двор, неба не было видно. Все постройки на дворе казались большими кусками сгущенной ветром тьмы. В сыром воздухе что-то хлопало, шелестело, был слышен тихий, странный шопот, напоминающий людские жалобы на жизнь. Ветер бросался на грудь Ильи, крепко дул ему в лицо, дышал холодом за ворот... Илья вздрагивал, думая о том, что так жить совсем нельзя, нельзя! Надо уйти куда-нибудь от всей этой грязной суеты и склоки, надо жить одному, чисто, тихо...

— Это кто стоит? — вдруг раздался глухой голос.

— А кто говорит?

— Я... Матица...

— А ты где тут?

— На дровах сажу...

— Чего?

— Так...

И оба замолчали...

— А сегодня мати моей година, — сообщила Матица из тьмы.

— Давно померла? — спросил Илья, чтобы сказать что-нибудь.

— Давно-о... лег с пятнадцать... А то больше... А твоя жива?

— Нет... тоже померла... Тебе который же год?

Матица помолчала и ответила со свистом:

— С-с-тридцать уж... Болит у меня нога вот... Вспухла, как дыня, и болит... Я же ее терла, терла всяким — не помогает.

Кто-то отворил дверь трактира; оттуда на двор вырвалась стая громких звуков. Ветер подхватил их и рассеял во тьме.

— Ты чего тут стоишь? — спросила Матица.

— Так... Скушно стало...

— Как я... Там у меня, как в гроби.

Илья услышал тяжелый вздох. Потом Матица сказала ему:

— Пойдем ко мне?

Илья взглянул по направлению голоса женщины и равнодушно ответил:

— Пойдем...

По лестнице на чердак Матица шла впереди Ильи. Она становила на ступеньки сначала правую ногу и потом, густо вздыхая, медленно поднимала вверх левую. Илья шел за нею без мысли и тоже медленно, точно тяжесть скуки мешала ему подниматься так же, как боль — Матице.

Комната женщины была узкая, длинная, а потолок ее действительно имел форму крышки гроба. Около двери помещалась печка-голландка, у стены, опираясь в печку, спинкой, стояла широкая кровать, против кровати — стол и два стула по бокам его. Еще один стул стоял у окна, — оно было темным пятном на серой стене. Здесь шум и вой ветра были слышнее. Илья сел на стул у окна, оглядел стены и, заметив маленький образок в углу, спросил:

— Это какой образ?

— Святая Анна... — почтительно и тихо сказала Матица.

— А тебя как зовут?

— Тоже Анна... Не знал?

— Нет...

— Никто не знает, — сказала Матица, тяжело усаживаясь на кровать. Илья смотрел на нее, но не чувствовал желания говорить. Женщина тоже молчала. Так, молча, они сидели долго, минуты три, каждый из них точно не замечал присутствия другого. Наконец, женщина спросила:

— Ну, — что же мы будем делать?

— Не знаю... — ответил Илья.

— Ну еще бы! — недоверчиво усмехаясь, воскликнула женщина. — А ты угости меня. Купи пару пива... Нет, вот что — купи ты мне есть!.. Ничего не надо, а только есть...

Голос у нее перехватил, она кашлянула и виновато продолжала:

— Видишь ли... Как заболела нога, то не стало у меня дохода... Не выхожу... А все уж прожила... Пятый день сижу вот так... Вчера уж и не ела почти, а сегодня просто совсем не ела... ей-богу, правда!

Тут только Илья вспомнил, что Матица — гулящая. Он пристально взглянул в ее большое лицо и увидал, что черные глаза ее немножко улыбаются, а губы так шевелятся, точно она сосет что-то невидимое... В нем вспыхнуло ощущение неловкости пред нею и особенного смутного интереса к ней.

— Сейчас я принесу...

Он быстро встал, торопливо сбежал по лестнице в сени трактира и остановился перед дверью в кухню. Ему вдруг не захотелось возвращаться на чердак. Но это нежелание блеснуло в скучной тьме его души, как искра, и тотчас же угасло. Он вошел в кухню, купил у повара на гривенник обрезков вареного мяса, кусков хлеба и еще остатков чего-то съедобного. Повар сложил все это в засаленное решето, Илья взял его в обе руки, как блюдо, и, выйдя в сени, снова остановился, озабоченный мыслью о том, как достать пива. Самому купить в буфете нельзя — Терентий спросил бы, зачем это ему? Он вызвал из кухни посудника и попросил его купить. Посудник сбежал в буфет, пришел, молча ткнул ему бутылки и схватился за ручку двери в кухню.

— Постой! — сказал Илья. — Это не мне... Это — товарищ пришел...

— Что? — спросил посудник.

— Товарища я угощаю...

— Ага... ну так что?

Илья почувствовал, что лгать было не нужно, и ему стало неловко. Наверх он шел не торопясь, чутко прислушиваясь ко всему, точно ожидая, что кто-то остановит его. Но, кроме шума ветра, ничего не было слышно, никто не остановил юношу, и он внес на чердак к женщине вполне ясное ему, похотливое, хотя еще робкое чувство.

Матица, поставив решето себе на колени, молча вытаскивала из него большими пальцами серые куски пищи, клала их в широко открытый рот и громко чавкала. Зубы у нее были крупные, острые. И перед тем, как дать им

кусок, она внимательно оглядывала его со всех сторон, точно искала в нем наиболее вкусные местечки.

Илья упорно смотрел на женщину, думая о том, как он обнимет ее, и боялся, что он не сумеет сделать этого, а она насмеется над ним. От этой мысли его бросало в жар и холод.

Ветер, залетая через слуховое окно на чердак, торкался в дверь комнаты, и каждый раз, когда дверь сотрясалась, Илья вздрагивал, ожидая, что вот сейчас войдет кто-то и застанет его тут...

— Я запру дверь? — сказал он.

Матица молча кивнула головой, составила решето на лежанку, перекрестилась.

— Слава тебе, святой, — вот и сытая стала баба! Ой, немного же надо человеку!

Илья промолчал. Женщина поглядела на него, вздохнула и сказала еще:

— А кто много хочет, с того много и спросят...

— Кто спросит? — отозвался Илья.

— А бог?

Илья снова не ответил ей. Имя божие в ее устах породило в нем острое, но неясное, неуловимое словом чувство, и оно противоречило его желанию обнять эту женщину. Матица уперлась руками в постель, приподняла свое большое тело и подвинула его к стене. Потом она заговорила равнодушно, каким-то деревянным голосом:

— Ела я и все думала про Перфишкину дочку... Давно я о ней думаю... Живет она с вами — тобой да Яковом, — не будет ей от того добра, думаю я... Испортите вы девочку раньше время, и пойдет она тогда моей дорогой... А моя дорога — поганая и проклятая... не ходят по ней бабы и девки, а, как черви, ползут...

Она помолчала и заговорила снова, разглядывая свои руки, лежавшие на коленях у нее:

— Скоро уже девочка вырастет. Я спрашивала каких знакомых кухарок и других баб — нет ли места где для девочки? Нет ей места, говорят... Говорят — продай!.. Так ей будет лучше... дадут ей денег и оденут... дадут и квартиру... Это бывает, бывает... Иной богатый, когда он уже станет хилым на тело да поганеньким и уже не любят его бабы даром... то вот такой мерзюга покупает себе

девочку... Может, это и хорошо ей... а все же противно должно быть сначала... Лучше бы без этого... Лучше уж жить ей голодной, да чистой, чем...

Она закашлялась, точно поперхнувшись каким-то словом, но тем же равнодушным голосом закончила:

— Чем и поганой и голодной...

Ветер все летал по чердаку, дерзко торкался в дверь.

Равнодушный голос женщины и ее тяжелая, неподвижная фигура не позволяли чувству Ильи развиваться и внушить юноше храбрость, необходимую для выражения его желания. Матица как бы отталкивала его все дальше, он замечал это и раздражался против нее...

— Боже, боже мой! — тихонько вздохнув, сказала женщина. — Святая мати!..

Илья сердито двинулся на стуле и угрюмым голосом заговорил:

— Называешь себя поганой, а сама все — бог, бог! Думаешь, ему это нужно от тебя?

Магица взглянула на него, помолчала и качнула головой.

— Не понимаю твоей речи...

— Понимать тут нечего! — продолжал Илья, встав со стула. — Блудите, блудите — а потом бог! Коли бог — так не блуди...

— Ой! — беспокойно воскликнула женщина. — Что это? Кто же будет о боге помнить, как не грешные?

— Уж я не знаю — кто! — молвил Илья, чувствуя прилив неукротимого желания обидеть эту женщину и всех людей. — Знаю, что не вам о нем говорить, да! Не вам! Вы им только друг от друга прикрываетесь... Не маленький... вижу я. Все ноют, жалуются... а зачем пакостничают? Зачем друг друга обманывают, грабят?.. Согрешит, да и за угол! Господи, помилуй! Понимаю я... обманщики, черти! И сами себя и бога обманываете!..

Матица смотрела на него молча, открыв рот и вытянув шею, в глазах ее было тупое удивление. Илья подошел к двери, резким движением сорвал крючок и вышел вон, сильно хлопнув. Он чувствовал, что жестоко обидел Матицу, и это было приятно ему, и на сердце стало легче и в голове ясней. Спускаясь с лестницы твердыми шагами, он свистал сквозь зубы, а злоба все подсказывала ему

обидные, крепкие, камням подобные слова. Казалось ему, что все эти слова раскалены, освещают тьму внутри его и показывают ему дорогу в сторону от людей. Уже он говорил свои слова не одной Матице, а и дяде Терентию, Петрухе, купцу Строганому — всем людям.

«Так-то вот! — выйдя на двор, думал он. — Нечего с вами церемониться, — сволочь!..»

Вскоре после посещения Матицы Илья начал ходить к женщинам. Первый раз это случилось так: однажды вечером он шел домой, а какая-то женщина и сказала ему:

— Пойдем?

Он взглянул на нее и молча пошел рядом с нею. Но идя, он наклонил голову и все оглядывался кругом, боясь встретить знакомого. Через несколько шагов женщина еще сказала предупреждающим голосом:

— Смотри — целковый.

— Ладно! — сказал Илья. — Идем скорее...

И вплоть до квартиры женщины они шли молча. Вот и все...

Но знакомство с женщинами сразу повело к большим расходам, и все чаще Илья думал о том, что его торговля — пустая трата времени, не даст она ему возможности устроить чистую жизнь. Одно время он хотел, по примеру других разносчиков, заняться лотереей и обманывать публику, как все разносчики. Но, подумав, нашел эту затею мелкой и хлопотливой. Пришлось бы прятаться от городских или заискивать у них и платить им, — это было противно Илье. Он любил смотреть всем в глаза прямо и смело и чувствовал острое удовольствие оттого, что всегда был одет опрятнее других разносчиков, не пил водки и не жульничал. Ходил он по улицам не торопясь, степенно, его скуластое лицо было сухо и серьезно; разговаривая, он прищуривал свои темные глаза, говорил немного, обдуманно. Часто он мечтал о том, как хорошо было бы найти денег рублей тысячу или больше. Рассказы о кражах возбуждали в нем жгучий интерес: он покупал газету, внимательно читал о подробностях кражи и долго потом следил, — нашли воров или нет? А когда их находили, Илья сердился и осуждал их, говоря Якову:

— Попались, болваны!.. Уж не брались бы, коли не умеют, — черти!

Как-то вечером он сказал Якову:

— Жулики лучше живут, честные — хуже!

Лицо Якова напряглось, глаза прищурились, и он сказал тем пониженным, таинственным голосом, которым всегда говорил о мудрых вещах:

— Позапрошлый раз в трактире дядя твой чай пил с каким-то старичком, — начетчиком, должно быть. Старичок говорил, будто в библии сказано: «покойны дома у грабителей и безопасны у раздражающих бога, которые как бы бога несут на руках своих...»

— А — не врешь ты? — спросил Илья, внимательно прослушав товарища.

— Не мои слова... — разводя руками, словно нащупывая что-то в воздухе, продолжал Яков. — В библии сказано... может, он и сам выдумал, старикишка-то... Переспросил я его... повторяет в одно слово...

И, наклоняясь к Илье, он сказал:

— Взять, к примеру, отца моего... Покоен! А бога раздражает...

— Еще как! — воскликнул Илья.

— В гласные его выбрали...

Яков опустил голову, тяжело вздохнул и добавил:

— Надо бы, чтобы каждое человеческое дело перед совестью кругло было, как яичко, а тут... Тошно мне. . . Ничего не понимаю... Сноровки к жизни у меня нету, приверженности к трактиру я не чувствую... А отец — все долбит... «Будет, говорит, тебе шематонить, возмись за ум, — дело делай!» Какое? Торгую я за буфетом, когда Терентия нет... Противно мне, но я терплю... А от себя что-нибудь делать — не могу...

— Надо учиться! — солидно сказал Илья.

— Трудно жить... — тихо молвил Яков.

— Трудно? Тебе? Врешь ты! — вскричал Илья, вскочив с кровати и подходя к товарищу, сидевшему под окном. — Мне — трудно, да! Ты — что? Отец состарится — хозяин будешь... А я? Иду по улице, в магазинах вижу брюки, жилетки... часы и все такое... Мне таких брюк не носить... таких часов не иметь, — понял? А мне — хочется... Я хочу, чтобы меня уважали... Чем я хуже других? Я — лучше! А жулики предо мной кичатся, их в гласные выбирают! Они дома имеют, трак-

тиры... Почему жулику счастье, а мне нет его? Я тоже хочу...

Яков поглядел на товарища и вдруг тихо, но внятно сказал:

— Не дай бог тебе удачи!

— Что? Почему? — вскричал Илья, остановившись среди комнаты и возбужденно глядя на Якова.

— Жаден ты, — ничем тебя не успокоишь, — объяснил тот.

Илья засмеялся сухо и со злобой.

— Не успокоишь? Ты скажи-ка отцу своему, чтоб он дал мне хоть половину тех денег, что у дедушки Еремея вместе с моим дядей они выкрали, — я и успокоюсь, — да!

Но тут Яков встал со стула и, опустив голову, тихо пошел к двери. Илья видел, что плечи у него вздрагивают и шея так согнута, точно Якова больно ударили по ней.

— Погоди! — смущенно сказал Илья, взяв товарища за руку. — Куда ты?

— Пусти, брат, — почти шопотом молвил Яков, но остановился и взглянул на Илью. Лицо у него было бледное, губы плотно сжаты, и весь он как-то размяк, точно его раздавило...

— Ну... погоди! — виновато просил Илья, осторожно отводя его от двери. — Ты не сердись на меня. Правда ведь...

— Я знаю, — сказал Яков.

— Знаешь? Кто сказал?

— Все говорят...

— Н-да-а... Но ведь и говорят — тоже жулики!

Яков взглянул на него жалобными глазами и вздохнул.

— Не верил я, — думал, со зла говорят, из зависти. Потом — стал верить... А коли и ты, — значит...

Он махнул рукой, отвернулся от товарища и замер неподвижно, крепко упираясь руками в сиденье стула и опустив голову на грудь. Илья отошел от него, сел на кровать в такой же позе, как Яков, и молчал, не зная, что сказать в утешение другу.

— Вот тут и живи, — вполголоса сказал Яков.

— Да-а, — отозвался Илья в тон ему. — Я, брат, понимаю — нехорошо тебе. Одно утешенье — все таковы, как поглядишь...

— Ты верно про то знаешь? — робко спросил Яков, не глядя на товарища.

— Помнишь — убежал я? Видел в щель, как они подушку зашивали... а он хрипел еще...

Яков повел плечами, встал и пошел к двери, сказав Илье:

— Прощай...

— Прощай. Ты не того... не очень грусти... что делаешь?

— Я — ничего... — отозвался Яков, отворяя дверь.

Илья проводил его глазами и тяжело свалился на постель. Ему было жалко Якова, и в нем снова вспыхнула злоба на дядю и Петруху, на всех людей. Среди них нельзя жить такому человеку, как Яков, а Яков был хороший человек, добрый, тихий, чистый. Илья думал о людях, память подсказывала ему разные случаи, рисовавшие людей злыми, жестокими, лживыми. Он много знал таких случаев, и ему легко было забрызгивать людей желчью и грязью воспоминаний. Чем темнее становились они пред ним, тем тяжелей было ему дышать от странного чувства, в котором была и тоска о чем-то, и злорадство, и страх от сознания своего одиночества в этой черной, печальной жизни, что крутилась вокруг него бесшумным вихрем...

Когда, наконец, у него не стало больше терпения лежать одиноко в маленькой комнатке, сквозь доски стен которой просачивались мутные и пахучие звуки из трактира, он встал и пошел гулять. Долго в эту ночь он ходил по улицам города, нося с собой неотвязную и несложную, тяжелую думу свою. Ходил во тьме и думал, что за ним точно следит кто-то, враг ему, и неосшутимо толкает его туда, где хуже, скучнее, показывает ему только такое, от чего душа болит тоской и в сердце зарождается злоба. Ведь есть же на свете хорошее, — хорошие люди, и случаи, и веселье? Почему он не видит их, а всюду сталкивается только с дурным и скучным? Кто направляет его всегда на темное, грязное и злое?

Он шел во власти этих дум полем около каменной ограды загородного монастыря и смотрел вперед себя. Навстречу ему из темной дали тяжело и медленно двигались тучи. Кое-где во тьме над его головой, среди туч,

проблескивали голубые пятна небес, на них тихо сверкали маленькие звезды. В тишину ночи изредка вливался певучий медный звук сторожевого колокола монастырской церкви, и это было единственное движение в мертвой тишине, обнимавшей землю. Даже из темной массы городских зданий, сзади Ильи, не долетало до поля шума жизни, хотя еще было не поздно. Ночь была морозная; Илья шел и спотыкался о мерзлую грязь. Жуткое ощущение одиночества и боязнь, рожденная думами, останавливали его. Он прислонился спиной к холодному камню монастырской ограды, упорно думая, кто водит его по жизни, кто толкает на него все дурное ее, все тяжкое?

«Ты это, господи?» — вспыхнул в душе Ильи яркий вопрос.

Холодный ужас дрожью пробежал по телу его; охваченный предчувствием чего-то страшного, он оторвался от стены и торопливыми шагами, спотыкаясь, пошел в город, боясь оглянуться, плотно прижимая руки свои к телу.

Через несколько дней после этого Илья встретил Пашку Грачева. Был вечер; в воздухе лениво кружились мелкие снежинки, сверкая в огнях фонарей. Несмотря на холод, Павел был одет только в бумазейную рубаху, без пояса. Шел он медленно, опустив голову на грудь, засунув руки в карманы, согнувши спину, точно искал чего-то на своей дороге. Когда Илья поравнялся с ним и окликнул его, он поднял голову, взглянул в лицо Ильи и равнодушно молвил:

— А!

— Как живешь? — спросил Илья, идя рядом с ним.

— Надо бы хуже, да — нельзя... Ты как?

— Н-ничего...

— Тоже, видно, не сладко...

Помолчали, идя рядом и касаясь один другого локтями.

— Что к нам не придешь? — сказал Илья.

— Все некогда... Свободного-то время не больно нам много отпущено, сам знаешь...

— Нашлось бы, коли захотел... — с упреком сказал Илья.

— А ты не сердись... Меня зовешь, а сам ни разу и не спросил, где я живу, не то, чтобы придти ко мне...

— А ведь верно! — воскликнул Илья с улыбкой.

Павел взглянул на него и заговорил более оживленно:

— Я один живу, товарищей нет, — не встречаются по душе. Хворал, почти три месяца в больнице валялся, — никто не пришел за все время...

— Чем хворал?

— Пьяный простудился... Брюшной тиф был... Выздоровливать стал — мука! Один лежишь весь день, всю ночь... и кажется тебе, что ты и нем и слеп... брошен в яму, как кутенок. Спасибо доктору... книжки всё давал мне... а то с тоски издох бы я...

— Книжки-то хорошие? — спросил Лунев.

— Да-а, хороши! Стихи читал я — Лермонтова, Некрасова, Пушкина... Бывало, читаю, как молоко пью. Есть, брат, стихи такие, — читаешь — словно милая целует. А иной раз стих хлыстнет тебя по сердцу, как искру высечет: вспыхнешь весь...

— А я отвыкать стал от книг, — вздохнув, сказал Илья. — Читаешь — одно, глядишь — другое...

— То и хорошо... Зайдем в трактир? Посидим, потолкуем... Мне надо в одно место, да еще рано...

— Пойдем! — согласился Илья и дружески взял Павла за руку. Тот опять взглянул в лицо ему, улыбнулся и сказал:

— Никогда у нас с тобой особой дружбы не было, а встречать тебя мне приятно...

— Ну, не знаю, приятно ли тебе... А мне — да!

— Эх, брат! — прервал Павел его речь. — Догнал ты меня, когда я о таких делах думал, — лучше не вспоминать! — Махнув рукой, он замолчал и пошел медленнее.

Они зашли в первый попавшийся на пути трактир, сели там в уголок, спросили себе пива. При свете ламп Илья увидал, что лицо Павла похудело и осунулось, глаза у него беспокойны, а губы, раньше насмешливо полуоткрытые, теперь плотно сомкнулись.

- Ты где работаешь? — спросил он Грачева.
- Опять в типографии, — невесело сказал Павел.
- Трудно?
- Не работа ест, — забота.

Илья чувствовал смутное удовольствие, видя веселого и бойкого Пашку унылым и озабоченным. Ему хотелось узнать, что так изменило Павла, и он, усиленно подливая пива в стакан ему, выпрашивал:

— Стихи-то сочиняешь?

— Теперь — бросил, а раньше много сочинял. Показывал доктору — хвалит. Одни он даже в газете напечатал...

— Ого! — воскликнул Илья. — Какие же стихи? Ну-ка, скажи!

Горячее любопытство Ильи и несколько стаканов пива оживили Грачева. Его глаза вспыхнули, и на желтых щеках загорелся румянец.

— Какие? — переспросил он, крепко потирая лоб рукой. — Забыл я. Ей-богу, забыл! погоди, может, вспомню. У меня их всегда в башке — как пчел в улье... так и жужжат! Иной раз начну сочинять, так разгорячусь даже... Кипит в душе, слезы на глаза выступают... хочется рассказать про это гладко, а слов нет... — Он вздохнул и, потрянув головой, добавил: — В душе замешано густо, а выложишь на бумагу — пусто...

— Ты мне скажи какие-нибудь! — попросил Илья. Чем больше он присматривался к Павлу, тем сильнее росло его любопытство, и понемножку к любопытству этому примешивалось хорошее, теплое и грустное чувство.

— Я смешные сочиняю — про свою жизнь, — сказал Грачев, смущенно улыбаясь. Оглянувшись вокруг, кашлянул и вполголоса начал говорить, не глядя в лицо товарища:

Ночь... Тошно! Сквозь тусклые стекла окна
 Мне в комнату луч свой бросает луна,
 И он, улыбаясь прятельски мне,
 Рисует какой-то узор голубой
 На каменной, мокрой, холодной стене,
 На клочьях оборванных, грязных обоев.
 Сажу я, смотрю и молчу, все молчу...
 И спать я совсем не хочу...

Павел остановился, глубоко вздохнул и продолжал медленнее и тише:

Судьба меня душит, она меня давит..
То сердце царапнет, то бьет по затылку,
Сударку — и ту для меня не оставит.
Одно оставляет мне — водки бутылку..
Стоит предо мною бутылка вина..
Блестит при луне, как смеется она..
Вином я сердечные раны лечу:
С вина в голове зародится туман,
Я думать не стану и спать захочу..
Не выпить ли лучше еще мне стакан?
Я — выпью!.. Пусть те, кому спится, не пьют!
Мне думы уснуть не дают..

Кончив читать, Грачев мельком взглянул на Илью и, еще ниже опустив голову, тихо сказал:

— Вот... всё больше такие у меня...

Он застучал пальцами по краю стола и беспокойно задвигался на стуле.

Несколько секунд Илья пристально смотрел на Грачева с недоверчивым удивлением. В его ушах звучала складная речь, но ему было трудно поверить, что ее сложил этот худой парень с беспокойными глазами, одетый в старую, толстую рубаху и тяжелые сапоги.

— Н-ну, брат, это не очень смешно! — медленно и негромко заговорил он, присматриваясь к Павлу. — Это хорошо... Меня за сердце взяло... право! Ну-ка, скажи еще раз...

Павел быстро вскинул голову, взглянул на своего слушателя веселыми глазами и, подвинувшись к нему ближе, тихонько спросил:

— Вправду — нравится?

— Чудак!.. Стану я врать?

Павел начал читать тихо, задумчиво, с остановками, глубоко вздыхая, когда у него не хватало голоса. И когда он прочитал, сомнение Ильи в том, что Павел сам сочинил стихи, возросло.

— А ну-ка другие? — попросил он.

— Я лучше к тебе приду с тетрадкой... А то у меня всё длинные... и пора мне идти! Потом — плохо я помню... Всё концы да начала вертятся на языке... Вот, есть такие

стихи — будто я иду по лесу ночью и заплутался, устал... ну, — страшно... один я... ну, вот, я ищу выхода и жалуюсь:

Изныли ноги,
Устало сердце —
Все нет пути!
Земля родная!
Хоть ты скажи мне —
Куда идти?
Прилеж к земле я —
К ее родимой
Сырой груди —
И слышал сердцем
Глубокий шопот:
— Сюда иди!

— Слушай, Илья, пойдем со мной, а? Пойдем? Не хочется мне с тобой прощаться...

Грачев суетился, дергал Илью за рукав, ласково заглядывал в лицо.

— Иду! — сказал Илья. — Мне тоже хочется с тобой побыть... По правде скажу — и верю я тебе, и нет... Уж больно ты любопытен! Ловко у тебя стихи-то выходят...

— Не веришь, что мой?

— Коли твои — молодчина ты! — искренно воскликнул Илья.

— Я, брат, подучусь, так буду писать — держись только!

— Чеши!

— Эх, Илья! Кабы мне ума!..

Они быстро шагали по улице и, на лету схватывая слова друг друга, торопливо перекидывались ими, все более возбуждаясь, все ближе становясь друг к другу. Оба ощущали радость, видя, что каждый думает так же, как и другой, эта радость еще более поднимала их. Снег, падавший густыми хлопьями, таял на лицах у них, оседал на одежде, приставал к сапогам, и они шли в мутной кашнице, бесшумно кипевшей вокруг них.

— О, дьявол! — выругался Илья, оступившись в какую-то яму, полную грязи и снега.

— Держи левее...

— Куда мы идем?

— К Сидорихе, — знаешь?

— Знаю... — помолчав, ответил Илья и засмеялся. — Коротки, брат, дорожки наши!..

— Эх! — тихо сказал Павел, — я понимаю!.. Да надо мне туда: дело у меня... Скажу я тебе... Илья! Горько мне говорить про это...

Павел шумно плюнул.

— Видишь, — девушка там есть одна... Поглядишь какая... Всю душу спалить может... Была она горничной у того доктора, что лечил меня. Ходил я к нему за книжками... когда выздоровел... Ну, придешь, сидишь... А она — тут... прыгает, смеется... Я — к ней... Она сразу сдалась, безо всяких слов... Началось у нас — такое! Небо вспыхнуло... Лечу к ней — как перо в огонь... Нацелуемся — губы вспухнут, кости ноют — эх! Чистенькая она, маленькая, как игрушечка, — обнимешь — и нет ее! Будто птичкой в сердце мне влетела и поет там песню... и поет...

Он замолчал и как-то странно всхлипнул жадным звуком.

— Ну? — спросил Илья, увлеченный его рассказом.

— Застала нас жена докторова... чорт бы ее взял! И барыня хорошая ведь, дура дьяволова! Бывало, тоже говорила со мной... славно так... Красивая... ведьма!..

— Ну? — повторил Илья.

— Ну — шум поднялся... Прогнали Верку... Изругали ее... И меня... Она — ко мне... А я в ту пору без места был... Проели все до ниточки... Ну, а она — характерная... Убежала... Пропала недели на две... Потом явилась... одетая по-модному и все... браслет... деньги...

Пашка скрипнул зубами и глухо сказал:

— Прибил я ее... больно...

— Ушла? — спросил Илья.

— Не-ет... кабы ушла, я бы в омут головой... Говорит — или убей, или — не тронь... Я, говорит, тебе тяжела... Души, говорит, никому не дам...

— А ты — что?

— Я — все делал: и бил ее, и — плакал... А что я могу еще? Кормить мне ее нечем...

— А на место она — не хочет?

— Чорт ее уломает! Говорит — хорошо! Но дети у нас пойдут — куда их? А так, дескать, все цело, все — твое, и детей не будет...

Илья Лунев подумал и сказал:

— Умная она...

Пашка промолчал, быстро шагая в снежной мгле.

Он опередил товарища шага на три, потом обернулся к нему, остановился и глухо, шипящим голосом произнес:

— Как подумаю я, что другие целуют ее, — словно свинец мне в грудь нальется...

— Бросить ее не можешь?

— Ее? — с удивлением крикнул Павел.

Илья понял его удивление, когда увидел девушку.

Они пришли на окраину города, к одноэтажному дому. Его шесть окон были наглухо закрыты ставнями, это делало дом похожим на длинный, старый сарай. Мокрый снег густо облепил стены и крышу, точно хотел спрятать этот дом.

Пашка постучал в ворота, говоря:

— Тут — особенное заведение. Сидориха дает девушкам квартиру, кормит и берет за это пятьдесят целковых с каждой... Девушек четыре только... Ну, конечно, вино держит Сидориха, пиво, конфеты... Но девушек не стесняет ничем: хочешь — гуляй, хочешь — дома сиди, — только полсотни в месяц дай ей... Девушки дорогие, — им эти деньги легко достать... Тут одна есть — Олимпиада, — меньше четвертной не ходит...

— А твоя — почему? — спросил Илья, стряхивая снег с одежды.

— Н-не знаю, — тоже дорого... — помолчав, тихим голосом ответил Грачев.

За дверью раздался шум, золотая нитка света задрожала в воздухе...

— Кто там?

— Я это, Васса Сидоровна... Грачев...

— А! — Дверь отворилась; маленькая, сухая старушка, с огромным носом на дряблом лице, освещая Павла огнем свечи, ласково сказала: — Здравствуй... А Верунька-то давно мечется, ждет тебя. Это кто с тобой?

— Товарищ...

— Кто пришел? — спросили откуда-то из темного, длинного коридора звучным голосом.

— К Вере это, Липочка... — сказала старуха.

— Верка, твой! — крикнул тот же звучный голос, гулко разносясь по коридору.

Тогда в глубине коридора быстро распахнулась дверь, и в широком пятне света встала маленькая фигурка девушки, одетой во все белое, осыпанной густыми прядями золотистых волос.

— До-олго ты! — низким грудным звуком капризно протянула она. Потом приподнялась на носки, положила руки свои на плечи Павла и из-за него взглянула на Илью карими глазами.

— Это — товарищ... Лунев Илья...

— Здравствуйте!

Девушка протянула Илье руку, и широкий рукав ее белой кофточки поднялся почти до плеча. Илья пожал горячую ручку почтительно, бережливо, глядя на подругу Павла с той радостью, с какой в густом лесу, среди буре-лома и болотных кочек, встречаешь стройную березку. И, когда она посторонилась, чтобы пропустить его в дверь, он тоже отступил в сторону и уважительно сказал:

— Вы — первая!

— Ка-акой кавалер! — засмеялась она. И смех у нее был хороший — веселый, ясный. Павел тоже смеялся, говоря:

— Ошарашила ты, Верка, парня... смотри-ка, как медведь перед медом, стоит он перед тобой...

— Да разве? — весело спросила девушка Илью.

— Верно! — с улыбкой согласился тот. — Землю вы из-под ног у меня вышибли красотой вашей...

— Влюбись-ка! Зарежу!.. — пригрозил Павел, радостно улыбаясь. Ему было приятно видеть, какое впечатление произвела красота его милой на Илью, он гордо поблескивал глазами. И она тоже с наивным бесстыдством хвасталась собою, сознавая свою женскую силу. На ней была одета только широкая кофта поверх рубашки и юбка, белая, как снег. Незастегнутая кофточка распа-хивалась, обнажая крепкое, как молодая репа, тело. Малиновые губы маленького рта вздрагивали самодовольной улыбкой; девушка любовалась собою, как дитя игрушкой, которая ему еще не надоела. Илья, не отрывая глаз, смотрел, как ловко она ходит по комнате, вздернув носик,

ласково поглядывая на Павла, весело разговаривая, и ему стало грустно при мысли, что у него нет такой подруги.

Среди маленькой, чисто убранной комнаты стоял стол, покрытый белой скатертью; на столе шумно кипел самовар, все вокруг было свежо и молодо. Чашки, бутылка вина, тарелки с колбасой и хлебом — все нравилось Илье, возбуждая в нем зависть к Павлу. А Павел сидел радостный и говорил складной речью:

— Как увижу тебя — словно в солнышке греюсь... и про все позабуду, и на счастье надеюсь... Хорошо жить, такую красотку любя, хорошо, когда видишь тебя...

— Пашка! Славно как!.. — с восхищением вскричала Вера.

— Горячие! Сейчас испек... Эй, Илья! будет тебе!.. Свою заведи...

— Да — хорошую! — странным, каким-то новым голосом сказала девушка, взглянув в глаза Илье.

— Лучше вас — бог не даст! — вздохнув и улыбаясь, сказал Илья.

— Ну, — не говорите про что не знаете... — тихонько молвила Вера.

— Он знает... — молвил Пашка, нахмурился и продолжал, обращаясь к Илье. — Понимаешь — все хорошо, радостно... и вдруг это вспомнишь... так и резнет по сердцу!..

— А ты не вспоминай, — сказала Вера, наклонив голову над столом. Илья взглянул на нее и увидал, что уши у нее красные.

— Ты думай так, — тихо, но твердо продолжала девушка, — хоть день, да мой!.. Мне тоже не легко... Я — как в песне поется — мое горе — одна изопью, мою радость — с тобой разделю...

Павел, слушая ее речь, хмурился... Илья почувствовал желание сказать что-нибудь хорошее, ободряющее этим людом и, подумав, сказал:

— Что же делать, коли узла не развяжешь? А я... так вам обоим скажу: будь у меня денег тысяча, — я бы вам! Нател! Примите, сделайте милость, ради вашей любви... Потому — я чувствую — дело ваше с душой, дело чистое, а на все прочее — плевать!

В нем что-то вспыхнуло и горячей волной охватило его. Он даже встал со стула, видя, как девушка, подняв голову, смотрит на него благодарными глазами, а Павел улыбается ему и тоже ждет еще чего-то от него.

— Я первый раз в жизни вижу, как люди любят друг друга... И тебя, Павел, сегодня оценил по душе, — как следует!.. Сижу здесь... и прямо говорю — завидую... А насчет... всего прочего... я вот что скажу: не люблю я чуваш и мордву, противны они мне! Глаза у них — в гною. Но я в одной реке с ними купаюсь, ту же самую воду пью, что и они. Неужто из-за них отказаться мне от реки? Я верю — бог ее очищает...

— Верно, Илья! Молодчина! — горячо крикнул Павел.

— А вы пейте из ручья, — тихо прозвучал голос Веры.

— Нет, уж лучше вы мне чайку налейте! — сказал Илья.

— Какой вы хороший! — воскликнула девушка.

— Покорно благодарю! — серьезно ответил Илья.

На Павла эта маленькая сцена подействовала, как вино. Его живое лицо разрумянилось, глаза воодушевленно засверкали, он вскочил со стула и заметался по комнате.

— Эх, чорт меня съешь! Хорошо жить на свете, когда люди — как дети! Ловко я угодил душе своей, что привел тебя сюда, Илья... Выпьем, брат!

— Разыгрался! — сказала девушка, с ласковой улыбкой взглянув на него, и обратилась к Илье: — Вот он всегда таков — то вспыхнет, то станет серенький, скучный да злой...

В дверь постучались, кто-то спросил:

— Вера, — можно?

— Иди, иди! Вот, Илья Яковлевич, — это Липа, подруга моя...

Илья поднялся со стула, обернулся к двери: пред ним стояла высокая, стройная женщина и смотрела в лицо ему спокойными голубыми глазами. Запах духов струился от ее платья, щеки у нее были свежие, румяные, а на голове возвышалась, увеличивая ее рост, прическа из темных волос, похожая на корону.

— А я сижу одна, — скучно мне... слышу, у тебя смеются, — и пошла сюда... Ничего? Вот кавалер один, без дамы... я его занимать буду, — хотите?

Она плавным движением подвинула стул к Илье, села на него и спросила:

— Вам скучно с ними, скажите? Они тут любезничают, а вам завидно, — да?

— С ними не скучно, — смущаясь от ее близости, сказал Илья.

— Жаль! — спокойно кинула женщина, отвернувшись от Ильи и заговорила, обращаясь к Вере: — Знаешь, — была я вчера у всенощной в девичьем монастыре и такую там клирошанку видела — ах! Чудная девочка... Стояла я и все смотрела на нее, и думала: «Отчего она ушла в монастырь?» Жалко было мне ее...

— А я бы не пожалела, — сказала Вера.

— Ну как же! Поверю я тебе...

Илья вдыхал сладкий запах духов, разливавшийся в воздухе вокруг этой женщины, смотрел на нее сбоку и вслушивался в ее голос. Говорила она удивительно спокойно и ровно, в ее голосе было что-то усыпляющее, и казалось, что слова ее тоже имеют запах, приятный и густой...

— А знаешь, Вера, я все думаю — идти мне к Полуэктову или нет?

— Я не знаю...

— Может быть, я пойду... Он старый, — богатый. Но — жадный... Я прошу, чтоб он положил в банк пять тысяч и платил мне полтора ста в месяц, а он дает три и сто...

— Липочка! Не говори про это, — попросила ее Вера.

— Хорошо, — не буду! — спокойно согласилась Липа и снова обернулась к Илье. — Ну-с, молодой человек, давайте разговаривать... Вы мне нравитесь... у вас красивое лицо и серьезные глаза... Что вы на это скажете?

— Ничего не могу, — смущенно улыбаясь, ответил Илья, чувствуя, что эта женщина окутывает его, как облако.

— Ничего? Да вы скучный... Вы кто?

— Разносчик...

— Да-а? А я думала, вы служите в банке... или приказчиком в хорошем магазине. Вы очень приятный...

— Я чистоту люблю, — сказал Илья. Ему стало томительно жарко, и от духов у него кружилась голова.

— Любите чистоту? Это хорошо... А вы — догадливый?

— Как это?

— Вы уже догадались, что мешаете вашему товарищу, или нет еще? — плавно спросила его голубоглазая женщина.

— Я сейчас уйду!.. — сконфузившись, сказал Илья.

— Вера, можно мне утащить его?

— Тащи, коли пойдет! — сказала Вера и засмеялась.

— Куда? — спросил Илья, волнуясь.

— А ты иди, дурашка! — крикнул Павел.

Илья, отуманенный, стоял и растерянно улыбался, но женщина взяла его за руку и повела за собой, спокойно говоря:

— Вы — дикий, а я капризная и упрямая. Если я захочу погасить солнце, так влезу на крышу и буду дуть на него, пока не испущу последнего дыхания... видите, какая я?

Илья шел рука об руку с ней, не понимал, почти не слушал ее слов и чувствовал только, что она теплая, мягкая, душистая...

Эта связь, неожиданная, капризная, захватила Илью целиком, вызвала в нем самодовольное чувство и как бы залечила царапины, нанесенные жизнью сердцу его. Мысль, что женщина, красивая, чисто одетая, свободно, по своей охоте, дает ему свои дорогие поцелуи и ничего не просит взамен их, еще более поднимала его в своих глазах. Он точно поплыл по широкой реке, в спокойной волне, ласкавшей его тело.

— Мой каприз! — говорила ему Олимпиада, играя его курчавыми волосами или проводя пальцем по темному пуху на его губе. — Ты мне нравишься все больше... У тебя надежное, твердое сердце, и я вижу, что, если ты чего захочешь, — добьешься... Я — такая же... Будь я мо-

ложе — вышла бы за тебя замуж... Тогда вдвоем с тобой мы разыграли бы жизнь, как по нотам...

Илья относился к ней почтительно: она казалась ему умной и, несмотря на зазорную жизнь, уважающей себя. Тело у нее было такое же гибкое и крепкое, как ее грудной голос, и стройное, как характер ее. Ему нравилась в ней бережливость, любовь к чистоте, умение говорить обо всем и держаться со всеми независимо, даже гордо. Но иногда он, приходя к ней, заставлял ее в постели, лежащую с бледным, измятым лицом, с растрепанными волосами, — тогда в груди его зарождалось чувство брезгливости к этой женщине, он смотрел в ее мутные, как бы слинявшие глаза сурово, молча, не находя в себе даже желания сказать ей «здравствуй!»

Она, должно быть, понимала его чувство и, закуты-ваясь в одеяло, говорила ему:

— Уходи отсюда! Ступай к Вере... Скажи старухе, чтоб принесла воды со снегом...

Он уходил в чистенькую комнату подруги Павла, а Вера, видя его нахмуренное лицо, виновато улыбалась. Однажды она спросила:

— Что, горька наша сестра?

— Эх, Верочка! — ответил он. — На вас и грех — как снег... Улыбнетесь вы — он растает...

— Бедненькие вы с Павлом, — пожалела его девушка.

Веру он любил, жалел ее, искренно беспокоился, когда она ссорилась с Павлом, мирил их. Ему нравилось сидеть у нее, смотреть, как она чесала свои золотистые волосы или шила что-нибудь, тихонько напевая. В такие минуты она нравилась ему еще больше, он острее чувствовал несчастье девушки и, как мог, утешал ее. А она говорила:

— Нельзя так жить, нельзя, Илья Яковлевич. Ну, я все равно... так пачколей и буду... а Павел-то за что около меня?

Их беседы нарушала Олимпиада, являясь пред ними бесшумно, как холодный луч луны, одетая в широкий голубой капот.

— Идем чай пить, каприз!.. Потом и ты приходи, Верочка...

Розовая от холодной воды, чистая, крепкая и спокойная, она властно уводила за собой Илью, а он шел за нею

и думал: ее ли это, час тому назад, он видел измятой, захватанной грязными руками?

За чаем она говорила:

— Жаль, что ты мало учился... Торговлю надо бросить, надо попробовать что-нибудь другое. Погоди, я найду тебе местечко... нужно устроить тебя... Вот, когда я поступлю к Полуэктову, мне можно будет сделать это...

— Что — дает пять-то тысяч? — спросил Илья.

— Даст! — уверенно ответила женщина.

— Ну, ежели я его когда-нибудь встречу у тебя, — оторву башку!.. — с ненавистью выговорил Илья.

— Погоди, когда он даст мне деньги, — смеялась женщина.

Купец дал ей все, чего она желала. Вскоре Илья сидел в новой квартире Олимпиады, разглядывал толстые ковры на полу, мебель, обитую темным плюшем, и слушал спокойную речь своей любовницы. Он не замечал в ней особенного удовольствия от перемены обстановки: она была так же спокойна и ровна, как всегда.

— Мне двадцать семь лет, к тридцати у меня будет тысяч десять. Тогда я дам старику по шапке и — буду свободна... Учись у меня жить, мой серьезный каприз...

Илья учился у нее этой неуклонной твердости в достижении цели своей. Но порой, при мысли, что она дает ласки свои другому, он чувствовал обиду, тяжелую, унижавшую его. И тогда пред ним с особенною яркостью вспыхивала мечта о лавочке, о чистой комнате, в которой он стал бы принимать эту женщину. Он не был уверен, что любит ее, но она была необходима ему. Так прошло месяца три.

Однажды, придя домой после торговли, Илья вошел в подвал к сапожнику и с удивлением увидал, что за столом, перед бутылкой водки, сидит Перфишка, счастливо улыбаясь, а против него — Яков. Навалившись на стол грудью, Яков качал головой и нетвердо говорил:

— Если бог все видит — он видит и меня... Отец меня не любит, он — жулик! Верно?

— Верно, Яша! Нехорошо, а — верно! — сказал сапожник.

— Как жить? — встряхивая растрепанными волосами, спрашивал Яков, тяжело ворочая языком.

Илья стоял в двери, сердце его неприятно сжалось. Он видел, как бессильно качается на тонкой шее большая голова Якова, видел желтое, сухое лицо Перфишки, освещенное блаженной улыбкою, и ему не верилось, что он действительно Якова видит, кроткого и тихого Якова. Он подошел к нему.

— Это ты что же делаешь?

Яков вздрогнул, взглянул в лицо его испуганными глазами и, криво улыбаясь, воскликнул:

— Я думал — отец...

— Что ты делаешь, а? — переспросил Илья.

— Ты, Илья Яковлич, оставь его, — заговорил Перфишка, встав со стула и покачиваясь на ногах. — Он в своем праве... Еще — слава тебе господи, что пьет...

— Илья! — истерически громко крикнул Яков. — Отец меня... избил!

— Совершенно правильно, — я тому делу свидетель! — заявил Перфишка, ударив себя в грудь. — Я все видел, — хоть под присягой скажу!

Лицо у Якова действительно распухло, и верхняя губа вздулась. Он стоял пред товарищем и жалко улыбался, говоря ему:

— Разве можно меня бить?

Илья чувствовал, что не может ни утешать товарища, ни осуждать его.

— За что он тебя?

Яков шевельнул губами, желая что-то сказать, но, схватив голову руками, завыл, качаясь всем телом. Перфишка, наливая себе водки, сказал:

— Пускай поплачет, — хорошо, когда человек плакать умеет... Машутка тоже... Заливается во всю мочь... Кричит — зенки выцарапаю! Я ее к Матице отправил...

— Что у него с отцом? — спросил Илья.

— Вышло очень дико... Дядя твой начал музыку... Вдруг: «Отпусти, говорит, меня в Киев, к угодникам!..» Петруха очень доволен, — надо говорить всю правду — рад он, что Терентий уходит... Не во всяком деле товарищ

приятен! Дескать, — иди, да и за меня словечко угодникам замолви... А Яков — «отпусти и меня...»

Перфишка вытаращил глаза, скорчил свирепую рожу и глухим голосом протянул:

— «Что-о?..» — «И меня — к угодникам!..» — «Как так?» — «Хочу, говорит, помолиться за тебя...» Петруха как рывкнет: «Я те помолюсь!» А Яков свое: «Пусти!» Кэ-ек Петруха-то хряснет его в морду! Да еще, да...

— Я не могу с ним жить! — закричал Яков. — Удавься! За что он меня прибил? Я от сердца сказал...

Илье стало тяжело от его криков, он ушел из подвала, бессильно пожав плечами. Весть о том, что дядя уходит на богомолье, была ему приятна: уйдет дядя, и он уйдет из этого дома, снимет себе маленькую комнатку — и проживет один...

Когда он вошел к себе, вслед за ним явился Терентий. Лицо у него было радостное, глаза оживились; он, встряхивая горбом, подошел к Илье и сказал:

— Ну! — ухожу я! Господи! Как из темницы на свет божий лезу...

— А ты знаешь — Яков-то пьян напился... — сухо сказал Илья.

— А-а-а! Нехорошо-о!

— Отец-то его при тебе ведь ударил?

— При мне... А что?

— Что ж, ты не можешь понять, что он с этого и напился? — сурово спросил Илья.

— Разве с этого? Скажи, пожалуйста, а?

Илья ясно видел, что дядю нимало не занимает судьба Якова, и это увеличивало его неприязнь к горбуну. Он никогда не видал Терентия таким радостным, и эта радость, явившаяся пред ним тотчас же вслед за слезами Якова, возбуждала в нем мутное чувство. Он сел под окном, сказав дяде:

— Иди в трактир-то...

— Там — хозяин... Мне поговорить с тобой надо...

— О чем?

Горбун подошел к нему и таинственно заговорил:

— Я скоро соберусь. Ты останешься тут один и... стало быть... значит...

— Да говори сразу, — сказал Илья.

— Сразу? — часто мигая глазами, воскликнул Терентий вполголоса. — Тут тоже не легко... накопил я денег... немного...

Илья взглянул на него и нехорошо засмеялся.

— Ты что? — вздрогнув, спросил его дядя.

— Ну, накопил ты денег...

И он особенно отчетливо выговорил слово «накопил».

— Да, так вот... — не глядя на него, заговорил Терентий. — Ну, значит... два ста решил я в монастырь дать. Сто — тебе...

— Сто? — быстро спросил Илья. И тут он открыл, что уже давно в глубине его души жила надежда получить с дяди не сто рублей, а много больше. Ему стало обидно и на себя за свою надежду — нехорошую надежду, он знал это, — и на дядю за то, что он так мало дает ему. Он встал со стула, выпрямился и твердо, со злобой сказал дяде:

— Не возьму я твоих краденых денег...

Горбун попятился от него, сел на кровать, — жалкий, бледный. Съездившись и открыв рот, он смотрел на Илью с тупым страхом в глазах.

— Что смотришь? Не надо мне...

— Господи Иисусе! — хрипло выговорил Терентий. — Илюша, — ты мне как сын был... Ведь я... для тебя... для твоей судьбы на грех решил... Ты возьми деньги!.. А то не простит мне господь...

— Та-ак! — насмешливо воскликнул Илья. — Со счетами в руках к богу-то идешь?.. И — просил я тебя дедушкины деньги воровать? Какого человека вы ограбили!..

— Илюша! И родить тебя не просил ты... — смешно протянув руку к Илье, сказал ему дядя. — Нет, ты деньги возьми, — Христа ради! Ради души моей спасенья... Господь греха мне не развяжет, коли не возьмешь...

Он умолял, а губы у него дрожали, а в глазах сверкал испуг. Илья смотрел на него и не мог понять — жалко ему дядю или нет?

— Ладно! Я возьму... — сказал он наконец и тотчас вышел вон из комнаты. Решение взять у дяди деньги было неприятно ему; оно унижало его в своих глазах. Зачем ему сто рублей? Что можно сделать с ними? И он подумал, что, если б дядя предложил ему тысячу рублей, —

он сразу перестроил бы свою беспокойную, темную жизнь на жизнь чистую, которая текла бы вдаль от людей, в покойном одиночестве... А что, если спросить у дяди, сколько досталось на его долю денег старого тряпичника? Но эта мысль показалась ему противной...

С того дня, как Илья познакомился с Олимпиадой, ему казалось, что дом Филимонова стал еще грязнее и тесней. Эта теснота и грязь вызывали у него чувство физического отвращения, как будто тела его касались холодные, скользкие руки. Сегодня это чувство особенно угнетало его, он не мог найти себе места в доме, пошел к Матице и увидел бабу сидящей у своей широкой постели на стуле. Она взглянула на него и, грозя пальцем, громко прошептала, точно ветер подул:

— Тихо! Спит!..

На постели, свернувшись клубком, спала Маша.

— Каково? — шептала Матица, свирепо вытаращив свои большие глаза. — Избивать детей начали, ироды! Чтoб земля провалилась под ними...

Илья слушал ее шопот, стоя у печки, и, рассматривая окутанную чем-то серым фигурку Маши, думал:

«А что будет с этой девочкой?..»

— Знаешь ты, что он Марильку выдрал за косу, этот чортов вор, кабацкая душа? Избил сына и ее и грозит выгнать их со двора, а? Знаешь ты? Куда она пойдет, ну?

— Я, может, достану ей место... — задумчиво сказал Илья, вспомнив, что Олимпиада ищет горничную.

— Ты! — укоризненно шептала Матица. — Ты ходишь тут, как важный барин... Растешь себе, как молодой дубок... ни тени от тебя, ни желудя...

— Погоди, не шипи! — сказал Илья, найдя хороший предлог пойти сейчас к Олимпиаде. — Сколько лет Машутке? — спросил он.

— Пятнадцать... а сколько ж? А что с того, что пятнадцать? Да ей и двенадцати много... она хрупкая, тоненькая... она еще совсем ребенок! Никуда, куда не годится дитина эта! И зачем жить ей? Спала бы вот, не просыпалась до Христа...

Через час он стоял у двери в квартиру Олимпиады, ожидая, когда ему отворят. Не отворяли долго, потом за дверью раздался тонкий, кислый голос:

— Кто там?

— Я, — ответил Лунев, недоумевая, кто это спрашивает его. Прислуга Олимпиады — рябая, угловатая баба — говорила голосом грубым и резким и отворяла дверь не спрашивая.

— Кого надо? — повторили за дверью.

— Олимпиада Даниловна дома?

Дверь вдруг распахнулась, в лицо Ильи хлынул свет, — юноша отступил на шаг, щуря глаза и не веря им.

Перед ним стоял с лампой в руке маленький старичок, одетый в тяжелый, широкий, малинового цвета халат. Череп у него был почти голый, на подбородке беспокойно тряслась коротенькая, жидкая, серая бородка. Он смотрел в лицо Ильи, его острые, светлые глазки ехидно сверкали, верхняя губа, с жесткими волосами на ней, шевелилась. И лампа тряслась в сухой, темной руке его.

— Кто таков? Ну, входи... ну? — говорил он. — Кто таков?

Илья понял, кто стоит перед ним. Он почувствовал, что кровь бросилась в лицо ему и в груди его закипело. Так вот кто делит с ним ласки этой чистой, крепкой женщины.

— Я — разносчик... — глухо сказал он, перешагнув через порог.

Старик мигнул ему левым глазом и усмехнулся. Веки у него были красные, без ресниц, а во рту торчали желтые, острые косточки.

— Разносчик-молодчик? Какой разносчик, а? Какой? — хитро посмеиваясь, спрашивал старик, приближая лампу к его лицу.

— Мелочной разносчик... торгую духами... лентами... всякой мелочью... — говорил Илья, опустив голову и чувствуя, что она кружится и красные пятна плавают перед его глазами.

— Так, так, так... ленты-позументы?... Да, да, да... Ленточки, душки... милые дружки? Что же тебе надо, разносчик, а?

— Мне Олимпиаду Даниловну...

— А-а-а? А зачем тебе ее, а?

— Мне... деньги получить за товар... — с усилием говорил Илья.

Он чувствовал непонятный страх перед этим скверным стариком и ненавидел его. В тихом, тонком голесе старика, как и в его ехидных глазах, было что-то сверлившее сердце Ильи, оскорбительное, унижающее.

— Денежки? Должок? Хо-орошо-о...

Старик вдруг отвел лампу в сторону от лица Ильи, привстал на носки, приблизил к Илье свое дряблое, желтое лицо и тихо, с ядовитой усмешкой спросил его:

— А записочка где? Давай записочку!

— Какую? — со страхом отступая, спросил Илья.

— А от барина твоего? Записочку к Олимпиаде Даниловне? Ну? Давай! Я отнесу ей... Ну, — скорее! — Старик лез на Илью. У парня высохло во рту от страха.

— У меня нет никакой записочки! — громко и с отчаянием сказал он, чувствуя, что вот, сейчас, произойдет что-то невероятное.

Но в эту минуту явилась высокая, стройная фигура Олимпиады. Она спокойно, не мигнув, взглянула на Илью через голову старика и ровным голосом спросила:

— Что у вас тут, Василий Гаврилович?

— Разносчик-с, — вот-с! Должок имеет за вами-с. Вы ленточки у него брали? А денежки не платили, а? Вот он и пришел-с... и явился...

Старик вертелся перед женщиной, щупая глазами то ее лицо, то лицо Ильи. Она отстранила его от себя властным движением правой руки, сунула эту руку в карман своего капота и сказала Илье строгим голосом:

— Что, ты не мог придти в другое время?

— Да-с! — визгливо крикнул старик. — Дурак эдакий, а? Ходишь, когда не нужно, а? Осел!

Илья стоял, как каменный.

— Не кричите, Василий Гаврилович! Нехорошо, — сказала Олимпиада и обратилась к Илье: — Сколько тебе следует, три рубля сорок? Получи...

— И — ступай вон! — снова крикнул старик. — Позвольте-с, я запру... я сам, сам!

Он запахнул свой халат и, отворив дверь, крикнул Илье:

— Иди!..

Илья стоял на морозе у запертой двери и тупо смотрел на нее, не понимая, дурной ли сон ему снится или все это

наяву? Он держал в одной руке шапку, а в другой крепко стиснул деньги Олимпиады. Он стоял так до поры, пока не почувствовал, что мороз сжимает ему череп ледяным обручем и ноги его ломит от холода. Тогда, надев шапку, он положил деньги в карман, сунул руки в рукава пальто, сжался, наклонил голову и медленно пошел вдоль по улице, неся в груди оледеневшее сердце, чувствуя, что в голове его катаются какие-то тяжелые шары и стучат в виски ему... Пред ним плыла темная фигура старика с желтым черепом, освещенная холодным огнем...

Лицо старика улыбалось победоносно, ехидно, лукаво...

На другой день Илья медленно и молча расхаживал по главной улице города. Ему все представлялся ехидный взгляд старика, спокойные голубые очи Олимпиады и движение ее руки, когда она подала ему деньги. В морозном воздухе летали острые снежинки, покалывая лицо Ильи...

Он только что прошел мимо маленькой лавочки, укромно спрятанной во впадине между часовней и огромным домом купца Лукина. Над входом в лавочку висела проржавевшая вывеска:

«Размен денег В. Г. Полуэктова. Покупка в лом серебра, золота, ризы икон, драгоценные вещи и старинную монету».

Илье показалось, что, когда он взглянул на дверь лавки, — за стеклом ее стоял старик и, насмешливо улыбаясь, кивал ему лысой головкой. Лунев чувствовал непобедимое желание войти в магазин, посмотреть на старика вблизи. Предлог у него тотчас же нашелся, — как все мелочные торговцы, он копил попадавшуюся ему в руки старую монету, а накопив, продавал ее менялам по рублю двадцать копеек за рубль. В кошельке у него и теперь лежало несколько таких монет.

Он воротился назад, смело отворил дверь лавки, пролез в нее со своим ящиком и, сняв шапку, поздоровался:

— Доброго здоровья...

Старик, сидя за узким прилавком, снимал с иконы ризу, выковыривая гвоздики маленькой стамеской. Мельком взглянув на вошедшего парня, он тотчас же опустил голову к работе, сухо сказав:

- Что надо?..
— Узнали меня? — зачем-то спросил Илья.
Старик снова взглянул на него.
— Может, и узнал, — что надо-то?
— Монету купите?
— Покажи...

Илья полез в карман за кошельком. Но рука его не находила кармана и дрожала так же, как дрожало сердце от ненависти к старику и страха пред ним. Шаря под пальто, он упорно смотрел на маленькую лысую голову, и по спине у него пробежал холод...

- Ну, скоро ты? — спросил старик сердитым голосом.
— Сейчас!.. — тихо ответил Илья.

Наконец, ему удалось вынуть кошелек; он подошел вплоть к прилавку и высыпал на него монеты. Старик окинул их взглядом.

- Только-то?

И, хватая серебро тонкими, желтыми пальцами, он стал рассматривать деньги, говоря под нос себе:

— Екатерининский... Анны... Екатерининский... Павла... тоже... крестовик... тридцать второго... пес его знает какой! На — этот не возьму, стертый весь...

— Да ведь видно по величине-то, что четвертак, — сурово сказал Илья.

Старик отшвырнул монету и, быстрым движением руки выдвинув ящик конторки, стал рыться в нем.

Илья взмахнул рукой, и крепкий кулак его ударил по виску старика. Меняла отлетел к стене, стукнулся об нее головой, но тотчас же бросился грудью на конторку и, схватившись за нее руками, вытянул тонкую шею к Илье. Лунев видел, как на маленьком, темном лице сверкали глаза, шевелились губы, слышал громкий, хриплый шопот:

- Голубчик... Голубчик мой...

— А, — сволочь! — сказал Илья и с отвращением стиснул шею старика. Стиснул и стал трясти ее, а старик уперся руками в грудь ему и хрипел. Глаза у него стали красные, большие, из них лились слезы, язык высунулся из темного рта и шевелился, точно дразнил убийцу. Теплая слюна капала на руки Ильи, в горле старика что-то хрипело и свистело. Холодные, крючковатые пальцы касались шеи Лунева, — он, стиснув зубы, отгибал свою

голову назад и все сильнее встряхивал легкое тело старика, держа его на весу. И если б Илью в это время били сзади, он все равно не выпустил бы из рук хрустевшее под пальцами горло старика. С ненавистью и ужасом он смотрел, как мутные глаза Полуэктова становятся все более огромными, все сильнее давил ему горло, и, по мере того как тело старика становилось все тяжелее, тяжесть в сердце Ильи точно таяла. Наконец, он оттолкнул от себя менялу, и тот мягко свалился за прилавок.

Лунев оглянулся: в лавке было тихо и пусто, а за дверью, на улице, валил густой снег. На полу, у ног Ильи, лежали два куска мыла, кошелек и моток тесемки. Он понял, что эти вещи упали из его ящика, поднял их и положил на место. Затем, перегнувшись через прилавок, взглянул на старика: тот съехался в узкой щели между прилавком и стеной, голова его свесилась на грудь, был виден только желтый затылок. Тут Лунев увидел открытый ящик конторки — сверкнули золотые и серебряные монеты, бросились в глаза пачки бумажек... Он торопливо схватил одну пачку, другую, еще, сунул их за пазуху...

На улицу он вышел не торопясь, шагах в трех от лавки остановился, тщательно прикрыл свой товар клеенкой и снова пошел в густой массе снега, падавшего с невидимой высоты. И вокруг него и в нем бесшумно колебалась холодная, мутная мгла. Илья с напряжением всматривался в нее; вдруг он ощутил тупую боль в глазах, дотронулся до них пальцами правой руки и в ужасе остановился, точно ноги его вдруг примерзли к земле. Ему показалось, что глаза его выкатились, вылезли на лоб, как у старика Полуэктова, и что они останутся навсегда так, болезненно вытаращенными, никогда уже не закроются и каждый человек может увидеть в них преступление. Они как будто умерли. Шупая пальцами зрачки, он чувствовал в них боль, но не мог опустить веки, и дыхание в его груди спиралось от страха. Наконец, ему удалось закрыть глаза; он с радостью наслаждался тьмою, вдруг охватившей его, и так, ничего не видя, неподвижно стоял на месте, глубоко вдыхая воздух... Кто-то толкнул его. Он быстро оглянулся, — мимо него прошел высокий человек в полушубке. Илья смотрел вслед ему, пока тот не исчез в густом рое белых хлопьев снега. Тогда, поправив шапку рукой,

Лунев зашагал по тротуару, чувствуя боль в глазах и тяжесть в голове. Плечи у него вздрагивали, пальцы рук невольно сжимались, а в сердце зарождалось что-то упрямое, дерзкое и вытесняло страх.

Дойдя до перекрестка, он увидел серую фигуру полицейского и безотчетно, тихо, очень тихо пошел прямо на него. Шел он, и сердце его замирало...

— Снежище-то каюй! — сказал он, подойдя вплоть к полицейскому и в упор глядя на него.

— Да-а, повалил! Теперь, слава те господи, потеплеет! — с удовольствием ответил полицейский. Лицо у него было большое, красное, бородатое.

— А сколько сейчас время? — спросил Илья.

— Поглядим! — Полицейский стряхнул снег с рукава и сунул руку за пазуху. Луневу было и жутко и любо стоять против этого человека. Он вдруг рассмеялся сухим, как бы вынужденным смехом.

— Ты что хохочешь? — спросил полицейский, отковыривая ногтем крышку часов.

— Эх тебя засыпало снегом-то! — воскликнул Илья.

— Засыплет, такая сила! Половина второго теперь... без пяти минут половина. Засыплет, брат!.. Ты вот теперь в трактир пойдешь, в тепло, а я тут до шести часов торчать должен... Гляди, сколько тебе навалило на ящик-то...

Полицейский вздохнул и щелкнул крышкой часов.

— Да, я пойду в трактир, — сказал Илья и, улыбнувшись криво, зачем-то добавил: — Вот, в этот самый...

— Уж не дразни...

В трактире Илья сел под окном. Из этого окна — он знал — было видно часовню, рядом с которой помещалась лавка Полуэктова. Но теперь все за окном скрывала белая муть. Он пристально смотрел, как хлопья тихо пролетают мимо окна и ложатся на землю, покрывая пышной ватой следы людей. Сердце его билось торопливо, сильно, но легко. Он сидел и, без дум, ждал, что будет дальше.

Когда половой принес ему чай, он не утерпел и спросил:

— Что на улице... ничего?

— Теплее стало... гораздо теплее! — торопливо ответил половой и убежал, а Илья, налив стакан чаю,

не пил, не двигался, чутко ожидая. Ему стало жарко — он начал расстегивать ворот пальто и, коснувшись руками подбородка, вздрогнул — показалось, что это не его руки, а чьи-то чужие, холодные. Подняв их к лицу, он тщательно осмотрел пальцы — руки были чистые, но Лунев подумал, что все-таки надо вымыть их мылом...

— Полуэктова убили! — вдруг крикнул кто-то.

Илья вскочил со стула, как будто этим криком позвали его. Но в трактире все засуетились и пошли к дверям, на ходу надевая шапки. Он бросил на поднос гривенник, надел на плечо ремень своего ящика и пошел так же быстро, как и все они.

У лавки менялы собралась большая толпа, в ней сновали полицейские, озабоченно покрикивая, тут же был и тот, бородатый, с которым разговаривал Илья. Он стоял у двери, не пуская людей в лавку, смотрел на всех испуганными глазами и все гладил рукой свою левую щеку, теперь еще более красную, чем правая. Илья встал на виду у него и прислушивался к говору толпы. Рядом с ним стоял высокий чернобородый купец со строгим лицом и, нахмутив брови, слушал оживленный рассказ седенького старичка в лисьей шубе.

— Мальчишка-то, значит, думал, что он сомлел, и бежит к Петру Степановичу — пожалуйста, дескать, к нам, хозяин захворал. Ну, тот сейчас — марш сюда, ан глядь — он мертвый! Ты подумай, — дерзновение-то какое? Среди бела дня, на эдакой людной улице, — на-ко вот!

Чернобородый купец громко кашлянул и густым, суровым голосом сказал:

— Тут — перст божий! Стало быть, не захотел господь принять от него покаяния...

Лунев подвинулся вперед, желая еще раз взглянуть в лицо купца, и задел его ящиком.

— Ты! — крикнул купец, отстраняя его движением локтя и строго взглянув в лицо Ильи. — Куда лезешь?

И снова обратился к своему собеседнику:

— Сказано, — и волос с головы человека не упадет без воли божией...

— Что и говорить! — кивнув головой, согласился старик, а потом вполголоса добавил, подмигивая: —

Известно — бог шельму метит... Господи, прости! Грешно говорить, а и молчать трудно... да!

Лунев усмехнулся. Он, слушая этот разговор, чувствовал в груди прилив какой-то силы и жуткой, приятной храбрости. И если бы кто-нибудь спросил его в эту минуту: «Ты удушил?» — ему казалось, что он безбоязненно ответил бы: «Я...»

С тем же чувством в груди он протискался сквозь толпу и встал рядом с полицейским. Тот сердито толкнул его в плечо, крикнув:

— Куда? Какое тут твоё дело, а? Пшол!

Илья пошатнулся и навалился на кого-то. Его ещё толкнули.

— Дай ему по шее! Пьяный, что ли?

Тогда Лунев выбрался из толпы и сел на ступени часовни, внутренне посмеиваясь над людьми. Сквозь шорох снега под ногами и тихий говор до него долетали отдельные возгласы:

— И надо же было ему, разбойнику, в моё дежурство напакостить...

— По дисконту первый в городе был...

— Снег валит... ничего мне не видно...

— Шкуры драл безо всякой жалости...

— Гляди — жена приехала...

— Э-эх, несчастливая! — громко вздохнул какой-то оборванный мужик.

Лунев поднялся на ноги и увидел, что из широких саней с медвежьей полостью тяжело вылезает пожилая толстая женщина в салопе и черном платке. Её поддерживали под руки околоточный и какой-то человек с рыжими усами.

— Ох, батюшки... — прозвучал в воздухе её испуганный голос. Все притихли. Илья смотрел на старуху и вспоминал Олимпиаду...

— А сына — нету? — тихо спросил кто-то.

— В Москве.

— Он, чай, только того и ждал...

— Ещё-е бы!

Луневу было приятно, что никто не жалеет Полуэктова, но, в то же время, все люди, кроме чернорабочего купца, казались ему глупыми и даже противными.

В купце было что-то строгое и верное, а все остальные стоят, как пни в лесу, и, толкая его, Илью, болтают гнусными языками злорадные слова.

Он дождался, когда маленькое тело менялы вынесли из лавки, и пошел домой, иззябший, усталый, но спокойный. Дома, запершись у себя в комнате, он сосчитал деньги: в двух толстых пачках мелких бумажек оказалось по пятисот рублей, в третьей — восемьсот пятьдесят. Была еще пачка купонов, но он их не стал считать, а, завернув все деньги в бумагу, задумался, облокотясь на стол, — куда их спрятать? Думая об этом, он почувствовал, что ему хочется спать. Решив спрятать деньги на чердаке, он пошел туда, держа пакет в руках, на виду, и в сенях наткнулся на Якова.

— А, ты пришел уж! — сказал Яков. — Что это ты несешь?

— Это? — переспросил Илья, глядя на деньги. И, вздрогнув от страха проговориться, торопливо сказал, помахивая в воздухе пакетом: — Это... тесемка...

— Чай пить придешь? — спросил Яков.

— Сейчас!

Он пошел быстро, ноги его ступали нетвердо, и голова была мутная, тяжелая, как у пьяного. Идя по лестнице на чердак, он шагал осторожно, боясь нашуметь, боясь встретить кого-нибудь. А когда он зарывал деньги — в землю около трубы, — ему вдруг показалось, что в углу чердака, во тьме, кто-то притаился и следит за ним. Он ощутил желание бросить туда кирпичом, но во-время опомнился и тихо сошел вниз. В нем не было больше страха, — он как бы спрятал его на чердаке вместе с деньгами, — но в сердце возникло тяжелое недоумение.

«Зачем я его удушил?» — спрашивал он себя.

Когда он вошел в подвал, Маша, возившаяся у печки над самоваром, встретила его радостным восклицанием:

— Как ты рано сегодня!

— Снег, — сказал он. И тотчас же раздраженно закричал: — Что за рано? Пришел, как всегда, — в свою пору... Видишь — темно.

— Здесь и в полдень темно, — чего ты орешь?

— А того и ору, что все вы, как сычики, — рано пришел, куда идешь, чего несешь... вам какое дело?

Маша пристально посмотрела на него и с упреком сказала:

— А-йя, Илья, как ты стал зазнаваться.

— А, ну вас к чорту! — выругался Лунев и сел к столу. Маша обиженно фыркнула, отвернувшись от него и стала дуть в трубу самовара. Тонкая, маленькая, она встряхивала черными кудрями, кашляла и жмурилась от дыма. Лицо у нее было худое, темные пятна вокруг глаз увеличивали их блеск, и было в ней что-то похожее на один из тех цветков, что растут в глухих углах садов, среди бурьяна. Илья смотрел на нее и думал, что вот эта девочка живет одна, в яме, работает, как большая, не имеет никакой радости и едва ли найдет когда-либо радость в жизни. Он же теперь будет жить, как давно желал, — в покое, в чистоте. Ему стало приятно от этой мысли и, почувствовав себя виноватым перед Машей, он тихо окликнул ее.

— Ну что, злющий?.. — отозвалась она.

— Знаешь... я — поганый человек, — сказал Лунев, голос у него дрогнул: сказать ей или не говорить? Она выпрямилась, с улыбкой глядя на него.

— Колотить тебя некому, вот что!

И, быстро подойдя к нему, Маша торопливо заговорила:

— Слушай, голубчик, — попроси дядю, чтоб он меня с собой взял! Попроси! В ножки поклонюсь, право, поклонюсь!

— Куда? — устало спросил Лунев, занятый своими мыслями и плохо понимая ее слова.

— С собой, родненький! Попроси!

Она сложила руки ладонками вместе и стояла пред ним, как перед образом, а на глазах у нее появились слезы.

— Как бы хорошо-то, — вздыхая, говорила девочка. — Весной бы и пошли мы. Все дни я про это думаю, даже во сне снится, будто иду, иду... Голубчик! Он тебя послушает — скажи, чтобы взял! Я его хлеба не буду есть... я милостину просить буду! Мне дадут — я маленькая... Илюша? Хочешь — руку поцелую?

И вдруг она, схватив его руку, наклонилась над нею. Илья оттокнул девочку, вскочил со стула.

— Дура, — крикнул он, — разве это можно?.. Я — человека задушил...

Но испугался своих слов и тотчас же добавил:

— Может быть... я, может, такое сделал... а ты целовать хочешь?

— Ничего-о! — говорила Маша, подойдя вплоть к нему. — И поцеловала бы — велика важность! Петруха хуже тебя, а я у него за каждый кусок целую... Мне и противно, а он мне велит — целуй! Да еще шупает меня и щиплет, — срамник!

Оттого ли, что Илья сказал страшные слова, или оттого, что он не договорил их, но ему стало легко и весело. Улыбаясь, он тихо и с лаской в голосе сказал девочке:

— Ладно, я это устрою! Ей-богу, устрою! Пойдешь ты на богомолье... Денег дам на дорогу...

— Голубчик! — крикнула Маша и, подпрыгнув, обняла его за шею.

— погоди! — серьезно сказал Лунев. — Сказано — пойдешь! За меня помолись, Машутка...

— За тебя-то? Господи!..

В двери появился Яков и удивленно спросил Машу:

— Ты чего визжишь? Даже на дворе слышно...

— Яша! — радостно крикнула девочка и, захлебываясь словами, стала рассказывать Якову: — Иду я, ухожу, прощай! Вот — он обещал упросить горбатого...

— Та-ак! — сказал Яков и тихонько свистнул. — Про-о-пала моя голова! Заживу теперь я совсем один, как месяц на небе...

— Няньку найми! — усмехнувшись, посоветовал Илья.

— Водку пить буду, — качнув головой, сказал Яков.

Маша взглянула на него и, опустив голову, отошла к двери. Оттуда раздался ее укоризненный, печальный голос:

— Экий ты, Яков, какой... слабый!

— А вы — крепкие! Бросаете человека... Черти!

Он угрюмо сел к столу против Ильи и сказал:

— Разве и мне уйти тихонько с Терентием?

— Иди... Я бы ушел...

— Ты бы! А на меня отец полицию науськает...

Все замолчали. Потом Яков с напускнутой веселостью заговорил:

— А хорошо, братцы, пьяному быть! Ничего не понимаешь... ни о чем не думаешь...

Маша поставила на стол самовар и сказала, качая головой:

— Эх ты, бесстыдник!

— Ну, ты молчи! — сердито крикнул Яков. — У тебя отца-то все равно что нет... разве он тебе мешает жить?

— Хорошо мне жить! — возразила Маша. — Бежала бы, да и не оглянулась.

— Всем плохо! — негромко сказал Илья и снова задумался.

Снова заговорил Яков, мечтательно глядя в окно:

— А славно бы уйти куда-нибудь ото всего! Сесть где-нибудь у лесочка, над рекой, и подумать обо всем...

— Это дурацкая манера от жизни уходить! — с досадой сказал Илья.

Яков пристально взглянул в лицо ему и с некоторым страхом сказал:

— Знаешь — нашел-таки я одну книгу...

— Какую?

— Старинная... Переплетена в кожу, видом — как псалтирь, — должно быть, еретицкая. У татарина за семь гривен купил...

— Как заглавие? — равнодушно спросил Илья. Ему совсем не хотелось говорить, но он чувствовал, что молчать опасно, и принуждал себя.

— Заглавие у нее оторвано, — понизив голос, рассказывал Яков, — но говорится в ней о начале вещей. Трудно читать... Написано там, что о начале вещей Фалес милесийский первый спрашивал: «Той бо воду нарече, от нея же вся произведена суть и производится, бога же Фалес нарече мыслию, яже из воды вся производит». И был еще Диагор безбожный, он — «ни единого бога быти разумеша», — стало быть, не верил в бога-то! И Эпикур еще... тот — «бога во правду глаголаша быти, но ничто же никому подающа, ничто же добро деюща, ни о чем же попечения имуща...» Значит — бог-то хоть и есть, но до людей ему нет дела, так я понимаю! Как хошь, стало быть, так и живи. Нет попечения о тебе...

Илья приподнялся со стула и, сурово нахмутив брови, сказал, прерывая медленную речь товарища:

— Взять бы эту книгу да по башке тебя ей!

— За что? — удивленно и с обидой воскликнул Яков.

— А за то, чтобы ты в нее не заглядывал! Дурак! А книгу писал — другой дурак!

Лунев обошел стол, наклонился к сидящему товарищу и со злобной страстностью заговорил, как молотком стукая по большой голове Якова:

— Бог — есть! Он все видит! Все знает! Кроме его — никого! Жизнь дана для испытанья... грех — для пробы тебе. Удержишься или нет? Не удержался — постигнет наказание, — жди! Не от людей жди — от него, — понял? Жди!

— Стой! — крикнул Яков. — Да разве я это говорю?

— Все равно! Какой ты мне судья, а? — кричал Лунев, бледный от возбуждения и злости, вдруг охватившей его. — Волос с головы твоей не упадет без воли его! Слышал? Ежели я во грех впал — его на то воля! Дурак!

— Да ты с ума сошел, что ли? — прижавшись к стене, с испугом закричал Яков. — В какой ты грех впал?

Лунев сквозь шум в ушах услышал этот вопрос, и на него точно холодом пахнуло. Он подозрительно оглядел Якова и Машу, тоже испуганную его возбуждением и криками.

— Для примера говорю, — глухо сказал он.

— Нездоровый ты какой-то, — робко сказала Маша.

— И глаза мутные, — добавил Яков, всматриваясь в его лицо.

Илья невольно провел рукой по глазам и тихо ответил:

— Это ничего... пройдет!..

Но ему было тяжело, неловко с людьми, и, отказавшись от чая, он ушел к себе.

Когда он лег на постель, — явился Терентий. С той поры, как горбун решил идти замаливать свой грех, глаза его сияли светло и блаженно, точно он уже предвкушал радость освобождения от греха. Тихо, с улыбкой на губах, он подошел к постели племянника и, пощипывая бородавку, заговорил ласковым голосом:

— Вижу — пришел ты, дай, думаю, пойду, побалакаю с ним. Недолго уж нам вместе-то жить.

— Идешь? — сухо спросил Илья.

— Как только потеплее станет. К страстной неделе хочется мне попасть в Киев-от...

— Вот что, — возьми-ка с собой Машутку...

— Ку-уда! — воскликнул горбун, отмахнувшись рукой.

— А ты слушай, — твердо сказал Илья. — Делать ей тут нечего... а она в таком возрасте... Яков, Петруха... и все такое... понял? Дом этот для всех вроде западни, — проклятый дом! Пусть она уйдет... может, и не воротится.

— Да куда же мне ее? — жалобно заговорил Терентий.

— Возьми, возьми! — настойчиво твердил Илья. — И сотню свою возьми на нее... Мне не надо твоего... А она за тебя помолится... Ее молитва много значит...

Горбун задумался и повторил:

— Много значит... н-да-а! Это ты... тово... правильно говоришь... Денег я не могу взять от тебя... это оставим, как решили... А насчет Машки — подумать надо...

Тут глаза Терентия вдруг радостно блеснули, и, наклонясь к Илье, он шопотом, с увлечением заговорил:

— Н-ну, брат, ка-акого я человека видел вчера! Знаменитого человека — Петра Васильича... про начетчика Сизова — слышал ты? Неизреченной мудрости человек! И не иначе, как сам господь наслад его на меня, — для облегчения души моей от лукавого сомнения в милости господней ко мне, грешному...

Илья лежал молча. Ему хотелось, чтоб дядя ушел. Полузакрытыми глазами он смотрел в окно и видел перед собой высокую, темную стену.

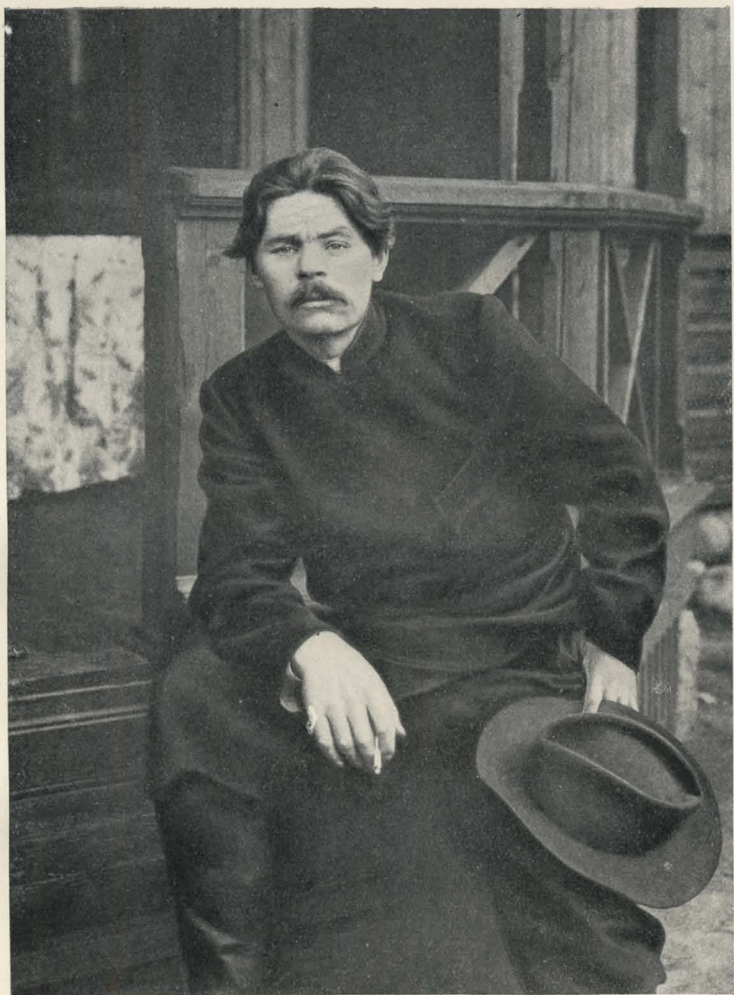
— Говорили мы с ним о грехах, о спасении души, — воодушевленно шептал Терентий. — Говорит он: «Как долоту камень нужен, чтоб тупость обточить, так и человеку грех надобен, чтоб растравить душу свою и бросить ее во прах под нозы господя всемилостивого...»

Илья взглянул на дядю и со злою улыбкой спросил:

— А что он, начетчик этот, на дьявола не похож?

— Ра-азве можно так говорить? — откачнувшись, воскликнул Терентий. — Он — благочестивый человек... О нем слава и теперь шире идет, чем о дедушке твоём... а-ах, брат!

И, укоризненно покачивая головой, горбун зачмокал губами.



А. М. ГОРЬКИЙ НА ДАЧЕ И. Е. РЕПИНА
«Пенаты», 1904 г.

— Ну, ладно! — сказал Илья грубо и неприязненно. — Что он еще говорил?

Илья засмеялся неприятным смехом. Дядя с удивлением на лице отодвинулся от него и спросил:

— Что ты?

— Ничего. Он ловко сказал, начетчик-то... Как раз впору мне... Я и сам так же думаю, — точь-в-точь так!

Он замолчал, пристально взглянул в лицо дяди и отвернулся к стене.

— Еще он сказал, — снова начал Терентий осторожным голосом, — грех, говорит, окрыляет душу покаянием и возносит ее ко престолу всевышнего...

— А ведь ты тоже на чорта похож! — прервал его Илья и вновь тихонько засмеялся.

Горбун взмахнул руками, как большая птица крыльями, и замер, испуганный и обиженный. А Лунев сел на постели, толкнул дядю в бок рукой и сурово сказал:

— Пусти-ка!

Терентий быстро вскочил на ноги и встал среди комнаты, встряхнув горбом. Он тупо смотрел на племянника, сидевшего на кровати, упираясь в нее руками, на его приподнятые плечи и голову, низко опущенную на грудь.

— Но ежели я каяться не хочу? — твердо спросил Илья. — Ежели я думаю так: грешить я не хотел... само собой все вышло... на все воля божия... чего же мне беспокоиться? Он все знает, всем руководит... Коли ему этого не нужно было — удержал бы меня. А он — не удержал, — стало быть, я прав в моем деле. Люди все неправдой живут, а кто кается?

— Не понимаю я твоих слов, Христос с тобой! — уныло сказал Терентий и вздохнул.

Илья усмехнулся.

— Не понимаешь и — не говори со мной...

Он снова лег на постель, сказав дяде:

— Нездоровится мне...

— То-то, я гляжу...

— Уснуть мне надо... ты иди!

Когда Илья остался один, он почувствовал, что в голове у него точно вихрь крутится. Все пережитое им в эти несколько часов странно спуталось, слилось

в какой-то тяжелый, горячий пар и жгло ему мозг. Ему казалось, что он давно уже чувствует себя так плохо, что он не сегодня задушил старика, а давно когда-то.

Он закрыл глаза и лежал неподвижно, а в ушах его звучал дряблый голос старика:

«Ну что же, скоро ты?»

Суровый голос чернобородого купца мешается с просьбой Маши, древние слова из еретической книги Якова впутываются в речь начетчика. Все качается, колеблется и тянет куда-то книзу. Уснуть скорее, забыть все это. Он уснул...

А когда проснулся поутру, то по освещенной стене против окна понял, что день ясный, морозный. Он вспомнил весь вчерашний день, прислушался к себе и почувствовал, что знает, как надо ему держаться. Через час он шел с ящиком на груди по улице и, прищуривая глаза от блеска снега, спокойно разглядывал встречных людей. Проходя мимо церкви, он по привычке снимал шапку и крестился. Перекрестился и у часовни рядом с запертой лавкой Полуэктова и пошел дальше, не ощущая ни страха, ни жалости, ничего беспокойного. В обеденное время, сидя в трактире, он прочитал в газете заметку о дерзком убийстве менялы. Дойдя до слов «полицией приняты энергичные меры к розыску преступника», — он с улыбкой отрицательно покачал головой, он был твердо уверен, что преступника не найдут никогда, если он сам не захочет, чтоб его нашли...

Вечером пришла прислуга Олимпиады и принесла Илье записку:

«В девять часов выходи на угол Кузнецкой улицы, к баням».

Прочитав, он почувствовал, что все внутри его дрожит и сжимается, точно от холода. Перед ним встало пренебрежительное лицо любовницы, и в ушах его зазвучали ее резкие, обидные слова:

«Не мог придти в другое время?»

Он смотрел на записку, думая — зачем зовет его Олимпиада? Ему было боязно понять это, сердце его снова забилося тревожно. В девять часов он явился на

место свидания, и, когда среди женщин, гулявших около бань парами и в одиночку, увидел высокую фигуру Олимпиады, тревога еще сильнее охватила его. Олимпиада была одета в какую-то старенькую шубку, а голова у нее закутана платком так, что Илья видел только ее глаза. Он молча встал перед нею...

— Идем! — сказала она. И тотчас же тихо добавила: — Закрой лицо воротником...

Они прошли по коридору бань, скрывая свои лица, как будто от стыда, и скрылись в отдельном номере. Олимпиада тотчас же сбросила платок с головы, и при виде ее спокойного, разгоревшегося на морозе лица Илья сразу ободрился, но в то же время почувствовал, что ему неприятно видеть ее спокойной. А женщина села на диван рядом с ним и, ласково заглянув в лицо ему, сказала:

— Ну, мой каприз, скоро нас с тобою потащат к следователю...

— Зачем? — спросил Илья, вытирая ладонью растаявший иней на усах.

— Какой он у меня глупенький, — будто бы! — насмешливо и тихо воскликнула женщина.

Брови ее нахмурились, она шопотом сообщила Илье:

— У меня сегодня сыщик был.

Илья взглянул на нее и сухо сказал:

— Мне до сыщиков и всех твоих поступков никакого дела нет. Говори прямо — зачем ты меня позвала?

Олимпиада взглянула в его лицо и пренебрежительно улыбнулась, говоря:

— А-а! Обиделся ты, — так! Ну, мне не до того теперь... Вот что: вызовет тебя следователь, станет спрашивать, когда ты со мной познакомился, часто ли бывал, — говори все, как было, по правде... все подробно, — слышишь?

— Слышу! — сказал Илья и усмехнулся.

— Спросит о старике — ты его не видал. Никогда. Не знаешь о нем. Не слыхал, что я на содержании у кого-то жила, — понимаешь?

Женщина смотрела на Илью внушительно и сердито. А он чувствовал, что в нем играет что-то жгучее и приятное. Ему казалось, что Олимпиада боится его; захотелось помучить ее, и, глядя в лицо ей прищуренными глазами,

он стал тихонько посмеиваться, не говоря ни слова. Тогда лицо Олимпиады дрогнуло, побледнело, и она отшатнулась от него, шопотом спрашивая:

— Что ты так смотришь? Илья?

— Скажи, — спросил он, оскалив зубы, — зачем я врать буду? Я старика у тебя видел.

И, облокотясь о мраморную доску стола, он с тоской и злобой, внезапно охватившими его, продолжал медленно и тихо:

— Смотрел я на него тогда и думал: «Вот кто стоит на моей дороге, вот кто жизнь мою перешиб». И ежели я его тогда не задушил...

— Вр-решь! — громко сказала Олимпиада, ударив ладонью по столу. — Врешь ты! Он на твоей дороге не стоял...

— Это как же? — сурово спросил Илья.

— Не стоял. Захотел бы ты — его не было бы... Не намекала я тебе, не говорила разве, что могу всегда прогнать его? Ты молчал да посмеивался, — ты ведь никогда по-человечески не любил меня... Ты сам, по своей воле, делил меня с ним пополам...

— Стой! Молчи! — сказал Илья. Он поднялся с дивана на ноги и — снова сел, чувствуя, что женщина словно ушибла его своим упреком.

— Я не хочу молчать! — говорила она. — Молоденький такой... здоровый, любимый мною... что ты мне сделал? Сказал ты мне: «Ну, выбирай, Олимпиада: я или он»? Сказал ты это? Нет, ты — кот, как все коты...

Илья вздрогнул от обиды, в глазах его потемнело, он сжал кулаки и вновь поднялся на ноги.

— Как ты можешь...

— А? Бить хочешь? — сверкнув глазами, зловеще проговорила женщина и тоже оскалила зубы. — Ну — ударь! А я отворю дверь и крикну, что ты убил, ты по моему уговору... Ну — бей!

Илья испугался. Но испуг кольнул его в сердце и исчез.

Он снова сел на диван и, помолчав, засмеялся подавленным смехом. Он видел, что Олимпиада кусает губы и как бы ищет чего-то глазами в грязной комнате, полной теплого запаха пареных веников и мыла. Вот она

села на диван около двери в баню и опустила голову, сказав:

— Смейся, дьявол!

— И буду...

— Я как увидела тебя, подумала: «Вот он. Он мне поможет...»

— Липа! — тихо сказал Илья.

Она не отвечала, сидя неподвижно.

— Липа! — повторил Лунев и, чувствуя себя так, точно полетел куда-то вниз, медленно выговорил: — Старика-то я задушил... ей-богу!

Она вздрогнула и, подняв голову, уставилась на него широко открытыми глазами. Потом губы у нее задрожали, и, точно задыхаясь, она с трудом выговорила:

— Ду-урак...

Илья понял, что она испугалась его слов, но не верит в их правду. Он встал, подошел к ней и сел рядом, растерянно улыбаясь. А она вдруг охватила его голову, прижала к своей груди и, целуя волосы, заговорила густым, грубым шопотом:

— Зачем обижаешь меня?.. Я обрадовалась, что его задавили...

— Это я сделал, — кивнув головой, сказал Илья.

— Молчи! — беспокойно воскликнула женщина. — Я рада, что его задавили, — всех бы их так! Всех, кто меня касался! Только ты один — живой человек, за всю жизнь мою первого встретила, голубчик ты мой!

Ее слова все ближе притягивали Илью; он крепко прижался лицом к груди женщины, и, хотя ему трудно было дышать, он не мог оторваться от нее, сознавая, что это — близкий ему человек и нужен для него теперь больше, чем когда-либо.

— Когда ты смотришь на меня сердито... чистенький мой... чувствую я паскудную жизнь свою и за то люблю тебя... за гордость люблю...

На голову Лунева падали тяжелые слезы, ощущая их прикосновение к себе, он сам заплакал свободно и легко.

Она же оторвала голову его от груди своей и говорила, целуя мокрые глаза его, и щеки, и губы:

— Знаю ведь я — красотой моей ты доволен, а сердцем меня не любишь и осуждаешь меня... Не можешь жизнь мою простить мне... и старика...

— Не говори про него, — сказал Илья. Он вытер лицо платком с ее головы и встал на ноги.

— Что будет, то будет! — тихо и твердо сказал он. — Захочет бог наказать человека — он его везде настигнет. За слова твои — спасибо, Липа... Это ты верно говоришь — я виноват пред тобой... Я думал, ты... не такая. А ты — ну, хорошо! Я — виноват...

Голос у него прерывался, губы вздрагивали, глаза налились кровью. Медленно, дрожащей рукой он пригладил растрепанные волосы и вдруг, взмахнув руками, глухо завыл:

— Я — во всем виноват! За что?

Олимпиада схватила его за руку; он опустил на диван рядом с ней и, не слушая ее, сказал:

— Понимаешь — я его удушил, я!

— Тише! — со страхом, вполголоса крикнула Олимпиада. — Что ты?

И она крепко обняла его, заглядывая в лицо ему помутневшими от страха глазами.

— Погоди. Вышло это — нечаянно. Бог — знает! Я — не хотел. Я хотел взглянуть на его рожу... вошел в лавку. Ничего в мыслях не было. А потом — вдруг! Дьявол толкнул, бог не заступился... Вот деньги я напрасно взял... не надо бы... эх!

Он глубоко вздохнул, чувствуя, что с его сердца как будто какая-то кора отвалилась. Женщина, вздрагивая, все крепче прижимала его к себе и говорила отрывистым, бессвязным шопотом:

— Что денег взял — это хорошо. Значит — грабеж... Без этого подумали бы, что — ревность...

— Каяться я не буду, — говорил Илья задумчиво. — Пусть бог накажет... Люди — не судьи. Какие они судьи?.. Безгрешных людей я не знаю... не видал...

— Господи! — вздохнув, сказала Олимпиада. — Что будет?.. Голубчик... Я — ничего не могу... ни говорить, ни думать, и надо нам отсюда уходить...

Она встала и пошатнулась, как пьяная. Но, закутав голову платком, она вдруг заговорила спокойно:

— Как же теперь, Илюша? Неужто пропадать?

Илья отрицательно качнул головою.

— Так ты... у следователя-то говори все, как было...

— Так и скажу... Ты думаешь, я за себя постоять не сумею? Думаешь, я из-за этого старика — в каторгу пойду? Ну, нет, я в этом деле не весь! Не весь, — поняла?

Он покраснел от возбуждения, и глаза его сверкали. А женщина наклонилась к нему, шопотом спрашивая:

— Денег-то только две тысячи?

— Две... с чем-то...

— Бедненький ты! И это не удалось! — грустно сказала женщина, на глазах ее сверкнули слезы.

Илья, взглянув ей в лицо, усмехнулся с горечью.

— Разве я для денег? Ты — пойми... погоди, я первый выйду отсюда... Мужчина всегда первый выходит...

— Ты — скорее приходи ко мне... Скрываться не надо нам... Скорее! — тревожно говорила ему Олимпиада.

Они поцеловались долгим, крепким поцелуем, и Лунев ушел. Выйдя на улицу, он нанял извозчика и когда ехал, то все оглядывался назад — не едет ли за ним кто-нибудь? Разговор с Олимпиадой облегчил его и вызвал в нем хорошее чувство к этой женщине. Ни словом, ни взглядом она не задела его сердца, когда он сознался ей в убийстве, и не оттолкнула от себя, а как бы приняла часть греха его на себя. Она же за минуту перед тем, ничего еще не зная, хотела погубить его и погубила бы, — он видел это по ее лицу... Думая о ней, он ласково улыбался. А на следующий день Лунев почувствовал себя зверем, которого выслеживают охотники.

Утром его встретил в трактире Петруха, на поклон Илья чуть кивнул ему головой и при этом посмотрел на него как-то особенно пристально. Терентий тоже присматривался к нему и вздыхал, не говоря ни слова. Яков, позвав его в конурку к Маше, там испуганно сказал:

— Вчера вечером околоточный приходил и все про тебя у отца расспрашивал... что это?

— О чем расспрашивал? — спокойно осведомился Илья.

— Как ты живешь... пьешь ли водку... насчет женщин. Называл какую-то Олимпиаду, — не знаете ли? — говорит. Что такое?

— А чорт их знает! — сказал Илья и ушел.

Вечером этого дня он опять получил записку от Олимпиады. Она писала:

«Меня допрашивали о тебе, — сказала я все подробно. Это совсем не страшно и очень просто. Не бойся. Целую тебя, милый».

Он бросил записку в огонь. В доме у Филимонова и в трактире все говорили об убийстве купца. Илья слушал эти рассказы, и они доставляли ему какое-то особенное удовольствие. Нравилось ходить среди людей, расспрашивать их о подробностях случая, ими же сочиненных, и чувствовать в себе силу удивить всех их, сказав:

«Это я сделал!..»

Некоторые хвалили его ловкость и храбрость, иные сожалели о том, что он не успел взять всех денег, другие опасались, как бы он не попался, и никто не жалел купца, никто не сказал о нем доброго слова. И то, что Илья не видел в людях жалости к убитому, вызывало в нем злорадное чувство против них. Он не думал о Полуэктове, а лишь о том, что совершил тяжкий грех и впереди его ждет возмездие. Эта мысль не тревожила его: она остановилась в нем неподвижно и стала как бы частью его души. Она была как опухоль от удара, — не болела, если он не дотрагивался до нее. Он глубоко верил, что настанет час и — явится наказание от бога, который все знает и законопреступника не простит. Эта спокойная, твердая готовность принять возмездие во всякий час позволяла Илье чувствовать себя почти спокойно. Он только более придирчиво стал отмечать в людях дурное.

Стал угрюмее, сосредоточенней, но так же, как раньше, с утра до вечера ходил по городу с товаром, сидел в трактирах, присматривался к людям, чутко слушал их речи. Однажды, вспомнив о деньгах, зарытых на чердаке, он подумал, что надо их перепрятать, но вслед за тем сказал себе:

«Не надо. Пускай лежат там... Будет обыск и найдут их — сознаюсь!..»

Но обыска не было, к следователю его все не требовали. Позвали только на шестой день. Перед тем, как идти в камеру, он надел чистое белье, лучший свой пид-

жак, ярко начистил сапоги и нанял извозчика. Сани подсакивали на ухабах, а он старался держаться прямо и неподвижно, потому что внутри у него все было туго натянуто и ему казалось — если он неосторожно двинется, с ним может случиться что-то нехорошее. И на лестницу в камеру он вошел не торопясь, осторожно, как будто был одет в стекло.

Следователь, молодой человек с курчавыми волосами и горбатым носом, в золотых очках, увидав Илью, сначала крепко потер свои худые белые руки, а потом снял с носа очки и стал вытирать их платком, всматриваясь в лицо Ильи большими темными глазами. Илья молча поклонился ему.

— Здравствуйте! Садитесь... сюда вот...

И он движением руки показал ему на стул у большого стола, покрытого малиновым сукном. Илья сел и осторожно локтем отодвинул какие-то бумаги, лежавшие на краю стола. Следователь заметил это, вежливо убрал бумаги, а потом сел за стол против Ильи и молча начал перелистывать какую-то книгу, исподлобья поглядывая на Лунева. Это молчание не понравилось Илье, и он, отвернувшись от следователя, стал осматривать комнату, первый раз видя такое хорошее убранство и чистоту. На стенах висели портреты в рамах, картины. На одной был изображен Христос. Он шел задумчиво, наклонив голову, печальный и одинокий, среди каких-то развалин, всюду у ног его валялись трупы людей, оружие, а на заднем плане картины поднимался черный дым — что-то горело. Илья долго смотрел на эту картину, желая понять, что это значит, и ему даже захотелось спросить об этом, но как раз в ту минуту следователь шумно захлопнул книгу. Илья вздрогнул и взглянул на него. Лицо следователя стало сухим, скучным, а губы у него смешно оттопырились, точно он обиделся на что-то.

— Ну-с, — сказал он, постукивая пальцами по столу, — Илья Яковлевич Лунев, — так?

— Да...

— Вы догадываетесь, зачем я вас позвал?

— Нет, — ответил Илья и снова мельком взглянул на картину. В комнате было тихо, чисто, красиво, — никогда еще Лунев не видал такой чистоты и так много красивых

вещей. От следователя пахло чем-то приятным. Все это развлекало Лунева, успокаивало его и вызывало в нем завистливые думы:

«Ишь как живет... Должно быть, выгодно воров и убиец ловить... Сколько ему жалованья платят?»

— Нет? — повторил следователь, как бы удивленный чем-то. — А разве Олимпиада Даниловна вам ничего не сообщала?

— Нет, — я ее давно уже не видал..

Следователь откатнулся на спинку кресла и опять смешно вытянул губы.

— А как давно?

— Н-не знаю... Дён... восемь, девять, пожалуй...

— Ага! Так-с... А что, скажите, часто вы у нее встречали старика Полуэктова?

— Это убитого-то?.. — спросил Илья, взглянув в глаза следователя.

— Вот, вот! Его...

— Не встречал никогда...

— Никогда?! Мм...

— Никогда...

Следователь кидал вопросы быстро, небрежно, а когда Илья, отвечавший не торопясь, особенно замедлял ответ, чиновник нетерпеливо стучал пальцами по столу.

— Вам было известно, что Олимпиада Даниловна жила на содержании Полуэктова? — неожиданно спросил он, глядя через очки в глаза Илье.

Лунев покраснел под этим взглядом, — ему стало обидно.

— Нет, — глухо ответил он.

— Да-с, она жила у него на содержании, — повторил следователь раздражающим голосом. — По-моему, это — нехорошо! — добавил он, видя, что Илья не собирается ответить ему.

— Чего уж хорошего! — негромко сказал Илья.

— Не правда ли?

Но Илья снова не ответил.

— А вы давно знакомы с ней?

— Больше года...

— Значит, познакомились до ее знакомства с Полуэктовым?

«Умная ты собака!» — подумал Илья и спокойно ответил:

— Как я могу это знать, ежели того, что она... с покойником жила, не знал?

Следователь сложил губы трубочкой, посвистал и начал просматривать какую-то бумагу. А Лунев вновь уставился на картину, чувствуя, что интерес к ней помогает ему быть спокойным. Откуда-то донесся веселый, звонкий смех ребенка. Потом женский голос, радостный и ласковый, протяжно запел:

Зои-нь-ка, ма-ти-нька, ду-си-нька, лю-би-нька!..

— Вас, кажется, очень занимает эта гравюра? — раздался голос следователя.

— Куда это Христос идет? — тихо спросил Илья.

Следователь посмотрел в лицо ему скучными, разочарованными глазами и, помолчав, сказал:

— А видите — сошел на землю и смотрит, как люди исполнили его благие заветы. Идет полем битвы, вокруг видит убитых людей, развалины домов, пожар, грабежи...

— А с неба-то он этого разве не видит? — спросил Илья.

— Мм... Это написано для вящей наглядности... для того, чтобы показать несоответствие между жизнью и учением Христа.

Снова посыпались какие-то маленькие, незначительные вопросы, надоедавшие Луневу, как осенние мухи. Он уставал от них, чувствуя, что они притупляют его внимание, что его осторожность усыпляется пустой, однообразной трескотней, и злился на следователя, понимая, что тот нарочно утомляет его.

— Вы не можете сказать, — небрежно, быстро спрашивал следователь, — где вы были в четверг между двумя и тремя часами?

— В трактире чай пил, — сказал Илья.

— А! В каком? Где?

— В «Плевне»...

— Почему вы с такой точностью говорите, что именно в это время вы были в трактире?

Лицо у следователя дрогнуло, он навалился грудью на стол, и его вспыхнувшие глаза как бы вцепились

в глаза Лунева. Илья помолчал несколько секунд, потом вздохнул и не торопясь сказал:

— А перед тем, как в трактир идти, я спрашивал время у полицейского.

Следователь вновь откинулся на спинку кресла и, взяв карандаш, застучал им по своим ногтям.

— Полицейский сказал мне, что был второй час... двадцать минут, что ли... — медленно говорил Илья.

— Он вас знает?

— Да...

— У вас своих часов нет?

— Нет...

— Вы и раньше спрашивали у него о времени?

— Случалось...

— Долго сидели в «Плевне»?

— Пока не закричали про убийство...

— А потом куда пошли?

— Смотреть на убитого.

— Видел вас кто-нибудь на месте, — у лавочки?

— Тот же полицейский видел... он даже прогонял меня оттуда... толкал...

— Это прекрасно! — с одобрением воскликнул следователь и небрежно, не глядя на Лунева, спросил: — Вы о времени у полицейского спрашивали до убийства или уже после?

Илья понял вопрос. Он круто повернулся на стуле от злобы к этому человеку в ослепительно белой рубашке, к его тонким пальцам с чистыми ногтями, к золоту его очков и острым, темным глазам. Он ответил вопросом:

— А как я могу про это знать?

Следователь сухо кашлянул и потер руки так, что у него хрустели пальцы.

— Чудесно! — недовольным голосом сказал он. — Вели-ко-ле-пно... Еще несколько вопросов.

Теперь следователь спрашивал скучным голосом, не торопясь и, видимо, не ожидая услышать что-либо интересное; а Илья, отвечая, все ждал вопроса, подобного вопросу о времени. Каждое слово, произносимое им, звучало в груди его, как в пустоте, и как будто задевало там туго натянутую струну. Но следователь уже не задавал ему коварных вопросов.

— Когда вы проходили в этот день по улице, не помните ли, не встретился ли вам человек высокого роста, в полушубке и черной барашковой шапке?

— Нет... — сурово сказал Лунев.

— Ну-с, прослушайте ваше показание, а потом подпишите его... — И, закрыв лицо листом исписанной бумаги, он быстро и одностонно начал читать, а прочитав, сунул в руку Лунева перо. Илья наклонился над столом, подписал, медленно поднялся со стула и, поглядев на следователя, глухо и твердо выговорил:

— Прощайте!

Тот ответил ему небрежным, барским кивком головы и, наклонясь над столом, начал писать. Илья стоял. Ему хотелось сказать что-нибудь этому человеку, так долго мучившему его. В тишине был слышен скрип пера, из внутренних комнат доносилось пение:

Потанцуйте, потанцуйте, маленькие куколки...

— Вы что? — спросил следователь вдруг, подняв голову.

— Ничего... — угрюмо ответил Лунев.

— Я вам сказал — можете идти...

— Ухожу...

Они смотрели друг на друга в упор, и Лунев почувствовал, что в груди у него что-то растет — тяжелое, страшное. Быстро повернувшись к двери, он вышел вон и на улице, охваченный холодным ветром, почувствовал, что тело его все в поту. Через полчаса он был у Олимпиады. Она сама отперла ему дверь, увидав из окна, что он подъехал к дому, и встретила его с радостью матери. Лицо у нее было бледное, а глаза увеличились и смотрели беспокойно.

— Умница ты! — воскликнула она, когда Илья сказал, что приехал прямо от следователя. — Так и надо, так! Ну, что он?

— Жулик! — злобно сказал Илья. — Ловушки ставил...

— Ему без этого нельзя, — резонно заметила женщина. — Такая должность...

— Говори прямо — так, мол, и так: думают на вас...

— Да ведь и ты не прямо! — с улыбкою сказала Олимпиада.

— Я? — с удивлением спросил Лунев. — Да-а... в самом деле! Ах, чорт!.. — Его очень поразило что-то, и он, помолчав, сказал: — А сидя перед ним, я... ей-богу, правым себя чувствовал.

— Ну, слава богу! — радостно вскричала Олимпиада. — Все хорошо обошлось...

Илья с улыбкой взглянул на нее и медленно заговорил:

— А ведь мне врать-то совсем немного пришлось... Везет мне, Липа!..

Он странно засмеялся.

— За мной сыщики поглядывают, — вполголоса сообщила Олимпиада. — Да и за тобой, наверно...

— Ка-ак же! — со злобой и насмешкой воскликнул Лунев. — Нюхают, обложить хотят, как волка в лесу. Ничего не будет, — не их дело! И не волк я, а несчастный человек... Я никого не хотел душить, меня самого судьба душит... как у Пашки в стихе сказано... И Пашку душит, и Якова... всех!

— Ничего, Илюша, — сказала женщина, заваривая чай. — Все обойдется!

Лунев встал с дивана, подошел к окну и, глядя на улицу, угрюмо, со злым недоумением в голосе продолжал:

— Всю жизнь я в мерзость носом тычусь... что не люблю, что ненавижу — к тому меня и толкает. Никогда не видал я такого человека, чтобы с радостью на него поглядеть можно было... Неужто никакой чистоты в жизни нет? Вот задавил я этого... зачем мне? Только испачкался, душу себе надорвал... Деньги взял... не брать бы!

— Не горюй! — утешала его Олимпиада. — Жалеть его — сердца нет.

— Я — не жалею... Я — оправдаться хочу. Всяк себя оправдывает, потому — жить надо!.. Вон следователь — живеет, как конфетка в коробочке... Он никого не удушит. Он может праведно жить — чистота вокруг...

— Погоди, уедем мы с тобой из этого города...

— Не-ет, я никуда не уеду! — твердо сказал Лунев, оборачиваясь к женщине. И, грозя кому-то, он добавил: — Я подожду, погляжу, что дальше будет...

Олимпиада на минутку задумалась. Она сидела у стола, пред самоваром, пышная и красивая, в белом широком капоте.

— Я еще поспорю, — значительно кивая головой, говорил Лунев, расхаживая по комнате.

— А! — обиженно воскликнула женщина, — ты это потому не хочешь ехать, что боишься меня? Думаешь, я теперь навсегда тебя в руки заберу, думаешь, коли я про тебя... это знаю, — пользоваться буду? Ошибся, милый, да! Насильно я тебя за собой не поташу...

Она говорила спокойно, но губы у нее вздрагивали, как от боли.

— Что ты говоришь? — удивленно вслушиваясь в ее слова, спросил Лунев.

— Неволить я тебя не стану, не бойся! Иди, куда хочешь, — пожалуйста!

— погоди! — сказал Илья, садясь рядом с нею и взяв ее за руку. — Не понимаю я, с чего ты этак заговорила?

— Притворяйся! — тоскливо крикнула Олимпиада, выдернув руку из его руки. — Знаю я — ты гордый, ты жесткий! Старика мне простить не можешь, и противна тебе жизнь моя... думаешь ты теперь, что из-за меня все это вышло... ненавидишь меня!..

— Врешь! — гордо сказал Илья. — Врешь ты, — ни в чем я не виню тебя. Я знаю — для нашего брата чистых да безгрешных женщин не приготовлено... нам они дороги. На них ведь жениться надо: они детей родят... Чистое — все для богатых... а нам — огрызочки, нам — ососочки, нам — заплеванное да захватанное.

— И оставь меня, захватанную! — вскрикнула Олимпиада, вскочив со стула. — Уходи! — Но тут на глазах ее сверкнули слезы, и она осыпала Илью горячими, как угли, словами: — Я сама, своей волей залезла в эту яму... потому что в ней денег много... Я по ним, как по лестнице, назад поднимусь... и опять буду хорошо жить... ты мне в этом помог. Знаю... И люблю тебя — хоть десятерых задуши. Я в тебе не добродетель люблю — гордость люблю... молодость твою, голову кудрявую, руки сильные, глаза твои строгие... укоры твои — как ножи в сердце мне... зато я тебе буду... по гроб благодарна... ноги поцелую, — на!

Она свалилась в ноги к нему и целовала его колени, вскрикивая:

— Бог — видит! Я для своего спасения согрешила, ведь ему же лучше, ежели я не всю жизнь в грязи проживу, а пройду сквозь ее и снова буду чистой, — тогда вымолю прощение его... Не хочу я всю жизнь маяться! Меня всю испачкали... всю испоганили... мне всех слез моих не хватит, чтобы вымыться...

Илья сначала отталкивал ее от себя, пытаясь поднять с пола, но она крепко вцепилась в него и, положив голову на колени, терлась лицом о его ноги и все говорила задыхающимся, глухим голосом. Тогда он стал гладить ее дрожащей рукой, а потом, приподняв с пола, обнял и положил ее голову на плечо себе. Горячая щека женщины плотно коснулась его щеки, и, стоя на коленях пред ним, охваченная его сильной рукой, она все говорила, опуская голос до шопота:

— Разве кому лучше, коли человек, раз согрешив, на всю жизнь останется в унижении?.. Девчонкой, когда вотчим ко мне с пакостью приставал, я его тяткой ударила... Потом — одолели меня... девочку пьяной напоили... девочка была... чистенькая... как яблочко, была твердая вся, румяная... Плакала над собой... жаль было красоты своей... Не хотела я, не хотела... А потом — вижу... все равно! Нет поворота... Дай, думаю, хошь дороже пойду. Возненавидела всех, воровала деньги, пьянствовала... До тебя — с душой не целовала никого...

Она окончила свои слова тихим шопотом и вдруг равнулась из объятий Ильи:

— Пусти!

Он еще крепче стиснул ее руками и начал целовать ее лицо со страстью, с отчаянием.

— На слова твои мне сказать нечего... — горячо говорил он. — Одно скажу — нас не жаль никому... ну, и нам жалеть некого!.. Хорошо говорила ты... Хорошая ты моя... люблю тебя... ну не знаю как! Не словами это можно сказать...

Ее речи, ее жалобы возбудили в нем горячее, светлое чувство к этой женщине. Ее горе как бы слилось с его несчастьем в одно целое и породнило их. Крепко обняв

друг друга, они долго тихими голосами рассказывали один другому про свои обиды.

— Не будет нам с тобой счастья, — сказала женщина, качая головой безнадежно.

— Ну, — несчастье поприазднуем!.. В каторгу понадобится идти — вместе айда? Слышишь? А пока — будем горе с любовью изживать... Теперь мне — хошь жги меня огнем... На душе — легко...

Взволнованные разговором, возбужденные ласками, они смотрели друг на друга, как сквозь туман. Им было жарко от объятий и тесно в одеждах...

За окнами небо было серое, скучное. Холодная мгла одевала землю, оседая на деревьях белым инеем. В палисаднике пред окнами тихо покачивались тонкие ветви молодой березы, стряхивая снежинки. Зимний вечер наступал...

Через несколько дней Лунев узнал, что по делу об убийстве купца Полуэктова полиция ищет какого-то высокого человека в барашковой шапке. При осмотре вещей в лавке убитого были найдены две серебряные ризы с икон, оказалось, что они краденые. Мальчик, служивший в лавке, показал, что эти ризы были куплены дня за три до убийства у человека высокого роста, в полушубке, по имени Андрея, что человек этот не однажды продавал Полуэктову серебряные и золотые вещи и что Полуэктов давал ему деньги в долг. Потом стало известно, что накануне и в самый день убийства человек, подходящий под описание мальчика, кутил в публичных домах.

Каждый день Илья слышал что-нибудь новое по этому делу: весь город был заинтересован дерзким убийством, о нем говорили всюду — в трактирах, на улицах. Но Лунева почти не интересовали эти разговоры: мысль об опасности отвалилась от его сердца, как корка от язвы, и на месте ее он ощущал только какую-то неловкость. Он думал лишь об одном: как теперь будет жить?

И чувствовал себя, как рекрут пред набором, как человек, собравшийся в далекий, неизвестный путь. Последнее время к нему усиленно приставал Яков. Растрепанный,

одетый кое-как, он бесцельно совался по трактуру и по двору, смотрел на все рассеянно блуждавшими глазами и имел вид человека, занятого какими-то особенными соображениями. Встречаясь с Ильей, он таинственно и торопливо, вполголоса или шопотом, спрашивал его:

— У тебя нет время потолковать со мной?

— Погоди, некогда...

— Ах ты!.. а дело важное.

— Что такое? — спросил Илья.

— Книга-то! Объясняет себя так, брат, что ой-ой! — пугливо сказал Яков.

— А ну тебя, с книгами! Ты вот что скажи: с чего это отец твой на меня зверем смотрит?

Но то, что совершалось в действительности, не задевало внимания Якова. В ответ на вопрос товарища он с недоумением вытарашил глаза и осведомился:

— А что? Я ничего не знаю. Слышал я раз, — дяде твоему он говорил, — что-то вроде того, будто ты фальшивыми деньгами торгуешь... да ведь это так он, зря...

— А ты почему знаешь, что зря? — с улыбкой спросил Илья.

— Ну, что там? Какие деньги? Ерунда все!.. — И, махнув рукой, Яков задумался. — Поговорить-то нет у тебя время? — спросил он через минуту, оглядывая товарища блуждающими глазами.

— Про книгу?

— Да-а... Тут одно место понял я, — фу, фу, фу-у, брат ты мой...

И философ сделал такую гримасу, точно обжегся чем-то горячим: Лунев смотрел на товарища как на чудака, как на юродивого. Порою Яков казался ему слепым и всегда — несчастным, негодным для жизни. В доме говорили, — и вся улица знала это, — что Петруха Филимонов хочет венчаться со своей любовницей, содержавшей в городе один из дорогих домов терпимости, но Яков относился к этому с полным равнодушием. И, когда Лунев спросил его, скоро ли свадьба, Яков тоже спросил:

— Чья?

— Отца твоего...

— А! Кто его знает... Вот бесстыдник! Нашел жену — тьфу!

— А ты знаешь, что у нее сын есть — большой уж, в гимназии учится?

— Нет, не знал, — а что?

— Так... наследник будет твоему отцу...

— Ага! — равнодушно сказал Яков. И вдруг оживился. — Сын? Это на пользу мне, пожалуй, а? Вот бы отец-то мой этого бы самого сына-то да за буфет и определил! А меня — куда хочу!.. Вот бы...

И, предвкушая свободу, Яков смачно щелкнул языком. Лунев посмотрел на него с сожалением и сказал с усмешкой:

— Верно говорится, что глупому чаду — морковку надо, а дай хлеба ему — не подставит суму. Эх ты! Не придумаю я, как жить будешь?

Яков насторожился, выкатил глаза и быстрым шопотом поведал:

— Я думал про это! Прежде всего надо устроить порядок в душе... Надо понять, чего от тебя бог хочет? Теперь я вижу одно: спутались все люди, как нитки, тянет их в разные стороны, а кому куда надо вытянуться, кто к чему должен крепче себя привязать — неизвестно! Родился человек — неведомо зачем; живет — не знаю для чего, смерть придет — все порвет... Стало быть, прежде всего надо узнать, к чему я определен... во-от!..

— Эх ты въелся в эти рассуждения твои, — напряженно сказал Лунев. — И какой в них толк?

Он чувствовал, что теперь темные речи Якова задевают его сильнее, чем прежде задевали, и что эти слова будят в нем какие-то особые думы. Ему казалось, что кто-то черный в нем, тот, который всегда противоречил всем его простым и ясным мечтам о чистой жизни, теперь с особенной жадностью вслушивается в речи Якова и вороchaется в душе его, как ребенок в утробе матери. Это было неприятно Илье, смущало его, казалось ему ненужным, он избегал разговоров с Яковым. Но отвязаться от товарища было нелегко.

— Какой толк? Самый простой. Без этого — как без огня.

— Ты, Яков, вроде старика, — скушно с тобой. И свинья ищет удачи, а человек — тем паче, — как говорится.

После этих разговоров он чувствовал себя так, точно много соленого поел: какая-то тяжкая жажда охватывала его, хотелось чего-то особенного. К его тяжелым, мглистым думам о боге примешивалось теперь что-то ожесточенное, требовательное.

«Все видит, а — допускает!..» — думал он хмуро, чувствуя, что душа его заплуталась в неразрешимом противоречии. Шел к Олимпиаде и в ее объятиях прятался от своих дум, тревог.

Изредка посещал он и Веру. Веселая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказывала Илье о кутежах с богатыми купчиками, с чиновниками и офицерами, о тройках, ресторанах, показывала подарки поклонников: платья, кофточки, кольца. Полненькая, стройная, крепкая, она с гордостью хвасталась тем, как ее поклонники ссорятся за обладание ею. Лунев любовался ее здоровьем, красотой и весельем, но не раз осторожно замечал ей:

— Завертитесь вы, Верочка, в этой игре...

— А — так что? Туда мне и дорога... По крайней мере — с шиком. Взяла сколько умела, и — кончено!

— А — Павел?..

Ее брови вздрагивали, и веселье исчезало.

— Отошел бы он от меня... Трудно ему со мной... Напрасно он мучается... Я уж не останюсь, — попала муха в паутину...

— Не любите его? — спросил Илья.

— Его нельзя не любить! — совершенно серьезно возразила она. — Он — удивительный!

— Так — что же? Жили бы с ним...

— Это чтобы на шее у него сидеть? Ведь он едва для себя хлеба добывается, как же ему содержать меня? Нет, мне его жалко...

— Смотрите, худа не было бы... — предупредил ее Лунев однажды.

— Ах, господи! — воскликнула Вера с досадой. — Ну как же быть? Неужели я для одного человека родилась? Ведь всякому хочется жить весело... И всякий живет как ему нравится... И он, и вы, и я.

— Н-ну, это не так! — угрюмо и вдумчиво сказал Илья. — Живем мы... но только — не для себя...

— А для кого же?

— Вы вот — для купцов, для кутил разных...

— Я сама — кутила! — сказала Вера и весело расхоталась.

Лунев уходил от нее с грустью. Павла он встречал за это время раза два, но мельком. Заставая товарища у Веры, Павел хмурился, злился. Он сидел при Луневе молча, стиснув зубы, и на его худых щеках загорались красные пятна. Илья понимал, что товарищ ревнует его, и ему это было приятно. Но в то же время он ясно видел, что Грачев влез в петлю, из которой вряд ли вывернется без ущерба для себя. И, жалая Павла, а еще больше Веру, он перестал ходить к ней. С Олимпиадой он вновь переживал медовый месяц. Но и сюда врывается холодок, от которого у Ильи щемило сердце. Иногда среди разговора он вдруг угрюмо задумывался. Тогда Олимпиада говорила ему ласковым шопотом:

— Милый! А ты не думай... Мало на свете людей, у которых руки-то чистенькие...

— Вот что, — сухо и серьезно отвечал ей Лунев, — прошу я тебя, не заводи ты со мной разговора об этом! Не о руках я думаю... Ты хоть и умная, а моей мысли понять не можешь... Ты вот скажи: как поступать надо, чтобы жить честно и безобидно для людей? А про старика молчи...

Но она не умела молчать о старике и все уговаривала Илью забыть о нем. Лунев сердился, уходил от нее. А когда являлся снова, она бешено кричала ему, что он ее из боязни любит, что она этого не хочет и бросит его, уедет из города. И плакала, щипала Илью, кусала ему плечи, целовала ноги, а потом, в исступлении, сбрасывала с себя одежду и, нагая стоя перед ним, говорила:

— Али я не хороша? Али тело у меня не красивое?.. Каждой жилочкой люблю тебя, всей моей кровью люблю, — режь меня — смеяться буду...

Голубые глаза ее темнели, губы жадно вздрагивали, и грудь, высоко поднимаясь, как бы рвалась навстречу Илье. Он обнимал ее, целовал, сколько силы хватало, а потом, идя домой, думал: «Как же она, такая живая и горячая, как она могла выносить поганые ласки старика?» И Олимпиада казалась ему противной, он

с отвращением плевал, вспоминая ее поцелуи. Однажды, после взрыва ее страсти, он, пресыщенный ласками, сказал ей:

— А ведь с той поры, как я старого чорта удушил, ты меня крепче любить стала...

— Ну да, — а что?

— Та-ак. Смешно мне подумать... есть эдакие люди... им тухлое яйцо — слаще свежего кажется, а иные любят съесть яблоко, когда оно загнило... Чудно!..

Олимпиада взглянула на него мутными глазами, лениво улыбнулась и не ответила.

Как-то раз, когда Илья, придя из города, раздевался, в комнату тихо вошел Терентий. Он плотно притворил за собою дверь, но стоял около нее несколько секунд, как бы что-то подслушивая, и, тряхнув горбом, запер дверь на крюк. Илья, заметив все это, с усмешкой поглядел на его лицо.

— Илюша! — вполголоса сказал Терентий, садясь на стул.

— Ну?

— Развелись тут про тебя разные слухи... Нехорошо говорят...

И горбун тяжело вздохнул, опустив глаза.

— А как, примерно? — спросил Илья, снимая сапоги.

— Да... кто — что... Одни — будто ты к делу этому коснулся... Купца-то задавили... Другие — будто фальшивой монетой промышляешь ты...

— Завидуют, что ли? — спросил Илья.

— Ходят сюда разные... подобные тайной полиции... вроде как бы сыщиков... И всё Петруху расспрашивают про тебя...

— Ну и пусть стараются, — равнодушно сказал Илья.

— Это — конечно. Что нам до них, коли мы за собой никакого греха не знаем?

Илья засмеялся и лег на постель.

— Теперь они уже перестали... не являются! Только — сам Петруха начал... — смущенно и робко говорил Терентий. — Ты бы, Илюша, на квартирку куда-нибудь съехал — нашел бы себе комнатенку и жил?.. А то Петруха говорит: «Я, говорит, темных людей в своем доме не могу терпеть, я, говорит, гласный человек...»

Илья повернул к дяде лицо, потемневшее от злости, и громко сказал:

— Ежели его лаковая рожа мила ему, — молчал бы! Так и скажи... Услышу я неуважительное слово обо мне — башку в дресву разобью. Кто я ни есть — не ему, жулику, меня судить. А откуда я съеду... когда захочу. Хочу пожить с людьми светлыми да праведными...

Горбун испугался гнева Ильи. Он с минуту молчал, сидя на стуле, и, тихонько почесывая горб, глядел на племянника со страхом. Илья, плотно сжав губы, широко раскрытыми глазами смотрел в потолок. Терентий тщательно ощупал взглядом его кудрявую голову, красивое, серьезное лицо с маленькими усиками и крутым подбородком, поглядел на его широкую грудь, измерил все крепкое и стройное тело и тихо заговорил:

— Молодец стал ты!.. В деревне девки за тобой стадами бегали бы... Н-да... Зажил бы ты там хорошо-о! Я бы деньжонок тебе добыл... Открыть бы тебе лавочку да на богатой и жениться!.. И полетит твоя жизнь, как санки под гору.

— А может, я хочу на гору? — сумрачно сказал Илья.

— А конечно, — на гору! — быстро подхватил Терентий. — Ведь это я так сказал — легкая, мол, жизнь-то будет. Ну, а пойдет она в гору.

— А с горы куда? — спросил Илья.

Горбун взглянул на него и засмеялся дребезжащим смехом. Он снова начал что-то говорить, но Илья уже не слушал его, вспоминая пережитое и думая — как все это ловко и незаметно подбирается в жизни одно к другому, точно нитки в сети. Окружают человека случаи и ведут его, куда хотят, как полиция жулика. Вот — думал он уйти из этого дома, чтобы жить одному, — и сейчас же находится удобный случай. Он с испугом и пристально взглянул на дядю, но в это время раздался стук в дверь, и Терентий вскочил с места.

— Да ну, отпирай, — сердито и громко сказал Илья.

Когда горбун снял крючок, на пороге явился Яков с большой рыжей книгой в руках.

— Илья, идем к Машутке! — оживленно сказал он, подходя к постели.

— Что с ней такое? — быстро спросил Илья.

— С ней? Не знаю... Ее дома нет...
— Куда это она по вечерам шляться стала? — спросил горбун нехорошим голосом.

— Она с Матицей ходит, — сказал Яков.

— Ну, хорошего с ней не выходит, — медленно проговорил Терентий.

Яков схватил Лунева за рукав и дергал его.

— Ты что — с цепи сорвался? — сказал Лунев.

— Знаешь — а ведь она и есть — черная магия, не иначе! — вполголоса говорил Яков.

— Кто? — надевая валенки, спросил Илья.

— Эта самая книга... ей-богу! Вот увидишь... идем! Прямо говорю — чудеса! — продолжал Яков, ведя за собой товарища по темным сеням. — Даже страшно читать!.. Ну, только тянет она к себе, как в омут...

Илья чувствовал волнение товарища, слышал, как вздрагивает его голос, а когда они вошли в комнатку сапожника и зажгли в ней огонь, он увидел, что лицо у Якова бледное, а глаза мутные и довольные, как у пьяного.

— Ты выпил, что ли? — спросил он, подозрительно приглядываясь к Якову.

— Я? Нет, сегодня ни капли... Я ведь теперь не пью... так разве, для храбрости, когда отец дома, рюмки две-три хвачу! Боюсь отца... Пью только такое, которое не пахнет водкой... Ну, — слушай!

Он с треском уселся на стул, раскрыл книгу, низко наклонился над ней и, водя пальцем по желтой от старости толстой бумаге, глухо, вздрагивающим голосом прочитал:

— «Глава третья. О первобытии человеков» — слушай!

Вздохнув, он поднял вверх левую руку, а палец правой передвигая по странице, громко начал читать:

— «Повествуют, что первое человеков бытие — якое свидетельствует Диодор — у добродетельных мужей», — слышишь? — у добродетельных! — «иже о естестве вещей написаша — сугубое бе. Нецыи бо мняху яко не создан мир и нетленен и род человеческий без всякаго бе начала пред веки...»

Яков поднял голову от книги и, потрясая рукою в воздухе, шопотом сказал:

— Слышишь? Без на-ча-ла!..

— Читай дальше! — сказал Илья, подозрительно разглядывая старую, переплетенную в кожу книгу. Тогда вновь раздался тихий и восторженный голос Якова:

— «Сего мудрствования — свидетельствующу Цицерону — быша Пифагор Самийский, Архита Терентин, Платон Афинский, Ксенократ, Аристотель Стагиритский и мнози инии перипатетики тоежде мудрствовали глаголюще: что вся еже в вечнем сем мире суть и имуть быти — начала никакого не имяху», — видишь? опять без начала! «Но круг некий быти рождающих и рожденных, в нем же коегождо рожденного начало купно и конец быти познавается...»

Илья протянул руку и, захлопнув книгу, с усмешкой сказал:

— Брось! Ну ее к чорту... Какие-то немцы мудрили тут — познавается! Ничего невозможно понять...

— погоди! — боязливо оглянувшись вокруг, воскликнул Яков и, вытаращив глаза в лицо товарища, тихо спросил: — Ты свое начало знаешь?

— Какое? — сердито крикнул Илья.

— Не кричи... Возьмем душу. С душой человек рождается, а?

— Ну?

— Стало быть, должен он знать — откуда явился и как? Душа, сказано, бессмертна — она всегда была... ага? Не то надо знать, как ты родился, а как ты понял, что живешь? Родился ты живой, — ну, а когда ты жив стал? В утробе матерней? Хорошо! А почему ты не помнишь не только того, как до родов жил, а и опосля, лет до пяти, ничего не знаешь? И если душа, — то где она в тебя входит? Ну-ка?

Глаза Якова горели торжеством, его лицо освещала улыбка удовольствия, и с радостью, странной для Ильи, он вскричал:

— Вот те и душа!

— Дурак! — строго взглянув на него, сказал Илья. — Чему радуешься?

— Да — я не радуюсь, а просто так...

— То-то, просто! Не в том дело, отчего я жив, а — как мне жить? Как жить, чтобы все было чисто, чтобы

меня никто не задевал и сам я никого не трогал? Вот найди мне книгу, где бы это объяснялось...

Яков сидел, понуря задумчиво голову. Его радостное возбуждение погасло, не найдя отклика. И, помолчав, он сказал в ответ товарищу:

— Смотрю я на тебя — и чего-то не того — не нравится мне... Мыслей я твоих не понимаю... вижу... начал ты с некоторой поры гордиться чем-то, что ли... Ровно ты праведник какой...

Илья засмеялся.

— Чего смеешься? Верно. Судишь всех строго... Никого — не любишь будто...

— И не люблю, — сказал Илья твердо. — Кого любить? за что? Какие мне дары людьми подарены?.. Каждый за своим куском хлеба хочет на чужой шее доехать, а туда же говорят: люби меня, уважай меня! Нашли дурака! Уважь меня — я тебя тоже уважу. Поддай мне мою долю, я, может, тебя полюблю тогда! Все одинаково жрать хотят...

— Ну, чай, не одного жранья люди ищут, — неприязненно и недовольно возразил Яков.

— Знаю! Всяк себя чем-нибудь украшает, но это — маска! Вижу я — дядюшка мой с богом торговаться хочет, как приказчик на отчете с хозяином. Твой папаша хоругви в церковь пожертвовал, — заключаю я из этого, что он или объегорил кого-нибудь, или собирается объегорить... И все так, куда ни взгляни... На тебе грош, а ты мне пятак положишь... Так и все морочат глаза друг другу да оправданья себе друг у друга ищут. А по-моему — согрешил вольно или невольно, ну и — подставляй шею...

— Это ты верно, — задумчиво сказал Яков, — и про отца верно, и про горбатого... Эх, не к месту мы с тобой родились! Ты вот хоть злой; тем утешаешь себя, что всех судишь... и все строже судишь... А я и того не могу... Уйти бы куда-нибудь! — с тоской вскричал Яков.

— Куда уйдешь? — спросил Илья, тонко усмехаясь.

Оба замолчали, уныло сидя друг против друга у стола. А на столе лежала большая рыжая книга в кожаном переплете с железными застешками...

В сенях кто-то завозился, послышались глухие голоса, потом чья-то рука долго скребла по двери, ища скобу.

Товарищи безмолвно ждали. Дверь отворилась медленно, не вдруг, и в подвал ввалился Перфишка. Он задел ногой за порог, покачнулся и упал на колени, подняв кверху правую руку с гармоникой в ней.

— Тпру! — сказал он и засмеялся пьяным смехом. Вслед за ним влезла Матица. Она тотчас же наклонилась к сапожнику, взяла его подмышки и стала поднимать, говоря тяжелым языком:

— Ось, як нализався... э, пьяница!

— Сваха! не тронь... я сам встану... са-ам...

Он закачался, встал на ноги и подошел к товарищам, протягивая им левую руку:

— Здрас-сте! Наше вам, ваше нам...

Матица густо и бессмысленно захохотала.

— Откуда это вы? — спросил Илья.

А Яков смотрел на пьяных с улыбкой и молчал.

— Откуда? М-мальчики! Милые, — эхма! — Перфишка затопал ногами по полу и запел:

Косточки, н-недоросточки!
Ко-огда кости подрастут,
Их в лавочку пр-родад-дут!

Сваха! А то лучше споем ту, которой ты меня научила... Н-ну...

Он прислонился спиной к печи рядом с Матицей и, толкая бабу локтем в бок, нащупывал пальцами клавиши гармонии.

— Где Машутка? — сурово спросил Илья.

— Эй вы! — крикнул Яков, вскакивая со стула. — Где Марья-то, в самом деле?

Но пьяные не обратили внимания на окрики. Матица склонила голову набок и запела:

Ой, ку-уме, ку-уме, добра горилка...

А Перфишка взмахнул гармоникой и подхватил высоким голосом:

Выпьем, ку-уме, для понедилка-а...

Илья встал и, взяв его за плечо, тряхнул так, что Перфишка стукнулся затылком о печку.

— Дочь где?

— Пр-ропад-дала его д-дочь, да во самую во полночь, — бессмысленно пробормотал Перфишка, хватаясь рукой за голову.

Яков допрашивал Матицу, но она, ухмыляясь, говорила:

— А не скажу! Н-не скажу и не скажу...

— Они ее, пожалуй, продали, дьяволы, — сурово усмехаясь, сказал Илья товарищу. Яков испуганно взглянул на него и жалким голосом спросил сапожника:

— Перфилий, слушай! Где Машутка?..

— Ма-ашу-тка! — насмешливо протянула Матица. — Хвати-ился...

— Илья! Как же? Что же делать? — с тревогой спрашивал Яков.

Илья молчал, мрачно глядя на пьяных.

Матица зловеще тянула песню, переводя свои огромные глаза с Ильи на Якова, и вдруг, нелепо взмахнув руками, заорала:

— И-идить вон з мойй хаты! Бо це — моя хата! Бо мы тож повенчаємось...

Сапожник, схватившись за живот, хохотал.

— Уйдем, Яков, — сказал Илья. — Чорт их разберет...

— погоди! — растерянно и пугливо говорил Яков. — Перфишка... скажи — где Маша?

— Матица! Супруга моя, бери их! Усь-усь... Лай на них, грызи... Где Маша?

Перфишка сложил губы трубой и хотел свистнуть, но не мог, а вместо того высунул язык Якову и снова захохотал. Матица лезла грудью на Илью и неистово орала:

— А ты хто? Хиба я того не знаю?

Илья оттолкнул ее и ушел из подвала. В сенях его догнал Яков, схватил за плечо и, остановив в темноте, заговорил:

— Разве это можно? Разве дозволено? Она — маленькая, Илья! Неужто они ее выдали замуж?

— Ну, не скули! — резко остановил его Илья. — Не к чему. Раньше бы присматривал за ними... Ты начала искал, а они, гляди, — кончили...

Яков умолк, но через минуту, идя по двору сзади Лунева, он вновь заговорил:

— Я не виноват... Я знал, что она на поденщину ходит, комнаты убирать куда-то...

— А мне чорт с тобой, виноват ты или нет!.. — грубо сказал Илья, останавливаясь среди двора. — Бежать надо из этого дома... Поджечь его надо...

— О господи... господи! — тихо сказал Яков, стоя за спиной Лунева, бессильно опустив руки вдоль тела и так наклоня голову, точно ждал удара.

— Заплачь! — насмешливо сказал Илья и ушел, оставив товарища в темноте среди двора.

Утром на другой день он узнал от Перфишки, что Машутку выдали замуж за лавочника Хренова, вдовца лет пятидесяти, недавно потерявшего жену.

Потряхивая болевшей с похмелья головой, Перфишка лежал на печи и спутанно рассказывал:

— Он мне, значит, и говорит: «У меня, говорит, двое детей... два мальчика. Дескать — надо им няньку, а нянька есть чужой человек... воровать будет и все такое... Так ты-де уговори-ка дочь...» Ну, я и уговорил... и Матица уговорила... Маша — умница, она поняла сразу! Ей податься некуда... хуже бы вышло, лучше — никогда!.. «Все равно, говорит, я пойду...» И пошла. В три дня всё округили... Нам с Матицей дано по трешной... но только мы их сразу обе пропили вчера!.. Ну и пьет эта Матица, — лошадь столько не может выпить!..

Илья слушал и молчал. Он понимал, что Маша строилась лучше, чем можно было ожидать. Но все же ему было жалко девочку. Последнее время он почти не видал ее, не думал о ней, а теперь ему вдруг показалось, что без Маши дом этот стал грязнее.

Желтая, опухшая рожа смотрела с печи на Илью, голос Перфишки скрипел, как надломленный сучок осенью на дереве.

— Поставил мне Хренов задачу, чтобы я к нему — ни ногой! В лавку, говорит, изредка заходи, на шкалик дам. А в дом, как в рай, — и не надейся!.. Илья Яковлевич! Не будет ли от тебя пягачка, чтобы мне опохмелиться? Дай, сделай милость...

— Ну, а ты теперь — как же? — сказал Лунев.

Сапожник сплюнул на пол и отвегил:

— Я теперь — окончательно сопьюсь... Когда Маша была не пристроена, я хоть стеснялся... иной раз и поработаю... вроде совести у меня к ней было... Ну, а теперь я знаю, что она сыта, обута, одета и как... в сундук заперта!.. Значит, свободно займись повсеместным пьянством...

— Не можешь бросить водку?

— Никак! — отрицательно мотая всклокоченной башкой, ответил сапожник. — И — зачем? Чего человек хочет — о том судьба хлопочет, — вот оно что! А коли человек такой, что в него и не вложишь ничего, — какое судьбе дело до него? Я тебе вот что скажу: хотел я сделать одно дельце... в ту пору, когда еще покойница жена жива была... Хотел я тогда урвать кусок у дедушки Еремее... Думал так: «Не я — другой, все равно старика ограбят...» Ну, слава богу, упредили меня в этом деле... Не жалею... Но тогда я понял, что и хотеть надо умеючи...

Сапожник засмеялся и стал слезать с печи, говоря:

— Ну, давай пятак... нутро горит — до смерти!..

— На, хваги стаканчик, — сказал Илья.

И, с улыбкой посмотрев на Перфишку, он проговорил:

— И шарлатан ты, и пьяница... все это верно! Но иной раз мне кажется — что лучше тебя я не знаю человека.

Перфишка недоверчиво взглянул на серьезное, но ласковое лицо Лунева.

— Шутить?

— Хочешь — верь, хочешь — не верь... Я не в похвалу тебе сказал, а — так... в осуждение людям...

— Мудрено!.. Нет, видно, не моим лбом сахар колоть... не понимаю! Пойду выпью, авось поумнею...

— погоди! — остановил его Лунев, схватив за рукав рубахи. — Ты бога боишься?

Перфишка нетерпеливо переступил с ноги на ногу и почти с обидой сказал:

— Мне бога бояться нечего... Я людей не обижаю...

— А молишься ты? — допрашивал Илья, понижая голос.

— Н-ну... молюсь, известно... редко!..

Илья видел, что сапожник не хочет говорить, всей силой души стремясь в кабак.

— Иди, иди, — задумчиво сказал он. — Но вот что: умрешь — бог тебя спросит: «Как жил ты, человек?»

— А я скажу: «Господи! Родился — мал, помер — пьян, — ничего не помню!» Он посмеется да простит меня...

Сапожник счастливо улыбнулся и ушел.

Лунев остался один в подвале... Ему было странно думать, что в этой тесной, грязной яме никогда уже не появится Маша, да и Перфишку скоро прогонят отсюда.

В окно смотрело апрельское солнце, освещая давно не метенный пол. Все в подвале было неприбрано, нехорошо и тоскливо, точно после покойника.

Сидя на стуле прямо, Илья смотрел на облезлую, коренастую печь перед ним, тяжелые думы наваливались на него одна за другой.

«Пойти разве покаяться?» — вдруг мелькнула в его голове ясная мысль.

Но он тотчас же со злостью оттолкнул ее от себя...

В тот же день вечером Илья принужден был уйти из дома Петрухи Филимонова. Случилось это так: когда он возвратился из города, на дворе его встретил испуганный дядя, отвел в угол за поленицу дров и там сказал:

— Ну, Ильяша, уходить тебе надо... Что у нас тут было-о!

Горбун в страхе закрыл глаза и, взмахнув руками, ударил себя по бедрам:

— Яшка-то напился вдрызг, да отцу и бухнул прямо в глаза — вор! И всякие другие колючие слова: бесстыжий развратник, безжалостный... без ума орал!.. А Петруха-то его ка-ак тыпнет по зубам! Да за волосы, да ногами топтать и всяко, — избил в кровь! Теперь Яшка-то лежит, стонет... Потом Петруха на меня, — как зыкнет! «Ты, говорит... Гони, говорит, вон Ильку...» Это-де ты Яшку-то настроил супротив его... И орал он — до ужаси!.. Так ты гляди...

Илья снял с плеча ремень и, подавая ящик дяде, сказал:

— Держи!..

— погоди! Куда-а?

Руки у Ильи тряслись от жалости к Якову и злобы к его отцу.

— Держи, говорю, — сквозь зубы сказал он и пошел в трактир. Он стиснул зубы так крепко, что скулам и челюстям стало больно, а в голове вдруг зашумело. Сквозь этот шум он слышал, что дядя кричит ему что-то о полиции, погибели, остроге, и шел, как под гору.

В трактире у буфета стоял Петруха и, разговаривая с каким-то оборванцем, улыбался. На его лысину падал свет лампы, и казалось, что вся голова его блестит довольной улыбкой.

— А, купец! — насмешливо вскричал он, увидя Илью, брови его сердито задвигались. — Тебя-то мне и надо...

Он стоял у двери в свои комнаты, заслоняя ее.

Илья подошел к нему, твердый, суровый, и громко сказал:

— Отойди прочь!..

— Что-о? — протянул Петруха.

— Пусти меня к Якову...

— Я те дам Якова...

Илья молча во всю свою силу ударил Петруху по щеке. Буфетчик застонал и свалился на пол. Из всех углов к нему бросились половые; кто-то закричал:

— Держи его! Бей!

Публика засуетилась, точно ее обдали кипятком, но Илья перешагнул через Петруху, вошел в дверь и запер ее за собою.

В маленькой комнате, тесно заставленной ящиками с вином и какими-то сундуками, горела, вздрагивая, жестяная лампа. В полутьме и тесноте Лунев не сразу увидал товарища. Яков лежал на полу, голова его была в тени, и лицо казалось черным, страшным. Илья взял лампу в руки и присел на корточки, освещая избитого. Синяки и ссадины покрывали лицо Якова безобразной темной маской, глаза его затекли в опухолях, он дышал тяжело, хрипел и, должно быть, ничего не видел, ибо спросил со стоном:

— Кто тут?

— Я, — тихо сказал Лунев, вставая на ноги.

— Дай испить...

Илья оглянулся. В дверь ломились. Кто-то командовал:

— С заднего крыльца заходи...

Тонкий, воющий голос Петрухи прорывался сквозь шум:

— Я его не трогал...

Илья злорадно усмехнулся. И, подойдя к двери, он спокойно вступил в переговоры с осаждающими:

— Эй вы! Погодите орать... Если я ему в морду дал, от этого он не издохнет, а меня за это судить будуг. Значит, вам нечего лезть не в свое дело... Не напирайте на дверь, я отопру сейчас...

Он отпер дверь и встал в ней, как в раме, туго сжав кулаки на всякий случай. Публика отступила пред его крепкой фигурой и готовностью драться, ясно выражавшейся на его лице. Но Петруха стал расталкивать всех, завывая:

— Ага-а, ра-азбойник!..

— Уберите его прочь и глядите сюда — пожалуйста! — отступив от двери в сторону, приглашал Илья публику. — Полнобуйтесь, как он человека изуродовал...

Несколько гостей, косясь на Илью, вошли в комнату и наклонились над Яковом. Один с изумлением и со страхом проговорил:

— Ра-азутю-ужи-ил!..

— Принесите воды. Да полицию позвать надо... — говорил Илья.

Публика была на его стороне; он и видел и чувствовал это, и резко, громко заговорил:

— Вы все знаете Петрушку Филимонова, знаете, что это первый мошенник в улице... А кто скажет худо про его сына? Ну, вот вам сын — избитый лежит, может, на всю жизнь изувеченный, — а отцу его за это ничего не будет. Я же один раз ударил Петрушку — и меня осудят... Хорошо это? По правде это будет? И так во всем — одному дана полная воля, а другой не посмей бровью шевелить...

Несколько человек сочувственно вздохнули, иные молча ушли, а Петруха, визгливо вскрикивая, начал всех выгонять.

— Идите! Идите! Это мое дело, мой сын! Ступайте... Я полиции не боюсь... И суда мне не надо. Не надо-с. Я тебя и так, без суда, доеду... Иди вон!

Илья, встав на колени, поил Якова водой, с тяжелой жалостью глядя на разбитые, распухшие губы товарища. А Яков глотал воду и шопотом говорил:

— Дышать больно... уведи меня... Илюша... голубчик!

Из опухолей под глазами сочились слезы...

— Его в больницу надо отвезти... — угрюмо сказал Илья, оборачиваясь к Петрухе.

Буфетчик смотрел на сына и что-то пробормотал невнятно. Один глаз у него был широко раскрыт, а другой, как у Якова, тоже почти затек от удара Ильи.

— Слышишь ты? — крикнул Илья.

— Не кричи! — неожиданно тихо и миролюбиво сказал Петруха. — В больницу нельзя — огласка!.. мне это не фасон...

— Подлец ты! — сказал Илья и с презрением плюнул в ноги Филимонова. — Я тебе говорю — отправляй в больницу! Не отправишь — скандал подниму хуже еще...

— Ну-ну-ну! Не того... не сердись... Он, поди, притворяется...

Илья вскочил на ноги. Но тогда Филимонов отпрыгнул к двери и крикнул:

— Иван! Позови извозчика — в больницу, пятиалтынный... Яков, одевайся! Нечего притворяться-то... не чужой человек бил, — родной отец... Меня не так еще мяли...

Он забегал по комнате, снимая со стен одежду, и бросал ее Илье, быстро и тревожно продолжая говорить о том, как его били в молодости...

За буфетом стоял Терентий. В уши Илье лез его вежливый, робкий голос:

— Вам за три или за пять копеек?.. Икорки? Икорка вся вышла... Селедочкой закусите...

На другой день Илья нашел себе квартиру — маленькую комнату рядом с кухней. Ее сдавала какая-то барышня в красной кофточке; лицо у нее было розовое, с остреньким птичьим носиком, ротик крошечный, над узким лбом красиво вились черные волосы, и она часто взбивала их быстрым жестом маленькой и тонкой руки.

— Пять рублей за такую миленькую комнатку — недорого! — бойко говорила она и улыбалась, видя, что ее темные живые глазки смущают молодого широкоплечего парня. — Обои совершенно новые... окно выходит в сад, — чего вам? Утром я вам поставлю самовар, а внесете вы его к себе сами...

— Вы горничная? — с любопытством спросил Илья.

Барышня перестала улыбаться, у нее дрогнули брови, она выпрямилась и с важностью сказала:

— Я не горничная, а хозяйка этой квартиры, и муж мой...

— Да разве вы замужем? — с удивлением воскликнул Илья и недоверчиво оглянул сухонькую, стройную фигурку хозяйки. На этот раз она не рассердилась, а засмеялась звонко и весело.

— Какой вы смешной! То горничной называет, то не верит, что замужем...

— Да как верить, ежели вы совсем девочка! — тоже с усмешкой сказал Лунев.

— А я уже третий год замужем, муж мой околоточный надзиратель...

Илья взглянул ей в лицо и тоже тихонько засмеялся, сам не зная чему.

— Вот чудак! — передернув плечиками, воскликнула женщина, с любопытством разглядывая его. — Ну, что же, — снимаете комнату?

— Решеное дело! Прикажете дать задаток?

— Конечно!

— Я часика через два-три и перееду...

— Пожалуйте. Я рада такому постояльцу, — вы, кажется, веселый...

— Не очень... — усмехаясь, сказал Лунев.

Он вышел на улицу улыбаясь, с приятным чувством в груди. Ему нравилась и комната, оклеенная голубыми обоями, и маленькая, бойкая женщина. Но почему-то особенно приятным казалось ему именно то, что он будет жить на квартире околоточного. В этом он чувствовал что-то смешное, задорное и, пожалуй, опасное для него. Ему нужно было навестить Якова; он нанял извозчика, уселся в пролетку и стал думать — как ему поступить с деньгами, куда теперь спрятать их?..

Когда он приехал в больницу, оказалось, что Якова только что купали в ванне и теперь он спит. Илья остановился в коридоре у окна, не зная, что ему делать, — уйти или подождать, когда товарищ проснется. Мимо, тихо шлепая туфлями, проходили один за другим больные в желтых халатах, поглядывая на него скучающими глазами; со звуками их тихого говора сливались чьи-то стоны, долетавшие издали... Гулкое эхо разносило звуки по длинной трубе коридора... Казалось, что в пахучем воздухе больницы невидимо, бесшумно летает кто-то, вздыхая и тоскуя... Илье захотелось уйти из этих желтых стен... Но один из больных шагнул к Илье и, протягивая руку, сказал негромко:

— Здравствуй!..

Лунев поднял глаза на него и отшатнулся, изумленный...

— Павел!.. И ты здесь?

— А кто еще? — быстро спросил Павел.

Лицо у него было какое-то серое, глаза смущенно и тревожно мигали... Илья кратко рассказал ему о Якове и воскликнул:

— Как тебя перевернуло!

Павел вздохнул; губы у него вздрогнули; как виноватый в чем-то, низко опустив голову, он хриплым шопотом повторил:

— Перевернуло...

— Что у тебя? — участливо спросил Лунев.

— Ну... Будто не знаешь...

Павел мельком взглянул в лицо товарища и снова опустил голову.

— Заразился?

— Конечно...

— Неужто от Веры?

— От кого же? — угрюмо ответил Павел.

Илья тряхнул головой.

— Вот и я когда-нибудь тоже влечу...

Павел, доверчиво глядя в глаза ему, сказал:

— Я думал — ты побрезгуешь теперь мной... Шатаюсь тут, вдруг вижу — ты!.. Стыдно стало... отвернулся, прошел мимо...

— Умен! — с укором сказал Илья.

— Кто тебя знает, как взглянешь? Болезнь поганая... Вторую неделю здесь торчу... Такая тоска, такая мука!.. Ночью — словно на углях жарись... Время тянется, как волос по молоку... И как будто в трясику тебя засасывает, и некого крикнуть на помощь...

Он говорил почти шопотом, а лицо у него вздрагивало, руки судорожно мяли полы халата.

— А Вера где? — задумчиво спросил Илья.

— Чорт ее знает, — с горькой усмешкой сказал Грачев.

— Не ходит?

— Приходила раз — я выгнал... Видеть я ее не могу! — зло прошептал Павел.

Илья укоризненно взглянул на его искаженное лицо и сказал:

— Ну, это ты ерунду порешь!.. Коли хочешь справедливости, так и сам будь справедлив. Чем она виновата?

— А кого мне винить? — вполголоса горячо воскликнул Павел. — Кого? Я ночи напролет думаю — отчего моя жизнь скомкалась? Оттого, что я Веру полюбил, да?.. Про мою к ней любовь — в небе звездами не напишешь!..

Глаза Павла покраснели, из них тяжело выкатились две большие слезы. Он смахнул их со щек рукавом халата.

— Все это пустые слова... — сказал Лунев, чувствуя, что ему Веру жалко больше, чем Павла. — Ты мед пил — хвалил: силен! — напился — ругаешь: хмелен!.. А каково ей? Ведь и ее заразили?

— И ее! — сказал Павел и дрогнувшим голосом спросил: — А ты думаешь, не жалко мне ее? Я ее выгнал... И, как пошла она... как заплакала... так тихо заплакала, так горько, — сердце у меня кровью облилось... Сам бы заплакал, да кирпичи у меня тогда в душе были... И задумался я тогда надо всем этим... Эх, Илья! Нет нам жизни...

— Да-а! — протянул Лунев, странно улыбаясь. — Творится что-то... мудреное! Давит всех и давит. Якову отец житья не дает, Машутку замуж за старого чорта сунули, ты вот...

Он вдруг тихонько засмеялся и сказал, понизив голос:

— Одному мне везет! Как о чем подумаю — пожалуйте, готово!

— Нехорошо ты говоришь, — пытливо глядя на него, сказал Павел, — смеешься, что ли?

— Нет, кто-то другой смеется! Надо всеми нами смеется кто-то... Гляжу я в жизнь — нет в ней справедливости...

— Я тоже вижу это! — тихо, но как-то всей грудью воскликнул Павел.

На лице его вспыхнули красные пятна, а глаза его за-сверкали живо и бойко, как, бывало, у здорового.

Они стояли в полутемном углу коридора, у окна, стекла которого были закрашены желтой краской, и здесь, плотно прижавшись к стене, горячо говорили, на лету ловя мысли друг друга. Откуда-то издали доносился протяжный стон, похожий на гудение струны, которую кто-то задевает через равные промежутки времени, а она вздрагивает и звучит безнадежно, точно зная, что нигде нет живого сердца, способного успокоить ее болезненную дрожь. Павел горел от сознания обиды, нанесенной ему тяжелой рукой жизни; он тоже, как струна, вздрагивал от возбуждения и торопливо, бессвязно шептал товарищу свои жалобы и догадки. А Илья чувствовал, что слова Павла точно искры высекают из его сердца, они зажгли в его груди то темное и противоречивое, что всегда беспокоило его. Он чувствовал, что на месте его недоумения пред жизнью вспыхнуло что-то иное, что вот-вот осветит мрак его души и успокоит ее навсегда.

— Почему, ежели ты сыт — ты свят, ежели ты учен — прав? — шептал Павел, стоя против Ильи, сердце к сердцу. И оглядывался по сторонам, точно чувствуя близость врага, который скомкал жизнь его.

— Кто слова наши поймет? — сурово воскликнул Илья.

— Да! С кем говорить?

Павел замолчал. Лунев задумчиво посмотрел в глубь коридора. Теперь, когда они замолчали, стон раздался слышнее. Должно быть, чья-то большая и сильная грудь стонала и велика была ее боль...

— Ты все с Олимпиадой? — спросил Павел у Лунева.

— Да, живу! — усмехаясь, ответил Илья. — Знаешь, — усмехаясь, продолжал он, сильно понизив голос, — Яков дочитался до того, что в божестве сомневается...

Павел взглянул на него и неопределенным тоном спросил:

— Ну?

— Нашел такую книгу... А ты как насчет этого?

— Я, видишь ли... — задумчиво и тихо сказал Павел, — я как-то так... в церковь не хожу...

— А я — много думаю... И не могу я понять, как бог терпит?

Снова между ними завязался быстрый разговор... Увлеченные им, они проговорили до поры, пока к ним подошел служитель и строго спросил Лунева:

— Ты что тут прячешься, а?

— Я не прячусь... — сказал Илья.

— А ты не видишь, что все посетители ушли?

— Стало быть, не видал... Прощай, Павел. К Якову-то зайди...

— Но-но — пошел! — крикнул служитель.

— Приходи скорее... — попросил Грачев.

На улице Лунев задумался о судьбе своих товарищей. Он видел, что ему лучше всех живется. Но это сознание не вызвало в нем приятного чувства. Он только усмехнулся и подозрительно посмотрел вокруг...

На новой квартире он зажил спокойно, и его очень заинтересовали хозяева. Хозяйку звали Татьяна Власьева. Веселая и разговорчивая, она через несколько дней после того, как Лунев поселился в голубой комнатке, подробно рассказала ему весь строй своей жизни.

Утром, когда Илья пил чай в своей комнате, она в переднике, с засученными по локоть рукавами, порхала по кухне и, заглядывая в дверь к нему, оживленно говорила:

— Мы с мужем люди небогатые, но образованные. Я училась в прогимназии, а он в кадетском корпусе, хотя и не кончил... Но мы хотим быть богатыми и будем... Детей у нас нет, а дети — это самый главный расход. Я сама стряпаю, сама хожу на базар, а для черной работы нанимаю девочку за полтора рубля в месяц и чтобы она жила дома. Вы знаете, сколько я делаю экономии?

Она становилась в дверях и, встряхивая кудерьками, по пальцам высчитывала:

— Кухарка — жалованья три рубля, да прокормить ее надо — семь, — десять!.. Украдет она в месяц на три рубля — тринадцать! Комнату ее сдаю вам — восемнадцать! Вот сколько стоит кухарка!.. Затем: я все покупаю оптом: масла — полпуда, муки — мешок, сахару — голову и так далее... На всем этом я выигрываю рублей двенадцать... Тридцать рублей! Если бы я служила где-нибудь, — в полиции, на телеграфе, — я работала бы на кухарку... А теперь я — ничего не стою для мужа и горжусь этим! Вот как надо жить, молодой человек! Учитесь...

Она плутовато смотрела в лицо Ильи бойкими глазами, он улыбался ей. Она нравилась ему и возбуждала в нем чувство уважения. Утром, когда он просыпался, она уже сновала по кухне, вместе с рябой и молчаливой девочкой-подростком, смотревшей на нее и на все пугливыми, бесцветными глазами. Вечером, когда он приходил домой, она, тоненькая, чистенькая, с улыбкой отпирала ему дверь, и от нее пахло чем-то приятным. Если муж ее был дома, он играл на гитаре, а она подпевала ему звонким голосом, или они садились играть в карты — в дурачки на поцелуи. Илье в его комнате было слышно все: и говор струн, то веселый, то чувствительный, и шлепанье карт, и чмокание губ. Квартира состояла из двух комнат — спальни и еще одной, смежной с комнатой Ильи: она служила супругам и столовой и гостиной, в ней они проводили свои вечера... По утрам в этой комнате раздавались звонкие птичьи голоса: тенькала синица, вперебой друг перед другом, точно споря, пели чиж и щегленок, старчески важно бормотал и скрипел снегирь, а порой в эти громкие голоса вливалась задумчивая и тихая песенка коноплянки.

Муж Татьяны, Кирик Никодимович Автономов, был человек лет двадцати шести, высокий, полный, с большим носом и черными зубами. Его добродушное лицо усеяно угрями, бесцветные глаза смотрели на все с невозмутимым спокойствием. Коротко остриженные светлые волосы стояли на его голове щеткой, и во всей грузной фигуре Автономова было что-то неуклюжее и смешное. Двигался он тяжело и с первой же встречи почему-то спросил Илью:

— Ты птиц певчих любишь?

— Люблю...

— Ловишь?

— Нет... — удивленно глядя на околоточного, ответил Илья.

Тот наморщил нос, подумал и спросил еще:

— А ловил?

— И не ловил...

— Никогда?

— Никогда...

Тут Кирик Автономов снисходительно улыбнулся и сказал:

— Значит, ты их не любишь, если не ловил... А я ловил, даже за это из корпуса был исключен... И теперь стал бы ловить, но не хочу компрометироваться в глазах начальства. Потому что хотя любовь к певчим птицам — и благородная страсть, но ловля их — забава, недостойная солидного человека... Будучи на твоём месте, я бы ловил чижиков — непременно! Веселая птичка... Это именно про чижа сказано: птичка божия...

Автономов говорил и мечтательными глазами смотрел в лицо Ильи, а Лунев, слушая его, чувствовал себя неловко. Ему показалось, что околоточный говорит о ловле птиц иносказательно, что он намекает на что-то. Но водянистые глаза Автономова успокоили его; он решил, что околоточный — человек не хитрый, вежливо улыбнулся и промолчал в ответ на слова Кирика. Тому, очевидно, понравилось скромное молчание и серьезное лицо постояльца, он улыбнулся и предложил:

— Вечером приходи к нам чай пить... Приходи без стеснения... в карты поиграем, в дурачки... Гости к нам ходят редко. Принимать гостей — приятно, но их надо угощать, а это — неприятно, потому что дорого.

Чем более присматривался Илья к благополучной жизни своих хозяев, тем более нравились они ему. Все у них было чисто, крепко, все делалось спокойно, и они, видимо, любили друг друга. Маленькая, бойкая женщина была похожа на веселую синицу, ее муж — на неповоротливого снегиря, в квартире уютно, как в птичьем гнезде. По вечерам, сидя у себя, Лунев прислушивался к разговору хозяев и думал:

«Вот как надо жить...»

И, вздыхая от зависти, он все сильнее мечтал о времени, когда откроет свою лавочку, у него будет маленькая, чистая комната, он заведет себе птиц и будет жить один, тихо, спокойно, как во сне... За стеной Татьяна Власьевна рассказывала мужу, что она купила на базаре, сколько истратила и сколько сберегла, а ее муж глухо посмеивался и хвалил ее:

— Ах ты, умница! Ну, дай поцелую...

Он рассказывал жене о происшествиях в городе, о протоколах, составленных им, о том, что сказал ему полицеймейстер или другой начальник... Говорили о возможности повышения по службе, обсуждали вопрос, понадобится ли вместе с повышением переменить квартиру.

Илья слушал, и вдруг его охвагывала непонятная, тягелая скука. Становилось душно в маленькой голубой комнате, он беспокойно осматривал ее, как бы отыскивая причину скуки, и, чувствуя, что не может больше выносить тяжести в груди, уходил к Олимпиаде или гулял по улицам.

Олимпиада относилась к нему все более требовательно и ревниво, все чаще он ссорился с ней. Во время ссор она никогда не вспоминала об убийстве Полуэктова, но в хорошие минуты попрежнему уговаривала Илью забыть про это. Лунев удивлялся ее сдержанности и как-то раз после ссоры спросил ее.

— Липа! Почему ты, когда ругаешься, про старика ни словом не помянешь?

Она ответила, не задумываясь:

— А потому, что это дело не мое, да и не твое. Коли тебя не нашли — значит, так ему и надо было. Душить его тебе надобности не было, — ты сам говоришь. Значит, он через тебя наказан...

Илья недоверчиво засмеялся.

— Чго ты? — спросила женщина,

— Та-ак... Я подумал, что, коли человек неглуп — он обязательно жулик... Все можег оправдать... И обвинить все может...

— Не пойму тебя, — сказала Олимпиада, качая головой.

— Чего не понимать? — спросил Илья, вздохнув и пожимая плечами. — Просто. Я говорю: поставь ты мне

в жизни такое, что всегда бы неизбежно стояло; найди такое, что ни один бы самоумнейший человек ни обвинить, ни оправдать не мог... Найди такое! Не найдешь... Нет такого предмета в жизни...

После одной ссоры Илья, дня четыре не ходивший к Олимпиаде, получил от нее письмо... Она писала:

«Ну и прощай, милый Ильюша, навсегда, не увидимся мы с тобой больше. Не ищи меня, — не найдешь. А с первым пароходом уеду я из окаянного этого города: в нем я душу свою разможила на всю жизнь. Уеду я далеко и никогда не ворочусь, — не думай и не жди. За хорошее твое — спасибо тебе от всего сердца, а дурное я помнить не буду. Еще должна сказать тебе по правде, что ухожу я не куда-нибудь, а просто сошлась с молодым Ананьиным, который давно ко мне приставал и жаловался, что я его погублю, коли не соглашусь жить с ним. Согласилась: все равно. Мы уедем к морю, в село, где у Ананьиных рыбные ватаги. Он очень простой и даже предлагает обвенчаться, дурачок. Прощай! Как будто во сне видела я тебя, а проснулась — и нет ничего. Как у меня сердце ноет, если бы ты знал! Целую тебя, единственный человек. Не гордись перед людьми: мы все несчастные. Смирная стала я, твоя Липа, и как под обух иду, до того болит моя душа растерзанная. Олимпиада Шлыкова. По почте послала посылку тебе — кольцо на память. Носи, пожалуйста. Ол. Ш.»

Илья прочитал письмо и до боли крепко закусил губу. Потом прочитал еще и еще. С каждым разом письмо все больше нравилось ему, — было и больно и лестно читать простые слова, написанные неровными, крупными буквами. Раньше Илья не думал о том, насколько серьезно любит его эта женщина, а теперь ему казалось, что она любила сильно, крепко, и, читая ее письмо, он чувствовал гордое удовольствие в сердце. Но это удовольствие понемногу уступало место сознанию утраты близкого человека, и вот Илья грустно задумался: куда теперь, к кому пойдет он в час скуки? Образ женщины стоял пред его глазами, он вспоминал ее бешеные ласки, ее умные разговоры, шутки, и все глубже в грудь ему вбивалось острое чувство сожаления. Стоя пред окном, он, нахмутив брови, смотрел в сад, там, в сумраке, тихо шевелились кусты

бузины и тонкие, как бечевки, ветви березы качались в воздухе. За стеной грустно звенели струны гитары, Татьяна Власьева высоким голосом пела:

Пуска-ай кто хо-чет и-и-ищет
Б-бога-атых ян-тар-рей..

Илья держал письмо в руке и чувствовал себя виноватым пред Олимпиадой, грусть и жалость сжимали ему грудь и давили горло.

А м-не мо-е ко-ле-е-е-чко
До-оста-ань со дна мор-рей,

— раздавалось за стеной. Потом околоточный густо захохотал, а певица выбежала в кухню, тоже звонко смеясь. Но в кухне она сразу замолчала. Илья чувствовал присутствие хозяйки где-то близко к нему, но не хотел обернуться посмотреть на нее, хотя знал, что дверь в его комнату отворена. Он прислушивался к своим думам и стоял неподвижно, ощущая, как одиночество охватывает его. Деревья за окном всё покачивались, а Луневу казалось, что он оторвался от земли и плывет куда-то в холодном сумраке...

— Илья Яковлевич! Чай пить будете? — окрикнула его хозяйка.

— Нет...

За окном раздался могучий удар колокола; густой звук мягко, но сильно коснулся стекол окна, и они чуть слышно дрогнули... Илья перекрестился, вспомнил, что давно уже не бывал в церкви, и обрадовался возможности уйти из дома...

— Я ко всенощной пойду, — сказал он, обернувшись к двери. Хозяйка стояла как раз в двери, держась руками за косяки, и смотрела на него с любопытством. Илью смутил ее пристальный взгляд, и, как бы извиняясь перед нею, он проговорил:

— Давно в церкви не был...

— Хорошо! Я приготовлю самовар к девяти часам.

Идя в церковь, Лунев думал о молодом Ананьине. Он знал его: это богатый купчик, младший член рыбопромышленной фирмы «Братья Ананьины», белокурый, худенький паренек с бледным лицом и голубыми глазами. Он недавно появился в городе и сразу начал сильно кутить.

«Вот как живут люди, как ястреба, — размышлял Илья с горечью. — Только оперился и сейчас же — цап себе голубку...»

Он вошел в церковь расстроенный, обозленный своими думами, встал там в темный угол, где стояла лестница для зажигания паникадила.

«Господи, помилуй-уй», — пели на левом клиросе. Какой-то мальчишка подпевал противным, резавшим уши криком, не умея подладиться к хриплому и глухому голосу дьячка. Нескладное пение раздражало Илью, вызывая в нем желание надрать мальчишке уши. В углу было жарко от натопленной печи, пахло горелой тряпкой. Какая-то старушка в салопе подошла к нему и брюзгливо сказала:

— Не на свое место встали, сударь мой...

Илья посмотрел на воротник ее богатого салопы, украшенный хвостами куницы, и молча отодвинулся, подумав:

«И в церкви свои места...»

После убийства Полуэктова он впервые пришел в церковь и теперь, вспомнив об этом, вздрогнул.

— Господи! Помилуй... — прошептал он, крестясь.

Стройно и громогласно запели певчие. Голоса дискантов, отчетливо выговаривая слова песнопения, звенели под куполом чистым и сладостным звоном маленьких колокольчиков, альты дрожали, как звучная, туго натянутая струна; на фоне их непрерывного звука, который лился подобно ручью, дисканты вздрагивали, как отблески солнца в прозрачной струе воды. Густые, темные ноты басовой партии торжественно колыхались в воздухе, поддерживая пение детей; порою выделялись красивые и сильные возгласы тенора, и снова ярко блистали голоса детей, возносясь в сумрак купола, откуда, величественно простирая руки над молящимися, задумчиво смотрел вседержитель в белых одеждах. Вот пение хора слилось в массу звуков и стало похоже на облако в час заката, когда оно, розовое, алое и пурпурное, горит в лучах солнца великолепием своих красок и тает в наслаждении своей красотой...

Замерло пение, — Илья вздохнул глубоким, легким вздохом. Ему было хорошо: он не чувствовал раздражения, с которым пришел сюда, и не мог остановить мысли

на грехе своем. Пение облегчило его душу и очистило ее. Чувствуя себя так неожиданно хорошо, он недоумевал, не верил ощущению своему, но искал в себе раскаяния и — не находил его.

И вдруг его, как иглой, кольнула острая мысль:

«Что, если хозяйка войдет из любопытства в его комнату, начнет рыться там и найдет деньги?»

Илья быстро сорвался с места, вышел из церкви и, крикнув извозчика, поехал домой. Дорогой его мысль неотвязно развивалась, возбуждая его.

«Найдет — ну, что же? Они не донесут, они просто украдут сами...»

Но мысль, что они не донесут, а именно украдут деньги, еще более возбудила его. Он чувствовал, что если это случилось, то сейчас же, на этом же извозчике, он поедет в полицию и скажет, что это он убил Полуэктова. Нет, он не хочет больше маяться и жить в беспокойстве, тогда как другие на деньги, за которые он заплатил великим грехом, будут жить спокойно, уютно, чисто. Эта мысль родила в нем холодное бешенство. Подъехав к дому, он сильно дернул звонок и, стиснув зубы, сжал кулаки, ожидая, когда ему откроют дверь.

Дверь отворила ему Татьяна Власьевна.

— Ух, как вы громко звоните!.. Что вы? Что с вами? — испуганно вскричала она, взглянув на него.

Он молча оттолкнул ее, прошел в свою комнату и с первого же взгляда понял, что все его страхи напрасны. Деньги лежали у него за верхним наличником окна, а на наличник он чуть-чуть приклеил маленькую пушинку, так что, если бы кто коснулся денег, пушинка непременно должна была слететь. Но вот он ясно видел на коричневом наличнике — ее белое пятнышко.

— Вы больны? — тревожно спрашивала хозяйка, являясь в двери.

— Да, — нездоровится... Вы — извините: я толкнул вас...

— Это пустяки... Подождите... сколько нужно дать извозчику?

— Сделайте милость, отдайте...

Она убежала, а Илья тотчас же вскочил на стул, выхватил из-за наличника деньги и, сунув их в карман,

облегченно вздохнул... Ему стало стыдно своей тревоги. Пушинка показалась ему глупой, смешной, как и все это...

«Навождение!..» — подумал он, внутренне усмехаясь. В двери снова явилась Татьяна Власьевна.

— Извозчику — двадцать, — торопливо заговорила она. — У вас что — закружилась голова?

— Да... знаете, стою в церкви... вдруг это...

— Вы прилягте, — сказала женщина, входя в комнату. — Прилягте, не стесняясь... А я посижу с вами... Я одна, — муж отправился в наряд, в клуб...

Илья сел на постель, а она на стул, единственный в комнате.

— Обеспокоил я вас, — смущенно улыбаясь, сказал Илья.

— Ничего, — ответила Татьяна Власьевна, пытливо и бесцеремонно разглядывая его лицо. Помолчали. Илья не знал, о чем говорить с этой женщиной, а она, все разглядывая его, вдруг стала странно улыбаться.

— Что вы? — спросил Лунев, опуская глаза.

— Сказать? — плутовато спросила она.

— Скажите...

— Не умеете вы притворяться — вот что!

Илья вздрогнул и тревожно взглянул на женщину.

— Да, не умеете. Какой вы больной? Вовсе не больной, а просто получили вы одно неприятное письмо, — я видела, видела.

— Да, получил... — тихо и осторожно сказал Илья.

За окном раздался шелест веток. Женщина зорко посмотрела сквозь стекла и снова повернулась лицом к Илье.

— Это — ветер или птица. Вот что, мой хороший постоялец, хотите вы меня послушать? Я хоть и молоденькая женщина, но неглупая...

— Сделайте милость, говорите, — попросил Лунев, с любопытством глядя на нее.

— Вы это письмо разорвите и бросьте, — солидно заговорила хозяйка. — Если она вам отказала, она поступила, как пайнышка-девочка, да! Жениться вам рано, вы необеспеченный человек, а необеспеченные люди не должны жениться. Вы здоровый юноша, можете много работать, вы красивый, — вас всегда полюбят... А сами вы влюбляться погодите. Работайте, торгуйте, копите

деньги, добивайтесь, чтобы завести какое-нибудь дело побольше, старайтесь открыть лавочку и тогда, когда у вас будет что-нибудь солидное, женитесь. Вам все это удастся: вы не пьете, вы — скромный, одинокий...

Илья слушал, опустив голову, и внутренне улыбался. Ему хотелось засмеяться вслух, громко, весело.

— Нечего вешать голову, — тоном опытного человека продолжала Татьяна Власьевна. — Пройдет! Любовь — болезнь излечимая. Я сама до замужества три раза так влюблялась, что хоть топить в пору, и однако — прошло! А как увидала, что мне уж серьезно пора замуж выходить, — безо всякой любви вышла... Потом полюбила — мужа... Женщина иногда может и в своего мужа влюбиться...

— Это как? — широко раскрыв глаза, спросил Илья. Татьяна Власьевна засмеялась веселым смехом.

— Я пошутила... Но и серьезно скажу: можно выйти замуж не любя, а потом полюбить...

И она снова защебетала, играя своими глазками. Илья слушал внимательно, с интересом и уважением разглядывая ее маленькую, стройную фигурку. Такая она маленькая и такая гибкая, надежная, умная...

«Вот с такой женой не пропадешь», — думал он. Ему было приятно: сидит с ним женщина образованная, мужняя жена, а не содержанка, чистая, тонкая, настоящая барыня, и не кичится ничем перед ним, простым человеком, а даже говорит на «вы». Эта мысль вызвала в нем чувство благодарности к хозяйке, и, когда она встала, чтоб уйти, он тоже вскочил на ноги, поклонился ей и сказал:

— Покорно благодарю, что не погнушались... беседой вашей утешили меня...

— Утетила? Вот видите! — она тихонько засмеялась, на щеках у нее вспыхнули красные пятна, и глаза несколько секунд неподвижно смотрели в лицо Ильи.

— Ну, до свиданья... — как-то особенно сказала она и ушла легкой походкой девушки...

С каждым днем супруги Автономовы все больше нравились Илье. Он видел много зла от полицейских, но Кирик казался ему рабочим человеком, добрым и недалеким. Он был телом, его жена — душой; он мало бывал дома и

мало значил в нем. Татьяна Власьевна все проще относилась к Илье, стала просить его наколоть дров, принести воды, выплеснуть помой. Он охотно исполнял ее просьбы, и незаметно эти маленькие услуги стали его обязанностями. Тогда хозяйка рассчитала рябую девочку, сказав ей, чтоб она приходила только по субботам.

Иногда к Автономовым приходили гости — помощник частного пристава Корсаков, тощий человек с длинными усами. Он носил темные очки, курил толстые папиросы, терпеть не мог извозчиков и всегда говорил о них с раздражением.

— Никто не нарушает так порядка и благообразия, как извозчик, — рассуждал он. — Это такие нахальные скоты! Пешеходу всегда можно внушить уважение к порядку на улице, стоит только полицеймейстеру напечатать правило: «Идущие вниз по улице должны держаться правой стороны, идущие вверх — левой», и тотчас же движению по улицам будет придана дисциплина. Но извозчика не проймешь никакими правилами, извозчик это — это черт знает что такое!

Об извозчиках он мог говорить целый вечер, и Лунев никогда не слыхал от него других речей. Приходил еще смотритель приюта для детей Грызлов, молчаливый человек с черной бородой. Он любил петь басом «Как по морю, морю синему», а жена его, высокая и полная женщина с большими зубами, каждый раз съедала все конфеты у Татьяны Власьевны, за что после ее ухода Автомова ругала ее.

— Это она назло мне делает!

Потом являлась Александра Викторовна Травкина с мужем, — высокая, тонкая, рыжая, она часто сморкалась так странно, точно коленкор рвали. А муж ее говорил шопотом, — у него болело горло, — но говорил неустанно, и во рту у него точно сухая солома шуршала. Был он человек зажиточный, служил по акцизу, состоял членом правления в каком-то благотворительном обществе, и оба они с женой постоянно ругали бедных, обвиняли их во лжи, в жадности, в непочтительности к людям, которые желают им добра...

Лунев, сидя в своей комнате, внимательно вслушивался: что они говорят о жизни? То, что он слышал, было

непонятно ему. Казалось, что эти люди всё решили, всё знают и строго осудили всех людей, которые живут иначе, чем они.

Иногда вечером хозяева приглашали постояльца пить чай. За чаем Татьяна Власьевна весело шутила, а ее муж мечтал о том, как бы хорошо разбогатеть сразу и — купить дом.

— Развел бы я кур!.. — сладко прищуривая глаза, говорил он. — Всех пород: брамапутр, кохинхин, цыцарок, индюшек... И — павлина! Хорошо, чорт возьми, сидеть у окна в халате, курить папиросу и смотреть, как по двору, распустя хвост зонтом, твой собственный павлин ходит! Ходит эдаким полицеймейстером и ворчит: брлю, брлю, брлю!

Татьяна Власьевна смеялась тихим, вкусным смешком и, поглядывая на Илью, тоже мечтала:

— А я бы тогда летом ездила в Крым, на Кавказ, а зимой заседала бы в обществе попечения о бедных. Сшила бы себе черное суконное платье, самое скромное, и никаких украшений, кроме броши с рубином и сережек из жемчуга. Я читала в «Ниве» стихи, в которых было сказано, что кровь и слезы бедных обратятся на том свете в жемчуг и рубины. — И, тихонько вздохнув, она заключала: — Рубины удивительно идут брюнеткам...

Илья молчал, улыбался. В комнате было тепло, чисто, пахло вкусным чаем и еще чем-то, тоже вкусным. В клетках, свернувшись в пушистые комки, спали птички, на стенах висели яркие картинки. Маленькая этажерка, в простенке между окон, была уставлена красивыми коробочками из-под лекарств, курочками из фарфора, разноцветными пасхальными яйцами из сахара и стекла. Все это нравилось Илье, навевая тихую, приятную грусть.

Но порой — особенно во дни неудач — эта грусть перерождалась у Ильи в досадное, беспокойное чувство. Курочки, коробочки и яички раздражали, хотелось швырнуть их на пол и растоптать. Когда это настроение охватывало Илью, он молчал, глядя в одну точку и боясь говорить, чтоб не обидеть чем-нибудь милых людей. Одна-

жды, играя в карты с хозяевами, он, в упор глядя в лицо Кирика Автономова, спросил его:

— А что, Кирик Никодимович, так и не нашли того, который купца на Дворянской задушил?..

Спросил — и почувствовал в груди приятное жгучее щекотание.

— То есть Полуэктова? — рассматривая свои карты, задумчиво сказал околоточный. И тотчас же повторил: — То есть Полуэктова-ва-ва-ва?.. Нет, не нашли Полуэктова-ва-ва-ва... То есть не Полуэктова, а того, которого... Я не искал... мне его не надо... а надо мне знать — у кого дама пик? Пик-пик-пик! Ты, Таня, ходила ко мне тройкой, — дама трэф, дама бубен и — что еще?

— Семерка бубен... думай скорее...

— Так и пропал человек! — сказал Илья, усмехаясь.

Но околоточный не обращал на него внимания, обдумывая ход.

— Так и пропал! — повторил он. — Так и уколошили Полуэктова-ва-ва-ва...

— Кирия, оставь вавкать, — сказала его жена. — Ходи скорее...

— Ловкий, должно быть, человек убил! — не отставал Илья. Невнимание к его словам еще более разжигало его охоту говорить об убийстве.

— Ло-овкий? — протянул околоточный. — Нет, это я — ловкий! Р-раз!

И, громко шлепнув картами по столу, он пошел к Илье пятком. Илья остался в дураках. Супруги смеялись над ним, а его еще более раздражало это. И, сдавая карты, он упрямо говорил:

— Среди белого дня, на главной улице города убить человека — для этого надо иметь храбрость...

— Счастье, а не храбрость, — поправила его Татьяна Власьева.

Илья посмотрел на нее, на ее мужа, негромко засмеялся и спросил:

— Убить — счастье?

— То есть убить и не попасть в тюрьму.

— Опять мне бубнового туза вклепили! — сказал околоточный.

— Его мне бы надо! — сказал Илья серьезно.

— Убейте купца, и дадут! — пообещала ему Татьяна Власьева, думая над картами.

— Убей, и получишь туза суконного, а пока получи картонного! — бросив Илье две девятки и туза, сказал Кирик и громко захохотал.

Лунев снова посмотрел на их веселые лица, и у него пропала охота говорить об убийстве.

Бок о бок с этими людьми, отделенный от чистой и спокойной жизни тонкой стеной, он все чаще испытывал приступы тяжелой скуки. Снова являлись думы о противоречиях жизни, о боге, который все знает, но не наказывает. Чего он ждет?

От скуки Лунев снова начал читать: у хозяйки было несколько томов «Нивы» и «Живописного обозрения» и еще какие-то растрепанные книжонки.

Так же, как в детстве, ему нравились только те рассказы и романы, в которых описывалась жизнь неизвестная ему, не та, которой он жил; рассказы о действительной жизни, о быте простонародья он находил скучными и неверными. Порою они смешили его, но чаще казалось, что эти рассказы пишутся хитрыми людьми, которые хотят прикрасить темную, тяжелую жизнь. Он знал ее и узнавал все более. Расхаживая по улицам, он каждый день видел что-нибудь такое, что настраивало его на критический лад. И, приходя в больницу, говорил Павлу, насмешливо улыбаясь:

— Порядки! Видел я давеча — идут тротуаром плотники и штукатуры. Вдруг — полицейский: «Ах вы, черти!» И прогнал их с тротуара. Ходи там, где лошади ходят, а то господ испачкаешь грязной твоей одеждой... Строй мне дом, а сам жмись в ком...

Павел тоже вспыхивал и еще больше подкладывал сучьев в огонь. Он томился в больнице, как в тюрьме, глаза у него горели тоскливо и злобно, он худел, таял. Яков Филимонов не нравился ему, он считал его полумным.

А Яков, у которого оказалась чахотка, лежа в больнице, блаженствовал. Он свел дружбу с соседом по койке, церковным сторожем, которому недавно отрезали ногу. Это был человек толстый, коротенький, с огромной лысой

головой и черной бородою во всю грудь. Брови у него большие, как усы, он постоянно шевелил ими, а голос его был глух, точно выходил из живота. Каждый раз, когда Лунев являлся в больницу, он заставал Якова сидящим на койке сторожа. Сторож лежал и молча шевелил бровями, а Яков читал вполголоса библию, такую же короткую и толстую, как сторож.

— «Так! ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен; так! ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен!»

Голос у Якова стал слаб и звучал, как скрип пилы, режущей дерево. Читая, он поднимал левую руку вверх, как бы приглашая больных в палате слушать зловещие пророчества Исаии. Большие мечтательные глаза придавали желтому лицу его что-то страшное. Увидав Илью, он бросал книгу и с беспокойством спрашивал товарища всегда об одном:

— Машутку не видал?

Илья не видал ее.

— Господи! — печально говорил Яков. — Как все это... словно в сказке! Была — и вдруг колдун похитил, и нет ее больше...

— Отец был? — спрашивал Илья.

Лицо у Якова вздрагивало, глаза пугливо мигали.

— Был. «Довольно, говорит, валяться, выписывайся!» Я умолил доктора, чтобы меня не отпускали отсюда... Хорошо здесь, — тихо, скромно... Вот — Никита Егорович, читаем мы с ним библию. Семь лет читал ее, все в ней наизусть знает и может объяснить пророчества... Выздоровлю — буду жить с Никитой Егорычем, уйду от отца! Буду помогать в церкви Никите Егорычу и петь на левом клиросе...

Сторож медленно поднимал брови; под ними в глубоких орбитах тяжело ворочались круглые, темные глаза. Они смотрели в лицо Ильи спокойно, без блеска, неподвижным матовым взглядом.

— Какая это книга хорошая — библия! — захлебываясь кашлем, вскрикивал Яков. — И это есть, — помнишь, начетчик в трактире говорил: «Покойны шатры у грабителей»? Есть, я нашел! Хуже есть!

Закрыв глаза, с поднятой сверху рукою, он наизусть возглашал торжественным голосом:

— «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он даст им в удел страдания во гневе своем?» Слышишь? «Скажешь: бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтоб он знал»...

— Неужто так и сказано? — с недоверием спросил Илья.

— Слово в слово!..

— По-моему, это — нехорошо — грех! — сказал Илья.

Сторож двинул бровями, и они закрыли ему глаза. Борода его зашевелилась, и глухим, странным голосом он сказал:

— Дерзновение человека, правды ищущего, не есть грех, ибо творится по внушению свыше...

Илья вздрогнул. А сторож глубоко вздохнул и сказал еще, так же медленно и внятно:

— Правда сама внушает человеку — ищи меня! Ибо правда — есть бог... А сказано: «великая слава — следовать господу»...

Лицо сторожа, заросшее густыми волосами, внушало Илье уважение и робость: было в этом лице что-то важное, суровое.

Вот брови сторожа поднялись, он уставился глазами в потолок, и вновь волосы на его лице зашевелились.

— Прочитай ему, Яша, от Иова, начало десятой главы. .

Яков молча поспешно перебрал несколько страниц книги и прочел тихо, вздрагивающими звуками:

— «Опротивела душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу богу: не обвиняй меня, скажи мне, за что ты со мной борешься? Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что ты презираешь дело рук твоих...»

Илья вытянул шею и заглянул в книгу, мигая глазами.

— Не веришь? — воскликнул Яков. — Вот чудак!

— Не чудак, а трус, — спокойно сказал сторож.

Он тяжело перевел свой матовый взгляд с потолка на лицо Илья и сурово, точно хотел словами раздавить его, продолжал:

— Есть речи и еще тяжелее читанного. Стих третий, двадцать второй главы, говорит тебе прямо: «Что за удо-

вольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты держишь пути твои в непорочности?»... И нужно долго понимать, чтобы не ошибиться в этих речах...

— А вы... понимаете? — тихо спросил Лунев.

— Он? — воскликнул Яков. — Никита Егорович все понимает!

Но сторож сказал, еще понизив свой голос:

— Мне — поздно... Мне надо смерть понимать... Отрезали мне ногу, а она вот выше пухнет... и другая пухнет... а также и грудь... я умру скоро от этого...

Глаза его давили лицо Ильи, и медленно, спокойно он говорил:

— А умирать мне не хочется... потому что — жил я плохо, в обидах и огорчениях, радостей же — не было в жизни моей. Смолоду — как Яша, жил под отцом. Был он пьяница, зверь... Трижды голову мне проламывал и раз кипятком ноги сварил. Матери не было: родив меня, померла. Женился. Насильно пошла за меня жена, — не любила... На третьи сутки после свадьбы повесилась. Зять был. Ограбил меня; сестра же сказала мне, что это я жену в петлю вогнал. И все так говорили, хотя знали — не тронул я ее, и как она была девкой, так и... издохла... Жил я после того еще девять лет. Страшно жить одному!.. Все ждал, когда радости будут. И — вот, помираю. Только и всего.

Он закрыл глаза, помолчал и спросил:

— Зачем жил?

Илья слушал его тяжелую речь со страхом в сердце. Лицо Якова побурело, на глазах у него сверкали слезы.

— Зачем жил, — спрашиваю... Лежу вот и думаю — зачем жил?

Голос сторожа иссяк. Он порвался сразу, как будто по земле тек мутный ручей и вдруг скрылся под землю.

— «Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву», — снова заговорил сторож, открыв глаза. И борода зашевелилась снова.

— Там же, в Екклесиасте, сказано: «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья —

размышляй: то и другое содейл бог для того, чтоб человек не мог ничего сказать против него»...

Больше Илья не мог слушать. Он тихо встал и, пожав руку Якова, поклонился сторожу тем низким поклоном, которым прощаются с мертвыми. Это вышло у него случайно.

Он вынес из больницы что-то по-новому тяжелое, мрачный образ этого человека глубоко врезался в память. Увеличилось еще одним количество людей, обиженных жизнью. Он хорошо запомнил слова сторожа и перерабатывал их на все лады, стараясь понять их смысл. Они мешали ему, возмущая глубину его души, где хранил он свою веру в справедливость бога.

Ему казалось, что когда-то, незаметно для него, вера в справедливость бога пошатнулась в нем, что она не так уже крепка, как прежде: что-то разъело ее, как ржавчина железо. В его груди было что-то несоединимое, как вода и огонь. И с новой силой в нем возникло озлобление против своего прошлого, всех людей и порядков жизни.

Автономовы обращались с ним все ласковее. Кирик покровительственно хлопал его по плечу, шутил с ним и осяисто говорил:

— Ты пустяками занимаешься, братец! Такой скромный, серьезный парень должен развернуться шире. Если у человека способности частного пристава, — не подобаает ему служить околоточным...

Татьяна Власьева стала внимательно и подробно расспрашивать Илью о том, как идет его торговля, сколько в месяц имеет он чистой прибыли. Он охотно говорил с ней, и в нем все повышалось уважение к этой женщине, умевшей из пустяков устроить чистую и милую жизнь...

Однажды вечером, когда он, охваченный скукой, сидел в своей комнате у открытого окна и, глядя в темный сад, вспоминал Олимпиаду, Татьяна Власьева вышла в кухню и позвала его пить чай. Он пошел неохотно: ему жаль было отвлекаться от своих дум и не хотелось ни о чем говорить. Хмуро, молча он сел за чайный стол и, взглянув на хозяев, увидел, что лица у них торжественны, озабочены чем-то. Сладко курлыкал самовар, какая-то птичка, проснувшись, металась в клетке.

Пахло печеным луком и одеколоном. Кирик повернулся на стуле и, забарабанив пальцами по краю подноса, запел:

— Бум, бум, тру-ту-ту! тру-ту-ту!..

— Илья Яковлевич! — внушительно заговорила женщина. — Мы с мужем обдумали одно дело и хотим поговорить с вами серьезно...

— Хо, хо, хо! — захохотал околоточный, крепко потирая свои красные руки. Илья вздрогнул, удивленно взглянув на него.

— Мы обдумали! — широко улыбаясь, воскликнул Кирик и, подмигнув Илье на жену, добавил: — Гениальная башка!

— Мы скопили немножко денег, Илья Яковлевич.

— Мы скопили! Хо, хо! Милая моя!..

— Перестань! — строго сказала Татьяна Власьева. Лицо у нее стало сухое и еще более заострилось.

— Мы скопили рублей около тысячи, — говорила она вполголоса, наклонясь к Илье и впиваясь острыми глазами в его глаза. — Деньги эти лежат в банке и дают нам четыре процента...

— А этого мало! — вскричал Кирик, стукнув по столу. — Мы хотим...

Жена остановила его строгим взглядом.

— Нам, конечно, вполне достаточно такого процента. Но мы хотим помочь вам выйти на дорогу...

Сказав несколько комплиментов Илье, продолжала:

— Вы говорили, что галантерейный магазин может дать процентов двадцать и более, смотря по тому, как поставить дело. Ну-с, мы готовы дать вам под вексель на срок — до предъявления, не иначе, — наши деньги, а вы открываете магазин. Торговать вы будете под моим контролем, а прибыль мы делим пополам. Товар вы страхуете на мое имя, а кроме того, вы даете мне на него еще одну бумажку — пустая бумажка! Но она необходима для формы. Нуте-ка, подумайте над этим и скажите: да или нет?

Илья слушал ее тонкий, сухой голос и крепко тер себе лоб. Несколько раз в течение ее речи он поглядывал в угол, где блестела золоченая риза иконы с венчальными свечами по бокам ее. Он не удивлялся, но ему было

как-то неловко, даже боязно. Это предложение, осуществляя его давнюю мечту, ошеломило его, обрадовало. Растерянно улыбаясь, он смотрел на маленькую женщину и думал:

«Вот она, судьба...»

А она говорила ему тоном матери:

— Подумайте об этом хорошенько; рассмотрите дело со всех сторон. Можете ли вы взяться за него, хватит ли сил, умения? И потом скажите нам, — кроме труда, что еще можете вложить вы в дело? Наших денег — мало... не так ли?

— Я могу, — медленно заговорил Илья, — вложить рублей тысячу. Мне дядя даст... Может быть, и больше...

— Ур-ра! — крикнул Кирик Автономов.

— Значит — вы согласны? — спросила Татьяна Власьевна.

— Ну еще бы! — закричал околоточный и, сунув руку в карман, заговорил громко и возбужденно: — А теперь — пьем шампанское! Шампанское, чорт поberi мою душу! Илья, беги, братец, в погребок, тащи шампань! На — мы тебя угощаем. Спрашивай донского шампанского в девять гривен и скажи, что это мне, Автономову, — тогда за шестьдесят пять отдадут... Живо-о!

Илья с улыбкой поглядел на сияющие лица супругов и ушел.

Он думал: вот — судьба ломала, тискала его, сунула в тяжелый грех, смутила душу, а теперь как будто прощенья у него просит, улыбается, угождает ему... Теперь пред ним открыта свободная дорога в чистый угол жизни, где он будет жить один и умиротворит свою душу. Мысли кружились в его голове веселым хороводом, вливая в сердце неведомую Илье до этой поры уверенность.

Он принес из погребка настоящего шампанского, заплатив за бутылку семь рублей.

— Ого-о! — воскликнул Автономов. — Это шикарно, братец! В этом есть идея, да-а!

Татьяна Власьевна отнеслась иначе. Она укоризненно покачала головой и, рассмотрев бутылку, с укором сказала:

— Рублей пять? Ай, как это непрактично!

Лунев, счастливый и умиленный, стоял пред ней и улыбался.

— Настоящее! — сказал он, полный радости. — В первый раз в жизни моей настоящего хлебну! Какая жизнь была у меня? Вся — фальшивая... грязь, грубость, теснота... обиды для сердца... Разве этим можно человеку жить?

Он коснулся наболевшего места в душе своей и продолжал:

— Я с малых лет настоящего искал, а жил... как щепка в ручье... бросало меня из стороны в сторону... и все вокруг меня было мутное, грязное, беспокойное. Пристать не к чему... И вот — бросило меня к вам. Вижу — первый раз в жизни! — живут люди тихо, чисто, в любви...

Он посмотрел на них с ясной улыбкой и поклонился им.

— Спасибо вам! У вас я душу облегчил... ей-богу! Вы мне даете помощь на всю жизнь! Теперь я пойду! Теперь я знаю, как жить!

Татьяна Власьева смотрела на него взглядом кошки на птицу, увлеченную своим пением. В глазах у нее сверкал зеленый огонек, губы вздрагивали. Кирик возился с бутылкой, сжимая ее коленями и наклоняясь над ней. Шея у него налилась кровью, уши двигались...

Пробка хлопнула, ударилась в потолок и упала на стол. Задрезжал стакан, задетый ею...

Кирик, чмокая губами, разлил вино в стаканы и скомандовал:

— Берите!

А когда его жена и Лунев взяли стаканы, он поднял высоко над головой свой стакан и крикнул:

— За преуспеяние фирмы «Татьяна Автономова и Лунев» — ур-ра-а!

Несколько дней Лунев обсуждал с Татьяной Власьевной подробности затеянного предприятия. Она все знала и обо всем говорила с такой уверенностью, как будто всю жизнь вела торговлю галантерейным товаром. Илья

с улыбкой слушал ее, молчал и удивлялся. Ему хотелось скорее начать дело, и он соглашался на все предложения Автономовой, не вникая в них.

Оказалось, что Татьяна Власьевна имеет в виду и помещение. Оно было как раз таково, о каком мечтал Илья: на чистой улице маленькая лавочка с комнатой для торговца. Все удавалось, все, до мелочей, и Лунев ликовал.

Бодрый и радостный явился он в больницу к товарищам; там его встретил Павел, тоже веселый.

— Завтра выпишываюсь! — возбужденно объявил он Илье, прежде чем поздоровался с ним. — От Верки письмо получил... Ругается... Чертенки!

Глаза у него сияли, на щеках горел румянец, он не мог спокойно стоять на месте, шаркал туфлями по полу, размахивал руками.

— Смотри! — сказал ему Илья. — Берегись теперь...

— Я? Конечно! Вопрос: мамзель Вера, — желаете вы венчаться? Пожалуйте! Нет? Нож в сердце!

По лицу и телу Павла пробежала судорога.

— Ну-ну!.. — усмехаясь, сказал Илья. — Тоже — нож!..

— Нет уж!.. Будет! Я без нее жить не могу... Пакостей довольно с нее... должна быть сыта... я — по горло сыт! Завтра у нас все и произойдет... так или эдак...

Лунев всмотрелся в лицо товарища, и вдруг в голове его блеснула простая, ясная мысль. Он покраснел, а потом улыбнулся...

— Пашутка! Знаешь, я свое счастье нашел!

И он кратко рассказал товарищу, в чем дело. Павел выслушал его и вздохнул, сказав:

— Да-а, везет тебе...

— Так повезло, что мне пред тобой теперь даже стыдно... право! По совести говорю.

— И на том спасибо! — усмехнулся Павел.

— Знаешь что? — тихо заговорил Илья. — Я ведь это не хвастаясь, а серьезно говорю, что стыдно мне...

Павел молча взглянул на него и вновь задумчиво опустил голову.

— И я хочу тебе сказать... в горе вместе жили, давай и радость поделим.

— Мм... — промычал Павел. — Я слышал, что радость, как бабу, делить нельзя...

— Можно! Ты разузнай, что надо для водопроводной мастерской, какие инструменты, материал и всё... и сколько стоит... А я тебе дам денег...

— Н-н-ну-у? — протянул Павел недоверчиво. Лунев горячо и крепко схватил его руку и сжал ее.

— Чудак! Дам!

Но ему долго пришлось убеждать Павла в серьезности своего намерения. Тот все покачивал головой, мычал и говорил:

— Не бывает так...

Лунев, наконец, убедил его. Тогда он, в свою очередь, обнял его и сказал дрогнувшим, глухим голосом:

— Спасибо, брат! Из ямы тащишь... Только... вот что: мастерскую я не хочу, — ну их к чорту, мастерские! Знаю я их... Ты денег — дай, а я Верку возьму и уеду отсюда. Так и тебе легче — меньше денег возьму, — и мне удобнее. Уеду куда-нибудь и поступлю сам в мастерскую...

— Это ерунда! — сказал Илья. — Лучше хозяином быть...

— Какой я хозяин? — весело воскликнул Павел. — Нет, хозяйство и все эдакое... не по душе мне... Козла свиньей не нарядишь...

Лунев неясно понимал отношение Павла к хозяйству, но оно чем-то нравилось ему. Он ласково, весело говорил:

— А — верно, — похож ты на козла: такой же сухопарый. Знаешь — ты на сапожника Перфишку похож, — право! Так ты завтра приходи и возьми денег на первое время, пока без места будешь... А я — к Якову схожу теперь... Ты как с Яковом-то?

— Да все — так как-то... не наладимся!.. — усмехнулся Грачев.

— Несчастный он... — задумчиво сказал Илья.

— Ну, этого всем много дадено!.. — ответил Павел, пожав плечами. — Мне все думается, что он не в своем уме... Пошехонец какой-то...

Когда Илья отошел от него, он, стоя среди коридора, крикнул ему.

— Спасибо, брат!

Илья улыбнулся и кивнул ему головой.

Якова он застал грустным и убитым. Лежа на койке лицом к потолку, он смотрел широко открытыми глазами вверх и не заметил, как подошел к нему Илья.

— Никиту-то Егорыча унесли в другую палату, — уныло сказал он Илье.

— Ну, и — хорошо! — одобрительно заметил Лунев. — А то — больно он страшен...

Яков укоризненно взглянул на него и закашлялся.

— Поправляешься?

— Да-а! — со вздохом ответил Яков. — И похворать не удастся мне, сколько хочется... Вчера опять отец был. Дом, говорит, купил. Еще трактир хочет открыть. И все это — на мою голову...

Илье хотелось порадовать товарища своей радостью, но что-то мешало ему говорить.

Веселое солнце весны ласково смотрело в окна, но желтые стены больницы казались еще желтее. При свете солнца на штукатурке выступали какие-то пятна, трещины. Двое больных, сидя на койке, играли в карты, молча шлепая ими. Высокий, худой мужчина бесшумно расхаживал по палате, низко опустив забинтованную голову. Было тихо, хотя откуда-то доносился удушливый кашель, а в коридоре шаркали туфли больных. Желтое лицо Якова было безжизненно, глаза его смотрели тоскливо.

— Эх, умереть бы! — говорил он скрипящим голосом. — Лежу вот и думаю: интересно умереть! — Голос у него упал, зазвучал тише. — Ангелы ласковые... На все могут ответить тебе... всё объяснят... — Он замолчал, мигнув, и стал следить, как на потолке играет бледный солнечный луч, отраженный чем-то. — Машутку-то не видал?..

— Н-нет. Как-то все в ум не входит...

— В сердце не вошло...

Лунев сконфуженно замолчал.

Яков вздохнул и беспокойно заворочал головой по подушке.

— Вот Никита Егорыч не хочет, а умрет... Мне фельдшер сказал... умрет! А я хочу — не умирается... Выздоровлю — опять в трактир... Бесполезный всему...

Губы его медленно растянулись в грустную улыбку. Он как-то особенно поглядел на товарища и заговорил снова:

— Чтобы жить в этой жизни, надо иметь бока железные, сердце железное...

Илья почувствовал в словах Якова что-то неприязненное, сухое и нахмурился.

— А я — как стекло в камнях: повернись, и — трещина...

— Любишь ты жаловаться! — неопределенно сказал Лунев.

— А ты? — спросил Яков.

Илья отвернулся и промолчал. Потом, чувствуя, что Яков не собирается говорить, он задумчиво молвил:

— Всем тяжело. Взять хотя бы Павла...

— Не люблю я его, — сказал Яков, сморщив лицо.

— За что?

— Так... Не люблю...

— Эх!.. надо мне идти...

Яков молча протянул ему руку и вдруг жалобно, голосом нищего, попросил:

— Узнай ты про Машутку, а? Христа ради!..

— Ладно! — сказал Илья.

Уходя, он облегченно вздохнул. Просьба Якова узнать о Маше возбудила в нем что-то вроде стыда за свое отношение к Перфишкиной дочери, и он решил сходить к Матице, которая, наверное, знает, как устроилась Машутка.

Он шел по направлению к трактиру Филимонова, а в душе его одна за другой возникали мечты о будущем. Оно улыбалось ему, и, охваченный думами о нем, он незаметно для себя прошел мимо трактира, а когда увидел это, то уже не захотел воротиться назад. Он вышел за город: широко развернулось поле, огражденное вдали темной стеной леса. Заходило солнце, на молодой зелени дерна лежал розоватый отблеск. Илья шел, поднимая голову вверх, и смотрел в небо, в даль, где красноватые облака, неподвижно стоя над землей, пылали в солнечных лучах. Ему было приятно идти: каждый шаг вперед, каждый глоток воздуха родил в душе его новую мечту. Он представлял себя богатым, властным, разоряющим

Петруху Филимонова. Он разорил уже его, и вот Петруха стоит и плачется, а он, Илья Лунев, говорит ему:

«Пожалеть тебя? А ты — жалел кого-нибудь? Ты сына мучил? Дядю моего в грех втянул? Надо мной издевался? В твоём проклятом доме никто счастлив не был, никто радости не видал. Гнилой твой дом — тюрьма для людей».

Петруха дрожит и стонет в страхе перед ним, — жалкий, подобно нищему. А Илья громит его:

«Сожгу твой дом, потому что он — беда для всех. А ты — ходи по миру, проси жалости у обиженных тобой; до смерти ходи и сдохни с голоду, как собака!..»

Вечерний сумрак окутал поле; лес вдаль стал плотно черен, как гора. Летучая мышь маленьким темным пятном бесшумно мелькала в воздухе, и точно это она сеяла тьму. Далеко на реке был слышен стук колес парохода по воде; казалось, что где-то далеко летит огромная птица и это ее широкие крылья бьют воздух могучими взмахами. Лунев припомнил всех людей, которые ему мешали жить, и всех их, без пощады, наказал. От этого ему стало еще приятнее... И один среди поля, отовсюду стиснутый тьмою, он тихо запел...

Но вот в воздухе запахло гнилью, прелым навозом. Илья перестал петь: этот запах пробудил в нем хорошие воспоминания. Он пришел к месту городских свалок, к оврагу, где рылся с дедушкой Еремеем. Образ старого тряпичника встал в памяти. Илья оглянулся вокруг, стараясь узнать во тьме то место, где старик любил отдыхать с ним. Но этого места не было: должно быть, его завалили мусором. Илья вздохнул, чувствуя, что и в его душе тоже что-то завалено мусором...

«Кабы я не удушил купца, было бы мне теперь совсем хорошо жить...» — вдруг подумалось ему. Но вслед за этим в его сердце как будто откликнулся кто-то другой: «Что купец? Он — несчастье мое, а не грех...»

Раздался шум: небольшая собака шмыгнула из-под ног Ильи и с тихим визгом скрылась. Он вздрогнул: пред ним как будто ожила часть ночной тьмы и, застоявшись, исчезла.

«Все равно, — думалось ему, — и без купца покоя в сердце не было бы. Сколько обид видел я и себе, и

другим! Коли оцарапано сердце, то уж всегда будет болеть...»

Он медленно шагал по краю оврага, ноги его вязли в сору, под ними потрескивали щепки, шуршала бумага. Вот перед ним кусок незасоренной земли узким мысом врезался в овраг; он пошел по этому мысу и, дойдя до острого конца его, сел там, свесив ноги с обрыва. Воздух здесь был свежее, и, посмотрев вдоль оврага, Илья увидя вдали стальное пятно реки. На воде, неподвижной, как лед, тихо вздрагивали огни невидимых судов, один из них двигался в воздухе, точно красная птица. А еще один, зеленый, зловещий, горел неподвижно, без лучей... У ног Ильи широкая пасть оврага была наполнена густой тьмой, и овраг был — как река, в которой безмолвно текли волны черного воздуха. Грусть окутывала сердце Лунева; он смотрел в овраг и думал: «Было мне хорошо сейчас... улыбнулось, и — нет...» Вспомнилось, как неприязненно говорил с ним сегодня Яков, — стало еще грустнее от этого... В овраге что-то зашумело: должно быть, ком земли оторвался. Илья вытянул шею и посмотрел вниз, во тьму... Ночная сырость пахла в лицо его... Он взглянул в небо. Там несмело разгорались звезды, а из-за леса медленно поднимался большой красноватый шар луны, точно огромный глаз. И, как незадолго перед тем летучая мышь носилась в сумраке, — в душе Ильи быстро замелькали темные мысли и воспоминания: они являлись и исчезали без ответа, и все гуще становилась тьма в душе.

Он долго сидел и думал, поглядывая то в овраг, то в небо. Свет луны, заглянув во тьму оврага, обнажил на склоне его глубокие трещины и кусты. От кустов на землю легли уродливые тени. В небе ничего не было, кроме звезд и луны. Стало холодно; он встал и, вздрагивая от ночной свежести, медленно пошел полем на огни города. Думать ему уже не хотелось ни о чем: грудь его была полна в этот час холодной беспечностью и тоскливой пустотой, которую он видел в небе, там, где раньше чувствовал бога.

Он поздно пришел домой и, в раздумье стоя пред дверью, стеснялся позвонить. В окнах не было огня, — значит, хозяева спали. Ему было совестно беспокоить

Татьяну Власьевну: она всегда сама отпирала дверь... Но все же нужно войти в дом. Лунев тихонько дернул ручку звонка. Почти тотчас дверь отворилась, и пред Ильей встала тоненькая фигурка хозяйки, одетая в белое.

— Затворяйте скорее! — сказала она каким-то незнакомым Илье голосом. — Холодно... я раздета... мужа нет...

— Простите, — пробормотал Лунев.

— Как вы поздно! Откуда это, а?

Илья запер дверь, обернулся, чтобы ответить, — и встретил перед собой грудь женщины. Она не отступала перед ним, а как будто все плотнее прижималась к нему. Он тоже не мог отступить: за спиной его была дверь. А она стала смеяться... тихонько так, вздрагивающим смехом. Лунев поднял руки, осторожно положил их ладонями на ее плечи, и руки у него дрожали от робости пред этой женщиной и желания обнять ее. Тогда она сама вытянулась вверх, цепко охватила его шею тонкими, горячими руками и сказала звенящим голосом:

— Ты куда шляешься по ночам? Зачем? Это есть для тебя ближе... милый!.. красавец!.. силач!..

Илья, как во сне, ловил ее острые поцелуи и пошатывался от судорожных движений гибкого тела. А она, вцепившись в грудь ему, как кошка, все целовала его. Он схватил ее крепкими руками, понес к себе в комнату и шел с нею легко, как по воздуху...

Наутро Илья проснулся со страхом в душе.

«Как я теперь Кирику-то в глаза глядеть буду?» — подумал он. Кроме страха пред околоточным, он чувствовал и стыд пред ним.

«Хоть бы зол я был на этого человека или не нравился бы он мне... А то так просто... ни за что обидел я его», — с тревогой думал он, и в душе его шевелилось что-то нехорошее к Татьяне Власьевне. Ему казалось, что Кирик непременно догадается об измене жены.

«И чего она бросилась на меня, как голодная?» — с тяжелым недоумением спрашивал он себя и тут же почувствовал в сердце приятное щекотание самолюбия. На него обратила внимание настоящая женщина — чистая, образованная, мужняя жена.

«Значит, есть во мне что-то особое, — родилась в нем самодовольная мысль. — Стыдно — стыдно... но ведь я не каменный!.. Не гнать же было мне ее...»

Он был молод: ему вспоминались ласки этой женщины, какие-то особенные, еще незнакомые ему ласки. И он был практик: ему невольно думалось, что эта связь может дать ему множество различных удобств. А вслед за этими мыслями на него темной тучей надвигались другие:

«Опять я в угол затискался... Хотел я этого? Уважал ведь бабенку... никогда дурной мысли о ней не было у меня... ан вышло вон что...»

А потом всю смуту в его душе, все противоречия покрывала собою радостная дума о том, что теперь настоящая, чистая жизнь скоро начнется для него. И снова вторгалась острая мысль:

«А все лучше бы без этого...»

Он нарочно не вставал с постели до поры, пока Автономов не ушел на службу, и слышал, как околоточный, вкусно причмокивая губами, говорил жене:

— Ты на обед сострой пельмешки, Таня. Побольше свининки положи и, знаешь, поджарь их чуточку. Чтобы они, мамочка, смотрели на меня из тарелки эдакими поросятками розовыми... мм-а! И, голубчик, перчику побольше!

— Ну-ну, иди! Точно я не знаю твоих вкусов... — ласково говорила ему жена.

— Голубчик, Татьянчик, позволь поцелуйчик!

Услышав звук поцелуя, Лунев вздрогнул. Ему было и неприятно и смешно.

— Чик! чик! чик! — проговорил Автономов, целуя жену. А она смеялась. Заперев дверь за мужем, она тотчас же вскочила в комнату Ильи и прыгнула к нему на кровать, весело крикнув:

— Целуй скорей, — мне некогда!

Илья угрюмо сказал ей:

— Да ведь вы сейчас мужа целовали...

— Что-о? «Вы»? Да он ревнивый!.. — с удовольствием воскликнула женщина и, со смехом вскочив с кровати, стала занавешивать окно, говоря: — Ревнивый — это хорошо! Ревнивые любят страстно...

— Я это не от ревности.

— Молчать! — шаловливо скомандовала она, закрывая ему рот рукой...

Потом, когда они нацеловались, Илья, с улыбкой глядя на нее, не утерпев, сказал:

— Ну и храбрая ты — настоящая сорви-голова. Под носом у мужа эдакую штуку затеять!..

Ее зеленоватые глаза задорно блеснули, и она воскликнула:

— Очень даже обыкновенно, и совсем ничего нет особенного! Ты думаешь — много есть женщин, которые интрижек не заводят? Только одни некрасивые да больные... А хорошенькой женщине всегда хочется роман разыграть...

Целое утро она просвещала Илью, весело рассказывая ему разные истории о том, как женщины обманывают мужей. В переднике и красной кофточке, с засученными рукавами, ловкая и легонькая, она птичкой порхала по кухне, приготовляя мужу пельмени, и ее звонкий голос почти непрерывно лился в комнату Ильи.

— Ты думаешь — муж! — так этого достаточно для женщины? Муж может очень не нравиться, если даже любишь его. И потом — он ведь тоже никогда не стесняется изменить жене, только бы нашелся подходящий сюжет... И женщине тоже скучно всю жизнь помнить одно — муж, муж, муж! Пошалить с другим мужчиной — забавно: узнаешь, какие мужчины бывают и какая между ними разница. Ведь и квас разный: просто квас, баварский квас, можжевеловый, клюковный... И это даже глупо всегда пить просто квас...

Илья слушал, пил чай, и ему казалось, что чай горьковат. В речах этой женщины было что-то неприятно взвизгивающее, новое для него. Он невольно вспомнил Олимпиаду, ее густой голос, спокойные жесты, ее горячие слова, в которых звучала сила, трогавшая за сердце. Конечно, Олимпиада была женщина необразованная, простая. Оттого, должно быть, она и в бесстыдстве своем была проще... Слушая Татьяну, Илья принужденно смеялся. Ему было невесело, и смеялся он потому, что не знал, о чем и как говорить с этой женщиной, но слу-

шал ее с глубоким интересом и, наконец, задумчиво сказал:

— Не ждал я, что в вашей чистой жизни такие порядки...

— Порядки, милый мой, везде одни. Порядки делают люди, а люди все одного хотят — хорошо жить: спокойно, сытно и удобно, а для этого нужно иметь деньги. Деньги достаются по наследству или по счастью. Кто имеет выигрышные билеты, тот может надеяться на счастье. Красивая женщина имеет выигрышный билет от природы — свою красоту. Красотой можно много взять — о! А кто не имеет богатых родственников, выигрышных билетов и красоты, должен трудиться. Трудиться всю жизнь — это обидно... А вот я тружусь, хотя у меня есть два билета. Но я решила заложить их для тебя на магазин... Два билета — мало! Стряпать пельмени и целовать околоточного в угрях — скучно!.. Вот я и захотела целовать тебя...

Она взглянула на Илью и шаловливо спросила:

— Тебе это не противно?.. Почему ты смотришь так сердито?

Подошла к нему, положила руки на плечи его и с любопытством заглядывала в лицо ему.

— Я не сержусь, — сказал Илья.

Она расхохоталась, вскрикивая сквозь смех:

— Да? Ах... какой ты добрый!..

— Я вот думаю, — медленно выговаривая слова, продолжал Илья, — говоришь ты как будто и верно... но как-то нехорошо...

— Ого-о, какой... еж! Что нехорошо? Ну-ка, объясни?

Но он ничего не мог объяснить. Он сам не понимал, чем недоволен в ее словах. Олимпиада говорила гораздо грубее, но она никогда не задевала сердце так неприятно, как эта маленькая, чистенькая птичка. Весь день он упорно думал о странном недовольстве, рожденном в его сердце этой лестной ему связью, и не мог понять — откуда оно?..

Когда он воротился домой — в кухне его встретил Кирик и весело объявил:

— Ну-ну, и настряпала сегодня Танюша! Такие пельмени, — есть жалко и совестно, как совестно было бы

живых соловьев есть... Я, брат, даже тебе тарелку оставил. Снимай с шеи магазин, садись, ешь и — знай наших!

Илья виновато посмотрел на него и тихо засмеялся, сказав:

— Спасибо!

Потом, вздохнув, добавил:

— Хороший вы человек... ей-богу!

— Э, что там? — отмахиваясь от него рукой, воскликнул Кирик. — Тарелка пельменей — пустяк! Нет, братец, будь я полицеймейстером — гм! — вот тогда бы ты мог сказать мне спасибо... о да! Но полицеймейстером я не буду... и службу в полиции брошу... Я, кажется, поступлю доверенным к одному купцу... это лучше! Доверенный? Это — шишка!

Жена его, тихо напевая, хлопотала у печки. Илья посмотрел на нее и снова почувствовал неловкость, стеснение. Но постепенно это чувство исчезало в нем под наплывом других впечатлений и новых забот. Думать ему некогда было в эти дни: приходилось много хлопотать об устройстве магазина, о закупке товара. И день ото дня, незаметно для себя, он привыкал к женщине. Как любовница она все больше нравилась ему, хотя ее ласки часто вызывали в нем стыд, даже страх перед нею. И вместе с разговорами ее эти ласки потихоньку уничтожали в нем уважение к ней. Каждое утро, проводив мужа на службу, или вечером, когда он уходил в наряд, она звала Илью к себе или приходила в его комнату и рассказывала ему разные житейские истории. Все эти истории были как-то особенно просты, как будто они совершались в стране, населенной жуликами обоего пола, все эти жулики ходили голыми, а любимым их удовольствием был свальный грех.

— Неужто это правда? — угрюмо спрашивал Илья. Ему не хотелось верить ее словам, но он чувствовал себя беспомощным против них, не мог их опровергнуть. А она хохотала и, целуя его, убедительно доказывала:

— Начнем сверху: губернатор живет с женой управляющего казенной палатой, а управляющий — недавно отнял жену у одного из своих чиновников, снял ей квартиру в Собачьем переулке и ездит к ней два раза в неделю совсем открыто. Я ее знаю: совсем девчонка, году

нет, как замуж вышла. А мужа ее в уезд послали податным инспектором. Я и его знаю, — какой он инспектор? Недоучка, дурачок, лакеишка...

Она рассказывала ему о купцах, покупающих девочек-подростков для разврата, о купчихах, которые держат любовников, о том, как барышни из светского общества, забеременев, вытравляют плод.

Илья слушал, и жизнь казалась ему чем-то вроде помойной ямы, в которой люди возятся, как черви.

— Ф-фу! — устало говорил он. — Да чистое-то, настоящее-то есть где-нибудь, скажи?

— Какое — настоящее? — удивленно спрашивала женщина. — Я говорю о настоящем... Вот чудак! Не подумала же я сама все это!

— Я — не про то! Ведь где-нибудь, что-нибудь настоящее... чистое есть или нет?

Она не понимала его и смеялась. Иногда разговор ее принимал иной характер. Заглядывая в лицо ему сверкающими жутким огнем зеленоватыми глазами, она спрашивала:

— Скажи мне, как ты в первый раз узнал, что такое женщина?

Этого воспоминания Илья стыдился, оно было противно ему. Он отвертывался в сторону от клейкого взгляда своей любовницы и глухо, с упреком говорил:

— Экие пакости спрашиваешь ты... постыдилась бы...

Но она, весело смеясь, снова приставала к нему, и порою рядом с ней Лунев чувствовал себя обмазанным ее зазорными словами, как смолой. А когда она видела на лице Ильи недовольство ею, тоску в глазах его, она смело будила в нем чувство самца и ласками своими заглаживала в нем враждебное ей...

Однажды, придя домой из магазина, где столяры устраивали полки, Илья с удивлением увидел в кухне Матицу. Она сидела у стола, положив на него свои большие руки, и разговаривала с хозяйкой, стоявшей у печки.

— Вот, — сказала Татьяна Власьевна, с улыбкой кивая головой на Матицу, — эта дама ждет вас... давно уже!..

— Добрый вечер! — сказала дама, тяжело поднимаясь со скамьи.

— Ба! — вскричал Илья. — Жива еще?

— Гнилу колоду и свиня не зыист... — густо ответила Матица.

Илья давно не видел ее и теперь смотрел на Матицу со смесью удовольствия и жалости. Она была одета в дырявое платье из бумази, ее голову покрывал рыжий от старости платок, а ноги были босы. Едва передвигая их по полу, упираясь руками в стены, она медленно ввалилась в комнату Илья и грузно села на стул, говоря сиплым, деревянным голосом:

— Скоро околею... Ноги отнимаются... а отнимутся — нельзя буде корму искать... тогда мне смерть...

Лицо у нее страшно распухло, сплошь покрыто темными пятнами, огромные глаза затекли в опухольях и стали узенькими.

— Что на рожу мою смотришь? — сказала она Илье. — Думаешь, бита? Ни, то болезнь меня ест...

— Как живешь? — спросил Илья.

— На папертях грошки собираю... — гудела Матица равнодушно, как труба. — За делом к тебе пришла... Узнала от Перфишки, что у чиновника живешь ты, и пришла...

— Чаем тебя напоить? — предложил Лунев. Ему неприятно было слушать голос Матицы и смотреть на ее заживо гниющее, большое, дряблое тело.

— Пускай черти хвосты себе моют тем твоим чаем... Ты пятак дай мне... А пришла я до тебя — зачем, спроси?

Говорить ей было трудно, дышала она коротко, и от нее душно пахло.

— Зачем? — спросил Илья, отвернувшись от нее в сторону и вспоминая, как он обидел ее однажды...

— Марильку помнишь? Заел свою память!.. Богач стал...

— Что она... как живет? — торопливо спросил Илья.

Матица медленно качала головой и кратко сказала:

— Еще не задавилась...

— Да ты говори прямо! — сердито крикнул Илья. — Чего меня укоряешь? Сама же за трешницу продала ее...

— Я не тебя — я себя корю... — спокойно возразила женщина и, задышав, начала рассказывать о Маше.

Старик-муж ревнует и мучает Машу. Он никуда, даже в лавку, не выпускает ее; Маша сидит в комнате с детьми и, не спросив у старика, не может выйти даже на двор. Детей старик кому-то отдал и живет один с Машей. Он издевается над нею за то, что первая жена обманывала его... и дети — оба — не от него. Маша уже дважды убежала от него, но полиция возвращала ее мужу, а он ее щипал за это и голодом морил.

— Да, устроила ты с Перфишкой дельце! — хмуро сказал Илья.

— Я думала — так лучше, — деревянным голосом проговорила баба. — А надо было сделать как хуже... Надо бы ее тогда богатому продать... Он дал бы ей квартиру и одежду и все... Она потом прогнала бы его и жила... Многие живут так... от старика...

— Ну, — а пришла ты зачем? — спросил Илья.

— А живешь ты у полицейского... Вот они всё ловят ее... Скажи ему, чтоб не ловили... Пусть бежит! Может, она и убежит куда... Разве уж некуда бежать человеку?

Илья задумался. Что он может сделать для Маши?..

Матица поднялась со стула, осторожно двигая ногами.

— Прощай!.. Скоро я подохну... — бормотала она. — Спасибо тебе... чистяк! богач!..

Когда она вывалилась из двери кухни, в комнату Ильи вбежала хозяйка и, обняв его, спросила, смеясь:

— Это — твоя первая любовь, да?

Илья развел руки своей любовницы, крепко охватившие его шею, и угрюмо проговорил:

— Едва ноги таскает, а... хлопчет о том, кого любит...

— Кого она любит? — спрашивала женщина, с удивлением и любопытством разглядывая озабоченное лицо Ильи.

— Погоди, Татьяна; — сказал Илья, — погоди! Не шути...

Он кратко рассказал ей о Маше и спросил:

— Что тут делать?

— Делать тут нечего! — передернув плечиками, ответила Татьяна Власьевна. — По закону жена принадлежит мужу, и никто не имеет права отнимать ее у него...

С важностью человека, которому хорошо известны законы и который убежден в их незыблемости, Автономова долго говорила Илье о том, что Маше нужно подчиниться требованиям мужа.

— Пусть подождет. Он — старый, скоро умрет, тогда она будет свободна, все его имущество отойдет к ней... И ты женишься на молодой вдовушке с состоянием... да?

Она засмеялась и снова серьезно продолжала поучать Илью:

— Но будет лучше, если ты прекратишь сношения с твоими старыми знакомыми. Теперь они уже не пара тебе... и даже могут сконфузить тебя. Все они — грязные, грубые... например, этот, который занимал денег у тебя? Худой такой?.. Злые глаза?..

— Грачев...

— Ну да... Какие у простолюдинов смешные птички фамилии: Грачев, Лунев, Петухов, Скворцов. В нашем кругу и фамилии лучше, красивее: Автономов! Корсаков! Мой отец — Флорианов! А когда я была девушкой, за мной ухаживал кандидат на судебные должности Глорианов... Однажды, на катке, он снял с ноги у меня подвязку и пригрозил, что устроит мне скандал, если я сама не приду к нему за ней...

Илья слушал ее рассказы и тоже вспоминал о своем прошлом, ощущая в душе невидимые нити, крепко связывавшие ее с домом Петрухи Филимонова. И ему казалось, что этот дом всегда будет мешать ему жить спокойно...

Наконец, мечта Ильи Лунева осуществилась.

Полный спокойной радости, он стоял с утра до вечера за прилавком своего магазина и любовался им. Вокруг на полках красовались аккуратно расставленные коробки и картонные; в окне он устроил выставку, разложив на нем блестящие пряжки, кошельки, мыла, пуговицы, развесив яркие ленты, кружева. Все это было яркое, легкое. Солидный и красивый, он встречал покупателей вежливым поклоном и ловко разбрасывал перед ними по прилавку товар. В шелесте кружев и лент он слышал приятную музыку, девушки-швейки, прибежавшие купить у него на не-

сколько копеек, казались ему красивыми и милыми. Жизнь стала приятной, легкой, явился какой-то простой, ясный смысл, а прошлое как бы туман задернул. И ни о чем не думалось, кроме торговли, товара, покупателей... Илья взял для услуг себе мальчика, одел его в серую курточку и внимательно следил за тем, чтобы мальчик умывался тщательно, как можно чище.

— Мы с тобой, Гаврик, торгуем товаром нежным, — говорил он ему, — и должны быть чистыми...

Гаврик — человек лет двенадцати от роду, полный, немножко рябой, курносый, с маленькими серыми глазами и подвижным личиком. Он только что кончил учиться в городской школе и считал себя человеком взрослым, серьезным. Его тоже занимала служба в маленьком, чистом магазине; он с удовольствием возился с коробками и картонками и старался относиться к покупателям так же вежливо, как хозяин.

Илья смотрел на него, вспоминая себя в рыбной лавке купца Строганого. И, чувствуя к мальчику какое-то особенное расположение, он ласково шутил и разговаривал с ним, когда в лавке не было покупателей.

— Чтобы тебе не скучно было, ты, Гаврик, когда свободно, книжки читай, — советовал он своему сотруднику. — За книжкой время незаметно идет, а читать приятно...

Лунев ко всем людям стал относиться мягко, внимательно и улыбался улыбкой, которая как бы говорила:

«Повезло мне, знаете... Но — вы потерпите! Навернос, и вам вскорости повезет...»

Открывая свой магазин в семь часов утра, он запирал его в девять. Покупателей было немного, и Лунев, сидя у двери на стуле, грелся в лучах весеннего солнца и отдыхал, ни о чем не думая, ничего не желая. Гаврик сидел тут же в двери, наблюдал за прохожими, передразнивая их, подманивал к себе собак, лукал камнями в голубей и воробьев или, возбужденно шмыгая носом, читал книжку. Иногда хозяин заставлял его читать вслух, но чтение не интересовало его: он прислушивался к тишине и покою в своей душе. Эту тишину он слушал с наслаждением, упивался ею, она была нова для него и невыразимо приятна. Но порою сладостная полнота чем-то нарушалась.

Это было странное, едва уловимое предчувствие тревоги; оно не колебало покоя души, а только касалось его легко, как тень.

Тогда Илья начинал разговаривать с мальчиком.

— Гаврик! У тебя отец чем занимается?

— Почтальон, письма носит...

— А семья большая у вас?

— Больша-ая! Нас множество. Которые — большие, а которые еще маленькие.

— Маленьких сколько?

— Пять. Да больших — трое... Большие уже все на местах: я — у вас, Василий — в Сибири, на телеграфе служит, а Сонька — уроки дает. Она — здорово! Рублей по двенадцати в месяц приносит. А то есть еще Мишка... Он — так себе... Он старше меня... учится в гимназии...

— Стало быть, больших-то не трое, а четверо...

— Ну как же? — воскликнул Гаврик и поучительно добавил: — Мишка только учится еще... А большой — который уж работает.

— Бедно живете?

— А конечно! — спокойно ответил Гаврик и громко втянул носом воздух. Потом он начинал рассказывать Илье о своих планах в будущем.

— Вырасту — в солдаты пойду. Тогда будет война... Вот я на войну и закачу. Я — храбрый... Сейчас это впереди всех на неприятеля брошусь и отниму знамя... Дядя мой отнял этак-то, — так ему генерал Гурко крест дал и пять целковых...

Илья улыбался, глядя на рябое лицо и широкий, постоянно вздрагивающий нос. Вечером, закрыв магазин, Илья уходил в маленькую комнатку за прилавком. Там на столе уже кипел самовар, приготовленный мальчиком, лежал хлеб, колбаса. Гаврик выпивал стакан чаю с хлебом и уходил в магазин спать, а Илья сидел за самоваром долго, иногда часа два кряду.

Два стула, стол, постель и шкаф с посудой составляли убранство нового жилища Ильи. Комната была узкая, низенькая, с квадратным окном, из которого было видно ноги людей, проходивших мимо него, крышу дома на противоположной стороне улицы и небо над крышей. На окно он повесил белую занавеску из кисеи. С улицы окно за-

граждала железная решетка, она очень не нравилась Илье. А над постелью он повесил картину «Ступени человеческого века». Эта картина нравилась Илье, и он давно хотел купить ее, но почему-то до открытия магазина не покупал, хотя она стоила всего гривенник.

«Ступени человеческого века» были расположены по арке, а под нею был изображен рай. В нем Саваоф, окруженный сиянием и цветами, разговаривал с Адамом и Евой. Всех ступеней было семнадцать. На первой из них стоял ребенок, поддерживаемый матерью, и было подписано красными буквами: «Первые шаги». На второй — ребенок, приплясывая, бил в барабан, а подпись под ним гласила: «5 лет, — играет». Семи лет его «начали учить», десяти — он «ходит в школу», двадцати одного года — он стоит на ступеньке с ружьем в руках и с улыбкой на лице, — подписано: «Отбывает воинскую повинность». На следующей ступени ему двадцать пять лет: он во фраке, со складной шляпой в руке и с букетом цветов в другой, — «жених». Потом у него выросла борода, он надел длинный сюртук с розовым галстуком и, стоя рядом с толстой женщиной в желтом платье, крепко жмет ей руки. Дальше человеку исполнилось тридцать пять лет: в рубаше, с засученными рукавами, он, стоя у наковальни, кует железо. На вершине лестницы он сидит в красном кресле, читает газету, а четверо детей и жена слушают его. И сам он и его семья одеты прилично, чисто, лица у всех здоровые, довольные. В эту пору человеку пятьдесят лет. Но вот ступеньки опускаются книзу: борода у человека уже седая, он одет в длинный желтый кафтан, в руках у него кулек с рыбой и кувшин с чем-то. Под этой ступенькой подписано: «Домашний труд»; на следующей — человек нянчит своего внука; ниже — его «водят», ибо ему уже восемьдесят лет, а на последней ступеньке — девяноста пяти лет от роду — он сидит в кресле, поставив ноги в гроб, и за креслом его стоит смерть с косой в руках...

Сидя за самоваром, Илья поглядывал на картину, и ему было приятно видеть жизнь человека, размеренную так аккуратно и просто. От картины веяло спокойствием, яркие краски ее улыбались, словно уверяя, что ими мудро написана, для примера людям, настоящая жизнь, именно

так написана, как она и должна идти. Рассматривая это изображение человеческой жизни, Лунев думал о том, что вот достиг он, чего желал, и теперь жизнь его должна пойти так же аккуратно, как на картине. Будет она подниматься вверх, и на самом верху, когда он накопит достаточно денег, он женится на скромной, грамотной девушке...

Самовар уныло курлыкал и посвистывал. Сквозь стекло окна и кисею занавески в лицо Ильи тускло смотрело небо, и звезды на нем были едва видны. В блеске звезд небесных всегда есть что-то беспокойное...

Самовар свистит тише, но пронзительнее. Этот тонкий звук надоедливо лезет в уши, — он похож на писк комара и беспокоит, путает мысли. Но закрыть трубу самовара крышкой Илье не хочется: когда самовар перестает свистеть, в комнате становится слишком тихо... На новой квартире у Лунева появились неизведанные до этой поры им ощущения. Раньше он жил всегда рядом с людьми — его отделяли от них тонкие деревянные переборки, — а теперь отгородился каменными стенами и не чувствовал за ними людей.

«Зачем надо умирать?» — вдруг спрашивает себя Лунев, глядя на человека, нисходящего с вершины благополучия в могилу... И ему вспоминается Яков Филимонов, постоянно думающий о смерти, и слова Якова: «Интересно умереть...»

Илья неприязненно отталкивает от себя эти воспоминания, старается отвернуться от них куда-нибудь в сторону.

«Как-то поживает Павел с Верой?» — возникает у него новый ненужный вопрос.

По улице едет извозчик. Стекла в окнах вздрагивают от шума колес о камни мостовой, лампа трясется. Потом в магазине раздаются какие-то странные звуки... Это Гаврик бормочет во сне. Густая тьма в углу комнаты тоже как будто колеблется. Илья сидит, облокотясь на стол, и, сжимая виски ладонями, разглядывает картину. Рядом с господом Саваофом стоит благообразный лев, по земле ползет черепаха, идет барсук, прыгает лягушка, а дерево познания добра и зла украшено огромными цветами, красными, как кровь. Старик, с ногами в гробу, похож

на купца Полуэктова, — такой же лысый и худенький, и шея у него такая же тонкая... Глухой звук шагов раздается на улице: мимо магазина по тротуару кто-то идет, не торопясь. Самовар погас, и теперь в комнате так тихо, что кажется — и воздух в ней застыл, сгустился до плотности ее стен...

Воспоминание о купце не тревожило Илью, и вообще думы не беспокоили его, — они мягко, осторожно стесняли его душу, окутывая ее, как облако луну. От них краски на картине «Ступени человеческого века» немного блекли: на ней как бы являлось пятно. Всегда вслед за мыслью об убийстве Полуэктова Лунев спокойно думал, что ведь в жизни должна быть справедливость, — значит, рано или поздно человек будет наказан за грех свой. Но, подумав так, он зорко присматривался в темный угол комнаты, где было особенно тихо и тьма как будто хотела принять некую определенную форму... Потом Илья раздевался, ложился в постель и гасил лампу. Гасил он ее не сразу, а сначала вертел вверх и вниз винтик, двигавший фитиль. Огонь в лампе то почти исчезал, то появлялся вновь, тьма прыгала вокруг кровати, бросаясь к ней отовсюду, снова отскакивая в углы комнаты. Илья следил, как неощутимые черные волны пытаются залить его, и долго играл так, широко раскрытыми глазами прощупывая тьму, точно ожидая поймать в ней взглядом что-то... Наконец, огонь, вздрогнув последний раз, исчезал, тьма на момент заливала собою всю комнату и как будто колебалась, еще не успев успокоиться от борьбы со светом. Вот из нее выступало пред глазами Ильи тускло-голубоватое пятно окна. Если ночь была лунная, на стол и на пол падали черные полосы теней от железной решетки за окном. В комнате становилось так напряженно тихо, что казалось, если сильно вздохнуть, все в ней дрогнет. Лунев плотно закутывался в одеяло, особенно тщательно окутывал шею и, оставив открытым лицо, смотрел в сумрак комнаты до поры, пока сон не одолевал. Поутру он просыпался бодрый, спокойный, и ему было почти стыдно при воспоминании о вчерашних глупостях. Пил с Гавриком чай и осматривал свой магазин, как что-то новое. Иногда к нему забежал с работы Павел, весь измазанный грязью, салом, в прожженной

блузе, с черным от копоти лицом. Он снова работал у водопроводчика, таскал с собою котелок с оловом, свинцовые трубы, паяльники. Он всегда торопился домой, а если Илья уговаривал его посидеть, Павел со смущенной улыбкой говорил:

— Не могу! Я, брат, так себя чувствую, как будто у меня дома жар-птица, — а клетка-то для нее слаба. Целые дни одна она там сидит... и кто ее знает, о чем думает? Житье ей серое наступило... я это очень хорошо понимаю... Если б ребенок был...

И Грачев тяжело вздыхал... Однажды он сумрачно сказал товарищу:

— Отвел я всю воду своему огороду, да не потопила бы, боюсь.

Другой раз на вопрос Ильи — пишет ли он стихи? — Грачев, усмехаясь, молвил:

— Пальцем в небе... Э, ну их ко всем чертям! Куда уж нам лаптем щи хлебать!.. Я, брат, теперь всем корпусом сел на мель. Ни искры в голове, — ни искорки! Все про нее думаю... Работаю — паять начну — всё льются в голову, подобно олову, мечты о ней... Вот тебе и стихи... ха-ха!.. Положим, — тому и честь, кто во всем — весь... Н-да, тяжело ей...

— А тебе? — спросил Илья.

— И мне — оттого тяжело... К веселью она привыкла... вот что! Все о деньгах мечтает. «Если б, говорит, денег хватить где-нибудь — сразу бы все перевернулось... Дура, говорит, я: надо бы мне какого-нибудь купчика обворовать...» Вообще — ерунду говорит. Из жалости ко мне все... я понимаю... Тяжело ей...

Павел вдруг обеспокоился и убежал.

Часто заходил к Илье оборванный, полуголый сапожник с неразлучной гармонией подмышкой. Он рассказывал о событиях в доме Филимонова, о Якове. Тощий, грязный и растрепанный Перфишка жался в двери магазина и, улыбаясь всем лицом, сыпал свои прибаутки.

— Женился Петруха, жена его — как свекла, а пасынок — морковь! Целый огород, ей-богу! Жена — толстая, коротенькая, красная, рожа у нее трехэтажная. Три подбородка человек имеет, а рот — все-таки один. Глазки — как у благородной свиньи: маленькие и вверх

не видят. Сын у нее — желтый, длинный и в очках. Листократ! Зовут его Савва, говорит гнусаво, при матери — блажен муж, а без нее — вскую шаташася языцы... Ка-ам-пания — мое почтение! Яшутка теперь такой вид имеет, словно в щель забиться хочет, на манер испуганного таракана. Пьет, сердяга, потихоньку да кашляет во всю мочь. Видно, папенька печенки-то ему повредил как следует! Едят его. Парень мягкий, — не подавятся сожрут... Дядя твой письмо прислал из Киева... По-моему — напрасно он старается: горбатого в рай не пустят, я думаю!.. А у Матицы ноги совсем отвалились: в тележке ездит. Наняла слепого из половины, впрягла его и правит им, как лошастью, — смехота! Кормится все-таки. Хорошая она баба, я скажу! То есть, ежели бы у меня не такая удивительная жена была, я бы на этой самой Матице необходимо женился! Я прямо скажу: на всей земле только и есть две бабы настоящие — с сердцем, — моя жена да Матица... Конечно, она пьянствует, но хороший человек всегда пьяница...

— А Машутка? — напомнил ему Илья.

При напоминании о дочери прибаутки и улыбки исчезали у сапожника, — точно ветер осенний сухие листья с дерева срывал. Желтое лицо его вытягивалось, он сконфуженным, тихим голосом говорил:

— Мне про нее ничего не известно... Хренов прямо сказал мне: «И мимо не ходи, а то я ее изувечу!..» Пожертвуй, Илья Яковлевич, на построение косушки или шкалика сооружение!..

— Пропадаешь ты, Перфилий, — сказал Илья с сожалением.

— Окончательно пропадая, — спокойно согласился сапожник. — Многие обо мне, когда помру, пожалуй должны! — уверенно продолжал он. — Потому — веселый я человек, люблю людей смешить! Все они: ах да ох, грех да бог, — а я им песенки пою да посмеиваюсь. И на грош согрешин — помрешь, и на тысячи — издохнешь, а черти всех одинаково мучить будут... Надо и веселому человеку жить на земле...

Смеясь и балагурия, задорный, похожий на старого, ошипанного чижа, он исчезал, а Илья, проводив его, с улыбкой покачивал головой. Чувствуя, что ему жалко

Перфишку, он понимал ненужность этой жалости и видел, что она мешает ему. Прошлое было недалеко сзади Лунева, и все, напоминавшее ему о прошлом, будило в нем беспокойное чувство. Он был похож на человека, который устал и, отдыхая, сладко дремлет, а осенние мухи назойливо гудят над его ухом и мешают ему отдохнуть. Разговаривая с Павлом или слушая рассказы Перфишки, Илья сочувственно улыбался, покачивал головой и ждал, когда они уйдут. Иногда ему становилось грустно и неловко слушать речи Павла; в такие моменты он торопливо и упрямо предлагал ему денег и, разводя руками, говорил:

— Чем иным помочь могу?.. Посоветовал бы: брось Веру...

— Бросить ее нельзя, — тихо говорил Павел. — Бросают, что не нужно. А она мне нужна... Ее у меня вырывают, — вот в чем дело... И может, я не душой люблю ее, а злостью, обидой люблю. Она в моей жизни — весь мой кусок счастья. Неужто отдать ее? Что же мне-то останется?.. Не уступлю, — врут! Убью, а не отдам.

Сухое лицо Грачева покрывалось красными пятнами, и он крепко стискивал кулаки.

— Разве замечаешь, что похаживают около нее? — задумчиво спросил Илья.

— Этого не видно...

— Про кого же говоришь: вырывают?

— А есть такая сила, которая вырвать ее хочет из моих рук... Эх, дьявол! Отец мой из-за бабы погиб и мне, видно, ту же долю оставил...

— Никак нельзя тебе помочь! — сказал Лунев и почувствовал при этом какое-то удовлетворение. Павла ему было жалко еще более, чем Перфишку, и, когда Грачев говорил злобно, в груди Ильи тоже закипала злоба против кого-то. Но врага, наносящего обиду, врага, который комкал жизнь Павла, налицо не было, — он был невидим. И Лунев снова чувствовал, что его злоба так же не нужна, как и жалость, — как почти все его чувства к другим людям. Все это были лишние, бесполезные чувства. А Павел, хмурясь, говорил:

— Я знаю — помочь мне нельзя...

И, глядя в лицо товарища, он с твердой и зловещей уверенностью продолжал:

— Вот ты забрался в уголок и — сиди смирно... Но я тебе скажу — уж кто-нибудь ночей не спит, соображает, как бы тебя отсюда вон швырнуть... Вышибут!.. А то — сам все бросишь...

— Как же, брошу, дожидайся! — смеясь, сказал Илья.

Но Грачев стоял на своем. Он, зорко поглядывая в лицо товарища, настойчиво убеждал его:

— А я тебе говорю — бросишь. Не такой у тебя характер, чтобы всю жизнь смирно в темной дыре сидеть. И уж наверно — или запьянствуешь ты, или разоришься... что-нибудь должно произойти с тобой...

— Да почему? — с удивлением воскликнул Лунев.

— Так уж. Нейдет тебе спокойно жить... Ты парень хороший, с душой... Есть такие люди: всю жизнь живут крепко, никогда не хворают и вдруг сразу — хлоп!

— Что — хлоп?

— Упал, да и умер...

Илья засмеялся, потянувшись, расправил крепкие мускулы и глубоко, во всю силу груди, вздохнул.

— Чепуха все это! — сказал он.

Но вечером, сидя за самоваром, он невольно вспомнил слова Грачева и задумался о деловых отношениях с Автономовой. Обрадованный ее предложением открыть магазин, он соглашался на все, что ему предлагали. И теперь ему вдруг стало ясно, что хотя он вложил в дело больше ее, однако он скорее приказчик на отчете, чем компаньон. Это открытие поразило и взбесило его.

«Ага! Так ты меня затем крепко обнимаешь, чтобы в карман мне незаметно залезть?» — мысленно говорил он Татьяне Власьевне. И тут же решил, пустив в оборот все свои деньги, выкупить магазин у сожительницы, порвать связь с нею. Решить это ему было легко. Татьяна Власьевна и раньше казалась ему лишней в его жизни, а за последнее время она становилась даже тяжела ему. Он не мог привыкнуть к ее ласкам и однажды прямо в глаза сказал ей:

— Экая ты, Танька, бесстыдница...

Она только расхохоталась в ответ ему.

Она попрежнему все рассказывала ему о жизни людей ее круга, и однажды Илья заметил:

— Коли все это ты правду говоришь, Татьяна, так ваша порядочная жизнь ни к чорту не годится!

— Почему это? Весело! — сказала Автономова, пожав плечиками.

— Велико веселье! Днем — одно крохоборство, а ночью — разврат...

— Какой ты наивный! — смеясь, воскликнула Татьяна Власьевна.

И вновь расхваливая пред ним чистую, мещански личную, удобную жизнь, вскрывала ее жестокость и грязь.

— Да разве это хорошо? — спрашивал Илья.

— Вот забавный человек! Я не говорю, что это хорошо, но если бы этого не было — было бы скучно!

Иногда она учила его:

— Тебе пора бросить эти ситцевые рубашки: порядочный человек должен носить полотняное белье... Ты, пожалуйста, слушай, как я произношу слова, и учись. Нельзя говорить — тыща, надо — тысяча! И не говори — коли, надо говорить — если. Коли, теперя, седни — это всё мужицкие выражения, а ты уже не мужик.

Все чаще она указывала ему разницу между ним, мужиком, и ею, женщиной образованной, и нередко эти указания обижали Илью. Живя с Олимпиадой, он иногда чувствовал, что эта женщина близка ему как товарищ. Татьяна Власьевна никогда не вызывала в нем товарищеского чувства; он видел, что она интереснее Олимпиады, но совершенно утратил уважение к ней. Живя на квартире у Автомоновых, он иногда слышал, как Татьяна Власьевна, перед тем как лечь спать, молилась богу:

— «Отче наш, иже еси на небесех... — раздавался за переборкой ее громкий, торопливый шопот. — Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша...» Кирия! встань и притвори дверь в кухню: мне дует в ноги...

— Зачем ты становишься коленями на голый пол? — лениво спрашивал Кирик.

— Оставь, не мешай мне!..

И снова Илья слышал быстрый, озабоченный шопот:

— Упокой, господи, раба твоего Власа, Николая, схимонаха Мардария... рабу твою Евдокию, Марию, помани, господи, о здравии Татиану, Кирика, Серафиму...

Торопливость ее молитвы не нравилась Илье: он ясно понимал, что человек молится не по желанию, а по привычке.

— Ты, Татьяна, веришь в бога? — спросил он ее однажды.

— Вот вопрос! — воскликнула она с удивлением. — Разумеется, верю! Почему ты спрашиваешь?

— Так... Больно ты всегда торопишься отделаться от него... — сказал Илья с улыбкой.

— Во-первых: не нужно говорить — больно, когда можно сказать — очень! А во-вторых: я так устаю за день, что бог не может не простить мне моей небрежности...

И, мечтательно подняв глаза кверху, она добавила с уверенностью:

— Он — все простит. Он — милостив...

«Только затем он вам и нужен, чтобы было у кого прощения просить», — зло подумал Илья и вспомнил: Олимпиада молилась долго и молча. Она вставала перед образами на колени, опускала голову и так стояла неподвижно, точно окаменевшая... Лицо у нее в эти минуты было убитое, строгое.

Когда Лунев понял, что в деле с магазином Татьяна Власьевна ловко обошла его, он почувствовал что-то похожее на отвращение к ней.

«Кабы она была мне чужой человек, — ну, пускай! — думалось ему. — Все стараются друг друга обманывать... Но ведь она — вроде жены... целует, ласкает... Кошка поганая! Эдак-то только гулящие девки делают... да и то не все...» Он стал относиться к ней сухо, подозрительно и под разными предлогами отказывался от свиданий с нею. В это время пред ним явилась еще женщина — сестра Гаврика, иногда забегавшая в лавочку посмотреть на брата. Высокая, тонкая и стройная, она была некрасива, и, хотя Гаврик сообщил, что ей девятнадцать лет, Илье она казалась гораздо старше. Лицо у нее было длинное, желтое, истощенное; высокий лоб прорезывали тонкие морщины. Широкие ноздри утиного носа казались гневно раздутыми, тонкие губы маленького рта плотно сложены. Говорила она отчетливо, но как будто сквозь зубы, неохотно; походка у нее быстрая, и ходила она высоко поднимая голову, точно хвастаясь некрасивым лицом. А может

быть, голову ей оттягивала назад толстая и длинная коса темных волос... Большие черные глаза этой девушки смотрели строго и серьезно, и все черты лица, сливаясь вместе, придавали ее высокой фигуре что-то прямое и непреклонное. Лунев чувствовал пред нею робость; она казалась ему гордой и внушала почтение к себе. Всякий раз, когда она являлась в лавке, он вежливо подавал ей стул, приглашая:

— Присядьте, пожалуйста!

— Благодарю! — кратко говорила она и, кивая ему головой, садилась. Лунев украдкой рассматривал ее лицо, резко отличное от всех женских лиц, которые он видел до сей поры, ее коричневое платье, очень поношенное, ее башмаки с заплатками и желтую соломенную шляпу. Она сидела, разговаривая с братом, и длинные пальцы ее правой руки всегда выбивали на ее колене быструю, неслышную дробь. А левой рукой она раскачивала в воздухе ремни с книгами. Илье было странно видеть гордой девушку, так плохо одетую. Просидев в лавке две-три минуты, она говорила брату:

— Ну, прощай! Не очень шали...

И, молча кивнув головой хозяину лавки, уходила походкой храброго солдата, идущего на приступ.

— Какая у тебя сестра-то строгая! — сказал однажды Лунев Гаврику.

Гаврик наморщил нос, дико вытаращил глаза, оттопырил губы, и от этого лицо его приняло карикатурно стремительное выражение, очень удачно напоминавшее лицо его сестры. Потом он с улыбкой объяснил Илье:

— Вот она какая... Только она это притворяется...

— Зачем же ей притворяться?

— Так уж, — любит! Я тоже — какую захочу скорчить рожицу, такую и скорчу...

Девушка сильно заинтересовала Илью, и, как раньше о Татьяне Власьевне, он думал о ней:

«Вот на такой бы жениться...»

Однажды она принесла с собой толстую книгу и сказала брату:

— На, читай...

— Что такое, позвольте взглянуть? — вежливо спросил Илья.

Она взяла книгу из рук брата и подала Луневу, говоря:

— Дон-Кихот... История одного доброго рыцаря...

— А! Про рыцарей я много читал, — с любезной улыбкой сказал Илья, взглянув ей в лицо. У нее дрогнули брови, и она торопливо, сухим голосом заговорила:

— Вы читали сказки, а это прекрасная, умная книга. В ней описан человек, который посвятил себя защите несчастных, угнетенных несправедливостью людей... человек этот всегда был готов пожертвовать своей жизнью ради счастья других, — понимаете? Книга написана в смешном духе... но этого требовали условия времени, в которое она писалась... Читать ее нужно серьезно, внимательно...

— Так мы и почитаем, — сказал Илья.

Первый раз девушка говорила с ним; он чувствовал от этого какое-то особенное удовольствие и улыбался. Но она, взглянув на его лицо, сухо проговорила:

— Не думаю, что это понравится вам...

И ушла. Илье показалось, что слово «вам» она произнесла как-то особенно ясно. Это задело его, и он сердито сказал Гаврику, разглядывавшему картинки в книге:

— Ну, теперь читать не время...

— Да ведь покупателей нет? — возразил Гаврик, не закрывая книги. Илья посмотрел на него и промолчал. В памяти его звучали слова девушки о книге. А о самой девушке он с неудовольствием в сердце думал:

«Какая... фря!»

Время шло. Илья стоял за прилавком и, покручивая усы, торговал, но ему стало казаться, что дни идут медленно. Иногда у него возникало желание запереть лавку и пойти куда-нибудь гулять, но он знал, что это отразилось бы на торговле, и не ходил. Уходить вечером тоже было неудобно: Гаврик боялся оставаться один в магазине, да и опасно было оставлять магазин на него: он мог нечаянно поджечь или пустить какого-нибудь жулика. Торговля шла недурно; Илья подумывал о том, что, пожалуй, придется нанять помощника. Связь с Автономовой постепенно ослабевала сама собой, и Татьяна Власьевна

тоже как будто не имела ничего против этого. Она весело посмеивалась и очень тщательно проверяла книгу дневного оборота. И, когда она, сидя в комнате Ильи, щелкала косточками счетов, он чувствовал, что эта женщина с птичьим лицом противна ему. Но иногда она являлась к нему веселая, бойкая, шутила и, задорно играя глазами, называла Илью компаньоном. Он увлекался, и возобновлялось то, что он называл про себя поганой канителью. Заходил Кирик, разваливался на стуле у прилавка и балагурил со швейками, если они приходили при нем. Он уже снял с себя полицейскую форму, носил костюм из чечунчи и хвастался своими успехами на службе у купца.

— Шестьдесят рублей жалованья и столько же наживаю, — недурно, а? Наживаю осторожно, законно... Квартину мы переменили, — слышал? Теперь у нас миленькая квартирка. Наняли кухарку, — велика-а-лепно готовит, бестия! С осени начнем принимать знакомых, будем играть в карты... приятно, чорт возьми! Весело проведешь время, и можно выиграть... нас двое играют, я и жена, кто-нибудь один всегда выигрывает! А выигрыш окупает прием гостей, — хо-хо, душа моя! Вот что называется дешевая и приятная жизнь!..

Он расплывался на стуле, закуривал папиросу и, попыхивая дымом, продолжал, понизив голос:

— Ездил я, братец, в деревню недавно, — слышал? И я тебе скажу: девочки там — такие — фью! Знаешь, — дочери природы эдакие... ядреные, знаешь, не уколупнешь ее, шельму... И все это дешево, чорт меня побери! Скланницу наливки, фунт пряников, и — твоя!

Лунев слушал и молчал. Он почему-то жалел Кирика, жалел, не отдавая себе отчета, за что именно жаль ему этого толстого и недалекого парня? И в то же время почти всегда ему хотелось смеяться при виде Автономова. Он не верил рассказам Кирика об его деревенских похождениях: ему казалось, что Кирик хвастает, говорит с чужих слов. А находясь в дурном настроении, он, слушая речи его, думал:

«Крохобор!»

— Да-а, братец, великолепно это — заняться амуром на лоне природы, под сенью кущ, как выражаются в книжках.

— А если Татьяна Власьевна узнает? — спросил Илья.

— Она этого не захочет узнать, братец, — лукаво подмигивая ему, ответил Кирик. — Она знает, что ей это не нужно знать! Мужчина есть петух по природе своей... Ну, а ты, братец, как — имеешь даму сердца?

— Грешен! — усмехаясь, сказал Илья.

— Швеечку? Да? Эдакую брюнеточку?..

— Нет, не швейку...

— Кухарку? Кухарка — это тоже хорошо, она теплая, сдобная...

Илья хохотал, как сумасшедший, и этот смех убеждал Кирика в существовании кухарки.

— Почаще меняй их, почаще меняй, — тоном знатока дела советовал он Илье.

— Да почему вы думаете, что кухарка или швейка? Разве другой какой-нибудь не достоин я? — спросил Лунев сивозь смех.

— Они тебе, братец, подходят по твоему положению в обществе больше других... Ведь не можешь ты завести роман с дамой или девушкой приличного общества, согласись?

— Да почему?

— Ах, это так понятно... Я не хочу тебя обижать, но ты, мой друг, все-таки, знаешь... простой человек... мужичок, так сказать...

— А... а я с дамой... — задыхаясь от смеха, сказал Илья.

— Шутник! — воскликнул Кирик и тоже захохотал.

Но когда Автономов уходил, Лунев, думая над его словами, испытывал чувство обиды. Ему было ясно, что хотя Кирик добрый парень, однако он считает себя каким-то особенным человеком, не равным ему, Илье, выше его, лучше. В то же время он с женой многим пользуется от него. Перфишка сообщил ему, что Петруха посмеивается над его торговлей и называет его жуликом... А Яков говорил сапожнику, что раньше он, Илья, был лучше, душевнее, не зазнавался, как теперь. И сестра Гаврика тоже постоянно убеждала Илью в том, что она не ровня ему. Дочь почтальона, одетая едва не в лохмотья, она смотрела на него так, точно сердилась на то, что он живет на одной земле с нею. Самолюбие Илья

с той поры, как он открыл магазин, выросло, стало еще более чутким, чем прежде. Его интерес к этой некрасивой, но особенной девушке все развивался; ему хотелось понять, откуда в ней, бедной, эта гордость, пред которой он все более робел. Она никогда не хотела заговорить с ним первая, и это задевало его. Ведь ее брат служит у него в мальчиках, и уже поэтому она бы должна смотреть на него, хозяина, поласковее! Он сказал ей однажды:

— Читаю вашу книгу о дон-Кихоте...

— Ну, и что же? Нравится? — спросила она, не взглянув на него.

— Очень нравится!.. Смешно... чудак был человек.

Илье показалось, что ее черные, гордые глаза воткнулись в лицо ему с ненавистью.

— Я так и знала, что вы скажете что-нибудь в этом роде, — проговорила она медленно и внятно.

Илье почудилось что-то обидное, враждебное ему в этих словах.

— Человек я темный, — сказал он, пожав плечами.

Она промолчала в ответ, точно не слышала его.

И вновь в душу Ильи стало вторгаться давно уже не владевшее ею настроение, — снова он злился на людей, крепко и подолгу думал о справедливости, о своем грехе и о том, что ждет его впереди. Неужели он всегда будет жить вот так. с утра до вечера торчать в магазине, потом наедине со своими думами сидеть за самоваром и спать потом, а проснувшись, вновь идти в магазин? Он знал, что многие торговцы, а может быть, и все, живут именно так. Но у него и во внешней жизни и во внутренней было много причин считать себя человеком особенным, не похожим на других. Он вспомнил слова Якова:

«Не дай бог тебе удачи... жаден ты...»

И эти слова казались ему глубоко обидными. Нет, он не жаден, — он просто хочет жить чисто, спокойно и чтобы люди уважали его, чтобы никто не показывал ему на каждом шагу:

«Я выше тебя, Илья Лунев, я тебя лучше...»

И снова он думал — что ждет его впереди? Будет ему возмездие за убийство или нет? Иногда ему думалось, что, если возмездие за грех будет ему, — оно будет несправедливо. В городе живет много человекоубийц, разврат-

ников, грабителей; все знают, что они по своей воле убийцы, развратники и мошенники, а — вот живут они, пользуются благами жизни, и наказания нет им до сей поры. А по справедливости — всякая обида, человеку нанесенная, должна быть возмещена обидчику. И в библии сказано: «Пусть бог воздаст ему самому, чтобы он знал». Эти мысли бередили старые царапины в его сердце, и сердце вспыхивало буйным чувством жажды отомстить за свою надломленную жизнь. Порой ему приходило на ум сделать еще что-нибудь дерзкое: пойти поджечь дом Петрухи Филимонова, а когда дом загорится и прибегут люди, то крикнуть им:

«Это я поджег! Это я задавил купца Полуэктова!»

Люди схватят его, будут судить и сошлют в Сибирь, как сослали его отца... Это возмущало его, и он суживал свою жажду мести до желания рассказать Кирику о своей связи с его женой или пойти к старику Хренову и избить его за то, что он мучает Машу...

Иногда, лежа в темноте на своей кровати, он вслушивался в глубокую тишину, и ему казалось, что вот сейчас все задрожит вокруг него, повалится, закружится в диком вихре, с шумом, с дребезгом. Этот вихрь завертит и его силою своей, как сорванный с дерева лист, завертит и — погубит... И Лунев вздрагивал от предчувствия чего-то необычайного...

Как-то вечером, когда Лунев уже собирался запирать магазин, явился Павел и, не здороваясь, спокойным голосом сказал:

— Верка убежала...

Он сел на стул, облокотился о прилавок и тихо засвистал, глядя на улицу. Лицо у него было окаменевшее, но маленькие русые усики шевелились, как у кота.

— Одна или с кем-нибудь? — спросил Илья.

— Не знаю.. Третий день нет ее...

Илья смотрел на него и молчал. Спокойное лицо и голос Павла не позволяли ему понять, как относится Грачев к бегству своей подруги. Но он чувствовал в этом спокойствии какое-то бесповоротное решение...

— Что же ты думаешь делать? — тихо спросил он, видя, что Павел не собирается говорить. Тогда Грачев

перестал свистать и, не обращившись к товарищу, кратко объявил:

— Зарежу...

— Ну, опять за свое! — воскликнул Илья, досадливо махнув рукой.

— Я об нее все сердце обломал, — вполголоса заговорил Павел. — Вот ножик.

Он вынул из-за пазухи небольшой хлебный нож и повертел его пред своим лицом.

— Хвачу ее по горлу...

Но Илья вырвал нож и бросил за прилавок, сердито говоря:

— Вооружился на муху...

Павел вскочил со стула и повернулся лицом к нему. Глаза у него яростно горели, лицо исказилось, он весь вздрагивал. Но тотчас же снова опустился на стул и презрительно сказал:

— Дурак ты...

— Ты умен!..

— Сила не в ноже, а в руке...

— Говори!..

— И если б руки у меня отвалились, — зубами глотку ей перерву...

— Ишь как страшно!..

— Ты со мной не говори, Илья... — вновь спокойно и негромко сказал Павел. — Верь — не верь, но меня не дразни... Меня судьба довольно дразнит...

— Да ты, чудак, подумай, — убедительно и мягко заговорил Илья.

— Все уж передумано... Впрочем, я уйду... Что с тобой говорить? Ты — сыт... мне не товарищ...

— А ты брось безумство-то! — с укором крикнул Лунев.

— Я же — и душой и телом голоден...

— Дивлюсь, как люди рассуждают! — пожав плечами, насмешливо заговорил Илья. — Баба для человека вроде скота... вроде лошади! Везешь меня? Ну, старайся, бить не буду. Не хошь везти? Трах ее по башке!.. Да, черти, ведь и баба — человек, и у нее свой характер есть...

Павел взглянул на него и хрипло засмеялся.

— А я кто? Не человек?..

— Да ты должен быть справедливым или нет?

— А поди ты ко всем чертям с этой самой справедливостью! — бешено закричал Грачев, вскакивая со стула. — Будь ты справедлив: сытому это не мешает... Слышал? Ну, и прощай...

Он быстро пошел вон из магазина и в двери зачем-то снял с головы картуз. Илья выскочил из-за прилавка вслед за ним, но Грачев уже шел по улице, держа картуз в руке и возбужденно размахивая им.

— Павел! — крикнул Лунев. — Постой...

Он не остановился, даже не оглянулся и, повернув в проулок, исчез. Илья медленно прошел за прилавок, чувствуя, что от слов товарища его лицо так горит, как будто он в жарко растопленную печь посмотрел.

— Ка-акой злой! — раздался голос Гаврика.

Илья усмехнулся.

— Кого это он резать собрался? — спросил Гаврик, подходя к прилавку. Руки у него были заложены за спину, голова поднята вверх и шероховатое лицо покраснело.

— Жену свою, — сказал Илья, глядя на мальчика.

Гаврик помолчал, потом как-то принатужился и тихо, вдумчиво сообщил хозяину:

— А у нас соседка на рождестве мужа мышьяком отравила... Портного...

— Бывает... — медленно проговорил Лунев, думая о Павле.

— А этот — он вправду зарежет?

— Отстань, Гаврик!..

Мальчик повернулся, пошел к двери и по дороге пробормотал:

— А женятся, черти!

Уже вечерний сумрак влился в улицу, и в окнах дома напротив лавочки Лунева зажгли огонь.

— Запирать пора! — тихо сказал Гаврик.

Илья смотрел на освещенные окна. Снизу их закрывали цветы, сверху белые шторы. Сквозь листву цветов было видно золотую раму на стене. Когда окна были открыты, из них на улицу вылетали звуки гитары, пение и громкий смех. В этом доме почти каждый вечер пели, играли и смеялись. Лунев знал, что там живет член окружного суда Громов, человек полный, румяный, с большими черными усами. Жена у него была тоже полная,

белокурая, голубоглазая; она ходила по улице важно, как сказочная королева, а разговаривая — всегда улыбалась. Еще у Громова была сестра-невеста, высокая, черноволосая и смуглая девица; около нее увивалось множество молодых чиновников; все они смеялись, пели чуть не каждый вечер.

— Право, запирать пора, — настойчиво проговорил Гаврик.

— Запирай.

Мальчик затворил дверь, и в магазине стало темно. Потом загремело железо замка.

«Как в тюрьме», — подумал Илья.

Обидные слова товарища о сытости воткнулись ему в сердце занозой. Сидя за самоваром, он думал о Павле с неприязнью, и ему не верилось, что Грачев может зарезать Веру.

«Напрасно я за нее заступился все-таки... Пес с ними!.. Сами не умеют жить, другим мешают...» — с ожесточением подумал он.

Гаврик громко схлебывал чай с блюдечка и двигал под столом ногами.

— Зарезал или нет еще? — вдруг спросил он хозяина.

Лунев сумрачно посмотрел на него и сказал:

— А ты — пей, да спать иди...

Самовар шипел и гудел так, точно готовился прыгнуть со стола.

Вдруг пред окном встала темная фигура, и робкий, дрожащий голос спросил:

— Здесь живет Илья Яковлевич?..

— Здесь, — крикнул Гаврик и, вскочив со стула, бросился к двери на двор так быстро, что Илья не успел ничего сказать ему.

В двери явилась тонкая фигурка женщины в платочке на голове. Одной рукой она уперлась в косяк, а другой теребила концы платка на шее. Стояла она боком, как бы готовясь тотчас же уйти.

— Входите, — недовольно сказал Лунев, глядя на нее и не узнавая.

Вздрогнув от его голоса, она подняла голову, и бледное, маленькое лицо ее улыбнулось...

— Маша! — крикнул Илья, вскочив со стула.

Она тихонько засмеялась и шагнула к нему.

— Не узнал... не узнали даже... — проговорила она, останавливаясь среди комнаты.

— Господи боже! Да разве узнаешь! Какая ты...

С преувеличенной вежливостью Илья взял ее за руку, вел к столу, наклоняясь и заглядывая ей в лицо и не решаясь сказать, какая она стала. А она была невероятно худая и шагала так, точно ноги у нее подламывались.

— Ах ты... какая! — бормотал он, бережно усаживая ее на стул и все заглядывая в лицо ей.

— Вот как меня... — сказала она, взглянув в глаза Ильи.

Теперь, когда она села против лампы, он хорошо видел ее. Она оперлась на спинку стула, свесив тонкие руки, и, склонив голову набок, учащенно дышала своей плоской грудью. Была она какая-то бесплотная, казалась составленной из одних костей. Ситец ее платья обрисовывал угловатые плечи, локти, колени, лицо у нее было страшно от худобы. Синеватая кожа туго натянулась на висках, скулах и подбородке, рот был болезненно полуоткрыт, тонкие губы не скрывали зубов, и на ее маленьком, удлиннном лице застыло выражение тупой боли. А глаза смотрели тускло и мертво.

— Хворала ты? — тихо спросил Илья.

— Не-ет, — ответила она. — Я совсем здоровая... это он меня отделал...

Ее протяжные, негромкие слова звучали, как стоны, оскаленные зубы придавали лицу что-то рыбье...

Гаврик, стоя около Маши, смотрел на нее, сжав губы, с боязнью в глазах.

— Иди, спи! — сказал ему Лунев.

Мальчик ушел в магазин, повозился там с минуту, и потом из-за косяка двери высунулась его голова.

Маша сидела неподвижно, только глаза ее, тяжело вращаясь в орбитах, передвигались с предмета на предмет. Лунев наливал ей чай, смотрел на нее и не мог ни о чем спросить подругу.

— Очень он мучает меня... — заговорила она. Губы у ней вздрогнули и глаза закрылись на секунду. А когда она открыла их, — из-под ресниц выкатились большие, тяжелые слезы.

— Не плачь... — сказал Илья, отвернувшись от нее. — Ты лучше... пей чай... и рассказывай мне все... легче будет...

— Боюсь — придет он... — покачав головой, сказала Маша.

— Ты ушла от него?..

— Да-а... Я уж четвертый раз... Когда не могу больше терпеть... убегаю... Прощлый раз я в колодец было хотела... а он поймал... и так был, так мучил...

Глаза у нее стали огромные от ужаса, нижняя челюсть задрожала.

— Ноги он мне все ломает...

— Эх! — воскликнул Илья. — Да — что же ты? В полицию заяви... истязует! За это в острог сажают...

— Н-ну-у, он сам и судья, — безнадежно сказала Маша.

— Хренов? Какой он судья, — что ты?

— Уж я знаю! Он в суде недавно сидел две недели кряду... все судил... Приходил оттуда злой, голодный... Взял да щипцами самоварными грудь мне ущемил и вертит и крутит... гляди-ка!

Она дрожащими пальцами расстегнула платье и показала Илье маленькие дряблые груди, покрытые темными пятнами, точно изжеванные.

— Застегнись, — угрюмо сказал Илья. Ему было неприятно видеть это избитое, жалкое тело и не верилось, что пред ним сидит подруга детских дней, славная девочка Маша. А она, обнажив плечо, говорила ровным голосом:

— А плечи-то как исколотил! И всю как есть... живот исщипал весь, волосы подмышками выщипал...

— Да за что? — спросил Лунев.

— Говорит — ты меня не любишь? И щиплет...

— Может, ты... не девушка уж была, как за него вышла?

— Ну-у, как же это? С тобой да с Яшей жила я... никто меня не трогал никогда... Да и теперь я... к тому неспособна.. больно мне и противно... тошнит всегда...

— Молчи, Маша, — тихонько попросил ее Илья.

Она замолчала и снова окаменела, сидя на стуле с обнаженной грудью.

Илья взглянул из-за самовара на ее худое, избитое тело и повторил:

— Застегнись...

— Мне тебя не стыдно, — беззвучно ответила она, застегивая кофту дрожащими пальцами.

Стало тихо. Потом из магазина донеслись громкие всхлипывания. Илья встал, подошел к двери и притворил ее, сказав угрюмо:

— Перестань, Гаврюшка...

— Это — мальчик? — спросила Маша. — Он — что?

— Плачет...

— Боится?

— Н-нет... жалеет, должно быть.

— Кого?

— Тебя...

— Ишь какой, — равнодушно сказала Маша, ее безжизненное лицо осталось неподвижным. Потом она стала пить чай, а руки у нее тряслись, блюдечко стучало о зубы ее. Илья смотрел на нее из-за самовара и не знал — жалко ему Машу или не жалко?

— Что ты будешь делать? — спросил он после долгого молчания.

— Не знаю, — ответила она и вздохнула. — Что мне делать?..

— Жаловаться надо, — решительно сказал Лунев.

— Он и ту жену тоже так... — заговорила Маша. — За косу к кровати привязывал и щипал... все так же... Спала я, вдруг стало больно мне... проснулась и кричу. А это он зажег спичку да на живот мне и положил...

Лунев вскочил со стула и громко, с бешенством заговорил о том, что она должна завтра же идти в полицию, показать там все свои синяки и требовать, чтоб мужа ее судили. Она же, слушая его речь, беспокойно задвигалась на стуле и, пугливо озираясь, сказала:

— Ты не кричи, пожалуйста! Услышат...

Его слова только пугали ее. Он понял это.

— Ну ладно, — сказал он, снова усаживаясь на стул. — Я сам возьмусь за это... Ты, Машутка, ночуешь у меня. Ляжешь на моей постели... а я в магазин уйду...

— Мне бы лечь... устала я...

Он молча отодвинул стол от кровати; Маша свалилась на нее, попробовала завернуться в одеяло, но не сумела и тихонько улыбнулась, говоря:

— Смешная я какая... ровно пьяная...

Илья бросил на нее одеяло, поправил подушку под головой ее и хотел уйти в магазин, но она беспокойно заговорила:

— Посиди со мной! Я боюсь одна... мерещится мне что-то...

Он сел на стул рядом с нею и, взглянув на ее бледное лицо, осыпанное кудрями, отвернулся. Стало известно видеть ее едва живой. Вспомнил он просьбы Якова, рассказы Матицы о жизни Маши и низко наклонил голову.

В доме напротив пели в два голоса, и слова песни влетали через открытое окно в комнату Ильи. Крепкий бас усердно выговаривал:

Рра-ззо-очарован-ному чу-у-ужды...

— Вот я уж и засыпаю, — бормотала Маша. — Хорошо как у тебя... поют... хорошо они поют.

— Н-да, распевают... — угрюмо усмехаясь, сказал Лунев. — С одних шкуры дерут, а другие воют...

И н-не м-мог-гу пре-да-ть-ся вновь...

«Р-раз и-и-и-и...» — Высокая нота красиво зазвенела в тишине ночи, взлетая к высоте легко и свободно...

Лунев встал и с досадой закрыл окно: песня казалась ему неуместной, — она обижала его. Стук рамы заставил Машу вздрогнуть. Она открыла глаза и, с испугом приподняв голову, спросила:

— Кто это?

— Я... окно закрыл...

— Господи Иисусе!.. Ты уходишь?

— Нет, не бойся...

Она поворочала головой по подушке и снова задремала. Малейшее движение Ильи, звук шагов на улице — все беспокоило ее; она тотчас же открывала глаза и сквозь сон вскрикивала:

— Сейчас... ох!.. сейчас...

Стараясь сидеть неподвижно и глядя в окно, снова открытое им, Лунев соображал, как помочь Маше, и угрюмо решил не отпускать ее от себя до поры, пока в дело не вмешается полиция...

«Нужно через Кирика действовать...»

— Просим, просим! — вырвались из окон квартиры Громова оживленные крики. Кто-то хлопал в ладоши. Маша застонала, а у Громова опять запели:

Пар-ра гнедых, запр-ряженных с зар-рею...

Лунев почти с отчаянием замотая головой... Это пение, веселые крики, смех — мешали ему. Облокотясь на подоконник, он смотрел на освещенные окна против себя со злобой, с буйным негодованием и думал, что хорошо бы выйти на улицу и запустить в одно из окон булыжником. Или выстрелить в этих веселых людей дробью. Дробь — долетит. Он представил себе испуганные, окровавленные морды, смятение, визг и — улыбнулся с дикой радостью в сердце. Но слова песни невольно лезли в уши, он повторял их про себя и с удивлением понял, что эти веселые люди распевают о том, как хоронили гулящую женщину. Это поразило его. Он стал слушать с большим вниманием и, слушая, думал:

«Зачем это они поют? Какое веселье в эдакой песне? Вот выдумали, дураки! А тут, в пяти саженях от них, живой замученный человек лежит... и никому о муках его не известно...»

— Bravo! Бра-во-о! — разнеслось по улице.

Лунев улыбался, поглядывая то на Машу, то на улицу. Ему уже казалось смешным то, что люди веселятся, распевая песню про похороны распутницы.

— Василий... Василич... — бормотала Маша.

Она заметалась на постели, как обожженная, сбросила одеяло на пол и, широко раскинув руки, замерла. Рот у нее был полуоткрыт, она хрипела. Лунев быстро наклонился над нею, боясь, что она помирает; потом, успокоенный ее дыханием, он покрыл ее одеялом, влез на подоконник с ногами и прислонился лицом к железу решетки, разглядывая окна Громова. Там всё пели — то в один голос, то в два, пели хором. Звучала музыка, раздавался смех. В окнах мелькали женщины, одетые

в белое, розовое и голубое. Илья прислушивался к песням и с недоумением думал, как они, эти люди, могут петь протяжные, тоскливые песни про Волгу, похороны, нераспаханную полосу и после каждой песни смеяться как ни в чем не бывало, точно это и не они пели... Неужто они и тоской забавляются?

А каждый раз, когда Маша напоминала ему о себе, он тупо смотрел на нее и думал, что будет с нею. Вдруг зайдет Татьяна и увидит ее.. Что ему делать с Машей? Он чувствовал себя так, точно угорел. Когда он захотел спать, то слез с подоконника и растянулся на полу, рядом с кроватью, положив под голову пальто. Во сне он видел, что Маша умерла и лежит среди большого сарая на земле, а вокруг нее стоят белые, голубые и розовые барыни и поют над ней. И когда они поют грустные песни, то все хохочут не в лад пению, а запевая веселое, горько плачут, грустно кивая головами и вытирая слезы белыми платочками. В сарае темно, сыро, в углу его стоит кузнец Савел и кует железную решетку, громко ударяя молотом по раскаленным прутьям. По крыше сарая кто-то ходит и кричит:

— И-лья, И-лья!..

А он, Илья, лежит тут же в сарае, туго связанный чем-то, ему трудно поворотиться, и он не может говорить...

— Илья! Встань, пожалуйста...

Он открыл глаза и узнал Павла Грачева. Сидя на стуле, Павел толкал ногой его ноги. Яркий луч солнца смотрел в комнату, освещая кипевший на столе самовар. Лунев прищурился, ослепленный.

— Слушай, Илья!..

Голос у Павла хрипел, как после долгого похмелья, лицо было желтое, волосы растрепаны. Лунев взглянул на него и вскочил с пола, крикнув вполголоса:

— Что?

— Попалась!.. — тряхнув головой, сказал Павел.

— Что такое? Где она? — спросил Лунев, наклоняясь к нему и схватив его за плечо. Грачев пошатнулся и растерянно проговорил:

— По-осадили в тюрьму...

— За что? — громким шопотом спросил Илья.

Проснулась Маша и, вздрогнув при виде Павла, уставилась в лицо ему испуганными глазами. Из двери магазина смотрел Гаврик, неодобрительно скривив губы.

— Говорят... у какого-то купца... украла бумажник...

Илья толкнул товарища в плечо и молча отошел от него.

— Помощника частного... по роже ударила...

— Н-ну, конечно, — сурово усмехнувшись, сказал Илья. — Коли уж в острог, так — обеими ногами...

Поняв, что все это ее не касается, Маша улыбнулась и тихо сказала:

— Меня бы вот в острог...

Павел взглянул на нее, потом на Илью.

— Не узнаешь? — спросил Илья. — Машу, Перфишки дочь, помнишь?

— А-а, — равнодушно протянул Павел и отвернулся от Маши, хотя она, узнав его, улыбалась ему.

— Илья! — угрюмо сказал Грачев. — А что, если это она для меня постаралась?

Лунев, невытый и растрепанный, сел на кровать в ногах Маши и, поглядывая то на нее, то на Павла, чувствовал себя ошеломленным.

— Я знал, — медленно говорил он, — что эта история добром не кончится.

— Не слушала меня, — убитым голосом сказал Павел.

— Во-от! — насмешливо воскликнул Лунев. — В том все и дело, что она тебя не слушалась! А что ты сказать ей мог?

— Я ее любил...

— А на кой чорт она нужна, твоя любовь?

Лунев начал горячиться. Все эти истории — Павлова, Машина — возбуждали в нем злобу. И, не зная, куда направить это чувство, он направил его на товарища...

— Всякому хочется жить чисто, весело... ей тоже. А ты ей: я тебя люблю, стало быть, живи со мной и терпи во всем недостаток... Думаешь, так и следует?

— А как мне надо поступать? — спросил Павел кротко и тихо.

Этот вопрос несколько охладил Лунева. Он невольно задумался.

Из магазина выглянул Гаврик.

— Отпирать магазин?

— Ну его к чорту! — с раздражением крикнул Лунев. — Какая тут торговля?

— Мешаю я тебе? — сказал Павел.

Он сидел на стуле согнувшись, положив локти на колени и глядя в пол. На виске у него напряженно билась какая-то жилка, туго налившаяся кровью.

— Ты? — воскликнул Лунев, посмотрев на него. — Ты мне не мешаешь... и Маша не мешает... Тут — что-то всем нам мешает... тебе, мне, Маше... Глупость или что — не знаю... только жить по-человечески нет никакой возможности! Я не хочу видеть никакого горя, никаких безобразий... грехов и всякой мерзости... не хочу! А сам ..

Он замолчал и побледнел.

— Ты все про себя... — заметил Павел.

— А ты — про кого? — насмешливо спросил Илья. — Всяк человек своей язвой язвлен, своим голосом и стонет... Я не про себя, а про всех... потому все меня беспокоят...

— Уйду, — сказал Грачев и тяжело поднялся со стула.

— Эх! — крикнул Илья. — Пойми ты, а не обижайся...

— Меня, брат, как кирпичом по голове ударило... Верку жаль... Что делать?

— Ничего не поделаешь! — решительно сказал Илья. — О ней пиши — пропала! Засудят ее...

Грачев опять сел на стул.

— А ежели я объявлю, что она для меня это? — спросил он.

— Ты — принц? Скажи, тогда и тебя в тюрьму сунут... Вот что... надо нам привести себя в порядок. Маша, мы уйдем в магазин, а ты встань, приберись... чаю нам налей...

Маша вздрогнула и, приподняв голову с подушки, спросила Илью:

— Домой идти мне?..

— Дом у человека там... где его хоть не мучают...

Когда они вошли в магазин, Павел сумрачно спросил:

— Зачем она у тебя? Дохлая какая...

Лунев кратко рассказал ему, в чем дело. К его удивлению, история Маши как бы оживила Грачева.

— Ишь, старый чорт! — обругал он лавочника и даже улыбнулся.

Илья стоял рядом с ним и осматривал свой магазин, говоря:

— Ты недавно сказал, что меня вся эта музыка не успокоит...

Он повел по магазину широким жестом и с неприятной усмешкой кивнул головой.

— Верно! Не успокаивает... Какой мне выигрыш в том, что я, на одном месте стоя, торгую? Свободы я лишился. Выйти нельзя. Бывало, ходишь по улицам, куда хочешь... Найдешь хорошее, уютное местечко, посидишь, полюбуешься... А теперь торчу здесь изо дня в день и — больше ничего...

— Вот бы тебе Веру в приказчицы взять, — сказал Павел.

Илья взглянул на него и замолчал.

— Идите! — позвала их Маша.

За чаем они все трое почти не разговаривали. На улице светило солнце, по тротуару шлепали босые ноги ребятишек, мимо окон проходили продавцы овощей.

Все говорило о весне, о хороших, теплых и ясных днях, а в тесной комнате пахло сыростью, порою раздавалось унылое, негромкое слово, самовар пищал, отражая солнце...

— Сидим, как на поминках, — сказал Илья.

— По Верке, — добавил Грачев. — Сижу и думаю: «А ну, как это я ее в тюрьму вогнал?»

— И даже очень это может быть, — безжалостно подтвердил Илья.

Грачев с укором посмотрел на товарища.

— Злой ты...

— А с чего это мне быть доброму? — закричал Илья. — Кто меня по головке гладил?.. Был, может быть, один человек, который меня любил... Да и то распутная баба!

От прилива жгучего раздражения лицо у него покраснело, глаза налились кровью; он вскочил со стула в порыве злобы, охваченный желанием кричать, ругаться, бить кулаками о стол и стены.

Но Маша, испуганная им, громко и жалобно заплакала, как дитя.

— Я уйду... пустите меня, — говорила она сквозь слезы дрожащим голосом и болтала головой, точно желая спрятать ее куда-то.

Лунев замолчал. Он видел, что и Павел смотрел на него неприязненно.

— Ну, чего плакать? — сердито сказал он. — Ведь не на тебя я закричал... И некуда тебе идти... Я вот — уйду... Мне нужно... А Павел посидит с тобой... Гаврило! Если придет Татьяна Власьевна... это кто еще?

В дверь со двора постучали. Гаврик вопросительно взглянул на хозяина.

— Отпирай! — сказал Илья.

На пороге двери явилась сестра Гаврика. Несколько секунд она стояла неподвижно, прямая, высоко закинув голову и оглядывая всех прищуренными глазами. Потом на ее некрасивом, сухом лице явилась гримаса отворачивания, и, не ответив на поклон Ильи, она сказала брату:

— Гаврик, выйди на минутку ко мне...

Илья вспыхнул. От обиды кровь с такой силой бросилась ему в лицо, что глазам стало горячо.

— А вы, барышня, кланяйтесь, когда вам кланяются. — сдержанно и внушительно сказал он.

Она еще выше подняла голову, брови у нее сдвинулись. Плотнo сжав губы, она смирila Илью глазами и не сказала ни слова. Гаврик тоже сердито взглянул на хозяина.

— Вы не к пьяным пришли, не к жуликам, — продолжал Лунев, вздрагивая от напряжения, — вас встречают уважительно... и, как барышня образованная, вы должны ответить тем же...

— Не фордыбачь, Сонька, — вдруг сказал Гаврик примиряющим голосом и, подойдя к ней, встал рядом, взяв ее за руку.

Наступило неловкое молчание. Илья и девушка смотрели друг на друга с вызовом и чего-то ждали. Маша тихонько отошла в угол. Павел тупо мигал глазами.

— Ну, говори, Сонька, — нетерпеливо сказал Гаврик. — Ты думаешь, они тебя обидеть хотят? — спросил

он. И, неожиданно улыбнувшись, добавил: — Они — чудак!

Сестра дернула его за руку и спросила Лунева сухо и резко:

— Что вам от меня угодно?

— Ничего, только...

Но тут в голове его родилась хорошая, светлая мысль. Он шагнул к девушке и, как мог вежливо, заговорил:

— Позвольте вам предложить... видите ли, нас здесь — трое... люди темные, невежи... вы — человек образованный.

Он торопился изложить свою мысль и не мог. Его смущал прямой, строгий взгляд ее глаз; они как будто отталкивали его от себя. Илья опустил глаза и смущенно, с досадой пробормотал:

— Я не умею сразу это сказать... если время у вас есть... пройдите, присядьте...

И отступил перед нею.

— Постой тут, Гаврик, — сказала девушка и, оставив брата у двери, прошла в комнату. Лунев толкнул к ней табурет. Она села. Павел ушел в магазин, Маша пугливо жалась в углу около печи, а Лунев неподвижно стоял в двух шагах пред девушкой и все не мог начать разговора.

— Ну-с? — сказала она.

— Вот... в чем дело, — тяжело вздохнув, заговорил Илья. — Видите — девушка, — не девушка, а замужняя... за стариком... Он ее — тиранит.. вся избитая, испипанная убежала она... пришла ко мне... Вы, может, что худое думаете? Ничего нет...

Путаясь в словах, он сбивчиво говорил и двоился между желанием рассказать историю Маши и выложить пред девушкой свои мысли по поводу этой истории. Ему особенно хотелось передать слушательнице именно свои мысли. Она смотрела на него, и взгляд ее становился мягче.

— Я понимаю, — остановила она его речь. — Вы не знаете, как поступить? Прежде всего надо к доктору... пусть он осмотрит... У меня есть знакомый доктор, — хотите, я ее свезу? Гаврик, взгляни, сколько время? Одиннадцатый? Хорошо, это часы приема... Гаврик, позови извозчика... А вы — познакомьте меня с нею...

Но Илья не тронулся с места. Он не ожидал, что эта серьезная, строгая девушка умеет говорить таким мягким голосом. Его изумило и лицо ее: всегда гордое, теперь оно стало только озабоченным, и, хотя ноздри на нем раздулись еще шире, в нем было что-то очень хорошее, простое, раньше не виданное Ильей. Он рассматривал девушку и молча, смущенно улыбался.

А она уже отвернулась от него, подошла к Маше и тихо говорила с нею:

— Вы не плачьте, голубчик, не бойтесь... Доктор — славный человек, он вас осмотрит и выдаст бумагу такую... только и всего! Я вас привезу сюда... Ну, милая, не плачьте же...

Она положила свои руки на плечи Маши и хотела привлечь ее к себе.

— Ой... больно, — тихонько застонала Маша.

— Что тут у вас?

Лунев слушал и все улыбался.

— Это... чорт знает что такое! — возмущенно вскрикнула девушка, отходя от Маши. Лицо у нее побледнело, в глазах сверкал ужас, негодование.

— Как она избита... о!

— Вот как живем! — воскликнул Лунев, снова вспыхивая. — Видели? А то еще могу другого показать, — вон стоит! Позвольте познакомить: товарищ мой Павел Савельич Грачев. .

Павел протянул руку девушке, не глядя на нее.

— Медведева, Софья Никоновна, — сказала она, разглядывая унылое лицо Павла. — А вас зовут — Илья Яковлевич? — обратилась она к Луневу.

— Точно так, — оживленно подтвердил Илья, крепко стиснув ее руку, и, не выпуская руки, продолжал: — Вот что... уж коли вы такая... то есть если вы взялись за одно, — не побрезгуйте и другим! Тут тоже петля.

Она внимательно и серьезно смотрела на его красивое, взволнованное лицо, потихоньку пытаясь освободить свою руку из его пальцев. Но он рассказывал ей о Вере, о Павле, рассказывал горячо, с увлечением. И сильно встряхивал ее руку и говорил:

— Сочинял стихи, да какие еще! Но в этом деле — весь сгорел... И она тоже... вы думаете, если она... такая,

то тут и всё? Нет, вы не думайте этого! Ни в добром, ни в худом никогда человек не весь!

— Как? — переспросила девушка.

— То есть ежели и плох человек — есть в нем свое хорошее, ежели и хорош — имеет в себе плохое... Души у нас у всех одинаково пестрые... у всех!

— Это вы хорошо говорите! — одобрила его девушка, с важным видом качнув головой. — Но, пожалуйста, пустите мою руку — больно!

Илья стал просить у нее прощения. А она уже не слушала его, убедительно поучая Павла:

— Это стыдно, так нельзя! Нужно действовать! Нужно искать ей защитника, адвоката, понимаете? Я вам найду, слышите? И ничего ей не будет, потому что оправдают... Даю вам честное слово!

Лицо ее покраснелось, волосы на висках растрепались, и глаза горели.

Маша, стоя рядом с нею, смотрела на нее с доверчивым любопытством ребенка. А Лунев поглядывал на Машу и Павла победоносно, с важностью, чувствуя какую-то гордость от присутствия этой девушки в его комнате

— Если вы в самом деле можете помочь, — дрогнувшим голосом заговорил Павел, — помогите!

— Вы приходите ко мне в семь часов, хорошо? Вот Гаврик скажет где...

— Я приду... Слов у меня для благодарности нет...

— Оставим это. Люди должны помогать друг другу.

— Помогут они! — с иронией вскричал Илья.

Девушка быстро обернулась к нему. Но Гаврик, видимо, чувствуя себя в этой сумятице единственным солидным и здравомыслящим человеком, дернул сестру за руку и сказал:

— Да уезжай ты!

— Маша, одевайтесь!

— Мне не во что, — робко заявила Маша.

— Ах... Ну все равно! Идемте... Вы придете, Грачев, да? До свидания, Илья Яковлевич!

Товарищи почтительно и молча пожали ей руку, и она пошла, ведя за руку Машу. Но у двери снова обернулась и, высоко вскинув голову, сказала Илье:

— Я забыла... Я не поздоровалась с вами... Это — свинство, я извиняюсь, слышите?

Лицо ее вспыхнуло румянцем, глаза конфузливо опустились. Илья смотрел на нее, и в сердце у него играла музыка.

— Извиняюсь... Мне показалось, у вас тут... кутеж...

Она остановилась, как бы проглотив какое-то слово.

— А когда вы... упрекнули меня, я думала — это говорит хозяин... и — ошиблась! Очень рада! Это было чувство человеческого достоинства.

Она вдруг вся засветилась хорошей, ясной улыбкой и сердечно, с наслаждением, как бы смакуя слова, выговорила:

— Я — очень рада, все вышло так... ужасно хорошо! Ужасно хорошо!

И исчезла, улыбаясь, точно маленькая серая тучка, освещенная лучами утренней зари. Товарищи смотрели вслед ей. Рожи у обоих были торжественные, хотя немножко смешные. Потом Лунев оглянул комнату и сказал, толкнув Пашку:

— Чисто?

Тот тихонько засмеялся.

— Н-ну... фигура! — легко вздыхая, продолжал Лунев. — Как она... а?

— Как ветром все смела!..

— Вот — видал? — с торжеством говорил Илья, взбивая жестом руки свои курчавые волосы. — Извинялась как, а? Вот что значит настоящий образованный человек, который всякого может уважать... но никому сам первый не поклонится! Понимаешь?

— Личность хорошая, — улыбаясь, подтвердил Грачев.

— Звездой сверкнула!

— Н-да. И сразу все разобрала — кому куда и как...

Лунев возбужденно смеялся. Он был рад, что гордая девушка оказалась такой простой, бойкой, и был доволен собою за то, что сумел достойно держаться перед нею.

Гаврик вертелся около них и скучал.

— Гаврилка! — поймав его за плечо, сказал Илья. — Сестра у тебя — молодчина!

— Она добрая! — сказал мальчик снисходительно. — Торговать сегодня будем? А то — пусть будет вроде праздника... я бы в поле пошел тогда!

— Нет сегодня торговли! Павел, идем, брат, и мы с тобой гулять!

— Я пойду в полицию, — сказал Грачев, снова хмурясь, — может, свидание дадут...

— А я — гулять!

Бодрый и радостный, он не спеша шел по улице, думая о девушке и сравнивая ее с людьми, которые ему встречались до сей поры. В памяти его звучали слова ее извинения пред ним, он представлял себе ее лицо, выражавшее каждой чертою своей непреклонное стремление к чему-то...

«А как она сначала-то обрывала меня?» — с улыбкой вспомнил он и крепко задумался, почему она, не зная его, ни слова не сказав с ним по душе, начала относиться к нему так гордо, сердито?

Вокруг него кипела жизнь. Шли гимназисты и смеялись, ехали телеги с товарами, катились пролетки, ковылял нищий, громко стучая деревянной ногой по камням тротуара. Двое арестантов в сопровождении конвойного несли на рычаге ушат с чем-то, лениво шла, высунув язык, маленькая собака... Грохот, треск, крики, топот ног — все сливалось в живой, возбуждающий гул. В воздухе носилась теплая пыль и щекотала ноздри. В небе, чистом и глубоко, горело солнце, обливая все на земле жарким блеском. Лунев смотрел на все с удовольствием, какого не испытывал давно уже, все было какое-то особенное, интересное. Вот быстро идет куда-то красивая девушка с бойким, румяным лицом и смотрит на Илью так ясно и хорошо, точно хочет сказать ему:

«Какой ты славный!..»

Лунев улыбнулся ей.

Мальчик из магазина бежит с медным чайником в руках, льет холодную воду, обрызгивая ею ноги встречающих, крышка чайника весело гремит. Жарко, душно, шумно на улице, и густая зелень старых лип городского кладбища манит к себе, в тишину и прохладную тень. Окруженная белой каменной оградой пышная растительность старого кладбища могучей волной поднимается к небу,

вершина волны увенчана, как пеной, зеленым кружевном листьев. Там, высоко, каждый лист четко рисуется в синеве небес, и, тихо вздрагивая, он как будто тает...

Вступив в ограду кладбища, Лунев медленно пошел по широкой аллее, вдыхая глубоко душистый запах лип. Между деревьев, под тенью их ветвей, стояли памятники из мрамора и гранита, неуклюжие, тяжелые, плесень покрывала их бока. Кое-где в таинственном полумраке тускло блестели золоченые кресты, полустертые временем буквы надписей. Кусты жимолости, акации, боярышника и бузины росли в оградах, скрывая ветвями могилы. Кое-где в густых волнах зелени мелькал серый деревянный крест, тонкие ветки обнимали его со всех сторон. Белые стволы молодых берез просвечивали бархатом своим сквозь сеть густой листвы; милые и скромные, они как будто нарочно прятались в тени — затем, чтоб быть виднее. За решетками оград, на зеленых холмах, пестрели цветы, в тишине жужжала оса, две белые бабочки играли в воздухе, бесшумно носились какие-то мошки... И всюду, из земли мощно пробивались к свету травы и кусты, скрывая собою печальные могилы, вся зелень кладбища была исполнена напряженного стремления расти, развиваться, поглощать свет и воздух, претворять соки жирной земли в краски, запахи, в красоту, ласкающую сердце и глаза. Жизнь везде побеждает, жизнь все победит!..

Луневу было приятно гулять среди тишины, вдыхая полной грудью сладкие запахи лип и цветов. В нем тоже все было тихо, спокойно, — он отдыхал душой и ни о чем не думал, испытывая удовольствие одиночества, давно уже неведомое ему.

Он свернул с аллеи влево на узкую тропу и пошел по ней, читая надписи на крестах и памятниках. Его тесно обступили ограды могил, все богатые, вычурные ограды, кованные и литые.

«Под сим крестом покоится прах раба божия Вонифантия», — прочитал он и улыбнулся: имя показалось ему смешным. Над прахом Вонифантия был поставлен огромный камень из серого гранита. А рядом с ним в другой оgrade покоился Петр Бабушкин, двадцати восьми лет...

«Молодой», — подумал Илья.

На скромном белом мраморе в виде колонны он прочитал:

Одним цветком земля беднее стала...
Одной звездой — богаче небеса!

Лунев задумался над этим двустушием, чувствуя в нем что-то трогательное. Но вдруг его как будто толкнуло чем-то прямо в сердце, и он, пошатнувшись, крепко закрыл глаза. Но и закрытыми глазами он ясно видел надпись, поразившую его. Блестящие золотые буквы с коричневого камня как бы врезались в его мозг:

«Здесь покойтся тело второй гильдии купца Василия Гавриловича Полуэктова».

Через несколько секунд он уже испугался своего испуга и, быстро открыв глаза, подозрительно начал всматриваться в кусты вокруг себя... Никого не было видно, только где-то далеко служили панихиду. В тишине расплывался тенорок церковнослужителя, возглашавший:

— По-омоли-имси-а-а...

Густой, как бы чем-то недовольный голос отвечал:

— По-ми-луй!

И чуть слышно доносилось звяканье кадила.

Прислонясь спиной к стволу клена, Лунев смотрел на могилу убитого им человека. Он прижал свою фуражку затылком к дереву, и она поднялась у него со лба. Брови его нахмурились, верхняя губа вздрагивала, обнажая зубы. Руки он засунул в карманы пиджака, а ногами уперся в землю.

Памятник Полуэктова изображал гробницу, на крыше была высечена развернутая книга, череп и кости голеней, положенные крестом. Рядом, в этой же ограде, помещалась другая гробница, поменьше; надпись гласила, что под нею покойтся раба божия Евпраксия Полуэктова, двадцати двух лет.

«Первая жена», — подумал Лунев. Он подумал это какой-то маленькой частицей мозга, которая оставалась свободной от напряженной работы его памяти. Он весь был охвачен воспоминаниями о Полуэктове, — о первой встрече с ним, о том, как он душил его, а старик мочил слюной своей его руки. Но, вызывая все это в памяти, Лунев не чувствовал ни страха, ни раскаяния, — он

смотрел на гробницу с ненавистью, с обидой в душе, с болью. И безмолвно, с жарким негодованием в сердце, с глубокой уверенностью в правде своих слов, он говорил купцу:

«Из-за тебя, проклятый, всю свою жизнь изломал я, из-за тебя!.. Старый демон ты! Как буду жить?.. Навсегда я об тебя испачкался...»

Ему хотелось громко, во всю силу кричать, он едва мог сдерживать в себе это бешеное желание. Пред ним стояло маленькое, ехидное лицо Полуэктова, сердитая лысая голова Строганого с рыжими бровями, самодовольная рожа Петрухи, глупый Кирик, седой Хренов, курносый, с маленькими глазками, — целая вереница знакомых. В ушах у него шумело, и казалось ему, что все эти люди окружают, теснят его, лезут на него непоколебимо прямо.

Он оттолкнулся от дерева, — фуражка с головы его упала. Наклоняясь, чтоб поднять ее, он не мог отвести глаз с памятника меняле и приемщику краденого. Ему было душно, нехорошо, лицо налилось кровью, глаза болели от напряжения. С большим усилием он оторвал их от камня, подошел к самой оgrade, схватился руками за прутья и, вздрогнув от ненависти, плюнул на могилу. Уходя прочь от нее, он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей!..

Домой идти ему не хотелось, — на душе было тяжело, немощная скука давила его. Он шел медленно, не глядя ни на кого, ничем не интересуясь, не думая. Прошел одну улицу, механически свернул за угол, прошел еще немного, понял, что находится неподалеку от трактира Петрухи Филимонова, и вспомнил о Якове. А когда поравнялся с воротами дома Петрухи, то ему показалось, что зайти сюда нужно, хотя и нет желания заходить. Поднимаясь по лестнице черного крыльца, он услышал голос Перфишки:

— Эхма, люди добры, пожалейте ваши ручки, не ломайте мои ребры...

Лунев встал в открытой двери; сквозь тучу пыли и табачного дыма он видел Якова за буфетом. Гладко причесанный, в куцем сюртуке с короткими рукавами, Яков

суетился, насыпая в чайники чай, отсчитывал куски сахара, наливал водку, шумно двигал ящиком конторки. Половые подбегали к нему и кричали, бросая на буфет марки:

— Полбутылки! Пару пива! Поджарку за гривенник!

«Наловчился!» — с каким-то злорадством подумал Лунев, видя, как быстро мелькают в воздухе красные руки товарища.

— Эх! — с удовольствием воскликнул Яков, когда Лунев подошел к буфету, и тотчас беспокойно оглянулся на дверь сзади себя. Лоб у него был мокр от пота, щеки желтые, с красными пятнами на них. Он схватил руку Ильи и тряс ее, кашляя сухим кашлем.

— Как живешь? — спросил Лунев, заставив себя улыбнуться. — Впрягли?

— Что поделаешь?

Плечи у Якова опустились, он как будто стал ниже ростом.

— Да-авно мы не видались! — говорил он, глядя в лицо Ильи добрыми и грустными глазами. — Поговорить бы... отца, кстати, нет... Вот что: ты проходи-ка сюда... а я мачеху попрошу поторговать...

Он приотворил дверь в комнату отца и почтительно крикнул:

— Мамаша!.. Пожалуйста на минутку...

Илья прошел в ту комнату, где когда-то жил с дядей, и пристально осмотрел ее: в ней только обои почернели да вместо двух кроватей стояла одна и над ней висела полка с книгами. На том месте, где спал Илья, помещался какой-то высокий неуклюжий ящик.

— Ну, вот я освободился на часок! — радостно объявил Яков, входя и запирая дверь на крючок. — Чаю хочешь? Хорошо... Ива-ан, — чаю! — Он крикнул, закашлялся и кашлял долго, упираясь рукой в стену, наклонив голову и так выгибая спину, точно хотел извергнуть из груди своей что-то.

— Здорово ты бухаешь! — сказал Лунев.

— Чахну... Рад же я, что опять вижу тебя... Вон ты стал какой... важный... Ну, какво живешь?

— Я — что? — не сразу ответил Лунев. — Живу... ты, вот, интересно знать...

Лунев не чувствовал желания рассказывать о себе, да и вообще ему не хотелось говорить. Он разглядывал Якова и, видя его таким испитым, жалел товарища. Но это была холодная жалость — какое-то бессодержательное чувство.

— Я, брат... терплю мою жизнь кое-как... — вполголоса сказал Яков.

— Высосал из тебя отец кровь-то...

Н-на что тебе рупь?
А ты даром приголубь!

— отчеканивал за стеной Перфишка, подыгрывая на гармонии.

— Чго это за ящик? — спросил Илья.

— Это? Это — фисгармония. Отец купил за четвертную, для меня... «Вот, говорит, учись. А потом хорошую куплю, говорит, поставим в трактире, и будешь ты для гостей играть... А то-де никакой от тебя пользы нет...» Это он ловко рассчитал — теперь в каждом трактире орган есть, а у нас нет. И мне приятно играть-то...

— Экий он подлец! — сказал Лунев, усмехаясь.

— Нет, что же? Пускай его... Ведь я и в самом деле бесполезный для него человек...

Илья сурово взглянул на товарища и сказал со злобой:

— Посоветуй-ка ты ему: когда, мол, я, дорогой папаша, помирать буду, так ты меня в трактир вытащи и за просмотрение на смерть мою хоть по пятаку с рыла возьми, с желающих... Вот и принесешь ты ему пользу...

Яков сконфуженно засмеялся и снова стал кашлять, хватая руками то грудь, то горло.

А Перфишка рассказывал про кого-то бойким голосом:

Посты строго соблюдал,
Каждый день недоедал.
В пустом брюхе кишки ныли,
Зато чистенькие были...

— И-эх-ты... Святость! — И его звучная гармония осыпала веселые слова песенки отчаянно задорными трелями.

— Как ты с названным братом живешь? — спросил Илья, когда Яков прокашлялся. Тот, задыхаясь, поднял свое синее с патуги лицо и ответил:

— Он с нами не живет: начальство не велит ему... Дескать — грактир... Он... барином держится...

Яков понизил голос и с грустью продолжал:

— Книгу-то помнишь? Ту?... Отнял он ее у меня... Говорит — редкая, больших, дескать, денег стоит. Унес... Просил я его: оставь! Не согласился...

Илья захохотал. Потом товарищи начали пить чай. Обоим в комнате потрескались, и сквозь щели переборки из трактира в комнату свободно текли и звуки и запахи. Все заглушая, в трактире раздавался чей-то звонкий, возбужденный голос:

— Митрь Николаич! Не перетолковывай ты мои честные слова на жульнический манер!

— Читаю я теперь, брат, одну историю, — говорил Яков, — называется «Юлия, или подземелье замка Мадзини»... Очень интересно!.. А ты как по этой части?

— Наплевать мне в это подземелье! Сам невысоко живу над землей-то... — угрюмо ответил Лунев.

Яков участливо взглянул на него и спросил:

— Али тоже что-нибудь неладно?

Лунев думал — рассказать Якову про Машу или не надо? Но Яков сам заговорил кротким голосом:

— Ты вот все того, Илья... ершишься, злобишься... Ну, напрасно это, по-моему. Видишь ли, никто ни в чем не виноват!

Лунев пил чай и молчал.

— И ведь «коемуждо воздастся по делом его» — это верно! Примерно, отец мой... Надо прямо говорить — мучитель человеческий! Но явилась Фекла Тимофеевна и — хоп его под свою пятую! Теперь ему так живется — ой-ой-ой! Даже выпивать с горя начал... А давно ли обвенчались? И каждого человека за его... нехорошие поступки какая-нибудь Фекла Тимофеевна впереди ждет...

Илье стало скучно слушать, — он нетерпеливо двинул свою чашку по подносу и вдруг неожиданно для самого себя спросил товарища:

— Ты теперь чего ждешь?

— Откуда? — широко раскрыв глаза, тихим голосом молвил Яков.

— Ну из... от... впереди — чего ждешь? — резко повторил Илья свой вопрос.

Яков молча опустил голову и задумался.

— Ну? — вполголоса сказал Илья, ощущая в сердце жгучее беспокойство и желание уйти скорее из трактира.

— Что мне ждать? — тихонько и не глядя на него, заговорил Яков. — Ждать... нечего! Помру... вот и все.

Он скинул голову и с тихой, довольной улыбкой на измученном лице продолжал:

— Голубые сны вижу я... Понимаешь — все будто голубое... Не только небо, а и земля, и деревья, и цветы, и травы — всё! Тишина такая... Как будто и нет ничего, до того все недвижимо... и все голубое. Идешь будто куда-то, без усталости идешь, далеко, без конца... И невозможно понять — есть ты или нет? Очень легко... Голубые сны — это перед смертью.

— Прощай! — сказал Лунев, вставая со стула.

— Куда ты? Посиди!

— Нет, прощай!

Яков тоже встал.

— Ну... иди!..

Лунев стиснул его горячую руку и молча уставился в лицо ему, не зная, что сказать товарищу на прощанье. А сказать что-то такое хотелось, так хотелось, что даже сердце щемило от этого желания.

— А Машутка-то? Тоже... слышь, пло-охо живет... — грустно сказал Яков.

— Да...

— Видно, всем нам — одна судьба... Тебе тоже — тяжело, а?

Яков говорил и улыбался слабой улыбкой. И звук его голоса, и слова речей — все в нем было какое-то бескровное, бесцветное... Лунев разжал свою руку, — рука Якова слабо опустилась.

— Ну, Яша, прости...

— Бог простит! Заходи?

Илья вышел, не ответив.

На улице ему стало легче. Он ясно понимал, что скоро Яков умрет, и это возбуждало в нем чувство раздраже-

ния против кого-то. Якова он не жалел, потому что не мог представить, как стал бы жить между людей этот тихий парень. Он давно смотрел на товарища как на обреченного к исчезновению. Но его возмущала мысль: за что измучили безобидного человека, за что прежде времени согнали его со света? И от этой мысли злоба против жизни — теперь уже основа души — росла и крепла в нем.

Ночью ему не спалось. В комнате, несмотря на открытое окно, было душно. Он вышел на двор и лег на землю под вязом, у забора. Лежа на спине, он смотрел в ясное небо и чем пристальнее смотрел, тем больше видел в нем звезд. Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу от края до края, — смотреть на него сквозь ветви дерева было приятно и грустно. В небе, где нет никого, сверкают звезды, а земля... чем украшена? Илья прищуривал глаза — тогда казалось, что ветви поднимаются выше и выше. На голубом, усеянном яркими звездами бархате небес черные узоры листвы были похожи на чьи-то руки, простертые к небу в попытке достичь его высот. Илье вспоминались голубые сны товарища, и пред ним вставал образ Якова, тоже весь голубой, легкий, прозрачный, с яркими и добрыми, как звезды, глазами... Вот: жил человек, и его замучили за то, что он смиренно жил... А мучители живут, как хотят...

Сестра Гаврика стала ходить в лавочку Лунева почти каждый день. Она являлась постоянно озабоченная чем-то, здороваясь с Ильей, крепко встряхивала его руку и, перекинувшись с ним несколькими словами, исчезала, оставляя после себя что-то новое в мыслях Ильи. Однажды она спросила его:

— Вам нравится торговать?

— Не так, чтобы — очень, — пожимая плечами, ответил Лунев. — Однако надо чем-нибудь жить...

Она внимательно посмотрела в его лицо серьезными глазами своими, ее лицо как-то еще больше выдвинулось вперед.

— А вы не пробовали жить каким-нибудь трудом? — спросила девушка.

Илья не понял ее вопроса!

— Как вы сказали?

— Вы работали когда-нибудь?

— Всегда. Всю жизнь. Вот — торгую... — с недоумением ответил Лунев.

Она улыбнулась, — и в улыбке ее было что-то обидное.

— Вы думаете — торговля труд? Вы думаете — это все равно? — быстро спросила она.

— А как же?

Глядя на ее лицо, Лунев чувствовал, что она говорит серьезно, не шутит.

— О нет, — снисходительно улыбаясь, продолжала девушка. — Труд — это когда человек создает что-нибудь затратой своей силы... когда он делает... тесемки, ленты, стулья, шкафы... понимаете?

Лунев молча кивнул головой и покраснел: ему было стыдно сказать, что он не понимает.

— А торговля — какой же труд? Она ничего не дает людям! — с убеждением сказала девушка, пытливо разглядывая лицо Ильи.

— Конечно, — медленно и осторожно заговорил он, — это вы верно... Торговать не очень трудно... кто привык... Но только и торговля дает... не давала бы барыша, зачем и торговать?

Она замолчала, отвернулась от него, заговорила с братом и скоро ушла, простившись с Ильей только кивком головы. Лицо у нее было такое, как раньше, — до истории с Машей, — сухое, гордое. Илья задумался: не обидел ли он ее неосторожным словом? Он вспомнил все, что сказал ей, и не нашел ничего обидного. Потом задумался над ее словами, они занимали его. Какую разницу видит она между торговлей и трудом?

Он не мог понять, отчего у нее такое сердитое, задорное лицо, когда она добрая и умеет не только жалеть людей, но даже помогать им. Павел ходил к ней в дом и с восторгом нахваливал ее и все порядки в ее доме.

— Придешь это к ним... «А, здравствуйте!» Обедают — садись обедать, чай пьют — пей чай! Простота! Народищу всякого — уйма! Весело, — поют, кричат, спорят про книжки. Книжек — как в лавке. Тесно, толкаются, смеются. Народ всё образованный — адвокат там один, другой скоро докгором будет, гимназисты и всякие эда-

кие фигуры. Совсем забудешь, кто ты есть, и тоже заодно с ними и хохочешь, и куришь, и все. Хороший народ! Веселый, а сурьезный...

— Меня вот, не бойсь, не позовет... — сумрачно сказал Лунев. — Гордячка...

— Она? — воскликнул Павел. — Я тебе говорю — простота! Ты зову не жди, а вали прямо... Придешь и — кончено! У них все равно как в трактире, — ей-богу! Свободно... Я тебе говорю — что я против их? Но с двух раз — свой человек... Интересно! Играючи живут...

— Ну, а Машутка как? — спросил Илья.

— Ничего, отдышалась немного... Сидит, улыбается. Лечат ее чем-то... молоком поят... Хренову-то попадет за нее!.. Адвокат говорит — здорово влепят старому чорту... Возят Машку к следователю... Насчет моей тоже хлопчут, чтобы скорее суд... Нет, хорошо у них!.. Квартира маленькая, людей — как дров в печи, и все так и пылают...

— А она, сама-то? — допрашивал Лунев.

О ней Павел рассказывал, как в детстве об арестантах, научивших его грамоте. Он весь напрягался и внушительно сообщал, пересыпая речь междометиями:

— Она, брат, ого-го! Она всем командует, а чуть кто не так сказал, или что — она фрр!.. Как кошка...

— Это мне известно... — сказал Илья и усмехнулся.

Он завидовал Павлу: ему очень хотелось побывать у строгой гимназистки, но самолюбие не позволяло ему действовать прямо.

Стоя за прилавком, он упорно думал:

«Людей много, и каждый норовит пользоваться чем-нибудь от другого. А ей — какая польза брать под свою защиту Машутку, Веру?.. Она — бедная. Чай, каждый кусок в доме-то на счету... Значит, очень добрая... А со мной говорит эдак... Чем я хуже Павла?»

Эти думы так крепко охватили его, что он стал относиться ко всему остальному почти равнодушно. В темноте его жизни как бы открылась некая щель, и сквозь нее он скорее чувствовал, чем видел, вдали мерцание чего-то такого, с чем он еще не сталкивался.

— Мой друг, — суховато и внушительно говорила ему Татьяна Власьева, — тесьмы шерстяной узкой надо

бы прикупить. Гипюр тоже на исходе... Мало и ниток черных номер пятидесятый... Пуговицы перламутровые предлагает одна фирма, — коммиссионер у меня был... Я послала сюда. Приходил он?

— Нет, — кратко ответил Илья. Эта женщина стала для него противной. Он подозревал, что Татьяна Власьевна взяла к себе в любовники Корсакова, недавно произведенного в пристава. Ему она назначала свидания все реже, хотя относилась так же ласково и шутливо, как и раньше. Но и от этих свиданий Лунев, под разными предлогами, отказывался. Видя, что она не сердится на него за это, он ругал ее про себя:

«Блудня... гадина...»

Она особенно гадка была ему, когда приходила в магазин проверять товар. Вертясь по лавочке, как волчок, она ескакивала на прилавок, доставала с верхних полок картонки, чихала от пыли, встряхивала головой и пилила Гаврика:

— Мальчик при магазине должен быть ловок и услужлив. Его не за то кормят хлебом, что он сидит целый день у двери и чистит себе пальцем в носу. А когда говорит хозяйка, он должен слушать внимательно и не смотреть букой...

Но у Гаврика был свой характер. Слушая щебетанье хозяйки, он пребывал в полном равнодушии. Разговаривал он с нею грубо, без признаков почтения к ее сану хозяйки. А когда она уходила, он замечал хозяйину:

— Ускакала пигалица...

— Так нельзя говорить про хозяйку, — внушал ему Илья, стараясь не улыбаться.

— Какая она хозяйка? — протестовал Гаврик. — Придет, натрещит и ускачет... Хозяин — вы.

— И она... — слабо возражал Илья, любивший солидного и прямодушного мальчонку.

— А она — пигалица... — не уступал Гаврик.

— Вы не учите мальчика, — говорила Автономова Илье, — и вообще... я должна сказать, что за последнее время все у нас идет как-то... без увлечения, без любви к делу...

Лунев молчал и, ненавидя ее всей душой, думал:

«Хоть бы ты, анафема, ногу себе вывихнула, прыгая тут...»

Он получил письмо от дяди и узнал, что Терентий был не только в Киеве, но и у Сергия, чуть было не уехал в Соловки, попал на Валаам и скоро воротится домой.

«Вот еще удовольствие, — с досадой подумал Илья. — Наверно, со мной захочет жить...»

Явились покупатели, а когда он занимался с ними, вошла сестра Гаврика. Устало, едва переводя дыхание, она поздоровалась с ним и спросила, кивая головой на дверь в комнату:

— Там — вода есть?

— Сейчас подам! — сказал Илья.

— Я сама...

Она прошла в комнату и осталась там до поры, пока Лунев, отпустив покупателей, не вошел к ней. Он застал ее стоящей пред «Ступенями человеческой жизни». Повернув голову навстречу Илье, девушка указала глазами на картину и проговорила:

— Какая пошлость...

Лунев почувствовал себя сконфуженным ее замечанием и улыбнулся, чувствуя себя в чем-то виноватым, но, прежде чем он успел спросить у нее объяснения, она ушла...

Через несколько дней она брату принесла белье и сказала ему выговор за то, что он слишком небрежно относится к одежде, — рвет, пачкает.

— Ну-ну, — строптиво сказал Гаврик, — поехала. Меня хозяйка всегда кусает, да ты еще будешь теперь!..

— Что он — очень шалит? — спросила гимназистка Илью.

— Не больше, сколько умеет... — любезно ответил Лунев.

— Я — совсем смирный, — отрекомендовался мальчик.

— Язычок у него длинноват, — сказал Илья.

— Слышишь? — спросила Гаврика сестра, нахмутив брови.

— Ну и слышу, — сердито отозвался тот.

— Это ничего... — снисходительно заговорил Илья. — Человек, который хоть огрызнуться умеет, все же

в выигрыше против других... Другого бьют, а он молчит, и забивают его, бессловесного, в гроб...

Девушка слушала его слова, а на лице ее явилось что-то вроде удовольствия. Илья заметил это.

— Что я вас хочу спросить, — сказал он и немножко смутился.

— Что?

Она подошла почти вплоть к нему, глядя прямо в его глаза. Взгляда ее он не мог выносить, опустил голову и продолжал:

— Вы, понял я, торговцев не любите?

— Да!..

— За что?

— Они живут чужим трудом... — отчетливо объяснила девушка.

Илья высоко вскинул голову и поднял брови. Эти слова не только удивляли, но уже прямо обижали его. А она сказала их так просто, внятно...

— Это — неправда-с, — громко объявил Лунев, помолчав.

Теперь ее лицо вздрогнуло, покраснело.

— Сколько стоит вам вон та лента? — сухо и строго спросила она.

— Эта?.. Семнадцать копеек аршин...

— Почему продаете?

— Двадцать...

— Ну вот... Три копейки, которые берете вы, принадлежат не вам, а тому, кто ленту работал. Понимаете?

— Нет! — откровенно сознался Лунев.

Тогда в глазах девушки вспыхнуло что-то враждебное ему. Он ясно видел это и оробел пред нею, но тотчас же рассердился на себя за эту робость.

— Да, я думаю, вам не легко понять такую простую мысль, — говорила она, отступив от прилавка к двери. — Но — представьте себе, что вы — рабочий, вы делаете все это...

Широким жестом руки она повела по магазину и продолжала рассказывать ему о том, как труд обогащает всех, кроме того, кто трудится. Сначала она говорила так, как всегда, — сухо, отчетливо, и некрасивое лицо ее было неподвижно, а потом брови у ней дрогнули, нахмурились,

ноздри раздулись, и, высоко вскинув голову, она в упор кидала Илье крепкие слова, пропитанные молодой, непоколебимой верой в их правду.

— Торгаш стоит между рабочим и покупателем... он ничего не делает, но увеличивает цену вещи... торговля — узаконенное воровство.

Илья чувствовал себя оскорбленным, но не находил слов, чтоб возразить этой дерзкой девушке, прямо в глаза ему говорившей, что он бездельник и вор. Он стиснул зубы, слушал и не верил ее словам, не мог верить. И, отыскивая в себе такое слово, которое сразу бы опрокинуло все ее речи, заставило бы замолчать ее, — он в то же время любовался ее дерзостью... А обидные слова, удивляя его, вызывали в нем тревожный вопрос: «За что?»

— Все это — не так-с! — громким голосом прервал он ее наконец, ибо почувствовал, что больше уже не может безответно слушать ее речь. — Нег... я не согласен!

В груди его вскипало бурное раздражение, лицо покраснело красными пятнами.

— Возражайте! — спокойно сказала девушка, садясь на табурет, и, перебросив свою длинную косу на колени себе, она стала играть ею.

Лунев вертел головой, чтоб не встречаться с ее недружелюбным взглядом.

— И возражу! — не сдерживаясь больше, крикнул он. — Я... всей жизнью возражу!! Я... может быть, великий грех сделал, прежде чем до этого дошел...

— Тем хуже... Но это не возражение... — сказала девушка и точно холодной водой плеснула в лицо Ильи. Он оперся руками о прилавок, нагнулся, точно хотел перепрыгнуть через него, и, встряхивая курчавой головой, обиженный ею, удивленный ее спокойствием, смотрел на нее несколько секунд молча. Ее взгляд и неподвижное, уверенное лицо сдерживали его гнев, смущали его. Он чувствовал в ней что-то твердое, бесстрашное. И слова, нужные для возражения, не шли ему на язык.

— Ну, что же вы? — хладнокровно вызывая его, спросила она. Потом усмехнулась и с торжеством сказала: — Возражать мне нельзя, потому что я сказала истину!

— Нельзя? — глухо переспросил Лунев.

— Да, нельзя! Что вы можете возражать?

Она снова улыбнулась снисходительной улыбкой.

— До свиданья!

И ушла, подняв голову еще выше, чем всегда.

— Это пустяки! Неверно-с! — крикнул Лунев вслед ей. Но она не обернулась на его крик.

Илья опустил на габурет. Гаврик, стоя у двери, смотрел на него и, должно быть, был очень доволен поведением сестры, — лицо у него было важное, победоносное.

— Что смотришь? — сердито крикнул Лунев, чувствуя, что этот взгляд неприятен ему.

— Ничего! — ответил мальчик.

— То-то!.. — угрожающим голосом произнес Лунев и, помолчав, добавил: — Иди... гуляй!

Но и оставшись наедине, он не мог собраться с мыслями. Он не вдумывался в смысл того, что сказала ему девушка, ее слова прежде всего были обидны.

«Что я ей сделал?.. Пришла, осудила и ушла... Ну-ка, приди-ка еще? Я тебе отвечу...»

Грозя ей, искал — за что она обидела его? Ему вспомнилось, как Павел рассказывал о ее уме, простоте.

«Пашку, небойсь, не обижает...»

Приподняв голову, он увидел себя в зеркале. Черные усики шевелились над его губой, большие глаза смотрели устало, на скулах горел румянец. Даже и теперь его лицо, обеспокоенное, угрюмое, но все-таки красивое грубоватой красотой, было лучше болезненно желтого, костлявого лица Павла Грачева.

«Неужто Пашка ей больше меня нравится? — подумал он. И тотчас же возразил сам себе: — А что ей до моей рожи? Не жених...»

Он пошел в комнату, выпил стакан воды, оглянулся. Яркое пятно картины бросилось в глаза ему, он уставился на размеренные «Ступени человеческого века», думая:

«Обман это... Разве так живут?»

И вдруг добавил безнадежно:

«Да и так если — тоже скука!..»

Медленно подойдя к стене, он сорвал с нее картину и унес в магазин. Там, разложив ее на прилавке, он снова начал рассматривать превращения человека и смотрел

теперь с насмешкой, пока от картины зарябило в глазах. Тогда он смял ее, скомкал и бросил под прилавок; но она выкатилась оттуда под ноги ему. Раздраженный этим, он снова поднял ее, смял крепче и швырнул в дверь, на улицу...

На улице было шумно. По той стороне, тротуаром, кто-то шел с палкой. Палка стучала по камням не в раз с ногой идущего, казалось, что у него три ноги. Ворковали голуби. Где-то гроыхало железо, — должно быть, трубочист ходил по крыше. Мимо магазина проехал извозчик. Он дремал, и голова у него качалась. И все качалось вокруг Ильи. Он взял счета, посмотрел на них и положил — двадцать копеек. Посмотрел еще и — семнадцать скинул. Осталось три копейки. Он щелкнул по косточкам ногтем; косточки завертелись на проволоке с тихим шумом и, разъединившись, остановились.

Илья вздохнул, отодвинул счета прочь, навалился грудью на прилавок и замер, слушая, как бьется его сердце.

На другой день сестра Гаврика опять пришла. Она была такая же, как всегда: в том же стареньком платье, с тем же лицом.

«Ишь ты», — неприязненно подумал Лунев, наблюдая ее из комнаты.

На поклон девушки он неохотно склонил перед ней голову. А она вдруг улыбнулась доброй улыбкой и ласково спросила его:

— Вы что какой бледный? Нездоровы, да?

— Здоров, — кратко ответил Илья, стараясь не выдавать пред нею чувства, возбужденного ее вниманием. А чувство было хорошее, радостное: улыбка и слова девушки коснулись его сердца так мягко и тепло, но он решил показать ей, что обижен, тайно надеясь, что девушка скажет ему еще ласковое слово, еще улыбнется. Решил — и ждал, надутый, не глядя на нее.

— Вы, кажется, обиделись на меня? — раздался ее твердый голос. Он так резко отличался от тех звуков, которыми она сказала свои первые слова, что Илья тревожно взглянул на нее, а она уж вновь была такая, как всегда, что-то заносчивое, задорное было в ее темных глазах.

— Я к обидам привык, — сказал Лунев и усмехнулся в лицо ей вызывающей улыбкой, чувствуя холод разочарования в груди.

«А, ты играешь! — думалось ему. — Погладишь да прибьешь? Ну нет...»

— Я не хотела обижать вас...

— Вам меня обидеть трудно! — дерзко и громко заговорил он. — Я ведь вам цену знаю-с: птица вы невысокого полета!

Она выпрямилась при этих словах, удивленная, широко открыв глаза. Но Илья уже не видел ничего: буйное желание отплатить ей охватило его, как огнем, и, намеренно не торопясь, он обкладывал ее тяжелыми и грубыми словами:

— Барство ваше, гордость эта — вам недорого обходится, в гимназиях всяк может этого набраться... А без гимназий — швея вы, горничная... По бедности вашей ничем другим быть не можете, — верно-с?

— Что вы говорите? — тихо воскликнула она.

Илья смотрел ей в лицо и с удовольствием видел, как раздуваются ее ноздри, краснеют щеки.

— Говорю, что думаю! А думаю я так, что дешевому вашему барству — грош цена!

— Во мне нет барства! — звенящим голосом крикнула девушка. Братишка подбежал к ней, схватил ее за руку и, злыми глазами глядя на хозяина, тоже закричал:

— Уйдем, Сонька!

Лунев окинул их взглядом и уже с ненавистью, хладнокровно сказал:

— Да-с, — уйдите-ка! Ни я вам, ни вы мне... не нужны.

Они оба как-то странно мелькнули в его глазах и исчезли. Он засмеялся вслед им. Потом, оставшись один в магазине, несколько минут стоял неподвижно, упиваясь острой сладостью удавшейся мести. Возмущенное, недоумевающее, немного испуганное лицо девушки хорошо запечатлелось в его памяти.

«Мальчишка-то... какой...» — вертелась у него в голове бессвязная мысль: поступок Гаврика немножко мешал ему, нарушая его настроение.

«Вот тебе и спесь!.. — внутренне усмехаясь, думал он. — Танечка бы пришла теперь... я бы и ей... заодно...»

Он ощущал в себе желание растолкать всех людей прочь от себя, растолкать их грубо, обидно, без пощады...

Но Танечка не пришла, весь день он пробыл один, и день этот был странно длинен. Ложась спать, Илья чувствовал себя одиноким и обиженным этим одиночеством еще более, чем словами девушки. Закрыв глаза, он вслушивался в тишину ночи и ждал звуков, а когда звук раздавался, Илья вздрагивал и, пугливо приподняв голову с подушки, смотрел широко открытыми глазами во тьму. Вплоть до утра он не мог уснуть, чего-то ожидая, чувствуя себя точно запертым в погребе, задыхаясь от жары и неуклюжих, бессвязных мыслей. Он встал с тяжелой головой, хотел поставить самовар, но не поставил, а, умывшись, выпил ковш воды и открыл магазин.

Около полудня явился Павел, сердитый, с нахмуренными бровями. Не здороваясь с товарищем, он прямо спросил его:

— Ты что это зазнаешься?

Илья понял, о чем он говорит, и, безнадежно тряхнув головой, промолчал, думая:

«И этот против меня...»

— За что ты Софью Никоновну обидел? — строго допрашивал Павел, стоя перед ним. В надутым лице Грачева и в укоряющих его глазах Илья видел осуждение себе, но отнесся к нему равнодушно.

Медленно, усталым голосом он сказал:

— Ты бы прежде поздоровался, что ли... да и шапку сними — здесь икона...

Но Павел схватил фуражку за козырек, надвинул ее на голову плотнее, задорно скривил губы и заговорил торопливо, горячо, вздрагивающим голосом:

— Форси! Разбогател! Наелся! Вспомнил бы, как говорил — «нет человека для нас!» А вот он нашелся — гонишь его... Эх ты, купец!

Тупое чувство какой-то лени мешало Луневу отвечать на слова товарища. Безразличным взглядом он рассматривал возбужденное, насмешливое лицо Павла и чувствовал, что укоры не задевают его души. Желтые волоски в усах и на подбородке Грачева были как плесень на его худом лице, и Лунев смотрел на них, равнодушно соображая:

«Разве я ее очень обидел? Мог хуже...»

— Она все понимает, все может объяснить... а ты с ней... эх! — говорил Павел, по обыкновению густо пересыпая свою речь междометиями.

— Перестань, — сказал Лунев. — Что ты меня учишь? Как хочу, так и делаю... Как хочу, так и живу... Надоели вы мне все... Ходите, говорите...

И, тяжело прислоняясь к полкам с товаром, Лунев задумчиво, как бы спрашивая сам себя, выговорил:

— А что вы можете сказать?

— Она все может! — с глубоким убеждением воскликнул Павел и даже руку поднял кверху, точно готовясь принять присягу. — Они знают всё!

— Ну, и ступай к ним! — равнодушно посоветовал ему Илья. И слова и возбуждение Павла были неприятны ему, но возражать товарищу он не имел желаний. Скука, тяжелая и липкая, мешала ему говорить и думать, связывала его.

— И уйду! — угрожая, говорил Павел. — Уйду, потому что понимаю: мне только около них и можно жить... около них можно все для себя найти, да!

— Не ори! — сказал ему Лунев негромко и бесильно.

Пришла девочка и спросила дюжину пуговиц рубашечных. Илья, не торопясь, дал ей просимое, взял из ее руки двугривенный, потер его между пальцами и возвратил покупательнице, сказав:

— Сдачи нет, — после принесешь...

Сдача была в конторке, но ключ лежал в комнате, и Луневу не хотелось пойти за ним. Когда девочка ушла, Павел не возобновлял разговора. Стоя у прилавка, он хлопал себя по колену снятым с головы картузом и смотрел на товарища, как бы ожидая от него чего-то. Но Лунев, отвернувшись в сторону, тихо свистел сквозь зубы.

— Ну, что же ты? — вызывающе спросил Павел.

— Ничего, — не сразу ответил Лунев.

— Так-таки — ничего?

— Отстань Христа ради! — воскликнул Лунев нетерпеливо.

Грачев кинул картуз на голову себе и ушел. Илья проводил его глазами и снова засвистал.

Большая рыжая собака заглянула в дверь, помахала хвостом и исчезла. Потом явилась в двери старуха-нищая, с большим носом. Она кланялась и говорила вполголоса:

— Подайте, батюшка, милостыньку!..

Лунев молча кивнул ей головой, отказывая в милостыне. По улице в жарком воздухе колебался шум трудового дня. Казалось, топится огромная печь, трещат дрова, пожираемые огнем, и дышат знойным пламенем. Гремит железо — это едут ломовики: длинные полосы, свешиваясь с телег, задевают за камни мостовой, взвизгивают, как от боли, режут, гудят. Точильщик точит ножи — злой, шипящий звук режет воздух...

Каждая минута рождает что-нибудь новое, неожиданное, и жизнь поражает слух разнообразием своих криков, неутомимостью движения, силой неустанный творчества. Но в душе Лунева тихо и мертво: в ней все как будто остановилось, — нет ни дум, ни желаний, только тяжелая усталость. В таком состоянии он провел весь день и потом ночь, полную кошмаров... и много таких дней и ночей. Приходили люди, покупали, что надо было им, и уходили, а он их провожал холодной мыслью:

«Я им не нужен, и они мне не нужны... Буду жить один...»

Вместо Гаврика ему ставила самовар и носила обед кухарка домохозяина, женщина угрюмая, худая, с красным лицом. Глаза у нее были бесцветные, неподвижные. Иногда, взглянув на нее, Лунев ощущал где-то в глубине души возмущение:

«Неужто ничего хорошего так и не увижу я?»

Он уже привык к разнородным впечатлениям, и хотя они волновали, злили его, но с ними все же лучше было жить. Их приносили люди. А теперь люди исчезли куда-то, — остались одни покупатели. Потом ощущение одиночества и тоска о хорошей жизни снова утопали в равнодушии ко всему, и снова дни тянулись медленно, в какой-то давящей духоте.

Однажды поутру Илья только что проснулся и сидел на постели, думая, что вот опять день пришел — нужно его прожить...

В дверь со двора постучали дробным, частым стуком.

Илья встал, думая, что это кухарка за самоваром пришла, отпер дверь и очутился лицом к лицу с горбуном.

— Эге-ге! — качая головой и улыбаясь, заговорил Терентий. — Девятый час, а у тебя, торговец, лавка не отперта!

Илья стоял пред ним, мешая ему войти в дверь, и тоже улыбался. Лицо у Терентия загорело, но как-то обновилось; глаза смотрели радостно и бойко. У ног его лежали мешки, узлы, и он сам среди них казался узлом.

— Пускай, что ли, в жилье-то!

Илья молча начал втаскивать узлы, а Терентий отыскал глазами образ, осенил себя крестом и, поклонясь, сказал:

— Слава тебе, господи, — вот я и дома! Ну, здравствуй, Илья!

Обнимая дядю, Лунев почувствовал, что тело горбуна стало крепким, сильным.

— Умыться бы мне, — говорил Терентий, оглядывая комнату. Хожение с котомкой за плечами как будто оттянуло его горб книзу.

— Как поживаешь? — спрашивал он племянника, бросая пригоршнями воду на свое лицо.

Илье было приятно видеть дядю таким обновленным. Он хлопотал около стола, приготавливая чай, но отзывался на вопросы горбуна сдержанно, осторожно.

— Ты — как?

— Я? Хорошо! — Терентий закрыл глаза и с довольной улыбкой покачал головой. — Так-то ли хорошо я сходил, — лучше не надо! Живой водицы испил, словом сказать...

Он уселся за стол, намотал свою бородку на палец и, склонив голову набок, стал рассказывать:

— Был я у Афанасья Сидящего и у переяславльских чудотворцев, и у Митрофания Воронежского, и у Тихона Задонского... ездил на Валаам остров... множество земли исходил. Многим угодникам молился, а сейчас был: у Петра — Фавроньи в Муроме...

Должно быть, он испытывал большое удовольствие, перечисляя имена угодников и города, — лицо у него

было сладкое, глаза смотрели гордо. Слова своей речи он произносил на тот певучий лад, которым умелые рассказчики сказывают сказки или жития святых.

— В пещерах святой лавры тишь стоит непоколебимая, тьма в них страховитая, а во тьме детскими глазами лампадки блещут, и святым миром пахнет...

Вдруг хлынул дождь, за окном раздался вой, визг, железо крыш гудело, вода, стекая с них, всхлипывала, и в воздухе как бы дрожала сеть толстых нитей стали.

— Та-ак, — медленно протянул Илья. — Ну, что же — облегчился?

Терентий замолчал на минуту, потом, наклоняясь к Илье, пониженным голосом сказал ему:

— Примером скажу: как сапог ногу, жал мне сердце грех этот, невольный мой... Невольный, — потому, не послушал бы я в ту пору Петра, он бы меня — швырь вон! Вышвырнул бы... Верно?

— Верно! — согласился Илья.

— Ну вот!.. А как я пошел... эдакая легкость на душе явилась... Иду и говорю: «Господи, видишь? Иду ко угодушкам твоим...»

— Значит — рассчитался? — спросил Лунев с улыбкой.

— Как он примет мою молитву — не ведаю! — сказал горбун, подняв глаза кверху.

— Да совесть-то как? Спокойна?

Терентий подумал, как бы прислушиваясь к чему-то, и сказал:

— Молчит...

Илья встал, подошел к окну. Широкие ручьи мутной воды бежали около тротуара; на мостовой, среди камней, стояли маленькие лужи; дождь сыпался на них, они вздрагивали: казалось, что вся мостовая дрожит. Дом против магазина Ильи нахмурился, весь мокрый, стекла в окнах его потускнели, и цветов за ними не было видно. На улице было пусто и тихо, — только дождь шумел и журчали ручьи. Одиноким голубь прятался под карнизом, усевшись на наличнике окна, и отовсюду с улицы веяло сырой, тяжелой скукой.

«Осень начинается», — мелькнуло в голове Лунева.

— Чем иным оправдаться можно, как не молитвой? — говорил Терентий, развязывая свой мешок.

— Просто очень, — хмуро заметил Илья, не оборачиваясь к дяде. — Согрешил, помолился — чист! Валяй опять — грешить...

— За-ачем? Живи строго...

— Чего ради?

— А — совесть чистая?

— А что в ней толку?

— Н-ну-у... — неодобрительно протянул Терентий. — Как ты это говоришь...

— Так и говорю, — настойчиво и твердо продолжал Илья, стоя спиной к дяде.

— Грех!

— Ну и грех...

— Наказан будешь!

— Нет...

Теперь он отвернулся от окна и смотрел в лицо Терентия. Горбун, чмокая губами, долго искал слова, чтобы возразить, и, найдя его, внушительно выговорил:

— Будешь!.. Вот я — согрешил и был наказан...

— Чем это? — угрюмо спросил Илья.

— Страхом! Жил и все боялся — вдруг узнают?

— А я вот согрешил, а не боюсь, — объявил Илья, усмехаясь.

— Дуришь ты, — сказал Терентий строгим голосом.

— Не боюсь! Жить мне трудно однако...

— А-а! — воскликнул Терентий с торжеством. — Вот и наказание!

— За что? — крикнул Илья почти с бешенством. Челюсть у него тряслась. Терентий смотрел на него испуганно, помахивая в воздухе какой-то веревочкой.

— Не кричи, не кричи! — говорил он вполголоса.

Но Илья кричал. Давно уже он не говорил с людьми и теперь выбрасывал из души все, что накопилось в ней за эти дни одиночества.

— Не только грабь, — убивай! — ничего не будет! Некому наказывать... Наказывают неумеющих, а кто умеет — тот все может делать, все!

Вдруг за дверью что-то грохнуло, покатилося, затрещало и остановилось где-то близко, у самой двери. Они оба, вздрогнув, замолчали.

— Что это? — тихо и пугливо сказал горбун.

Илья подошел к двери, открыл ее и выглянул на двор. В комнату влетел тихий свист, хрип, шопот, вихрь звуков. — Ящики развалились, — сказал Лунев, затворяя дверь и снова проходя к окну.

Терентий присел на пол разбирать свои мешки, говоря: — Нет, ты подумай! Ты такие слова кричишь, ой-ой, брат! Безбожием бога не прогневаешь, но себя погубишь... Слова — мудрые, — я дорогой слышал их от одного человека... Сколько мудрости слышал я!

Он снова начал рассказывать о своем путешествии, искоса поглядывая на Илью. А Илья слушал его речь, как шум дождя, и думал о том, как он будет жить с дядей...

Зажили недурно. Терентий сделал себе из ящиков кровать между печью и дверью, в углу, где по ночам тьма сгущалась плотнее, чем в других местах комнаты. Присмотревшись к жизни Лунева, он взял на себя обязанности Гаврика — ставил самовары, убирал магазин и комнату, ходил в трактир за обедом и всегда мурлыкал себе под нос акафисты. Вечерами он рассказывал племяннику о том, как Аллилуиева жена спасла Христа от врагов, бросив в горящую печь своего ребенка, а Христа взяв на руки вместо него. Рассказывал о том, как монах триста лет слушал пение птички; о Кирике и Улите и о многом другом. Лунев, слушая его, думал свои думы... По вечерам он уходил гулять, и всегда его манило за город. Там, в поле, ночью было тихо, темно и пустынно, как в его душе.

Через неделю после его возвращения Терентий сходил к Петрухе Филимонову и вернулся от него обескураженный, обиженный. Но когда Илья спросил — что с ним? — он ответил торопливо:

— Ничего, ничего! Был, значит, видел все, стало быть... поговорили...

— Что Яков? — спросил Илья.

— Он, Яков-то, того... помирать хочет... Желтый... кашляет...

Терентий замолчал, глядя в угол, грустный и жалкий.

Жизнь шла ровно, однообразно: дни походили один на другой, как медные пятаки чеканки одного года. Угрюмая злоба хоронилась в глубине души Лунева, как большая змея, и пожирала все впечатления этих дней. Никто

из старых знакомых не приходил к нему: Павел и Маша, видимо, нашли себе другую дорогу в жизни; Матицу сшибла лошадь, и баба умерла в больнице; Перфишка исчез, точно провалился сквозь землю. Лунев все собирался пойти к Якову и не мог собраться, чувствуя, что ему не о чем говорить с умирающим товарищем. Утром он читал газету, а днем сидел в магазине, глядя, как осенний ветер гоняет по улице желтые листья, сорванные с деревьев. Иногда и в магазин залетал такой лист...

— Преподобне отче Тихоне, моли бога о нас... — хрустевшим, как сухие листья, голосом напевал Терентий, возясь в комнате.

Однажды в воскресенье, развернув газету, Илья увидел на первой ее странице стихотворение: «Прежде и теперь. Посвящается С. Н. М — ой», подписанное «П. Грачев».

В недуге тяжком и в бреду
Я годы молодости прожил.
Вопрос — куда, слепой, иду? —
Ума и сердца не тревожил.
Мрак мою душу оковал
И ослепил мне ум и очи...
Но я всегда — и дни и ночи —
О чем-то светлом тосковал!
Вдруг — светом внутренним полна,
Ты предо мною гордо встала —
И, дрогнув, мрака пелена
С души и глаз моих упала!
Да будет проклят этот мрак!
Свободный от его недуга,
Я чувствую — нашел я друга!
И яено вижу — кто мой враг!..

Лунев прочитал и с сердцем отодвинул газету от себя. «Сочиняй! Выдумывай! Друг... враг!.. Кто — дурак, тому всякий враг... да!» — он криво усмехнулся. И как-то вдруг, точно другим сердцем, подумал:

«А что, ежели я туда махну? Приду и скажу... вот пришел! Извините...»

«За что?» — тотчас же спросил он себя. И закончил все это решительным и урюмым словом:

«Прогонит...»

Потом он, с обидой и завистью в сердце, снова прочитал стихи и снова задумался о девушке...

«Гордая... Посмотрит эдак... ну и — уйдешь с чем пришел...»

В этой же газете, в справочном отделе, он прочитал, что на двадцать третье сентября в окружном суде назначено к слушанию дело по обвинению Веры Капитановой в краже. Злорадное чувство вспыхнуло в нем, и, мысленно обращаясь к Павлу, он сказал:

«Стихи сочиняешь? А она — в тюрьме все сидит?..»

— Боже! Милостив буди ми грешному, — вздохнув, прошептал Терентий, грустно качая головой. Потом он взглянул на племянника, шуршавшего газетой, и окрикнул его: — Илья...

— Ну?

— Петруха-то...

Горбун жалобно улыбнулся и замолчал.

— Что? — спросил Лунев.

— О-ограничил он меня, — тихо, виноватым голосом сообщил Терентий и уныло хихикнул. Илья равнодушно поглядел на лицо дяди и спросил:

— Сколько украли вы?

Дядя отодвинулся от стола вместе со стулом, наклонил голову и, держа руки на коленях, стал шевелить пальцами, то сгибая, то разгибая их.

— Тысяч десять, что ли? — вновь спросил Лунев.

Горбун вскинул голову и с удивлением протянул:

— Деся-ать? Что ты, господь с тобой! Всего-навсего три тыщи шестьсот с мелочью, а ты — десять! Хватил!..

— У дедушки больше десяти было, — сказал Илья, усмехаясь.

— Врѐ-ѐ?

— Ну, вот еще... он сам говорил...

— Да он считать-то умел ли?

— Не хуже вас с Петром...

Терентий задумался, и вновь голова его низко опустилась.

— Сколько Петруха недодал? — спросил Илья.

— Около семисог... — со вздохом сказал Терентий. — Так — больше десяти? Где же такая уйма деньжищ спрятана была? Мы, кажись бы, всё забрали... А может, Петруха-то еще и тогда надул меня... а?

— Молчал бы ты! — сурово сказал Лунев.

— Да, уж теперь не стоит говорить! — согласился Терентий и тяжело вздохнул.

А Лунев подумал о жадности человека, о том, как много пакостей делают люди ради денег. Но тотчас же представил, что у него — десятки, сотни тысяч, о, как бы он показал себя людям! Он заставил бы их на четвереньках ходить пред собой, он бы... Увлеченный мстительным чувством, Лунев ударил кулаком по столу, — вздрогнул от удара, взглянул на дядю и увидел, что горбун смотрит на него, полуоткрыв рот, со страхом в глазах.

— Задумался я, — хмуро сказал он, вставая из-за стола.

— Бываег, — недоверчиво согласился тот.

Когда Илья пошел в магазин, он пытливо смотрел вслед ему, и губы его беззвучно шевелились... Илья не видел, но чувствовал этот подозрительный взгляд за своей спиной: он уже давно заметил, что дядя следит за ним, хочет что-то понять, о чем-то спросить. Это заставляло Лунева избегать разговоров с дядей. С каждым днем он все более ясно чувствовал, что горбатый мешает ему жить, и все чаще ставил пред собою вопрос:

«Долго это будет тянуться?»

В душе Лунева словно назревал нарыв; жить становилось все тошнее. Всего хуже было то, что ему ничего не хотелось делать: никуда его не тянуло, но казалось порою, что он медленно и все глубже опускается в темную яму.

Вскоре после того, как приехал Терентий, явилась Татьяна Власьевна, уезжавшая куда-то из города. При виде горбатого мужичка, в коричневой рубаше из бумажки, она брезгливо поджала губы и спросила Илью:

— Это ваш дядя?

— Да, — коротко ответил Лунев.

— С вами будет жить?

— Обязательно...

Татьяна Власьевна, почувствовав что-то вызывающее в ответах компаньона, перестала обращать внимание на горбуна; а Терентий, стоя у двери, на месте Гаврика, покручивал бородку и любопытными глазами следил за тоненькой, одетой в серое фигуркой женщины. Лунев тоже смотрел, как она воробушком прыгает по магазину,

и молча ждал, что она еще спросит, готовый закидать ее тяжелыми, обидными словами. Но она, искоса поглядывая на его злое лицо, не спрашивала ни о чем. Стоя за конторкой, она перелистывала книгу дневной выручки и говорила о том, как приятно жить в деревне, как это дешево стоит и хорошо действует на здоровье.

— Там была маленькая речушка, — тихая такая! И веселая компания... один телеграфист превосходно играл на скрипке... Я выучилась грести... Но — мужицкие дети! Это наказание! Вроде комаров — ноют, клячат... Дай, дай! Это их отцы учат и матери...

— Никто не учит, — сухо заговорил Илья. — Отцы и матери работают. А дети — без призора живут... Неправду вы говорите...

Татьяна Власьевна удивленно взглянула на него, открыла рот, желая что-то сказать, но в это время Терентий почтительно улыбнулся и заявил:

— Господа в деревне теперь — диковина... Допржеде в каждой деревне барин весь век свой был, а теперь наездом бывают...

Автономова перевела глаза на него, потом снова на Илью и, не сказав ни слова, усталилась в книгу. Терентий сконфузился и стал одергивать рубашку. С минуту в магазине все молчали, — был слышен только шелест листов книги да шорох — это Терентий терся горбом о косяк двери...

— А ты, — вдруг раздался сухой и спокойный голос Ильи, — прежде чем с господами в разговор вступать, спроси: «Позвольте, мол, поговорить, сделайте милость...» На колени встань...

Книга вырвалась из-под руки Татьяны Власьевны и поехала по конторке, но женщина поймала ее, громко хлопнула по ней рукой и засмеялась. Терентий, наклонив голову, вышел на улицу... Тогда Татьяна Власьевна исподлобья с улыбкой взглянула на угрюмое лицо Лунева и вполголоса спросила:

— Сердишься? За что?

Лицо у нее было плутоватое, ласковое, глаза блестели задорно... Лунев, протянув руку, взял ее за плечо... В нем вспыхнула ненависть к ней, зверское желание обнять ее, давить на своей груди и слушать треск ее тонких костей.

Оскалив зубы, он притягивал ее к себе, а она, схватив его руку, старалась оторвать ее от своего плеча и шептала:

— Ой... пусти! Больно!.. Ты с ума сошел? Здесь нельзя обниматься... И... послушай! Дядю неудобно иметь: он горбатый... его будут бояться... пусти же! Его надо куда-нибудь пристроить, — слышишь?

Но он уже обнял ее и медленно наклонял голову над ее лицом с расширенными глазами.

— Что ты? Здесь нельзя... оставь!

Она вдруг опустилась и выскользнула из его рук, гибкая, как рыба. Лунев сквозь горячий туман в глазах видел ее у двери на улицу. Оправляя кофточку дрожащими руками, она говорила:

— Ах, какой ты грубый! Разве не можешь подождать?

У него в голове шумело, точно там ручьи текли. Неподвижно, сцепивши крепко пальцы рук, он стоял за прилавком и смотрел на нее так, точно в ней одной видел все зло, всю тяжесть своей жизни.

— Это хорошо, что ты страстный, но, голубчик, надо же быть сдержанным...

— Уйди! — сказал Илья.

— Ухожу... Сегодня я не могу принять тебя... но послезавтра — двадцать третьего — день моего рожденья... придешь?

Говоря, она ощупывала пальцами брошь и не смотрела на Илью.

— Уйди! — повторил он, вздрагивая от желания поймать ее и мучить.

Она ушла. Тотчас же явился Терентий и почтительно спросил:

— Это вот и есть — компаньонка?

Лунев кивнул головой, облегченно вздыхая.

— Какая... ишь ты! Маленькая, а...

— Поганая! — сказал Илья густым голосом.

— Мм... — недоверчиво промычал Терентий. Илья почувствовал на своем лице пытливый, догадывающийся взгляд дяди и с сердцем спросил:

— Ну, что смотришь?

— Я? Господи, помилуй! Ничего...

— Я знаю, что говорю... Сказал — поганая, и — конечно! Хуже скажу — и то правда будет...

— Вон оно что-о... — протянул горбун соболеznующим голосом.

— Что? — сурово крикнул Илья.

— Стало быть...

— Что — стало быть?

Терентий стоял пред ним, переступая с ноги на ногу, испуганный и оскорбленный криками: лицо у него было жалкое, глаза часто мигали.

— Стало быть — ты лучше знаешь... — сказал он, помолчав.

На улице было невесело. Несколько дней кряду шел дождь. Серые чистенькие камни мостовой скучно смотрели в серое небо, они были похожи на лица людей. Во впадинах между ними лежала грязь, оттеняя собою их холодную чистоту... Желтый лист на деревьях вздрагивал предсмертной дрожью. Где-то частыми ударами палки выбивали пыль из ковров или меховой одежды — мелкие звуки сыпались в воздух. В конце улицы, из-за крыш домов на небо поднимались густые, сизые и белые облака. Тяжело, огромными клубами они лезли одно на другое, все выше и выше, постоянно меняя формы, то похожие на дым пожара, то — как горы или как мутные волны реки. Казалось, что все они только за тем поднимаются в серую высоту, чтобы сильнее упасть оттуда на дома, деревья и на землю. Лунев смотрел на их живую стену пред собой, вздрагивая от скуки и холода.

«Надо бросить... магазин и все... Пусть дядя торгует с Танькой... а я — уйду...»

Ему представилось огромное, мокрое поле, покрытое серыми облаками небо, широкая дорога с березами по бокам. Он идет с котомкой за плечами, его ноги вязнут в грязи, холодный дождь бьет в лицо. А в поле, на дороге, нет ни души... даже галок на деревьях нет, и над головой безмолвно двигаются синеватые тучи...

«Удавлюсь», — равнодушно подумал он.

Проснувшись утром через день, он увидел на отрывном календаре черную цифру двадцать три и... вспомнил, что сегодня судят Веру. Он обрадовался возможности уйти из магазина и почувствовал горячее любопытство к судьбе девушки. Наскоро выпив чаю, почти бегом он пошел в суд. В здание не пускали, — кучка народа жалась

у крыльца, ожидая, когда отворят двери. Лунев тоже встал у дверей, прислонясь спиной к стене. Широкая площадь развertyвалась пред судом, среди нее стояла большая церковь. Лик солнца, бледный и усталый, то появлялся, то исчезал за облаками. Почти каждую минуту вдаль на площадь ложилась тень, ползла по камням, лезла на деревья, и такая она была тяжелая, что ветви деревьев качались под нею; потом она окутывала церковь от подножия до креста, переваливалась через нее и без шума двигалась дальше на здание суда, на людей у двери его...

Люди были какие-то серые, с голодными лицами; они смотрели друг на друга усталыми глазами и говорили медленно. Один из них — длинноволосый, в легком пальто, застегнутом до подбородка, в измятой шляпе — озябшими, красными пальцами крутил острую рыжую бороду и нетерпеливо постукивал о землю ногами в худых башмаках. Другой, в заплатанной поддевке и картузе, нахлобученном на глаза, стоял, опустив голову на грудь, сунувши одну руку за пазуху, а другую в карман. Он казался дремлющим. Черненький человечек в пиджаке и высоких сапогах, похожий на жука, беспокоился: поднимал острую бледную мордочку кверху, смотрел в небо, свистал, морщил брови, ловил языком усы и разговаривал больше всех.

— Отпирают? — восклицал он и, склонив голову набок, прислушивался. — Нет... гм!.. А времени много уж... Вы, моншер, в библиотеку не заходили?

— Нет, рано... — в два удара, но в один тон ответил длинноволосый.

— Чорт возьми... холодно, знаете!

Длинноволосый сочувственно крякнул и сказал задумчиво:

— Где бы мы грелись, если бы не было суда и библиотеки?

Черненький молча передернул плечами. Илья рассматривал этих людей и вслушивался в их разговор. Он видел, что это — «шалыганы», «стрелки», — люди, которые живут темными делами, обманывают мужиков, составляя им прошения и разные бумаги, или ходят по домам с письмами, в которых просят о помощи.

Пара голубей опустилась на мостовую, неподалеку от крыльца. Толстый голубь с отвисшим зобом, переваливаясь с ноги на ногу, начал ходить вокруг голубки, громко воркуя.

— Фь-ю! — резко свистнул черненький человечек. Человек в поддевке вздрогнул и поднял голову. Лицо у него было опухшее, синее, со стеклянными глазами.

— Терпеть не могу голубей! — воскликнул черненький, глядя вслед улетающим птицам, — Жирные... вроде богатых лавочников... воркуют.. пр-ротивно! Судитесь? — неожиданно спросил он Илью.

— Нет...

Черненький человек осмотрел Лунева с ног до головы и в нос себе проговорил:

— Странно...

— Чего же странного? — спросил Илья, усмехнувшись.

— У вас лицо обвиняемого, — скороговоркой сказал человек. — А, отпирают...

Он первый нырнул в открытую дверь суда. Задетый его словом, Илья пошел за ним и в дверях толкнул плечом длинноволосого.

— Тише, невежа, — спокойно сказал длинноволосый и, в свою очередь тоже толкнув Илью, опередил его.

Но этот толчок не обидел Илью, а только удивил его.

«Чудно! — подумал он. — Толкается, как будто барин и везде может первым идти, а сам вон какой...»

В зале суда было сумрачно и тихо. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, кресла с высокими спинками, золото рам, огромный, в рост человека, портрет царя, малиновые стулья для присяжных, большая деревянная скамья за решеткой, — все было тяжелое и внушало уважение. Окна глубоко уходили в серые стены; занавески толстыми складками висели над окнами, а стекла в них были мутные. Тяжелые двери отворялись бесшумно, и без шума, быстро расхаживали люди в мундирах. Лунев осматривался, жуткое чувство щемило ему сердце, а когда чиновник объявил — «суд идет», Илья вздрогнул и вскочил на ноги раньше всех, хотя и не знал, что нужно было встать. Один из четырех людей, вошедших в зал, был Громов, — человек, что жил в доме против магазина Ильи.

Он уселся в среднее кресло, провел обеими руками по волосам, взъерошил их и поправил воротник, густо шитый золотом. Его лицо несколько успокоило Илью: оно было такое же румяное и благодушное, как всегда, только концы усов Громов закрутил кверху. Справа от него сидел славный старичок с маленькой седой бородкой, курносый, в очках, а слева — человек лысый, с раздвоенной рыжей бородой и желтым неподвижным лицом. У конторки стоял молодой судья, круглоголовый, гладко стриженный, с черными глазами навывкате. Все они некоторое время молчали, перебирая бумаги на столе, а Лунев смотрел на них с уважением и ждал, что вот сейчас кто-нибудь из них встанет и скажет нечто громко, важно...

Но вдруг, повернув голову влево, Илья увидел знакомое ему толстое, блестящее, точно лаком покрытое лицо Петрухи Филимонова. Петруха сидел в первом ряду малиновых стульев, опираясь затылком о спинку стула, и спокойно поглядывал на публику. Раза два его глаза скользнули по лицу Ильи, и оба раза Лунев ощущал в себе желание встать на ноги, сказать что-то Петрухе, или Громову, или всем людям в суде.

«Вор!.. Сына забил!..» — вспыхивало у него в голове, а в горле у себя он чувствовал что-то похожее на изжогу...

— Вы обвиняетесь в том, — ласковым голосом говорил Громов, но Илья не видел, кому Громов говорит: он смотрел в лицо Петрухи, подавленный тяжелым недоумением, не умея примириться с тем, что Филимонов — судья...

— Скажите, подсудимый, — ленивым голосом спрашивал прокурор, потирая себе лоб, — вы говорили... лавочнику Анисимову: «Погоди! я тебе отплачу!»

Где-то вертелась форточка и взвизгивала:

— Й-у... й-у... й-у...

Среди присяжных Илья увидал еще два знакомых лица. Выше Петрухи и сзади него сидел штукатур — подрядчик Силачев, — мужик большой, с длинными руками и маленьким, сердитым лицом, приятель Филимонова, всегда игравший с ним в шашки. Про Силачева говорили, что однажды на работе, поссорившись с мастером, он столкнул его с лесов, — мастер похворал и помер. А в пер-

вом ряду, через человека от Петрухи, сидел Додонов, владелец большого галантерейного магазина. Илья покупал у него товар и знал, что это человек жестокий, скупой, дважды плативший по гривеннику за рубль...

— Свидетель! Когда вы увидали, что изба Анисимова горит...

— Й-у... ию-ю-ю, — ныла форточка, и в груди Лунева тоже ныло.

— Дурак! — раздался рядом с ним тихий шопот. Он взглянул — с ним рядом сидел черненький человечек, презрительно скривив губы.

— Кто? — шепнул Илья, тупо взглянув на него.

— Арестант... Имел прекрасный случай опрокинуть свидетеля, — пропустил! Я бы... эх!

Илья взглянул на арестанта. Это был высокого роста мужик с угловатой головой. Лицо у него было темное, испуганное, он оскалил зубы, как усталая, забитая собака скалит их, прижавшись в угол, окруженная врагами, не имея силы защищаться. А Петруха, Силачев, Додонов и другие смотрели на него спокойно, сытыми глазами. Луневу казалось, что все они думают о мужике:

«Попался, — значит, виноват...»

— Скучно! — шепнул ему сосед. — Неинтересное дело... Подсудимый — глуп, прокурор — мямля, свидетели — болваны, как всегда... Будь я прокурором — я бы в десять минут его скушал...

— Виноват? — шопотом спросил Лунев, вздрагивая от какого-то озноба.

— Едва ли... Но осудить — можно... Не умеет защищаться. Мужики вообще не умеют защищаться... Дрянный народ! Кость и мясо, — а ума, ловкости — ни капли!

— Это — верно...

— У вас есть двугривенный? — вдруг спросил человечек.

— Есть...

— Дайте мне...

Илья вынул кошелек и дал монету раньше, чем успел сообразить — следует ли дать? А когда уже дал, то с невольным уважением подумал, искоса поглядывая на соседа:

«Ловок...»

— Господа присяжные! — мягко и внушительно говорил прокурор. — Взгляните на лицо этого человека, — оно красноречивее показаний свидетелей, безусловно установивших виновность подсудимого... оно не может не убедить вас в том, что пред вами стоит типичный преступник, враг законопорядка, враг общества...

«Враг общества» сидел, но, должно быть, ему неловко стало сидеть, когда про него говорили, что он стоит, — он медленно поднялся на ноги, низко опустив голову. Его руки бессильно повисли вдоль туловища, и вся серая длинная фигура изогнулась, как бы приготавливаясь нырнуть в пасть правосудия...

Когда Громов объявил перерыв заседания, Илья вышел в коридор вместе с черненьким человечком. Человечек достал из кармана пиджака смятую папироску и, расправляя ее пальцами, заговорил:

— Божится, дурак, не поджигал, говорит. Тут — не бо- жись, а прямо — снимай штаны да ложись... Дело строгое! Обидели лавочника...

— Виноват мужик-то, по-вашему? — задумчиво спросил Илья.

— Должно быть, виноват, потому что глуп. Умные люди виноватыми не бывают... — спокойной скороговоркой отрезал человечек, форсисто покуривая свою папироску.

— Тут, в присяжных, — тихо и с напряжением заговорил Илья, — сидят люди...

— Лавочники больше, — спокойно поправил его черненький. Илья взглянул на него и повторил:

— Некоторых я знаю...

— Ага!..

— Народ — аховый... ежели прямо говорить...

— Вору, — подсказал ему собеседник.

Говорил он громко. Бросив папироску, он, складывая губы трубой, густо свистал, смотрел на всех нагло, и всё в нем — каждая косточка — так ходуном и ходила от голодного беспокойства.

— Это бывает. Вообще, так называемое правосудие есть в большинстве случаев легонькая комедия, комедийка, — говорил он, передергивая плечами. — Сытые люди упражняются в исправлении порочных наклоно-

стей голодных людей. В суде бываю часто, но не видал, чтобы голодные сытого судили... если же сытые сытого судят, — это они его за жадность. Дескать — не все сразу хватай, нам оставляй.

— Говорится: сытый голодного не разумеет, — сказал Илья.

— Пустяки! — возразил ему собеседник. — Великолепно разумеет, — оттого и строг...

— Ну, если сытый да честный — ничего еще! — вполголоса говорил Илья, — а когда сытый да подлый, — как может он судить человека?

— Подлецы — самые строгие судьи, — спокойно заявил черненький человечек. — Ну-с, будем слушать дело о краже.

— Знакомая моя... — тихо сказал Лунев.

— А! — воскликнул человечек, мельком взглянув на него. — Па-асмотрим вашу знакомую...

В голове Ильи все путалось. Он хотел бы о многом спросить этого бойкого человечка, сыпавшего слова, как горох из лукошка, но в человечке было что-то неприятное и пугавшее Лунева. В то же время неподвижная мысль о Петрухе-судье давила собою все в нем. Она как бы железным кольцом обвилась вокруг его сердца, и всему остальному в сердце стало тесно...

Когда он подошел к двери зала, в толпе пред нею он увидал крутой затылок и маленькие уши Павла Грачева. Он обрадовался, дернул Павла за рукав пальто и широко улыбнулся в лицо ему, Павел тоже улыбнулся — неохотно, с явным усилием.

Они несколько секунд стояли друг пред другом молча и, должно быть, оба почувствовали в эти секунды что-то, заставившее их заговорить обоих сразу.

— Смотреть пришел? — спросил Павел, криво усмехаясь.

— А эта — здесь? — спросил Илья смущенно.

— Кто?

— Твоя Софья...

— Она не моя, — сухо ответил Павел, перебивая его речь.

Они вошли в зал.

— Садись рядом? — предложил Лунев.

Павел замялся и ответил:

— Видишь ли... я — в компании...

— Ну... ладно...

— До свиданья!

Грачев быстро отошел в сторону. Илья смотрел вслед ему с таким чувством, как будто Павел крепко потер ему рукой своей ссадину на теле. Горячая боль охватила его. И было неприятно видеть на товарище крепкое, новое пальто, видеть, что лицо Павла за эти месяцы стало здоровее, чище. На той скамье, где сидел Павел, сидела и сестра Гаврика. Вот он сказал что-то, она быстро повернула голову к Луневу. Увидав ее стремительное, подавшееся вперед лицо, он отвернулся в сторону, и душа его еще более плотно и густо окуталась обидой, злобой...

Привели Веру: она стояла за решеткой в сером халате до пят, в белом платочке. Золотая прядь волос лежала на ее левом виске, щека была бледная, губы плотно сжаты, и левый глаз ее, широко раскрытый, неподвижно и серьезно смотрел на Громова.

— Да... да... нет, — тускло звучал ее голос в ушах Ильи.

Громов смотрел на нее ласково, говорил с ней негромко, мягко, точно кот мурлыкал.

— А признаете вы, Капитанова, виновной себя в том, что в ночь... — подползал к Вере его гибкий и сочный голос.

Лунев взглянул на Павла, тот сидел согнувшись, низко опустив голову, и мял в руках шапку. Его соседка держалась прямо и смотрела так, точно она сама судила всех, — и Веру, и судей, и публику. Голова ее то и дело повертывалась из стороны в сторону, губы были брезгливо поджаты, гордые глаза блестели из-под нахмуренных бровей холодно и строго...

— Признаю, — сказала Вера. Голос ее задребезжал, и звук его был похож на удар по тонкой чашке, в которой есть трещина.

Двое присяжных — Додонов и его сосед, рыжий, бритый человек, — наклонив друг к другу головы, беззвучно шевелили губами, а глаза их, рассматривая девушку, улыбались. Петруха Филимонов подался всем телом впе-

ред, лицо у него еще более покраснело, усы шевелились. Еще некоторые из присяжных смотрели на Веру, и все — с особенным вниманием, — оно было понятно Луневу и противно ему.

«Судят, а сами щупают ее глазищами-то», — думал он, крепко сжимая зубы. И ему хотелось крикнуть Петрухе: «Ты, жулик! О чем думаешь?»

К горлу его подкатывалось что-то удушливое, тяжелый шар, затруднявший дыхание...

— Скажите мне... э, Капитанова, — лениво двигая языком и выкатив глаза, как баран, страдающий от жары, говорил прокурор, — да-авно вы занимаетесь проституцией?

Вера провела рукой по лицу, точно этот вопрос приклеился к ее покрасневшим щекам.

— Давно.

Она ответила твердо. В публике раздался шопот, как будто змеи поползли. Грачев наклонился еще ниже, точно хотел спрятаться, и все мял картуз.

— Как именно давно?

Вера молчала, глядя в лицо Громова широко раскрытыми глазами серьезно, строго...

— Год? Два? Пять? — настойчиво допрашивал прокурор.

Она все молчала. Серая, как из камня вырубленная, девушка стояла неподвижно, только концы платка на груди ее вздрагивали.

— Вы имеете право не отвечать, если не хотите, — сказал Громов, поглаживая усы.

Тут вскочил адвокат, худенький человек с острой бородкой и продолговатыми глазами. Нос у него был тонкий и длинный, а затылок широкий, отчего лицо его похоже было на топор.

— Скажите, Капитанова, что заставляло вас заниматься этим ремеслом? — спросил он звонко и резко.

— Ничто не заставляло, — ответила Вера, глядя на судей.

— Мм... это не совсем так!.. Видите ли... мне известно... вы рассказывали мне...

— Ничего вам не известно, — сказала Вера. Она повернула к нему голову и, строго взглянув на него,

продолжала сердито, с неудовольствием в голосе: --
Ничего я вам не рассказывала...

Быстро окинув публику одним взглядом, она обернулась к судьям и спросила, кивая головой на защитника:

— Можно не разговаривать с ним?

Снова в зале поползли змеи, теперь уже громче и явственнее.

Илья дрожал от напряжения и смотрел на Грачева.

Он ждал от него чего-то, уверенно ждал. Но Павел, выглядывая из-за плеча человека, сидевшего впереди его, молчал, не шевелился. Громов, улыбаясь, говорил что-то скользкими, масляными словами... Потом негромко и твердо стала говорить Вера...

— Просто — разбогатеть захотела... и взяла, вот и все... А больше ничего не было... И всегда была такая...

Присяжные стали перешептываться друг с другом: лица у них нахмурились, и на лицах судей тоже явилось что-то недовольное. В зале стало тихо; с улицы донесся мерный и тупой шум шагов по камням, — шли солдаты.

— В виду сознания подсудимой полагал бы... — говорил прокурор.

Илья чувствовал, что не может больше сидеть тут. Он встал, шагнул...

— Тиш-ше! — громко заметил пристав.

Тогда он снова сел и, как Павел, тоже низко наклонил голову. Он не мог видеть красное лицо Петрухи, теперь важно надутое, точно обиженное чем-то, а в неизменно ласковом Громе за благодушием судьи он чувствовал, что этот веселый человек привык судить людей, как столяр привыкает деревяшки строгать. И в душе Ильи родилась теперь жуткая, тревожная мысль:

«Сознайся я — и меня так же вот будут... Петруха будет судить... Меня — в каторгу, а сам останется...»

Он остановился на этих думах и сидел, ни на кого не глядя, ничего не слушая.

— Н...не хочу я, чтобы говорили об этом! — раздался дрожащий, обиженный крик Веры, и она завывала, хватая руками грудь свою, сорвав с головы платок.

Мутный шум наполнил залу. Все в ней засуенилось от криков девушки, а она, как обожженная, металась за решеткой и рыдала, надрывая душу.

Илья вскочил и бросился вперед, но публика шла навстречу ему, и как-то незаметно для себя он очутился в коридоре.

— Обнажили душу, — услышал он голос черненького человека.

Павел Грачев, бледный и растрепанный, стоял у стены, челюсть у него тряслась. Илья подошел к нему и угрюмо, злыми глазами заглянул в лицо товарища.

— Что? Каково? — спросил он.

Павел взглянул на него, открыл рот и не сказал ни слова.

— Погубил человека? — продолжал Лунев. Тогда Павел вздрогнул, будто его кнутом ударили, поднял руку, положил ее на плечо Лунева и возбужденно заговорил:

— Разве я? Мы еще подадим жалобу...

Илья стряхнул с плеча его руку и хотел сказать ему: «Ты! Не закричал, небойсь, что для тебя она украла?» — но вместо этого он сказал:

— А судит Филимонов Петрушка... Правильно это, а? — и усмехнулся.

Павел выпрямился, лицо его вспыхнуло, и он торопливо начал говорить что-то, но Лунев, не слушая, отошел прочь. Так, с усмешкой на лице, он вышел на улицу, и медленно, вплоть до вечера, как бродячая собака, он шлялся из улицы в улицу до поры, пока не почувствовал, что его тошнит от голода.

В окнах домов зажигались огни, на улицу падали широкие, желтые полосы света, а в них лежали тени цветов, стоявших на окнах. Лунев остановился и, глядя на узоры этих теней, вспомнил о цветах в квартире Громова, о его жене, похожей на королеву сказки, о печальных песнях, которые не мешают смеяться... Кошка осторожными шагами, отряхивая лапки, перешла улицу.

«Пойду в трактир», — решил Илья и вышел на средину мостовой.

— Берегись! — крикнули ему. Черная морда лошади мелькнула у его лица и обдала его теплым дыханием... Он прыгнул в сторону, прислушался к ругани извозчика и пошел прочь от трактира.

«Легковой извозчик до смерти не задавит, — спокойно подумал он. — Надо поесть... Вера теперь совсем пропадет... Тоже гордая... Про Пашку не захотела сказать... видит, что некому сказать-то... Она лучше всех... Олимпиада бы... Нет, Олимпиада тоже хорошая... а вот Танька...»

Ему вспомнилось, что именно сегодня Татьяна празднует день рождения. Сначала мысль о том, чтобы пойти к ней, показалась ему отвратительной, но почти тотчас же одно острое, жгучее чувство коснулось его сердца...

Крикнув извозчика, он поехал и через несколько минут, прищуривая глаза от света, стоял в двери столовой Автономовых, гупо улыбался и смотрел на людей, тесно сидевших вокруг стола в большой комнате.

— А-а! Явился еси!.. — воскликнул Кирик. — Конфетк принес? Подарок новорожденной, а? Что ж ты, братец мой?

— Откуда вы? — спросила хозяйка.

Кирик схватил его за рукав и повел вокруг стола, знакомя с гостями. Лунев пожимал чьи-то теплые руки, а лица гостей слились в его глазах в одно длинное, улыбающееся лицо с большими зубами. Запах жареного щекотал ноздри, трескучий разговор женщин звучал в ушах, жарко было жарко, какой-то пестрый туман застилал их. Когда он сел, то почувствовал, что у него от усталости ломит ноги и голод сосет его внутренности. Он молча взял кусок хлеба и стал есть. Кто-то из гостей громко фыркнул, в то же время Татьяна Власьевна заметила ему:

— Вы не хотите меня поздравить? Хорош! Пришел, не сказал ни слова, уселся и ест...

Под столом она сильно толкнула ногой его ногу и наклонила лицо над чайником, доливая его.

Тогда он положил кусок хлеба на стол, крепко потер себе руки и громко сказал:

— А я целый день в суде просидел...

Его голос покрыл шум разговора. [Гости замолчали.] Лунев сконфузился, чувствуя их взгляды на лице своем, и гоже исподлобья оглядел их. На него смотрели недоверчиво, видимо, каждый сомневался в том, что этот широкоплечий, курчавый парень может сказать что-нибудь интересное. Неловкое молчание наступило в комнате.

Обрывки каких-то мыслей кружились в голове Ильи, — бессвязные, серые, они вдруг точно провалились куда-то, исчезая во тьме его души.

— В суде иногда очень любопытно, — кислым голосом заметила Фелицата Грызлова и, взяв коробку с мармеладом, стала ковырять в ней щипчиками.

На щеках Татьяны Власьевны вспыхнули красные пятна, а Кирик громко высморкался и сказал:

— Что ж ты, братец, замахнулся, а не бьешь? Ну, был в суде...

«Конфужу я их», — сообразил Илья, и губы его медленно раздвинулись в улыбку. Гости снова заговорили сразу в несколько голосов.

— Я однажды слушал в суде дело об убийстве, — рассказывал молодой телеграфист, бледный, черноглазый, с маленькими усиками.

— Я ужасно люблю читать и слушать про убийства! — воскликнула Травкина.

А ее муж посмотрел на всех и сказал:

— Гласный суд — благотельное учреждение...

— Судился мой товарищ Евгениев... Он, видите ли, стоя на дежурстве у денежного ящика, шутил с мальчиком да вдруг и застрелил его...

— Ах, ужас какой! — вскричала Татьяна Власьевна.

— Наповал! — с каким-то удовольствием добавил телеграфист.

— А я однажды был свидетелем по одному делу, — заговорил Травкин своим шумящим, сухим голосом, — а по другому делу судился человек, который совершил двадцать три кражи! Недурно?

Кирик громко захохотал. Публика разделилась на две группы: одни слушали рассказ телеграфиста об убийстве мальчика, другие — скучное сообщение Травкина о человеке, совершившем двадцать три кражи. Илья наблюдал за хозяйкой, чувствуя, что в нем тихо разгорается какой-то огонек, — он еще ничего не освещает, но уже настойчиво жжет сердце. С той минуты, когда Лунев понял, что Автономовы опасаются, как бы он не сконфузил их пред гостями, его мысли становились стройнее.

Татьяна Власьевна хлопотала в другой комнате около стола, уставленного бутылками. Алая шелковая кофточка

ярким пятном рисовалась на белых обоях стены, маленькая женщина носилась по комнате подобно бабочке, на лице у нее сияла гордость домовитой хозяйки, у которой все идет прекрасно. Раза два Илья видел, что она ловкими, едва заметными знаками зовет его к себе, но он не шел к ней и чувствовал удовольствие от сознания, что это беспокоит ее.

— Что, брат, сидишь, как сыч? — вдруг обратился к нему Кирик. — Говори что-нибудь... не стесняйся... здесь люди образованные, они, в случае чего, не взыщут с тебя.

— Судили сегодня, — сразу начал Илья громким голосом, — девушку одну, знакомую мне... она из гулящих, но хорошая девушка...

Он снова обратил на себя общее внимание, снова все гости усталились на него. Зубы Фелицаты Егоровны обнажились широкой и насмешливой улыбкой, телеграфист, закрыв рот рукою, начал покручивать усики, почти все старались казаться серьезными, внимательно слушающими. Шум ножей и вилок, вдруг рассыпанных Татьяной Власьевной, отозвался в сердце Ильи громкой, боевой музыкой... Он спокойно обвел лица гостей широко раскрытыми глазами и продолжал:

— Вы что улыбаетесь? Среди них есть очень хорошие...

— Есть-то есть, — перебил его Кирик, — только ты не того... не очень откровенно...

— Вы люди образованные, — сказал Илья, — обмолвлюсь — не взыщите!

В нем вдруг точно вспыхнул целый сноп ярких искр. Он улыбался острой улыбочкой, и сердце его замирало в живой игре слов, внезапно рожденных его умом.

— Украла эта девушка деньги у одного купца...

— Час от часу не легче, — воскликнул Кирик, комически сморщивши лицо, и уныло покачал головой.

— Сами понимаете, когда и как могла она украсть... а может, еще и не украла, а подарок взяла...

— Танечка! — вскричал Кирик. — Иди сюда! Тут Илья такие анекдоты разводит...

Но Татьяна Власьева уже стояла рядом с Ильей. Натянута улыбаясь, она проговорила, пожимая плечами:

— Что ж такое? Очень обыкновенно все... ты знаешь таких историй сотни... барышень здесь нет... Но — это после... а пока — пожалуйста закусить, господа!

— Прошу! — закричал Кирик. — И я с вами закушу, хе-хе! Не фигурен каламбурчик, а веселенький...

— Аппетит возбуждает... — сказал Травкин и погладил себе горло.

Все отвернулись от Ильи. Он понял, что гости не желают его слушать, потому что хозяева этого не хотят, и это еще более возбудило его. Вставши со стула и обращаясь ко всем, он продолжал:

— И вот судят эту девицу люди, которые, может, сами не раз пользовались ею... некоторые из них известны мне... Жуликами назвать их — мало...

— Позвольте! — строго сказал Травкин, поднимая палец вверх. — Так нельзя-с! Это — присяжные заседатели... и я сам...

— Вот — присяжные! — воскликнул Илья. — Но могут ли они справедливы быть, ежели...

— Па-азвольте-с! Суд присяжных есть, так сказать, великая реформа, введенная на всеобщую пользу императором Александром вторым-с! Как можете вы подвергать поношению учреждение государственное-с?

Он хрипел в лицо Илье, и его жирные бритые щеки вздрагивали, а глаза вращались справа налево и обратно. Все окружили их тесной толпой и стояли в дверях, охваченные приятным предчувствием скандала. Хозяйка, побледнев, тревожно дергала гостей за рукава, восклицая:

— Господа, оставим это! Право же — неинтересно! Кирик, да попроси же...

Кирик растерянно хлопал глазами и просил:

— Пожалуйста!.. ну их к богу, реформы, проформы и всю эту философию...

— Это не философия, а по-ли-ти-ка-с! — хрипел Травкин. — Люди, рассуждающие подобным образом, именуются по-ли-ти-че-ски не-благо-надежными-с!

Горячий вихрь охватил Илью. Любо ему было стоять против толстенького человечка с мокрыми губами на бритом лице и видеть, как он сердится. Сознание, что Автономовы сконфужены пред гостями, глубоко радовало его. Он становился все спокойнее, стремление идти вразрез

с этими людьми, говорить им дерзкие слова, злить их до бешенства, — это стремление расправлялось в нем, как стальная пружина, и поднимало его на какую-то приятно страшную высоту. Все спокойнее и тверже звучал его голос.

— Называйте меня, как желательно вам, — вы человек образованный, но я от своего не отступлюсь!.. Разумеет ли сытый голодного?.. Пусть голодный — вор, но и сытый — вор...

— Кирик Никодимович? — захрипел Травкин. — Что такое? Это-с...

Но Татьяна Власьевна просунула свою руку под его и, увлекая за собой возмущенного человека, стала громко говорить ему:

— Любимые ваши тартинки — селедка, яйца вкрутую и зеленый лук, растертый со сливочным маслом...

— М-да! Это — я знаю-с! — обиженно воскликнул Травкин, громко чмокнув губами. Его жена уничтожающе посмотрела на Илью и, подхватив мужа под другую руку, сказала ему:

— Не волнуйся, Антон, из-за пустяков...

А Татьяна Власьевна продолжала успокаивать дорогого гостя:

— Стерлядки маринованные с помидорами...

— Нехорошо, молодой вы человек! — вдруг обернувши голову к Илье и упираясь ногами в пол, заговорил Травкин укоризненно и великодушно. — Надо уметь ценить... надо понимать, да-с!

— А я не понимаю! — воскликнул Илья. — Оттого и говорю... Почему Петрушка Филимонов — хозяин жизни?..

Гости проходили мимо Лунева, стараясь не коснуться его. А Кирик подошел вплоть к нему и сказал грубо, обиженно:

— Чорт тебя дери, болван ты — и больше ничего.

Илья вздрогнул, у него потемнело в глазах, как от удара по голове, и, крепко сжимая кулаки, он шагнул к Автономову. Но Кирик быстро отвернулся от него, не заметив его движения, и прошел к закуске. Илья тяжело вздохнул...

Стоя в двери, он видел спины людей, тесно стоявших у стола, слышал, как они чавкают. Алая кофточка хозяйки

окрашивала все вокруг Ильи в цвет, застилавший глаза туманом.

— Мм! — мычал Травкин. — Это удивительно вкусно... удивительно!..

— Хотите перцу? — спросила хозяйка нежным голосом.

«Я тебе задам перцу!» — с холодной злобой решил Лунев и, высоко вскинув голову, в два шага стоял у стола. Схватив чей-то стакан вина, он протянул его Татьяне Власьевне и внятно, точно желая ударить словами, сказал ей:

— Выпьем, Танька!..

Это подействовало на всех так, как будто что-то оглушительно треснуло или огонь в комнате погас и всех сразу охватила густая тьма, — и люди замерли в этой тьме, кто как стоял. Открытые рты, с кусками пищи в них, были как гнойные раны на испуганных, недоумевающих лицах этих людей.

— Выпьем, ну! Кирик Никодимович, скажи моей любовнице, чтобы пила она со мной! Что там?.. Зачем все втихомолку пакостничать? Будем открыто! Вот я решил — открыто чтобы...

— Негодяй! — резким, визгливым голосом крикнула женщина.

Илья видел, как она взмахнула рукой, и отбил кулаком в сторону тарелку, брошенную ею. Треск разбитой тарелки как будто еще более оглушил гостей. Медленно, беззвучно они отодвигались в стороны, оставляя Илью лицом к лицу с Автономовыми. Кирик держал в руке какую-то рыбку за хвост и мигал глазами, бледный, жалкий и тупой. Татьяна Власьевна дрожала, грозя Илье кулаками; лицо ее сделалось такого же цвета, как кофточка, и язык не выговаривал слов:

— Ты-ы... вреш-шь... вреш-шь... — шипела она, вытягивая шею к Илье.

— А хочешь — я скажу, какова ты нагая? — спокойно говорил Илья. — Сама же ты все родинки твои мне показала... Муж узнает, вру я или нет...

Раздался чей-то подавленный смех. Автономова взмахнула руками, схватила себя за шею и без звука упала на стул.

— Полицию! — крикнул телеграфист.

Кирик обернулся к нему и вдруг, наклонив голову, пошел, как бык, на Лунева.

Илья вытянул руку, толкнул его в лоб и сурово сказал:

— Куда? Ты сырой... я ударю тебя — свалишься... Ты — слушай!.. И вы все, тоже — слушайте... Вам правды негде услышать.

Но, отшатнувшись от Ильи, Кирик снова нагнул голову и пошел на него. Гости молча смотрели. Никто не двинулся с места, только Травкин, ступая на носки сапог, тихо отошел в угол, сел там на лежанку и, сложив руки ладонями, сунул их между колен.

— Смотри, ударю! — угрюмо предупреждал Илья Кирика. — Мне обижать тебя не за что! Ты — глупый... безвредный... Я не видал худого от тебя... отойди!

Он снова оттолкнул его уже сильнее и сам отошел к стене. Там, прислонясь спиной, он продолжал, поглядывая на всех:

— Твоя жена сама на шею мне бросилась. Она умная... Подлее ее женщины на свете нет! Но и вы тоже — все подлецы. Я в суде был... научился судить...

Он так много хотел сказать, что не мог привести в порядок мыслей своих и кидал ими, как обломками камней.

— Я ведь не Таньку обличаю... Это так вышло... само собой... у меня всю жизнь все само собой выходило!.. Я даже человека удушил нечаянно... Не хотел, а удушил. Танька! На те самые деньги, которые я у человека убитого взял, мы с тобой и торгуем...

— Он сумасшедший! — радостно крикнул Кирик и, прыгая по комнате от одного к другому, он кричал тревожно и радостно:

— Видите? Сошел с ума!.. Ах, Илья!.. ах ты! А-ах, братец!

Илья захохотал. Ему стало еще легче и спокойнее, когда он сказал про убийство. Он стоял, не чувствуя под собою пола, как на воздухе, и ему казалось, что он тихо поднимается все выше. Плотный, крепкий, он выгнул грудь вперед и высоко вскинул голову. Курчавые волосы осыпали его большой бледный лоб и виски, глаза смотрели насмешливо и зло...

Татьяна встала, пошатываясь, подошла к Фелицате Егоровне и вздрагивающим голосом говорила ей:

— Я видела давно... он давно уже... дикие глаза... страшный...

— Если сошел с ума, нужно позвать полицию, — внушительно сказала Фелицата, присматриваясь к лицу Лунева.

— Сошел, сошел! — кричал Кирик.

— Перебьет всех еще... — прошептал Грызлов, беспокойно оглядываясь. Они боялись выйти из комнаты.

Лунев стоял рядом с дверью, и нужно было идти мимо него. Он все смеялся. Ему приятно было видеть, что эти люди боятся его; он замечал, что гостям не жалко Автономовых, что они с удовольствием стали бы всю ночь слушать его издевательства, если б не боялись его.

— Я не сумасшедший, — заговорил он, сурово сдвигая брови, — только вы погодите, постойте! Я вас не пущу никуда... а броситесь на меня — бить буду... насмерть... Я сильный...

Протянув свою длинную руку с большим, крепким кулаком на конце, он потряс им в воздухе и опустил руку.

— Скажите мне — что вы за люди? Зачем живете? Крохоборы вы... сволочь какая-то...

— Ты! — крикнул Кирик. — Молчать!..

— Сам молчи! А я поговорю... Я вот смотрю на вас, — жрете вы, пьете, обманываете друг друга... никого не любите... чего вам надо? Я — порядочной жизни искал, чистой... нигде ее нет! Только сам испортился... Хорошему человеку нельзя с вами жить. Вы хороших людей до смерти забываете... Я вот — злой, сильный, да и то среди вас — как слабая кошка среди крыс в темном погребе... Вы — везде... и судите, и рядите, и законы ставите... Гады однако вы...

В это время телеграфист отскочил от стены, как мяч, и бросился вон из комнаты, проскользнув мимо Лунева.

— Эх! упустил одного! — сказал Илья, усмехаясь.

— За полицией! — крикнул телеграфист.

— Ну, зови! Все равно... — сказал Илья.

Мимо него прошла Татьяна Власьевна, шатаясь, как сонная, не взглянув на него.

— Ушиб! — продолжал Лунев, кивая на нее головой. — Она стоит того... гадина...

— Молчать! — крикнул Автономов из угла. Там он стоял на коленях и рылся в ящике комода.

— Не кричи, дурачок! — ответил ему Илья, усаживаясь на стул и скрестив руки на груди. — Что кричишь? Ведь я жил с ней, знаю ее... И человека я убил... Купца Полуэктова... Помнишь, я с тобой не один раз про Полуэктова заговаривал? Это потому, что я его удушил... А ей-богу, на его деньги магазин-то открыт...

Илья оглядел комнату. У стен ее молча стояли испуганные, жалкие люди. Он почувствовал в груди презрение к ним, обиделся на себя за то, что сказал им об убийстве, и крикнул:

— Вы думаете — каюсь я перед вами? Дожидайтесь. Смеюсь я над вами, вот что.

Из угла выскочил Кирик, красный, растрепанный. Он размахивал револьвером и, дико вращая глазами, кричал:

— Теперь — не уйдешь! Ага-а! Ты — убил?

Женщины ахнули. Травкин, сидя на лежанке, заболтал ногами и захрипел:

— Господа-а! Я больше не могу! Отпустите... Это ваше семейное дело...

Но Автономов не слышал его голоса. Он прыгал пред Ильей, совал в него револьвером и орал:

— Каторга! Мы тебе покажем!..

— Да ведь и пистолетишко-то, чай, не заряжен? — спросил его Илья, равнодушно, усталыми глазами глядя на него. — Что ты бесишься? Я не уйду... Некуда мне идти... Каторгой грозишь? Ну... каторга, так каторга...

— Антон, Антон! — раздавался громкий шопот жены Травкина, — иди...

— Я не могу, матушка...

Она взяла его под руку. Рядом друг с другом они прошли мимо Ильи, наклонив головы. В соседней комнате рыдала Татьяна Власьевна, взвизгивая и захлебываясь.

В груди Лунева как-то вдруг выросла пустота — темная, холодная, а в ней, как тусклый месяц на осеннем небе, встал холодный вопрос: «А дальше что?»

— Вот и вся моя жизнь оборвалась! — сказал он задумчиво и негромко.

Автономов стоял пред ним и торжествуя вскрикивал:

— Не разжалобишь!

— Да я и не пытаюсь... чорт вас всех возьми! Я сам скорее собаку пожалею, чем вас... Вот если бы мог я... уничтожить вас... всех! Ты бы, Кирик, прочь отошел, а то глядеть на тебя противно...

Гости тихонько выползли из комнаты, пугливо взглядывая на Илью. Он видел, как мимо него проплывают серые пятна, не возбуждая в нем ни мысли, ни чувства. Пустота в душе его росла и проглатывала все. Он помолчал с минуту, вслушиваясь в крики Автономова, и вдруг с усмешкой предложил ему:

— Давай, Кирик, поборемся?

— Пулю в башку! — заревел Кирик.

— Да нет у тебя пули! — насмешливо возразил Лунев и уверенно добавил: — А как бы я тебя шлепнул!

Потом, оглянув публику, он просто, ровным голосом сказал:

— Кабы знал я, какой силой раздавить вас можно! Не знаю!..

И после этих слов он уже не говорил ничего, сидя неподвижно.

Наконец пришли двое полицейских с околоточным.

А сзади них явилась Татьяна Власьева и, протянув к Илье руку, сказала задыхающимся голосом:

— Он сознался нам... что убил менялу Полуэктова... тогда, помните?

— Можете подтвердить? — быстро спросил околоточный.

— Что ж? Можно и подтвердить... — ответил Лунев спокойно и устало.

Околоточный сел за стол и начал что-то писать, полицейские стояли по бокам Лунева; он посмотрел на них и, тяжело вздохнув, опустил голову. Стало тихо, скрипело перо на бумаге, за окнами ночь воздвигла непроницаемо черные стены. У одного окна стоял Кирик и смотрел во тьму, вдруг он бросил револьвер в угол комнаты и сказал околоточному:

— Савельев! Дай ему по шее и отпусти, — он сума-
шедший.

Околоточный взглянул на Кирика, подумал и от-
ветил:

— Н-нельзя... эдакое заявление!

— Эх... — вздохнул Автономов.

— Добрый ты, Кирик Никодимыч! — презрительно
усмехаясь, сказал Илья. — Собаки вот есть такие — ее
бьют, а она ласкается... А может, ты не жалеешь меня,
а боишься, что я на суде про жену твою говорить буду?
Не бойся... этого не будет! мне и думать про нее стыдно,
не то что говорить...

Автономов быстро вышел в соседнюю комнату и там
шумно уселся на стул.

— Ну-с, вот, — заговорил околоточный, обращаясь
к Илье, — бумажку эту можете подписать?

— Могу...

Он взял перо и, не читая бумаги, вывел на ней круп-
ными буквами: Илья Лунев. А когда поднял голову, то
увидал, что околоточный смотрит на него с удивлением.
Несколько секунд они молча разглядывали друг друга, —
один заинтересованный и чем-то довольный, другой равно-
душный, спокойный.

— Совесть замучила? — спросил околоточный вполго-
лоса.

— Совесть нет, — твердо ответил Илья.

Помолчали. Потом из соседней комнаты раздался
голос Кирика:

— Он с ума сошел...

— Пойдемте! — предложил околоточный, передернув
плечами. — Рук связывать вам не буду... только вы
не того... не убегайте!

— Куда бежать? — кратко спросил Илья.

— Побожитесь, что не убежите... ей-богу!

Лунев взглянул на сморщенное, сожаляющее лицо
околоточного и угрюмо сказал:

— В бога не верю...

Околоточный махнул рукой.

— Идите, ребята!..

Когда ночная тьма и сырость охватили Лунева, он
глубоко вздохнул, остановился и посмотрел в небо, почти

черное, низко опустившееся к земле, похожее на закопченный потолок тесной и душной комнаты.

— Иди! — сказал ему полипейский.

Он пошел... Дома стояли по бокам улицы, точно огромные камни, грязь всхлипывала под ногами, а дорога опускалась куда-то вниз, где тьма была еще более густа... Илья споткнулся о камень и чуть не упал. В пустоте его души вздрогнула надоедливая мысль:

«А дальше что будет? Петрухин суд?»

И тотчас же пред ним встала картина суда, — ласковый Громов, красная рожа Петрухи Филимонова...

Пальцы его ноги болели от удара о камень. Он пошел медленнее. В ушах его звучали бойкие слова черненького человечка о сытых людях:

«Прекрасно разумеют, оттого и строги...»

Потом он вспомнил благодушный звук голоса Громова:

«А признаете вы себя виновным...»

А прокурор тягуче говорил:

«Скажите нам, обвиняемый...»

Красная рожа Петрухи хмурилась, и толстые губы на ней двигались...

Невыразимая словами и острая, как нож, тоска впиалась в сердце Ильи.

Он прыгнул вперед и побежал изо всей силы, отталкиваясь ногами от камней. Воздух свистел в его ушах, он задыхался, махал руками, бросая свое тело все дальше вперед, во тьму. Сзади него тяжело топали полицейские, тонкий, тревожный свист резал воздух, и густой голос ревел:

— Держи-и!

Всё вокруг Ильи — дома, мостовая, небо — вздрагивало, прыгало, лезло на него черной, тяжелой массой. Он рвался вперед и не чувствовал усталости, окрыленный стремлением не видеть Петруху. Что-то серое, ровное выросло пред ним из тьмы и повело на него отчаянием. Он вспомнил, что эта улица почти под прямым углом повертывает направо, на главную улицу города... Там люди, там схватят...

— Эх вы, ловите! — крикнул он во всю грудь и, наклонив голову вперед, бросился еще быстрее... Холодная, серая каменная стена встала пред ним. Удар, похожий

на всплеск речной волны, раздался во тьме ночи, он прозвучал тупо, коротко и замер...

Потом еще две темные фигуры скатились к стене. Они бросились на третью, упавшую у подножия стены, и скоро обе выпрямились... С горы еще бежали люди, раздавались удары их ног, крики, пронзительный свист...

— Разбился? — задыхаясь, спросил один полицейский.

Другой зажег спичку, присел на землю. У ног его лежала рука, пальцы ее, крепко стиснутые в кулак, тихо расправлялись.

— Совсем, кажись... башка лопнула...

— Гляди — мозг...

Черные фигуры каких-то людей выскакивали из тьмы...

— Ах, леший... — тихо выговорил полицейский, стоявший на ногах. Его товарищ поднялся с земли и, крестясь, устало, задыхающимся голосом сказал:

— Упокой, господи... все-таки. .

ПУБЛИКА

I

Перед публикой стоял человек, поднявшийся из темных глубин жизни для того, чтобы свидетельствовать о позоре и ужасе ее, — он стоял перед публикой и говорил ей:

— Сердце мое алчет правды, и пора мне насытить голод сердца моего!

— Медленно и долго я поднимался с низу жизни к вам на вершину ее, и на все, в пути моем, я смотрел жадными глазами соглядателя, идущего в землю обетованную.

— Шел я и видел по дороге моей множество несчастий, скорби и горя, кровью плакало сердце мое, глубокие, неизлечимые раны нанесла ему тяжелая рука суровой правды жизни — и ничто не уврачуется этих ран, кроме острого яда мести!

— Но среди ужаса, который видели глаза мои, было несколько случаев, особенно памятных мне; они-то наиболее решительно и ясно освещают гнусную жестокость и позор жизни, устроенной вами на земле, и вот о них я хочу рассказать вам здесь для того, чтоб хоть краской стыда облагородить на время самодовольные лица ваши, ибо — поистине! — узнал я вас и не могу надеяться на большее!

— В его дерзости есть что-то оригинальное! — сказала публика и начала рукоплескать интересному рассказчику, еще не знакомому ей.

.....

В знойный полдень на окраине одного из южных городов, недалеко от тюремной стены, сидели четверо рабочих. Они были голодны и смотрели на все вокруг злыми и жадными глазами, как четыре ворона, давно не видавшие падали.

Один из них был седой старик, должно быть, богомольный человек и, видимо, бездомный, отставной солдат; другой — высокий, чахоточный мужичок с рыжей острой бородкой; третий — хромал на левую ногу, и четвертый — молодой парень, весь в язвах, с большими глазами испуганного теленка, — все четверо — инвалиды великой и несчастной армии людей, руками которых создается все на земле...

Стараясь не двигаться, чтобы не раздражать голода, который жег им внутренности, они сидели на гряде камня и, задыхаясь от зноя, изредка медленно и ворчливо говорили что-то друг другу и все по очереди отрицательно кивали головами.

Я смотрел на них сквозь решетку тюремного окна, и в неподвижной знойной тишине мне были ясно слышны хриплые речи старика, сухой кашель чахоточного, краткие восклицания хромого, похожие на отрывистый, бесильный лай старой собаки. Парень молчал, разглядывая неподвижным взглядом мертвеца мое лицо в окне тюрьмы.

— Хоть камень гложи, — сказал чахоточный и, взяв в руку камень, бессильно швырнул его прочь от себя.

— Вон — жид идет, — проговорил старик.

Недалеко от них быстро шагал высокий тонкий еврей, согнувшись и придерживая одною рукой отвесную пазуху длинной черной одежды. Его другая рука странно болталась в воздухе, точно пытаясь схватить что-то никому, кроме ее хозяина, не видимое. Из-под его босых ног

* Далее в рукописи следует рассказ, напечатанный в настоящем томе под заглавием «Девочка». *Ред.*

клубами вздымалась пыль, и весь он точно летел в ее сером горячем облаке.

— Эй! — крикнул хромой.

Товарищи молча посмотрели на него.

— Эй, милый! — громко повторил хромой, когда еврей поравнялся с ним.

Черная тонкая фигура сразу остановилась, точно в ней вдруг сломалось то, что приводило ее в движение.

— Н-ну? — раздался высокий, тонкий, тревожный голос.

— Слушай! — заговорил хромой, — не знаешь ли ты какой работы нам вот, а?

— Нет работы! — быстро качнув головой, ответил еврей.

— Нету?

— Нигде нет никакой работы!

— А — хлеба... никто не дает... не подают здесь?

Еврей помолчал, потом тем же высоким и тревожным голосом молвил:

— Не знаю... а! как всем нужно иметь хлеб!

— У тебя что за пазухой? — неожиданно спросил парень с телячьими глазами. Спросил и глупо, громко захохотал...

— Это — для моих детей... прощайте!

Еврей покачулся, взмахнул рукой и пошел, увлекая за собою четыре пары жадных глаз.

Но тотчас же парень вскочил на ноги, оглянулся, прыгнул вслед за евреем и, сильно размахнувшись, ударил его сзади в ухо. Удар был тяжел и крепок, — еврей упал в пыль дороги без звука, как срубленное дерево.

— Вот!.. — громко сказал парень и нагнулся над упавшим, а когда он выпрямился, в руках у него были два круглых хлеба. Четверо людей быстро слились в одну тесную кучу тела и лохмотьев и молча стали есть, изредка поглядывая на еврея, все еще неподвижного.

Но вот он приподнял голову... потом вытянулся... и быстро сел на дороге, весь серый от пыли. По лицу у него текла кровь, он дотрагивался рукой до лица, подносил руку к глазам, смотрел на нее и снова стирал ею кровь. Все это он делал молча и не глядя на четверых людей, которые тоже молча пожирали его хлеб.

Потом он встал на ноги, пошатнулся и пошел, опустив руки вдоль туловища.

— Дай ему еще! — сказал хромой парню. Лицо у хромого — я видел — было красное, довольное.

Послушно и не торопясь парень дважды шагнул, взял еврея сзади за шиворот, повернул его к себе лицом и ударил раз, два. Еврей снова упал. Но на этот раз он крикнул звонким, режущим сердце голосом:

— Что вы делаете?

Парень довольно усмехнулся.

— Едим твой хлеб, — ответил чахоточный.

— А ты — соси свою кровь, — громко добавил хромой.

Парень захохотал деревянным смехом идиота.

Тогда вмешался и старик.

— Соси кровь — верно! — сказал он. — Христову-то кровь, небойсь, пили, жиды проклятые? То-то! Никогда вам не забудется! Идем, ребята!

Они пошли, и стена тюрьмы скрыла от меня их зловещие фигуры.

Еврей все сидел на земле и вытирал рукой залитое кровью лицо. Он что-то бормотал — молитву или проклятия — мне не слышно было. Потом он поднялся и, бесильно качаясь на тонких ногах, стал смотреть в ту сторону, куда ушли ограбившие его. Одна его рука неподвижно висела вдоль туловища, а другая все судорожно поднималась к лицу, стирая с него кровь и пыль. Вот он сунул руку за пазуху, вырвал ее оттуда, взмахнул головой вверх и — весь изломанный, спотыкаясь и размахивая руками, как большая раненая птица крыльями, — побежал снова в ту сторону, откуда пришел...

На окраине города, в грязной луже среди улицы, играли три мальчика. Высоко подобрав штаны, они ходили взад и вперед по грязи, гуськом один за другим, изображая пароход и баржи.

На бледном, весеннем небе весело и ярко горело солнце, воздух был напоен густым запахом свежей

листвы, теплая грязь мягко ласкала голые ноги мальчишек, и ребята были довольны — маленьким людям немного нужно грязи, чтобы быть довольными жизнью.

Пароход изображал крепкий мальчик лет десяти, он был одет лучше, чем его товарищи, в платье более крепкое и чистое, чем у них, и, видимо, был более сытым, чем они. Лицо у него было смуглое, здоровое, а глаза — матовые и круглые, как две медные монеты.

Сзади парохода, держась рукой за его пояс и качаясь с боку на бок, шагал колченогий рыжий человечек тоже лет десяти, с пестрым от веснушек лицом и плутуватыми голубыми глазами.

А третий мальчик — тонкий, черненький, проворный, как мышонок, с кривой, робкой улыбкой на тонких губах — третий был косой на оба глаза.

По морю, от земли
Поплыли корабли

— громко пел мальчик, изображавший пароход, и, в такт песне, крепко бил ногами по грязной воде.

— Не брызгайся, Мишка! — предупредил его рыжий.

Поплыли корабли —
Рыжих к чорту повезли!

— присочинил Мишка к своей песне, продолжая брызгать.

— Слесарев жиденок вышел! — сказал рыжий, и его большой рот растянулся широкой улыбкой.

Все трое остановились на месте, глядя вдоль улицы. Недалеко от них, у ворот старого маленького дома, стоял, весь испачканный сажей и маслом, мальчик-еврей. Он поднял голову кверху, прищурил глаза и улыбался, глубоко вздыхая всей грудью.

— Бориска! — тонким голосом крикнул косой.

— Давайте, окрестим его в луже? — тихо предложил Мишка.

— За что? — робко спросил косой. — Ведь он тебе ничего не сделал...

— Смешно будет! — уверенно ответил Мишка.

— И вправду — смешно! — согласился рыжий мальчик. — Как он барахтаться будет в лужице-то!

И рыжий громко захохотал.

— Ты, косой, — дурак! — заговорил Мишка твердо и убежденно. — Говоришь тоже — за что? А кто Христа распял? Ага? Жида распяли... стало быть, их тоже надо мучить! Мой отец говорит — они всегда... хитрые! Они хотят со всего света деньги забрать и — больше ничего! И чтобы все русские на них работали — знаешь? Отец — знает, он читал... да!

Лицо у Мишки стало оживленно-злым, и в матовых его глазах сверкали зеленые искры...

— Давай! — согласился рыжий мальчик, торопливо толкая косого в бок. — Зови его, ты с ним дружишься... Как он будет... в грязи-то!

И рыжий снова захохотал.

Косой сконфуженно улыбнулся и тихо сказал:

— А простудится...

— Ничего! — уверенно возразил Мишка. — Тут — близко, убежит домой... А то — больно нужно! Чего его, жиденка-то, жалеть? Их — много! Зови, кривой...

Мишка волновался, предвкушая забаву; рыжий тоже увлекся, его глаза задорно сверкали, он толкал косого мальчика в плечо и шептал ему:

— Ну, кисель, скорее...

— Бориска! — негромко позвал косой, опустив голову и не глядя на еврея.

— Ну? — равнодушно отозвался еврей.

— Иди сюда...

— Какую я штуку нашел! — нетерпеливо вскричал Мишка.

— Вот штука! — поддержал рыжий товарища, чмокая губами.

Еврей покачнулся на тонких ногах, склонил голову на плечо и странно, боком, пошел к луже. Но тотчас же нерешительно остановился, подумал о чем-то, глядя на троих мальчиков, и спросил их сиплым голосом усталого человека:

— Дратья не будете?

— Иди, Бориска, не тронем! — громко и весело отозвался рыжий.

Двое мальчиков насторожились, как сычи ночью, и одновременно опустили головы, скрывая блеск своих

глаз, а косой — медленно и робко подвинулся в сторону от них.

— Какая штука? Железная? — спросил еврей, тихо и серьезно.

Его угловатое, костлявое лицо, черное от сажи и грязного масла, лоснилось на солнце, а большие глаза были устало прикрыты длинными ресницами. Голову он склонил вниз и набож, длинные худые руки бессильно повисли вдоль тонкого тела, — видимо, он был замучен работой, непосильной ему.

— Штука? — крикнул Мишка. — Вот она какая!

Быстро взмахнув рукой, он ударил еврея в лицо и, когда тот пошатнулся, ловко толкнул его в бок, а рыжий подставил ногу и еще толкнул.

Еврей вытянул руки вперед и грузно упал в лужу, опираясь на них, но руки не выдержали тяжести тела, подогнулись, он ткнулся лицом в грязь и молча, жалко, как большая подстреленная птица, затрепетал в ней.

— Ур-ра! — кричал рыжий мальчик, отскакивая в сторону.

— Окрестили жида! Окрестили жиденка! — радостно кричал Мишка, приплясывая. Косой мальчик тоже улыбался растерянной и робкой улыбкой.

Они все отбежали на панель улицы и оттуда смотрели на еврея.

А он медленно поднялся на ноги, весь мокрый и грязный, молча провел рукой по лицу, стирая с него грязь, и глухо, с невыразимой ненавистью, сказал:

— Сволочи!..

Потом он поднес руку к глазам и медленно опустил ее. Из носа у него текла кровь, и плевал он кровью, — должно быть, ему разбили губу.

— Что, жиденок? Попало? — кричал ему рыжий мальчик.

— Христа распял, пархатый жид! — раздельно и громко вторил Мишка. — Рожу-то разбили? Ага!

Косой мальчик прислонился к тумбе и смотрел на своих приятелей бегающими глазами, а на его тонких губах играла скверная, подобострастная улыбка. Качаясь на ногах и низко наклонив голову, еврей пошел прочь, оглядываясь на врагов, с его одежды ручьями

текла вода, он все вытирал дрожащей рукой грязь и кровь с лица и плевался кровью, а его глаза были широко открыты и полны крупными слезами боли, страха и ненависти...

Мишка, притопывая ногой, кричал вслед ему:

— Пососи-ка свою кровь, пархатый! Христа распял — ага!

...Я спрашиваю — кто виноват, что среди вас, господа, все еще живет этот позорный предрассудок, порождающий ненависть даже в сердцах детей?

— Э, да он юдофил! — сказала публика. И хотя некоторые тотчас же подумали, что евреи заплатили рассказчику денег за такое отношение к ним, другие же просто нашли рассказ скверным, — но однако все твердо знали, что внешнее сочувствие гонимому народу — необходимый признак порядочности и, были уверены, не налагает на них никаких обязанностей, а потому — все рукоплескали ему.

Он смущенно посмотрел на публику, подумал и продолжал.

5 *

.....
Он кончил свой рассказ и замолчал и, бледный, внимательно смотрел на публику, а она приятно улыбалась и оживленно рукоплескала ему.

Ей понравилась маленькая история, этот дворник-поэт был забавен, а веселая девица, вся в белом, — очень мила, но эта добрая публика не заметила в рассказе той наивной простоты, с которой люди издеваются над человеком.

Те же, которым была понятна цель рассказа, нашли, что пример взят неудачно: им были известны случаи более жестокой травли человека.

И как ни забавен был герой рассказа, он все же многим показался сочиненным, и многие из публики нахо-

* Далее в рукописи следует рассказ, напечатанный в настоящем томе под заглавием «Рассказ Филиппа Васильевича». *Ред.*

дили, что было бы правдивее заменить его приказчиком, — они, видимо, находили, что торговля ближе к поэзии, чем простой мускульный труд.

Другие замечали, что не следовало автору заставлять своего героя стреляться: по их мнению, этот род самоубийства был не типичен для дворника и в интересах художественной правды было бы лучше, если б он повесился.

Одним рассказ казался длинен, другие утверждали, что он слишком краток, большинство же, как всегда, скромно молчало, ожидая, когда составитя то мнение, к которому удобнее присоединиться.

Но все рукоплескали, ибо надо же выражать одобрение забавникам!

— Молчание! — вскричал автор. — Мои слова — серьезнее рукоплесканий, и говорю я их не для того, чтобы оставить память о себе, а для того, чтобы они вонзились в вашу память, подобно раскаленным иглам!

— Я был свидетелем неисчислимого множества ваших преступлений против человека, я видел поругание его и слышал стоны истерзанных сердец, и горечь его скорби отравила мне сердце, а память моя полна ужасов, и поэтому теперь я чувствую себя обвинителем, призванным из глубин жизни напомнить вам все ваши злые, грязные и скверные дела!

— Я хотел бы, чтоб голос мой был подобен трубе архангела, возвещающего миру час страшного суда, я хочу возбудить в сердцах ваших трепет ужаса и зажечь в них пламя отчаяния и воздвигнуть полумертвых к жизни, к борьбе со скверной внутри и вне вас, я хочу возбудить в людях уважение к человеку.

— Вот я расскажу вам еще один случай.

6

Душная летняя ночь, без звезд и луны, властно окутала город, и, как большое утомленное животное, он глухо рычал, погружаясь в сон.

Медленно и зловеще двигались черные облака, опускаясь тяжелым покровом все ниже и ниже к земле;

покрытые пылью деревья городского сада стояли неподвижно, точно они задохнулись и умерли в душной тьме.

В темный, густо заросший угол сада, где я лежал, доносились военная музыка — играли марш, в нем был слышен топот лошадей, плач женщин, чья-то прощальная песнь, и эти звуки, сливаясь с ними, заглушало тяжелое дыхание паровой машины на осветительной станции.

Я лежал на старой, расшатанной скамье, под кустами акации, прислушивался, как голод сосет мое тело, у меня кружилась голова от слабости, и острое чувство злобы на жизнь, еще недавно терзавшее меня так же мучительно, как голод — теперь, — это чувство умирало во мне.

Где-то далеко, во тьме среди деревьев, тревожно сверкали огни, и казалось, что они хотят оторваться от земли и улететь в печальное, темное небо.

Из-за поворота аллеи показалась маленькая круглая фигурка женщины; неторопливо и качаясь с боку на бок, она подходила ко мне все ближе, вполголоса напевая, и скоро я разобрал слова ее песни:

Просидела день без дела,
Капитал свой весь проела...

Мелодия звучала задумчиво и грустно, но, когда женщина заметила меня на скамье, она весело, заигрывающим тоном, проговорила:

— Батюшки, кто-то лежит... ай, страх какой!

Я не ответил, не пошевелился. И она прошла мимо, зорко присматриваясь ко мне, а пройдя, запела снова, но уже громче и с удалством:

Мил дерется, коль не сыт;
Милый сытый только спит...
Эх, я ушла бы от него,
Да нет на свете никого!

Мне показалось, что если я сяду и крепко сожму живот руками, то не буду так сильно чувствовать сухую боль голода. Тяжело повернувшись, я сел. Скамья жалобно закричала, и этот стонущий, тонкий звук заставил женщину оглянуться. Ее песня оборвалась. Одинокая

тяжелая капля дождя упала мне на руку, и я зачем-то слизал ее языком.

Женщина незаметно воротилась и встала против меня.

— Ты что тут сидишь? — спросила она. — Пьяный, что ли?

— Уйдите, — ответил я. — Я не пьян... и... вам не нужен...

— Да мне и никто не нужен, — спокойно и звонко сказала она. — Наплевать мне на всех вас...

Она подошла к скамье, села рядом со мной, зажгла спичку и, осветив мое лицо, протянула насмешливо:

— Н-ну и рожа...

Она закурила папиросу и стала раскачивать корпус — скамейка от этого скрипела, а мне казалось, что этот жалобный скрип раздается в моем теле. Папироса, вспыхивая, освещала лицо моей соседки — это было миленькое, круглое русское девичье лицо, с голубыми ясными глазами и еще не погасшим румянцем на полных щеках.

— Больной, что ли? — спросила она.

— Да, — ответил я.

Я пошла бы к своему краю,
Да родилась где — не знаю..

— пропела девушка тихонько и в нос... Потом, не глядя на меня, спросила:

— Ночевать негде?

— Негде...

— Ну, вот. А я... всегда найду себе место... только захотеть... Ну, однако не хочу...

И она, упрямо тряхнув головой, отшвырнула папиросу в кусты.

— Не хочу... Ты — голодный?

— Да, — тихо сказал я.

— А я — сытехонька... час назад — щи ела в трактире и котлеты... с луком... Горячие котлеты... вкусно! Чай, поел бы котлет?

Она засмеялась звонким смехом, похожим на холодный звук разбиваемого стекла.

Мне захотелось уйти, но, встав на ноги, я пошатнулся и понял, что лучше уж сидеть здесь, чем валяться где-нибудь на улице.

— Не держак ножки-то! — заметила моя соседка, и в ее голосе — мне показалось — прозвучала какая-то радость. С минуту она молчала. Музыка перестала играть, и теперь в воздухе было слышно только усталое, тяжелое дыхание машины.

— Слушай! — вдруг ласково и негромко заговорила девица, близко наклоняясь ко мне. — Хочешь, я тебе дам... двугривенный?... а? Хочешь, ну?

— Дайте... — тихо сказал я, — я вам отдам... потом ..

От предвкушения возможности поестъ я даже задрожал весь жадной дрожью голодного.

— Видишь? Вот он, двугривенный... вот! Сколько на него можно купить... ты подумай!.. Два дня сыт будешь! Ну, дать?

Я молча протянул руку.

— Значит, дать?

Вдруг она громко засмеялась, ударила меня по руке, широко размахнулась и кинула монету в кусты. Я слышал тихий металлический звон — это двугривенный задевал ветки, падая на землю, во тьму.

Не понимая ее поступка, я молча смотрел на нее.

А она, отступив на шаг от меня, наклонилась и злым громким голосом заговорила:

— Видал? Ты думал — и вправду дам я тебе на хлеб? Как же, нашел дуру... И если б вас тут сотня с голоду издыхала — все равно... Прощай...

Она цинично выругалась и пошла прочь от меня. Но шагах в пяти снова остановилась и дрожащим голосом, в котором мне почудились слезы, глухо заговорила:

— Может, ты и невинен... может, и хороший человек... а на вот! Терпи... за товарищей терпи — понял? А я буду знать, что и сама тоже... хоть один раз... одну собаку прищемила...

Голос ее обрывался и звучал все глуше... А мне казалось, что в лицо мое бьют тяжелыми, липкими комьями грязи, и я дрожал от боли оскорбления, болей голода... и оттого еще, что я понял боль и муку ее сердца, отравленного грязью жизни.

Она пошла дальше... и ее маленькая фигура растаяла во тьме. Но издали, из густой тьмы, до меня еще раз до-
несся ее голос:

— Скажи им... подлецам... коли не издохнешь тут...

Вокруг меня стало мертвенно тихо, только машина все вздыхала тяжелыми вздохами измученного животного, да огни вдали испуганно дрожали... И земля подо мной кружилась, качалась, как будто пытаюсь сбросить меня куда-то с груди своей, загрязненной людьми.

7

Он снова замолчал, слезы скорби, гнева и стыда за людей блестели на его глазах, а глаза публики искали человека, который дал бы ей мнение, и уши ее готовы были выслушать его.

И вот нашелся этот человек: где много публики, там всегда достаточно пошлости.

— История — грязновата, — сказал он, — да, история — грязновата, и ее можно бы рассказать лучше: скромнее и красивее.

— Ах, это правда! — искренно вскричала одна дама. — Я не могу понять, зачем нам говорят о таких вещах. Поднимите нас выше, выше над землей, дайте отдохнуть глазам и сердцу на чем-нибудь светлом. Ведь в жизни каждого из нас — довольно мук и горя, а нас стараются ткнуть носом еще и в эту грязь.

— Но, все же надо согласиться, у него недурная манера рассказывать, — заметил некий объективный человек.

— О да, он интересен!

— Ах, если б он рассказал что-нибудь эдакое... воз-
вышающее!

— Он, вероятно, может! Он ведь еще не стар...

И снова раздались рукоплескания. Знакомый мой стоял средь них, и лицо его так горело, точно все эти люди одной огромной рукой били его по щекам, и в глазах его сверкал почти безумный гнев.

— Молчание! — вскричал он всей силой груди. — Не оскорбляйте похвалой вашей, ибо она для меня

доказательство смерти вашего сердца. Не хвалить должны бы вы, а гордо закричать мне: «Ты лжешь! Жизнь эта выстроена нами, и в ней не может быть того, о чем ты говорил нам! Прочь, клеветник!» Вот чем должны бы вы ответить на мой рассказ! А вы им только забавляетесь, как дети — грязью, хотя бы эта грязь была увлажнена горячей кровью человека! Люди вы или только удобрение земли для посевов будущего?

— Нет, о позоре жизни, который вы так пышно всюду развели, мне бесполезно говорить вам. Как [слезы], падая на камень, не заставляют его звучать, так и мои слова не будят в сердце вашем ни звука! Теперь я буду говорить вам о вас самих!

Он задохнулся от волнения, этот бедный рыцарь правды, а публика, пользуясь его молчанием, обменялась несколькими замечаниями — ведь нет слов, которые удивили бы ее новизною своей!

— Немного аффектировано, но недурно! — сказали одни.

— Но ведь это уже публицистика? — осведомились другие.

— Какой-то странный род искусства! — пожав плечами, сказали третьи.

И снова все стали рукоплескать ему. Он дождался, когда они утомились, и продолжал:

— Я — люблю вас!

— Я люблю вас голодной любовью отчаяния, как любят развратную, пошлую женщину, когда некого любить, кроме ее; я люблю вас с болью в сердце; моя любовь — огненная мука моя, — она дает мне неотъемлемое право быть беспощадным в ненависти к вам! .

Он сделал последнее усилие и вскричал криком раненого насмерть:

— Проклинаю всех вас проклятием вечной неудовлетворенности, проклятием неукротимой тоски по лучшему, злыми муками бесчисленных желаний проклинаю всех вас!

Что мог он сделать еще? Он догадался и разбил себе голову, и погас огонь мысли его навсегда.

Попирая ногами неостывший мозг безумного, люди толпились около трупа и говорили друг другу:

— Он недурно рассказывал, но был романтик.

— Жаль, рано умер. Еще не стар и мог бы сделать кое-что!

— А в сущности, он был ненормальный человек!

Хоронили его с почестями и с сожалением, те же, которые были обрадованы его смертью, умело скрыли свою радость, и никто не узнал о ней, кроме Дьявола.

За окном моей комнаты вьюга гордо поет холодную песнь одиночества, тлеют угли в печи предо мной, и сверкает среди них красным пламенем мудрое лицо Дьявола, и дрожит над головой моей, как чей-то отдаленный смех и стон, какой-то странный звук, неуловимый, точно тень.

О ПИСАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАЗНАЛСЯ

...Нехорошо, когда писатель много имеет почитателей, нехорошо! Только болотным растениям не вредит избыток сырости. Дубам нужно ее в меру.

Здесь я рассказываю об одном писателе, который по дороге к цели своей неожиданно забрел в трясины популярности, о том, как смешно и неловко он вел себя, наглотавшись похвал толпы, и что произошло с ним, когда голова его закружилась от туманных испарений славы.

Был он парень молодой, простодушный, но не совсем дурак и отличался от товарищей по ремеслу тем, что, всегда искренний, каждый день противоречил сам себе.

Жил он в стране, литература которой пользовалась всемирной славой, и когда начал спотыкаться о первые признаки популярности, то отнесся к ним с недоверием и подумал:

«Странно — в трубы им трубят — не слышат, дудочка поет — радуются!»

Парень этот не был скромн, отнюдь нет! Но он знал себе цену, вот в чем дело... И еще он знал, что в его родной стране нет народа, а есть только «публика», и что именно «публика» создает литературные и иные репутации, а народ живет своим бытом, писателями пренебрегает, верит в колдунов, всю жизнь только работает, но всегда голодает и всю литературу, вместе с другими, любимыми «публикой» искусствами, в любой момент готов променять на мешок муки.

Но хотя герой мой твердо знал все это, однако — человек он был! К тому же все писатели — люди более или менее ограниченные. Он начал чувствовать, что ожесточенное внимание «публики» к его книгам — приятно ему. Он стал получать от читателей лестные письма.

Один читатель писал: «Талантливый», другой, черным по белому, выводил: «Многоуважаемый», какая-то читательница написала просто, но сильно: «Душка! Спасибо!» — точно писатель-то шелку на кофточку ей подарил. А один лавочник, торговавший книгами, прислал письмо следующего содержания:

«М. Г. господин писатель!

Будучи заинтересован, почему это публика так здорово покупает ваши многоуважаемые книги, я оные прочел, и из меня вылились следующие стихи:

Как лилии в болоте,
В душе моей унылой
Цвели мечты и грезы
О жизни без препон.
Цвели они, — но — кратко,
Цвели и — увядали,
И в тине сердца гнили,
И пахли очень скверно...
Но ты проник мне в сердце
Своим горячим словом,
Как искрами осыпал
Ты мрак моей души!
И запылал я страстно,
И стал безумно храбрым,
И ныне гордо пахну
Паленою щетиной.

С истинным почтением

Семен Ястребов.

И много других знаков внимания получал писатель от «публики». А чорт, верный спутник писателя, смеясь, подсказывал ему:

— Не смущайся, дурачок, ведь это по заслугам тебе, ты для публики — как молодая любовница расслабленному старику. А также ты не притворяйся оскорбленным, ибо — «карась любит, чтобы его жарили в сметане», а писатель — чтобы его коптили в дыму славы!

И вот герой мой начал потихоньку высовываться на глаза влюбленной в него «публики», а она — рукоплещет. И стал он к этому привыкать, как пьяница к водке, и стало ему без рукоплесканий скучновато жить, и с тем вместе зазнаваться парень стал.

Однажды в людном месте толпа «публики» окружила его, приперла к стене и, хлопая в ладоши, одобрительно прокричала: «Браво! Браво!», а он стоял перед толпой, умиленно улыбаясь, и было ему так сладко, точно его в патоке варили. Первый раз видел он «публику» на таком близком расстоянии. Но вдруг ему стало неловко, даже жутко; показалось ему, что сейчас начнут щекотать его под мышками, и в голове его заройлись разные нелепые мысли. Казалось, что каждый из толпы, разглядывая его, мысленно сравнивал свои уши с ушами писателя, желая с точностью определить: чьи длиннее? Он почувствовал, что уши его растут и достигают гигантских размеров. А «публика» смотрит и кричит: «Браво! Браво!» Тогда в уме моего парня загорелось злое сомнение в принадлежности своей самому себе, и он подумал:

«Они считают меня собственностью и сейчас начнут играть мною, как мячиком».

А чорт, стоя сзади него, ехидно посмеивался:

— Гляди-ка, гляди!

Видит писатель — с десятков возросла толпа до сотен, а все рукоплещет. Стоят среди нее благовоспитанные потомки Иуды Искарюта, Игнатия Лойолы и всех других хриstopродавцев, стоят твердо и тоже рукоплещут ему. Глаза «публики», как сотни иголок, воткнулись в грудь моего героя, он смотрел в смущении на толпу: лица ее слились в одно огромное, мрачное, рабье лицо, глаз на нем не было, а только два мутных пятна на месте их, и нос был длинен, как хобот слона.

— Смотри! — сказал чорт, — вожди ее вытянули нос ей, но не зажгли огня в сердце ее, и вот она слепая. И посмотри, какой у нее язык, ты посмотри!

Перед глазами моего героя шевелились огромные, чувственные губы, открывая глубокую черную яму, в глубине которой ворочалось какое-то скользкое, короткое, толстое ботало и со смрадом выговаривало:

— Бра-а-во! Браво!

Писатель в страхе закрыл глаза, чувствуя, что его куда-то всасывает. Но когда открыл их, перед ним стояли люди, — самые обыкновенные люди стояли перед ним крепкой стеной, лица их улыбались, глаза сверкали удовольствием детей, увидавших новую игрушку, и все вокруг него было просто и обычно. От этих улыбок и ласковых глаз писателю стало тепло, страх растаял в сердце его, и ему захотелось сказать что-нибудь «публике», что-нибудь этакое задушевное. Он вздохнул как мог глубоко и сказал, прижав руку к своему испуганному сердцу:

— Господа!

— Bravo! Тс-сс-с... Тише!

— Господа, — сказал он, — внимание ваше приятно щекочет мне сердце. Я, кажется, понимаю вас. Когда я был маленьким и слышал военную музыку, я, бывало, бежал за ней, и меня тоже занимала не столько сама музыка, сколько то, как солдат, играющий на большой трубе, надувал щеки. Благодарю вас, господа!

— Bravo! — закричала публика.

— Мы любим вас! — громко сказал кто-то.

А чорт, стоя сзади писателя, все посмеивался — хитрый!

Тогда писатель сказал:

— Я, господа, в искренность вашего отношения верю, только плохо понимаю, чем я вызвал у вас столь теплое чувство. Иногда, знаете, мне кажется, будто вы меня за то любите, что я не ношу сюртука и в своих рассказах часто употребляю неприличные слова. И порой мне думается, что, если бы я научился лирические стихи левой ногой писать, вы бы еще теплее, еще с большим вниманием отнеслись бы ко мне.

— Bravo! Bravo! — рявкнула «публика».

— И, видите ли, мне думается, что вы не настоящие читатели, а просто — почитатели. Читатель — он знает, что важен не человек — важен дух человеческий, и писателя не разглядывает, как теленка о двух головах. Он его читает, но ему не верит и над книгой сам думает: «Вот это так, а это не так». А подумав, он делает что-нибудь хорошее, и потом это хорошее называют историей, вы же, господа, творите не историю, а скандалы. И настоящего читателя совсем немного на земле, а таких, как вас, —

вон сколько. По совести моей, я должен сказать, что никаких симпатий, а тем более уважения, не питаю к вам... Товарищи говорят мне, что публику уважать нужно, но никто не мог объяснить, за что. Как вы думаете, за что можно уважать вас?

Писатель замолк, вопросительно посматривая на «публику». Она тоже молчала и как бы затуманилась немножко.

Откуда-то подуло холодным ветром.

— Вот видите, — после долгого молчания сказал писатель, — вы сами не в состоянии придумать, за что можно было бы уважать вас.

Какой-то рыжий человек открыл рот и басом молвил:

— Мы люди.

— Ну, много ли среди вас настоящих-то людей? Может быть, человек пять на тысячу найдется таких, которые страстно верят, что человек есть творец и владыка жизни, а право его свободно думать, говорить, ходить — святое право; может быть, только пять из тысячи способны бороться за это право и без страха погибнуть в борьбе за него. Большинство из вас рабы жизни или наглые хозяева ее, и все вы — кроткие мещане, временно заступающие настоящих людей, то же, что в вас есть человеческого, — только зоологическое. Я вот смотрю в ваши тусклые и робкие глаза и со страхом вижу, как мало среди вас смелых, как мало честных! Бедна страна моя людьми смелыми, а уж вновь наступает время, когда ей нужны герои!

Человек двадцать обратились затылками к оратору и пошли прочь. Он же продолжал:

— Хороший, живой человек всегда куда-нибудь стремится, чего-нибудь ищет, а вы живете тихо, смиренно, неподвижно — так, как приказали вам. Жить вам тесно, думать лень, двигаться вы боитесь. Вокруг вас, — точно у кокотки в гостиной безделушки на полках торчат, — полусгнившие традиции да разные житейские правила, ни к чорту не годные. Все это мешает вам рукой шевельнуть, но все это — ваши маленькие идола, и вы не смеете низвергнуть их, хотя они — оковы вам. Когда ветер с поля приносит в затхлый воздух ваших нор новые, свежие запахи, — вы, опасаясь флюса в сердце, закрываете все

форточки. Беспокойства не любите вы, беспокойство пугает вас! Но вам нужно иметь что-нибудь для разговора, нужно чем-нибудь занимать своих гостей, и, как нищие на паперти, вы протягиваете руки к литературе, чтобы взять у ней что-нибудь для развлечения. Литература для вас острая приправа к пресноте вашей сумрачной жизни; вам нравится, когда люди пишут кровью и желчью, но только нравится. И ни любви, ни ненависти не возбуждает в груди у вас литература, — ничего, кроме криков одобрения или хулы. Вы не люди, вы зрители, вы «публика»; жизнь не дрогнула бы, если бы вы сразу исчезли из нее; провались вы все в землю — ничего не изменится на земле.

— Вы стойки, потому что рабы. Вас бьют — вы молчите, вас оскорбляют — вы улыбаетесь. Вас возмущают только жены, когда невкусен обед, а страдаете вы от жадности ко благам жизни, от зависти друг к другу и от несварения желудка. Когда сапог жмет вам ногу, вы стонете: «О, как прав Шопенгауэр!» А слыша крик «Свобода!» — вы думаете про себя: «Что ему Гекуба?» Чорт бы вас всех забрал! Если бы вы знали, как вы жалки, как противны, как ужасно и тяжело жить среди вас! Вам говорят: жизнь страшна, жизнь мрачна, она вся сочится кровью. Вы не верите — ваша жизнь только пошла и скучна, и, когда вам указывают смерть и ужас этой пошлости, вы остаетесь спокойными, интересуясь лишь одним: красиво ли сказано? Эстетики, утопающие в грязи, хотя бы скорее захлебнулись вы ею!

«Публика» постепенно таяла. Она не любит длинных речей. А чорт посмеивался — он ведь знает настоящую цену всего этого. Но оратор, увлеченный исполнением своего долга, ничего не замечал.

— Жизнь — героическая поэма о человеке, который ищет сердца ее — и не находит, хочет все знать — и не может, стремится быть могучим — и не в силах победить своей слабости. Слыхали вы что-нибудь об истине, о справедливости, о желании видеть всех людей земли гордыми, свободными, красивыми?.. Вам хочется быть только сытыми, жить в тепле, насиловать и развращать женщин под видом любви к ним, вам хочется жить спокойно, уютно, потихоньку — вот ваше счастье! А желание

ваше лучшего счастья — желание купить на грош пятак. Счастье ловят крепкими, мускулистыми руками, а вы — трусливые, слабые, хилые, — вы даже и мухи не можете поймать без помощи со стороны, вы даже и с мухами сражаетесь посредством ядовитых бумажек «Смерть мухам!» Мне жалко мух. Они жужжат и тем мешают спать, но я с радостью написал бы для вас бумажку «Смерть мухам!» — чтобы вы, читая ее, отравились беспокойством. Вижу — я не прав: здесь вы беспокоитесь. Когда вам становится неудобно жить, потому что не хватает жалования для прокормления семьи или оттого, что вам — от скуки жить с вами — изменяют ваши жены, вы стонете, философствуете, жизнь вам кажется гадкой и тяжелой до поры, пока вам не прибавят жалования или вы не найдете себе любовницы. И, наполняя жизнь старческим брюзжаньем, скверным скрипом разочарования, своими жалобами на нее вы отравляете души ваших юных детей. Вы останавливаете их мысли на мелочах жизни, на пошлостях ее, и мысль их тупится так, как меч, которым рубят дерево. Потом и дети, утомленные вашими рассказами о жизни, которой вы не знаете, тихо идут проторенными тропами, преждевременно старенькие, холодненькие, дрянненькие. Идут они и ищут жизнь теплую, жизнь тихую, жизнь уютную, находят ее и существуют потихоньку, по примеру отцов. Они — как свежая известь, которою замазали трещину в старом здании. Это тяжелое, грязное здание все пропитано кровью людей, которых оно раздавило. Оно сотрясается от дряхлости, охвачено предчувствием близкого разрушения и в страхе ждет толчка, чтобы с шумом развалиться. И уже зреют силы для толчка, они нарастают, они едва могут сдерживать себя и то там, то тут вспыхивают пламенем нетерпения. Они придут, тогда старое здание задрожит, рухнет на головы вам и раздавит вас, хотя вы только за то достойны казни, что ничего не сделали. Но невинных нет в жизни!

«Публики» осталось совсем немного. Часть ее смотрела на писателя с сожалением; любя читать его рассказы, она с грустью слушала его речь, ибо в этой речи ничего не было эстетического. Некоторые смотрели насмешливо. Всем было скучно, и никто не обижался. Вот какой-то юноша, нахмурившись, сердито крикнул:

— Все это слова! Вы скажите, какая у вас программа?

А почтенный господин со вздохом заметил:

— Эх, и я в молодости был романтик!

Дама в черном платье спросила:

— Что — он и женщин ругает?

Чорт смеется...

— Еще нужно сказать вам, очень уж вы любите быть несчастными! Я думаю, вы это делаете по расчету; вам нечем возбудить друг к другу уважения и любви, вот вы и становитесь нарочно несчастными, чтобы возбуждать к себе жалость и сочувствие: дешевенькие иллюзии, которыми вы одинаково наделяете друг друга с той же целью, как собачонку, когда колесо экипажа раздавит ей ногу. Если бы у вас было здоровое, крепкое чувство любви к жизни!.. Ведь вы не любите жизнь, вы боитесь ее, вы тихонько, как воры, отрываете от нее кусочки. Кроткие люди! Бедные нищие! Пошли, господи, побольше бед на ваши головы, дабы вы обеспокоились, дай, боже, множество тревог вам, чтобы вы ожили!

Из троих, стоявших перед оратором, один обиделся и сказал:

— Да не все мы таковы, чорт возьми! Это, наконец, несправедливо.

— Господа, не требуйте от меня справедливости — ее нет в жизни, ее нет еще пока — как среди вас может родиться справедливость? И все вы одинаково плохи. Вы — общество, как делить вас на хороших и дурных? Вы все в юности вооружались знаниями, сидя в гимназии, и всех вас учат одному и тому же. Я думаю, вы учились хорошему. Мне трудно представить себе университет, в котором учили бы человеконенавистничеству, бесстрастному отношению к жизни, стремлению к тепленьким местам и прочим премудростям. Мне почему-то всегда казалось, что учат не этому, но однако, когда вы входите в жизнь, все эти мерзости не убывают в ней от вашего присутствия. Я не уверен, что вы приносите в жизнь свеженькие пакости, и этого не буду утверждать. Я только знаю, что в двадцать пять лет вы отрицаете собственность, а в тридцать пять — у вас собственные дома. Я знаю, вы умеете работать на себя, но спрашиваю: что вы сделали для жизни? Вы все одинаково холодно чувствуете, даже те

из вас, которые горячо говорят: «Сколько мерзости вокруг нас!» Вы пробуете уничтожить ее? Вы изгоняете ее? Нет, но лучшие из вас, я видел, брезгливо прячутся от нее. Стремление быть чистеньким — недурное стремление, но честный человек не боится грязи. Будем говорить по совести, — в том, что наша жизнь так скверна, мы все одинаково виноваты. На земле нет правых, нет еще! А откуда у вас так много холопства перед силой и где вы научились рабски бояться за целостность ваших шкур? Я утверждаю — все подлое и огвратительное; что бросается в глаза на каждом шагу, — живо, сильно и так ярко цветет вокруг нас всюду потому только, что опирается на ваш страх за свои шкуры, на ваши холопские чувства. В позоре жизни виноваты мы все одинаково. И, если бы я верил в силу проклятия, я проклял бы вас всех, но я верю в нечто другое — скоро придут иные люди, люди смелые, честные, сильные, — скоро!..

— Ну будет уже, — сказал чорт, улыбаясь.

Мой герой оглянулся — перед ними и вокруг него не было ни души.

— Странно, — сказал он, — куда же ушли? Я еще не кончил!..

— Они сгорели в огне твоих речей! Видишь копоть на потолке? Это все, что от них осталось! Идем!

Я не знаю, что было дальше с моим героем, мне не хочется выдумывать конца этой истории, я не предчувствую в нем ничего хорошего. Но я уверен: нехорошо, когда у писателя много почитателей. И всякий человек, имеющий дело с «публикой», должен насыщать воздух вокруг себя карболовой кислотой правды. Вот и все.

ПЕСНЯ О СЛЕПЫХ

Как-то раз летним вечером, бродя по окраинам города, по кривым, узким улицам, среди маленьких домиков, полусгнивших от старости, я заглянул в открытую дверь кабака и удивился, что в нем много людей, но сидят они тихо.

Оглянул я кабак, — маленькую комнату с кривым полом и провисшим потолком, — в полутьме разглядел вздохмаченные головы, ситцевые рубахи без поясов, ноги босые и в опорках и увидел, что в углу около столика тесной кучкой сидят пять или шесть человек. Кто-то из них густым, хриплым голосом говорит:

— А то есть в моей стороне тополь-дерево, не такой, что у вас, а прямой, як свеча перед образом...

Я шагнул через порог, — человека два мельком взглянули на меня и молча отворотились в ту сторону, откуда раздавался голос. Старик-кабатчик, сидевший за стойкой, бесшумно встал навстречу мне; я негромко спросил у него бутылку пива...

— Все иншее в моей стороне, все милое... тилько бедность такая ж, як здесь...

— Она везде одинакова... — сказал кто-то другим голосом.

Сидя под окном у стола, я рассматривал людей и, через головы их, лицо того, кто говорил о тополях. Я тоже люблю тополя, — они так прямо и гордо поднимаются к небу.

О них говорила женщина. Она была немножко выпивши; ее толстые губы улыбались блаженной и грустной улыбкой человека, вспомнившего хорошее. Большая, полная, она тяжело навалилась грудью на стол и, закрыв глаза, говорила, печально покачивая головой:

— Нигде не хорошо человеку, як на родине...

— Бедному — где хлеб, там и родина... — вновь сказал кто-то тонким голосом.

Человек, сидевший против женщины, налил рюмку водки и подвинул к ней...

— Выпей!

Человек этот был высокий, худой, в шапке черных волос на голове, в рваной рубаше с расстегнутым воротом. Глаза у него были большие. Он беспокойно вращал ими во все стороны и все поглаживал свою бороду, черную, густую, растрепанную. Рядом с ним сидел коренастый рыжий парень с солдатскими усами, с ремнем на голове, — должно быть, пекарь. Третьим против женщины сидел знакомый мне жестянщик Ньюшка. Он был сильно пьян и дремал, глядя на женщину тупыми глазами, сквозь ресницы, тяжело опустившиеся на его мутные зрачки. Иногда он открывал рот, как засыпающая рыба, и бормотал:

— Х-хохлуша... пой! Ну... пой!

Остальные люди — человек шесть — как-то расплывались в полутьме и облаках табачного дыма. Все они сидели неподвижно, молча пили водку и пиво; лишь порой кто-нибудь из них бросал в воздух слово, и оно тихо, малой птичкой, перелетало из одного угла комнаты в другой.

— Пийдешь на ярмарок — слипци поють! — рассказывала женщина. — Хорошо слушать их! Хорошо...

Против меня у другого окна за столом сидел человек, лицом похожий на дьякона. Длинные волосы падали ему на плечи и сутулую спину, клочковатая рыжая борода осыпала грудь широким веером. В массе волос лицо его казалось уродливо маленьким. На нем был надет черный сюртук, весь измятый, и крахмаленная рубаша, тоже смятая и вся в пятнах. Из-под бороды высовывался конец развязавшегося галстука. Его левый глаз затек синева-той опухолью, а правым он неподвижно смотрел на женщину.

— Я был там! — вдруг сказал он глухим, рыкающим голосом и ударил ладонью огромной руки по столу. Все обернулись, и женщина, приподняв голову, вытянула шею к нему.

— Был в Киеве... Белой Церкви... и еще во многих городах... имена их уже не помню теперь. Все, о чем ты говоришь, видел я, знал. Днепр... Гой ты, Днепр ли мой широкий! Это я пел, когда был в оперном хору...

Голос его наполнял кабак подземным рокотом, властно вторгался в грудь вместе с воздухом, и в груди у меня стало тяжело от этого угрюмого и безнадежного звука.

— Садись ко мне, женщина, я тебя угощу пивом...

Черный и худой человек встал и заявил:

— Нельзя! Я угощаю...

— Ну, все равно. Ты или я — все равно...

— П-пой, хохлуша! — застонал жестянщик.

Женщина ласково взглянула на человека с подбитым глазом и сказала:

— Коли вы были тамо, то знаете...

— Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания, женщина... Это говорит Иисус, сын Сирахов... Можешь ты пегь? Я тебе дам двухгривенный.

Он тяжело завозился, отыскивая рукой карман в брюках.

— Заплатят без вас! — с презрением и обидой крикнул черный человек с беспокойными глазами.

— Все равно! Все — все равно... Ты, я, она... мы все — как помет осла в пустыне, по дороге к Иерусалиму...

Рыжий мужик с угрозой взглянул на философа, вынул из кармана кисег и потряхнул им в воздухе. Звякнули деньги.

— Видал? — спросил рыжий и снова засунул кисет в карман.

Женщина закрыла глаза и, качнув головой, заговорила:

— Ось, теперь як пред очима воны... Сидять на земли, близ дорози, а сонечко пече им головы, и витер осыпает пылью...

— Так. Помню! — точно молотом ударил, сказал человек с подбитым глазом.

— Кругом стоять люды тыном... И поють воны, ти слипенькие...

Из большой груди женщины вырвался густой, дрожащий звук:

Ма-а-ти-и-нко!..

— Так! — рывкнул бывший оперный хорист, снова ударяя рукой по столу.

— Позвольте вам сказать — не мешайте! — с раздражением крикнул черный мужчина. — Я сам певец. И хоть голос у меня не бычий, как у вас, ну — постоять за себя могу во всякое время...

— Дурак! — густо сказал человек с бычьим голосом. — Что ты сердишься? Разве не знаешь: речь глупого — как бремя в пути, и в устах глупых — сердце их, уста же мудрых в сердце их...

Рыжий уже перемигивался со своим товарищем, толкал его локтем в бок и засучивал рукава рубахи, а черный и худой человек стиснул зубы и сжал кулаки. Но из угла раздался чей-то тонкий голос:

— Если вы, господин, человек ученый, то не мешайте людям иметь удовольствие... Говорите хорошие слова и ругаетесь... не подобает!

Женщина открыла глаза, вздохнула и вновь закрыла их. Потом, закинув голову и положив одну руку на грудь себе, она запела голосом низким и сильным, как рев большой медной трубы:

Ой, да пожа-аийте бидных слипеньких...
Бо не може-емо мы ро-обити-и...
Бо не ви-идать на-аши оченьки...

Все люди в кабаке успокоились. Черный человек сел и стал помахивать рукой в такт однотонной мелодии. Лицо рыжего стало серьезным. Он важно оглянулся и, подняв кверху палец, прошипел:

— Ш-ш-ш...

Но в этом не было надобности. Все сидели неподвижно, как сидят дряхлые старики, греясь на солнышке. Человек в сюртуке вытянул шею, подставил ухо под голос женщины и замер, внимательно слушая. Один глаз его в сумраке казался мне огромным и черным, как погасший

уголь, а другой был маленький и блестел напряженно и живо.

О-ой, не ви-идать свету бо-о-жо-го...

О-ой, не ви-идать ясна со-онечка...

По-ожали-йге бидных сли-ипеньки-и-их...

Мотив песни был однообразен, как рыдание. В нем, может быть, были только две ноты, только две. Они располагались в мелодии, как зубы на длинной железной пиле, но от их однообразного движения рождалась музыка, резавшая сердце острой скорбью.

Пожа-алийте, люди бо-о-жи-и...

В звуках песни было заключено невыносимое страдание человека, который хочет видеть солнце — и не может, и горько стонет, безнадежно качая головой.

Ой, ку-уда идем, не види-имо-о-о...

Голос женщины хорошо передавал мучительный рев человека, плененного тьмой. Слова в ее пении казались круглыми, они болезненно дрожали от напряжения выразить силу и боль того чувства, которое влагалось в них... В кабаке было тихо. Густой голос женщины наполнил собой всю комнату, как смолой обливал всех людей, сидевших в кабаке, и широкой, дрожащей струей тек в открытую дверь на улицу.

Я смотрел на поникшие головы людей, на их фигуры, охваченные песнью и сумраком, и в окно, на небо. Солнце зашло, и небо на западе рдело алыми цветами. В пламени заката таяла маленькая туча странных очертаний, похожая на огромную птицу с распростертыми крыльями. На пурпуровой завесе горизонта четко рисовались черные деревья, и туча, похожая на птицу, как бы опускалась к их ветвям. В поле было тихо и пустынно. Только прозрачные тени ползли по земле, невидимо являясь справа и слева от солнца, глубоко ушедшего в землю. Глухой дрожащий голос женщины наполнял меня, как вода сосуд, и, кажется, все другие чувствовали себя тоже полными рыдающих звуков. Все сидели неподвижно, все молчали. Только однажды раздался хриплый голос пьяного Нюшки:

— За-ачем она воет?

Но он утонул в пении, как камень в глубоком ручье, где даже звук падения его был еле слышен.

Ой, свя-атая ма-ати божа-ая,
Ой, за а что-о ты на-аказала-а на-ас?

— пела женщина, кивая головой в такт своей песне. Она как бы молилась и так шевелила пальцами руки своей, прижатой к груди, точно касалась ими невидимых людям струн, туго натянутых в сердце ее.

Я видел, как рыжий мужик с ремнем на голове протянул руку к женщине и положил перед нею большой пятак. Положил и — перекрестился.

Не открывая глаз, женщина нащупала рукой монету, взяла ее в пальцы, тихонько стукнула ею по столу и снова положила на прежнее место. Рыжий вздохнул, пошевелился и вновь низко опустил голову.

Сумрак в кабаке все рос, росла и сила звуков песни о слепых. Во мне эта песня будила странное, большое и жуткое чувство. Было мне жалко всех, — и слепых, и зрячих, и самого себя, — за все то, что я видел в жизни моей. Хотелось тоже петь о чем-то, и, глядя в небо на багровый отблеск ушедшего от земли солнца, я думал с боязнью — взойдет ли?.. И еще другие, тоже странные мысли рождались в голове. Казалось, что это невыразимо грустное пение дрожало в теле моем, и ничего я не слышал, кроме его, точно оно охватило собою все вокруг и звучало, как плач всех людей в кабаке.

Вот к голосу женщины стал примешиваться другой, еще более глухой, чем ее, голос. Он пел негромко, без слов, одними звуками и был похож на отдаленное рычание грома. Низкий, октавный — он расстилался в воздухе бархагной полосой, от него дрожали стекла в окнах; слова, которые выпевала женщина, опирались на него, росли на нем, и он был им — как почва. Теперь уже точно две трубы гудели в воздухе, — одна, большая, давала фон для мелодии, другая, меньше, выговаривала мелодию угрюмым плачем, скорбными словами. И в самой бедности звуков песни было что-то странно грустное, до боли сжимавшее душу скорбью...

Слипы о очи, и душа сли-ипа-а,
Ой, и слез нет, чтобы пла-а-кати...

Это пел человек с подбитым глазом, тот, длинноволосый. Он согнулся на стуле, вытянул шею к женщине, его волосы упали ему на щеки, осыпали все лицо и скрыли его. Конец галстука болтался в воздухе, точно на шее этого человека была надета петля.

— раздавалось жалобно в кабаке.

— Молчать! — рыкающим голосом возразил ему человек с подбитым глазом.

Женщина, должно быть, не слыхала этих двух криков. Не открывая глаз, она все перебирала пальцами на груди, и качала головой, и пела:

— О-о-о! — вторило ей эхо.

Я встал с места, кинул деньги за пиво и ушел скорыми шагами из кабака, где было уже совсем темно и где душно мне было, — на улицу и вдоль по ней в поле, где еще не угасли отблески заката и было тихо...

Жадно глотая прохладный воздух, я шел, дышал и смотрел в небо, ожидая первых звезд.

Вот предо мной широкая прямая дорога вдаль, на закат солнца; по сторонам ее неподвижно стоят старые печальные березы и точно прислушиваются к чему-то; ни одна ветка не дрогнет на них. Ночная птица бесшумно пронеслась в воздухе. Черная, она явилась так же незаметно, как являются в душе воспоминания, и исчезла в сумрачной дали.

Я шел все дальше, предо мною тихо гасла заря, и в груди моей глухим эхом звучало:

Слипы о-очи, и душа-а слипа-а...
По-омоги-ить, кто в бога вируе-е..

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

Фантазия

В саду, за окном моей комнаты, по голым ветвям акации прыгают воробьи и оживленно разговаривают, а на коньке крыши соседнего дома сидит почтенная ворона и, слушая говор серых птичек, важно покачивает головой. Теплый воздух, пропитанный солнечным светом, приносит мне в комнату каждый звук, — я слышу торопливый и негромкий голос ручья, слышу тихий шорох ветвей, понимаю, о чем воркуют голуби на карнизе моего окна, и вместе с воздухом мне в душу льется музыка весны.

— Чик-чирик! — говорит старый воробей, обращаясь к товарищам. — Вот и снова мы дождались весны... не правда ли? Чирик-чирик!

— Фа-акт, фа-акт! — важно вытягивая шею, отзывается ворона.

Я хорошо знаю эту солидную птицу: она всегда выражается кратко и не иначе, как в утвердительном смысле. Будучи от природы глупой, она еще и пуганая, как большинство ворон. Но она занимает в обществе прекрасное положение и каждую зиму устраивает что-нибудь «благотворительное» для бедных галок и старых голубей.

Я знаю воробья, хотя с виду он кажется легкомысленным и даже либералом, а в сущности это — птица себе на уме. Он прыгает около вороны с виду почтительно, но в глубине души хорошо знает ей цену и никогда не прочь рассказать о ней две-три пикантных истории.

А на карнизе окна молодой щеголеватый голубь горячо убеждает скромную голубку:

— Я умр-ру, умр-ру от разочарованья, если ты не разделишь со мною любовь мою.

— А знаете, сударыня, чижики прилетели! — сообщает воробей.

— Фа-акт! — отвечает ворона.

— Прилетели и шумят, порхают, щебечут. Ужасно беспокойные птицы! И синицы явились с ними... как всегда... хе-хе-хе! Вчера, знаете, я спросил, в шутку, одного из них: «Что, голубчик, вылетели?» Ответил дерзостью... В этих птицах совершенно нет уважения к чину, званию и общественному положению собеседника... Я, надворный воробей...

Но тут из-за трубы на крыше неожиданно явился молодой ворон и вполголоса отрапортовал:

— Внимательно по долгу службы прислушиваясь к разговорам тварей, населяющих воздух, воду и недра земли, неукоснительно следя за их поведением, честь имею донести, что означенные чижики щебечут о весне и осмеливаются надеяться на якобы скорое обновление природы.

— Чик-чирик! — воскликнул воробей, беспокойно оглядываясь на доносителя. А ворона благонамеренно покачала головой.

— Весна уже была, она была не однажды, — сказал старый воробей. — А насчет обновления всей природы — это... конечно, приятно... если происходит с разрешения тех сил, коим сие надлежит ведать...

— Фа-акт! — сказала ворона, окинув собеседника благосклонным оком.

— К вышеизложенному должен добавить, — продолжал ворон, — означенные чижики выражают недовольство по поводу того, что ручьи, из коих они утоляют жажду, якобы — мутны, некоторые же из них дерзают даже мечтать о свободе...

— Ах, это они всегда так! — воскликнул старый воробей. — Это от молодости у них, это ничуть не опасно! Я тоже был молод и тоже мечтал о... о ней...

— О — ком?

— О ко... ко-ко-ко-кон...

— Конституции?

— Только мечтал! Только мечтал-с! Разумеется — скромно мечтал... Но потом — это прошло, явилась другая «она», более реальная... хе-хе-хе! и, знаете, пожалуй, более приятная, более необходимая воробью... хе-хе...

— Э-гм! — раздалось внушительное кряхтение. На ветвях липы явился действительный статский снегирь, он милостиво раскланялся с птицами и заскрипел:

— Э, н-не за-амечаете ли вы, господа, что в воздухе пахнет чем-то, э...

— Весенний воздух, ваше-ство, — сказал воробей. А ворона томно склонила голову набок и каркнула звуком нежным, как бление овцы:

— Факк!

— Н-да... Вчера за винтом то же самое говорил мне один потомственный почетный филин... «Чем-то, говорит, э, пахнет...» А я ответил: «Заметим, понюхаем, — разберем!» Резонно, а?

— Так точно, ваше-ство! Вполне резонно! — почти-тельно согласился старый воробей. — Всегда, ваше-ство, надо подождать... Солидная птица всегда ждет...

На проталину сада спустился с неба жаворонок и, озаченно бегая по ней, забормотал:

— И заря улыбкой нежной гасит в небе ночи звезды, ночь бледнеет, ночь трепещет, и — как лед на солнце — тает тьмы ночной покров тяжелый. Как легко и сладко дышит сердце, полное надежды, встречу солнцу, встречу утру, встречу света и свободы!

— Эт-то что за птица? — спросил снегирь, прищури-ваясь.

— Жаворонок, ваше-ство! — строго сказал ворон из-за трубы.

— Поэт, ваше-ство! — снисходительно добавил воробей.

Снегирь искоса посмотрел на поэта и проскрипел:

— Мм... какой серый... прохвост! Он что-то там насчет солнца, свободы прошелся, кажется? а?

— Так точно, ваше-ство! — подтвердил ворон. — Занимается возбуждением неосновательных надежд в сердцах молодых птенцов, — ваше-ство!

— Предосудительно и... глупо!

— Совершенно справедливо, ваше-ство, — отозвался старый воробей, — глупо-с! Свобода, ваше-ство, суть нечто неопределенное и, так сказать, неуловимое...

— Однако, если не ошибаюсь, кажется, вы сами к ней... зывали?

— Фа-акт! — вдруг крикнула ворона.

Воробей несколько смутился.

— Действительно, ваше-ство, однажды воззвал... но при смягчающих вину обстоятельствах...

— А... то есть как?

— После обеда, ваше-ство! Под влиянием... то есть под давлением винных паров... И с ограничением воззвал, ваше-ство!

— То есть как?

— Тихо сказал: «Да здравствует свобода» и тотчас громко добавил: «в пределах законности».

Снегирь посмотрел на ворона.

— Так точно, ваше-ство, — ответил ворон.

— Я, ваше-ство, будучи старым воробьем, не могу себе позволить серьезного отношения к вопросу о свободе, ибо сей вопрос не значитя в числе разрабатываемых ведомством, в котором я имею честь служить.

— Факт! — снова каркнула ворона.

Ей ведь все равно, что ни подтверждать.

А по улице текли ручьи и пели тихую песнь о реке, куда они волюются в конце пути в своем близком будущем:

— Широкие, быстрые волны нас примут, обнимут и в море с собой унесут, и снова, быть может, нас в небо поднимут горячего солнца лучи, а с неба мы снова на землю падём прохладной росой в ночи, снежинками или обильным дождем.

Солнце, великолепное, ласковое солнце весны, улыбается в ясном небе улыбкой бога, полного любви, пылающего страстью творчества.

В углу сада, на ветвях старой липы сидит стайка чижиков, и один из них вдохновенно поет товарищам где-то слышанную им песню о Буревестнике *.

* Далее следует текст «Песни о Буревестнике» *Ред.*

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гнѣве грома, — чуткій демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Вѣтер вое... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гнѣвно морем; то кричит пророкъ победы:

— Пусть сильнѣе грянет буря!..

ПОГРОМ

Был жаркий день июня месяца. Я с утра работал на берегу реки, осмаливая дощаник, и уже время подвигалось близко к обеду, когда где-то в слободе сзади меня раздался глухой сердитый шум, как будто заревели голодные быки. Я был голоден, хотел скорее кончить работу и сначала не обращал внимания на этот отдаленный гул, а он с каждой секундой все разрастался, как растет дым в начале пожара.

В горячем воздухе над слободой стояла мутная туча пыли, я смотрел в сторону слободы, и мне казалось — вижу я, как разноголосые звуки насыщают воздух, поднимаясь от земли вместе с пылью. Пыль становилась все гуще, звуки громче и разнообразнее, воздух вздрагивал, и вместе с ним дрожало сердце в предчувствии чего-то недоброго...

Бросив работу, я поднялся на песчаный берег и увидел: из ворот домов выскакивали люди, они бежали вдоль по улице, куда-то в глубь слободы, за ними бежали собаки и дети, испуганные голуби носились над их головами, а под ногами металась куры. Охваченный общим смятением, я тоже бросился бежать.

— На Елизаветинской дерутся! — крикнул кто-то.

Навстречу бегущим, яростно нахлестывая лошадь вожжами, по немощеной улице мчался ломовик и орал во всю силу груди:

— Наших быют! Крючники!

Я повернул в узкий переулок и остановился. Толпа людей забила переулок своими телами так плотно, что он был похож на мешок, полный зерна. Впереди, где-то далеко еще, раздавался рев и визг людей, звенели стекла, бухали тяжкие удары, что-то трещало и падало, звуки покрывали друг друга, как облака осенью, и уже плыли по воздуху тяжелой тучей.

— Жидов быют! — с удовольствием в голосе сказал какой-то старичок, благообразный и чистенький. Он крепко потер маленькие, сухие ручки и добавил:

— Так их и надо!

Я пробивался вперед на шум, повинаясь его возбуждающей, притягательной силе. Не одного меня он, этот страшный шум, привлекал к себе; всех он всасывал в себя, как трясина. Лица людей, мелькавшие предо мною, все были возбуждены стремительной и тупой злобой, глаза сверкали жадно, вся толпа сплошной тяжелой массой двигалась вперед, готовая опрокинуть стены и заборы, давившие ее, каждый готов был бросить под ноги себе переднего, идти по его телу, давить его.

Я бросился на двор одного из домов переуллка, перескочил через забор на другой двор, еще раз, еще, и — вот я снова в тесной толпе людей. Они наполняли собою густо застроенный двор большого каменного дома, облепленного пристройками, и точно кипели на тесном дворе, точно земля под ними содрогалась. Как бесноватые, они орали что-то, поднимая головы кверху, лица их были красны, в открытых ртах сверкали зубы, они взмахивали руками и толкали друг друга, лезли на крыши служб, обрывались, падали и снова лезли. И, несмотря на разнообразие движений каждого человека, во всех них было что-то общее, человек стал членом одного огромного тела, одушевленного одной и той же могучей силой.

Высоко над этой плотной массой людей, спаянной озлоблением, на крыше дома, у трубы стоял худой и длинный еврей. Он отрывал пальцами кирпичи трубы и, швыряя их вниз, что-то кричал голосом резким, подобно крику чайки. Большая, седая борода трепетала на его груди, а белые штаны на нем были покрыты красными пятнами...

К нему наверх летали яростные крики:

- Из ружья его!
- Тащи ружье! Камнями лупи!
- Лезь к нему!

В окнах дома мелькали темные фигуры людей. Они выбивали рамы и выбрасывали на двор вещи. Визгивали и дребезжали стекла. Вот широкоплечий, кудрявый парень поднес к окну зеркало, высунул его и закричал:

- Эй, берегись!

И, отражая солнечные лучи, зеркало полетело на землю. Парень высунулся из окна вслед за ним. Его широкое лицо было только озабочено и серьезно, но не озлоблено. В другом окне появился чернобородый мужик с подушкой в руках. Он рванул ее, — и в воздухе рассеялось густое, белое облако перьев.

— Снег пошел, носов не отморозь, ребята! — крикнул мужик, глядя, как белые пушинки опускаются на головы людей.

А на дворе орали:

- Сюда! В кадке жиденят нашел!
- Бей их!
- Башками о стенки!
- Эй, старый жид! Слезай, внуков нашли!
- Лезь с крыши, а то убьем племя...

Пронзительный крик ребенка огласил воздух, это был звук ужасный, в мутном реве толпы он сверкнул ослепительно, как молния в облаках. И шум после него стал как бы тише.

- Не тронь! — заревел кто-то.
- Не тронь ребят!
- Больших бей!

Тут вновь раздался крик ребенка, — тонкий и острый, он резал сердце и оглушал более всех звуков.

— Ах, дьявол! — бешено заорал кто-то, покрывая все звуки.

- По башке?
- Ногу отшиб...
- Ловко, старый чорт!
- Антип! Лезем жида сшибать!

Двое огромных крючников, расталкивая толпу, подошли к пристройке и полезли на крышу.

А в одном из окон дома снова явился серьезный, краснорожий парень. Напрягаясь, он просовывал в окно какой-то шкаф или ящик и кричал вниз:

— Роба, держи посуду...

Ящик не проходил в окно, тогда парень дернул его назад к себе, на минуту скрылся, вновь встал в окне и завыл протяжно, как волк:

— Бе-реги-и-сь!

Груда тарелок посыпалась из окна, за ними солнцем мелькнул в воздухе самовар. Люди внизу разбегались, прикрывая головы руками, и хохотали во все горло. Рыжий и толстый парень схватил самовар с земли, поднял высоко над головой, снова бросил на землю и стал топтать его ногами.

На крыше раздался нечеловеческий вопль. Все подняли головы. Железо гроыхало... Вдруг на краю крыши появилось что-то большое, оно несколько секунд повисело, содрогаясь в воздухе, потом завизжало, завыло, оторвалось и полетело вниз. Раздался мягкий, противный шлепок. Я бросился вон со двора, а вслед за мной летел торжествующий, дикий рев:

— А-а...

— Ага-а?

— Сшибли-и-и!

На улице люди ломали стулья, столы, разбивали сундуки, со смехом рвали какие-то одежды. В воздухе носились перья, из окон двух домов вниз, к ногам людей, летели подушки, корзины, мебель, тряпье, а толпа, обезумевшая в стремлении разрушать, хватала эти вещи и рвала, ломала, била. Две женщины, растрепанные, потные, с красными рожами, цепко ухватились руками за какой-го ящик и тянули его в разные стороны. Они кричали что-то друг другу, перья и пушинки крутились вокруг их голов, они обе широко открывали рты, но голоса их заглушали треск дерева, вой и рев толпы и визгливые, полные ужаса крики, доносившиеся из окон дома.

Мимо меня прошел огромный мужик, в разорванной рубахе, без шапки. Волосы у него были растрепаны, по грязному лицу текла густая, почти черная, кровь. Он размахивал рукой и улыбался, тупо, довольной улыбкой сытого зверя. Вог он подошел к фонарному столбу, обнял

его и стал раскачивать, упираясь в дерево широкой грудью. Фонарь затрясся и слетел на землю.

— Ло-оми-и! — крикнул другой мужик, подбегая к столбу фонаря. Он тоже схватил его и, ухая, стал раскачивать.

Откуда-то в толпу, как голубь в тучу дыма, бросилась девушка в изорванном платье, с распущенными волосами. Она бежала, закинув голову кверху, и глаза на бледном лице ее были невероятно велики.

— Бей жидовку! — заревел кто-то. И девушка исчезла в густой массе людей, как крошка сахара под кучей мух. Над нею закипела какая-то темная каша из человеческих тел, в воздухе мелькали кулаки, раздавалось сладострастное кряхтенье, мягкие шлепки. Циничные шутки, ругательства, змеиное шипенье — все смешивалось в один злобный и злорадный звук.

— Раздайся, народ! Зельман едет!

Это кричала толпа людей, волочившая что-то по мостовой. Тащила она человека или труп человека, полуголое, сухое тело, измятое, изорванное, все покрытое кровью и грязью. Захлестнув ноги Зельмана веревкой, люди везли его по мостовой, а за ним оставалась на дороге широкая полоса крови. Сухие, длинные руки купались в ней, а меж рук, в том месте, где они вращались в плечи, бился о камни безобразный, окровавленный, ободранный ком...

Какой-то подросток подбежал к телу, прыгнул на него, ноги погрузились в живот, как в тесто, а подросток замазал руками и упал, возбуждив хохот. Зельман был богатый подрядчик. Я часто видал его живым, но то, что видел теперь, не было похоже не только на Зельмана, но и на человека вообще.

Отупевший от всего, что творилось вокруг, задыхаясь от пыли, я вертелся в толпе, как щепка в ручье, и смотрел на все, как на страшный сон. Вот на водосточной трубе повисла белая юбка, она высоко над землей, и какая-то старуха, вставая на пальцы ног, хочет достать ее, протягивая кверху костлявую, темную руку. Рядом с ней бородатый крючник напаяливает на свою взлохмаченную голову бархатный картуз. Мальчишки снуют между ног взрослых, подбирая осколки зеркала, а один из них подпрыгивает, желая поймать летающее в воздухе перо.

Размахивая шашкой в ножнах, бежит полицейский, над ним смеются, ему вдогонку кричат:

— Держи его!

— Лови фараона!

Кто-то бросает под ноги бегущего разломанный ящик, и полицейский кувырком летит на землю. Громкий хохот гремит в воздухе.

Взглянув себе под ноги, я увидел кусок окровавленной кожи с клочком волос на ней...

— Нар-род! Сюда иди!

Крик доносится со двора, и толпа лется в ворота густой волной. Люди как-то хрюкают, рычат, ревут.

— Бей! Б-бей! — раздается в воздухе.

Внутри дома во втором этаже кто-то работает ломом, разрушая простенок между двумя окнами. На улицу сыплются кирпичи, известь, летит белая пыль. Поднос вылетает из окна, он нерешительно кружится в воздухе и падает на голову какой-то толстой бабы. Взвизгнув, баба присела.

Груда кирпичей падает на тротуар. Простенок выломан, — и тотчас же из безобразной дыры в стене дома тяжело и медленно высовывается огромный шкаф, вздрагивает, как-то нехотя скользит по стене дома, задевает за карниз и, перевернувшись, с грохотом разбивается о камни панели. В воздухе стоит непрерывный гул, как будто в нем невидимо течет бурная река, разрывая почву на своем пути, вся в пене гнева, вся — в диком бешенстве...

Вечером этого дня, проходя по площади слободы, мимо пикета казаков, я слышал, как один из них сказал другому:

— Четырнадцать жидов, чу, разорвали...

А другой курил трубку, он ничего не ответил на слова говорившего.

.....
Это было в июне 1885 г. в слободе Кунавино, на Оке, против Нижнего-Новгорода.

ЗЛОДЕИ

I

Однажды за обедом мать сказала Ванюшке Кузину:

— Шел бы ты, Ваня, в город!

Ванюшка промолчал. Он чистил горячий картофель, шумно дул на пальцы, сложив губы трубой, и сердито двигал бровями.

Мать посмотрела на его круглое, юношеское лицо, вздохнула и повторила потише:

— Шел бы, право...

— Пошто? — спросил Ванюшка, перекидывая картофель с руки на руку.

— Возьми топор и поди...

— Много там нашего брата с топорами-то!

— Ну, лопату возьми... Теперь вот скоро погреба набивать стаут. Инде дров поколешь, инде что другое... Глядишь, и прокормился бы как-нибудь. Иди-ка, Ваня?

Ванюшке хотелось идти в город, но он не ответил старухе ни слова. В две недели, истекшие со смерти отца, Ванька почувствовал себя человеком вполне самостоятельным. На поминках по отцу он впервые безнаказанно пил водку, а теперь уже ходил по деревне, выпячивая грудь вперед, озабоченно сдвинув брови, и с матерью разговаривал кратко, отрывисто, подражая в этом отцу...

После обеда старуха занялась починкой своей шубы, а Ванюшка влез на печь и, пролежав с полчаса, спросил мать:

- Денег-то у тебя сколько?
- Рубль шесть гривен...
- Шесть гривен мне дай.
- На что тебе?
- На дорогу.
- Идешь?!
- Стало быть — иду...
- Ну, вот! Иди-ка, сынок!.. Когда думаешь?
- Завтра.

На рассвете мать благословила его медным образом Николая Угодника, Ванюшка туго подпоясался, сунул за пояс топор, нахлобучил шапку на уши и, хлопнув руками в рукавицах по бедрам, сказал:

— Пошел. Прощай!

— С богом, Ваня! Городских-то людей опасайся, — осторожно ве́ди себя с ними — они хитрые! Вино не пей, — гляди!

— Ладно, — сказал Ванюшка и, молодецкато заломив шапку, вышел на улицу.

Было еще темно. Он отошел не более десяти шагов от своей избы, а когда обернулся на голос матери, стоявшей у ворот, то уже не видел ее во тьме и только слышал слова ее, тревожно звучащие в тишине:

— Бабенок городских... Хворь дурная...

— Прощай! — крикнул Ванюшка.

И тут ему вдруг стало жалко мать, деревню, свою старенькую избу. Он остановился, прислушался... Но было уже тихо, — мать ушла. Вздохнув, пошел и он навстречу неподвижной, безмолвной тьме, еще не тронутой рассветом...

Шагая полем, он думал о том, что, может быть, ему удастся в городе хорошо заработать и, воротясь домой к весне, он женится на Василисе Шамовой. И ему представлялась Василиса — полная, крепкая, чистоплотная. А может быть, он найдет себе место дворника у хорошего богатого купца и женится уже не на Василисе, а на какой-нибудь городской девушке. Он шел, а сзади его тихо загорался рассвет, вокруг невидимо исчезали ночные тени,

и на снег ложились бледножелтые лучи зимнего солнца. Снег под ногами захрустел веселее и громче, Ванюшка запел песню. Три двугривенных звякали в кармане его штанов, а в голове, под звуки песни, медленно плыли думы и догадки о будущем.

Идти было хорошо, легко, нога не вязла на укатанном снегу дороги, морозный воздух глубоко вливался в грудь и наполнял ее бодрым чувством, а синяя даль была ласково красива и манила к себе. Иней опушил едва заметные Ванюшкины усы, парень, оттопыривая верхнюю губу, с удовольствием смотрел на нее — усы казались ему длинными и красивыми... Большой, черный, как головня, ворон тяжело ходил по снегу в стороне от дороги. Ванюшка свистнул. Но мрачная птица взглянула на него одним глазом и, переваливаясь с ноги на ногу, подошла еще ближе к дороге. Тогда Иван хлопнул рукавицами, точно выстрелил, но и это не испугало птицу...

— У, дьявол, — пробормотал Кузин и пошел вперед скорее.

Около полуден, когда уже было пройдено более половины дороги до города, в поле заиграла метель. То там, то здесь с бугров срывались легкие, прозрачные тучки снега, летели куда-то и белой холодной пылью осыпали лицо. Порою прямо из-под ног Ивана вздымалась стая снежинок, точно желая помешать парню идти, а ветер толкал его в спину, как бы торопя вперед. Даль скрылась в мутных тучах, ветер взвизгивал, касаясь земли, заметал следы и выл протяжно, грустно. Встречные люди и лошади появлялись пред глазами и исчезали, точно камни в воде. Ванюшка закрывал глаза и шел, качаясь, средь шороха и грустных песен вьюги; в бедрах у него ломило, ступни отяжелели, он сердито думал о матери:

«Сидит там, а я вот — иди!»

А потом так устал, что ему уже и не думалось ни о чем, только хотелось скорее придти в город, отдохнуть в тепле, попить чаю. Согнувши спину, наклонив голову, он шел, не замечая ничего вокруг себя до поры, пока ни услышал в шуме вьюги унылый рев фабричного гудка. Он остановился и, выпрямившись, глубоко вздохнул. А потом вытащил из кармана деньги, три двугривенника, и сунул

их в рот, за щеку, чтобы они звоном своим не соблазняли городских людей.

Сквозь серый полог снега город был похож на тяжелую тучу, осевшую к земле. Ванюшка снял шапку, перекрестился и сказал про себя:

«Вот и дошел!»

II

Когда он вошел в трактир, — густой, влажный воздух коснулся его лица и, точно теплая, сырая тряпка, стер со щек колющее ощущение холода. Сизый едкий дым колыхался под низким сводчатым потолком и щипал глаза; запах водки, табаку и горелого масла щипал в носу; шум и гул в трактире был какой-то мутный, матовый, и от этого голова у Ванюшки приятно закружилась. Медленно пробираясь между столов, он искал себе местечка и не находил. Всюду сидели краснорожие извозчики, испитые, полуголые мастеровые; золоторотцы, одетые в лохмотья, пытливо и угрюмо оглядывали Ивана воровскими глазами. Один из них, высокий, худой, с рыжими усами, подмигнул Ивану и сказал, протягивая руку:

— Здорово, пентюх! Иди сюда!

Ванюшка откачнулся от него и задел плечом какую-то маленькую, круглую девицу. Лицо у нее было ярко румяное и черные брови велики, как усы.

— Тише ты, облом! — крикнула она сильным голосом.

В переднем углу трактира, под лампадкой, горевшей у образа, за столом сидел только один человек, Ванюшка подошел к нему.

— Можно присесть?

— Валяй!

Кузин уселся на стул, расстегнул ворот кафтана и сказал:

— А-яй, много народу!

— Эдакое месго не бывает пусто. Из деревни?

— Да...

— Работать?

— Надо бы...

— Плохи тут дела!

— Ну?

— Верно. Третью неделю живу...

— Нет работы?

— То есть — хоть помирай!

Мимо стола быстро мелькнул половой.

— Чайку бы мне? — крикнул ему Ванюшка и стал рассматривать своего собеседника.

Это был парень лет двадцати пяти, одетый в засаленную, рваную женскую кофту на вате. Высокий и худой, он низко нагнулся над столом, точно прятал от людей свое лицо, глубоко изрытое оспой, без усов и без бровей. Порою, быстрым и сильным движением шеи, он вскидывал стриженую голову и беспокойно, как бы догадываясь о чем-то, смотрел на Кузина большими серыми глазами. А когда он заметил, что и Ванюшка упорно рассматривает его, то улыбнулся тонкими губами и вполголоса сказал:

— Пальто было — проел, шапку — проел! Вот сапоги остались...

Он высунул из-под стола длинную ногу в крепком кожаном сапоге и добавил:

— Тоже скоро продам, — променяю!

Ванюшке стало жалко его и больно за себя.

— А может, как-нибудь... — сказал он.

— Где там! Тут нашего брата — как желтых листьев осенью. Гляди — сколько народу! И все есть хотят.

— Попьем чайку вместе? — предложил ему Ванюшка.

— Спасибо! Покорно благодарим... Я напился! А... вот кабы по стаканчику?

И он тяжело вздохнул.

Ванюшка пощупал языком деньги во рту, подумал, поманил пальцем полового и важно приказал ему:

— Собери-ка полбутылочки, — на двоих!

Рябой радостно улыбнулся, но не сказал ни слова.

— Где ночуешь? — спросил Ванюшка.

— Тут, недалеко, — по три копейки. А ты?

— Да я только сейчас пришел.

— Чего же — будем вместе ночевать!

— Айда!

— Вот и ладно. Тебя как звать-то?

— Иваном... Кузин.

— А меня — Салакин, Еремей...

Они замолчали и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. А когда половой принес водку и Ванюшка налил рюмку Салакину, тот привстал, взял рюмку и, протягивая ее Кузину, сказал:

— Ну, выпьем, в знак сошествоия нашей дружбы!

Ванюшке очень понравились эти слова. Он молодецки опрокинул рюмку в рот, крикнул и радостно проговорил:

— Вдвоем-то лучше!

— Ка-ак можно!

— Я всего первый раз в город работать вышел. Так, по делам, — бывал, а жить — первый раз, — говорил Ванюшка, наливая по второй.

— Я тоже. До этого все в поместьях работал. Да вот с приказчиком поругался, он меня и турнул. Собака рыжая!

— А у меня отец умер недавно. Теперь я — сам большой!..

Рядом с ними за столом сидели два ломовых извозчика, оба выпачканные чем-то белым. Они громко спорили, причем один из них — огромный и старый, — ударяя по столу кулаком, кричал:

— Так, значит, его и надо!

— За что? — спрашивал другой, чернобородый, со шрамом на лбу.

— А за то, — он понимает! Какой он работник был? Работники, — они, значит, тесто, хлеб богу! А прочие, которые, значит, неспособные к делу, — они, например, осевки, отруби! Скотам на корм, — одно, значит, ихнее назначение...

— Все одинаково жалости достойны, — сказал чернобородый.

Салакин прислушался к спору и сказал:

— Неверно.

— Насчет чего?

— Жалости. Взять хоть бы меня: приказчик Матвей Иваныч — враг мой! Он меня за что рассчитал? Я два года работал, — все как быть надо! Вдруг он взъелся на меня, будто я стряпуху Марью... и все такое. И будто вожжи — тоже я... Вожжи — они пропали! Ищи! Вдруг он меня — ступай! Как так? Я ему не нужен, а самому

себе я очень даже нужен! Мне жить надо! И вот, — могу я его жалеть, приказчика?

Салакин помолчал и с глубоким убеждением выговорил:

— Я могу только себя жалеть и больше — никого!

— Конечно-о, — сказал Ванюшка.

После третьей рюмки они оба облокатились на стол, — лицо к лицу, возбужденные водкой и шумом. И Салакин длинно, бессвязно и горячо начал рассказывать Ванюшке о своей жизни.

— Я — подкидыш! — говорил он. — Терплю мою жизнь за грех матери...

Ванюшка смотрел на рябое, возбужденное лицо друга, утвердительно кивал ему головой, и от этого голова у него сильно кружилась.

— Ваня! Требуй еще полбутылочки! Все едино! — крикнул Салакин, отчаянно махнув рукой.

Ванюшка ответил:

— М-могу...

III

Когда Ванюшка проснулся, он увидел себя лежащим на нарах в полутемном подвале со сводчатым потолком, так же изрытым ямами, как лицо Салакина. Он пошевелил языком во рту — денег не было, а была только жгучая, горькая слюна. Ванюшка глубоко вздохнул и оглянулся.

Весь подвал был уставлен низенькими нарами, и на них лежали, точно кучи грязи, оборванные, темные люди. Одни из них проснулись и, тяжело двигаясь, сползали на кирпичный пол, другие еще спали. Негромкий, но густой говор сливался с храпом спящих; где-то плескали водой. Растрепанные фигуры людей в сером сумраке раннего утра были похожи на обрывки осенних туч.

— Проснулся?

Рядом с Ванюшкой стоял Салакин. Лицо у него было красное, должно быть он только что умылся холодной водой. Он держал в руках какую-то коробочку из меди, со многими колесиками внутри ее, и, как-то одним глазом рассматривая колесики, а другим, улыбаясь, смотрел на Ванюшку.

— Здорово мы вчера! — сказал Кузин, с упрёком глядя на приятеля.

— Как следует кишки спрыснули! — довольным голосом отозвался тот.

— Все денежки свои ухнул я!

— Ничего. Проживем!

— Да-а, хорошо тебе...

— Ты — не беспокойся! У меня есть семнадцать копеек, а потом я сапоги продам. Проживем!

— Разве эдак-то, — недоверчиво глядя в лицо приятеля, сказал Ванюшка и, видя, что Салакин молчит, добавил: — Ты теперь должен помогать мне, как я с тобой свои деньги пропил, — стало быть, ты должен...

— Да ладно! Чего там? Слезы вместе, смех пополам. Мы — не богатые, в дележе не поругаемся. Делить-то не много!

Его глаза и голос успокоили Ванюшку, и тогда он спросил:

— Что это у тебя в руках-то?

— Угадай!

Кузин оглянулся вокруг и вполголоса спросил:

— Для фальшивой монеты, что ли?

— Чудак! — смеясь, воскликнул Салакин. — Вот выдумал. И откуда ты знаешь про монету?

— Знаю. В семи верстах от нашей деревни мужик один занимался этим...

— Ну?

— В Сибирь его.

Салакин задумался, помолчал и, повертев в руках медную коробочку, со вздохом сказал:

— Да, ссылают за это...

— Значит, оно самое? — тихо спросил Ванюшка, кивнув головой на коробочку.

— Не-ет! Просто это — внутренность часов... Вставай, пойдем чай пить...

Ванюшка слез с нар, пригладил волосы руками и сказал:

— Идем.

Но медяшка возбудила его любопытство и вызывала в нем что-то похожее на страх пред ней. И, видя, что Салакин прячет ее за пазуху, он спросил его:

— Где ты это взял?

— На базаре купил, когда пальто продавал. Семь гривен дал...

— А на что ее тебе? — допрашивал Ванюшка.

— Видишь ли, — наклоняясь к его уху, таинственно заговорил Салакин, — давно я хочу уразуметь, почему часы время знают? Полдень — сейчас они бьют двенадцать! Как так? Медь простая и эдак устроена, что понимает, когда какое время? Человек может по солнцу догадаться, скотина — живая. А тут — колесики, — медь?

У Ванюшки болела голова. Он шел рядом с приятелем, слушал его непонятную речь и тяжело соображал — как поступит Салакин, когда продаст сапоги? Возвратит он хоть половину пропитых денег или нет? И, заглянув в глаза Салакина, спросил его:

— Ты когда пойдешь сапоги-то продавать?

— А вот напьемся чаю и пойдем. Я, брат, насчет часов давно соображаю. Многих спрашивал — умных людей. Один говорит — так, другой — эдак. Невозможно понять!

— Да на что тебе это знать? — с любопытством спросил Ванюшка.

— А — интересно! Как так? Человек ходит — он живой, ему это просто!

Салакин говорил о тайне часов так много и горячо, что Ванюшка невольно поддался воодушевлению товарища и сам тоже начал догадываться — почему часы знают время? И пока приятели пили чай, они упорно и настойчиво рассуждали о часах.

Потом пошли продавать сапоги и продали их за два рубля сорок копеек. Салакин был огорчен низкой оценкой сапог. Тут же на базаре он пригласил Ванюшку в харчевню и с горя истратил сразу целый рубль. А поздно ночью, когда они оба, пошатываясь и громко разговаривая, шли в ночлежку, в кармане Салакина звякали только четыре медных пятака. Ванюшка держал его под руку, толкал плечом и радостно говорил:

— Брат! Люблю я тебя, как родного! Ей-богу! Душа ты... То есть бери меня всего! Вот как! Ей-богу! Хошь, садись на меня верхом? Я те повезу...

— Дур-рашка, — бормотал Салакин. — Ничего. Проживем! Завтра пойдем — внутренность продадим... всю мощну. Ну ее к лешему! А?

— Больше никаких! — махнув рукой, крикнул Ванюшка и тонким голосом запел:

Не-е-красива я, бед-дна...

Салакин остановился и подхватил:

Плох-хо я од-дета-а...

И, плотно прижавшись друг к другу, они вместе дикими голосами завывали:

Н-ни-и-кто-о за-амуж не берет
Дев-вочку з-за это-о!

— А Матвейка, рыжий дьявол, — он меня узнает! — неожиданно заключил Салакин и, высоко подняв руку, грозно помахал в воздухе кулаком.

IV

Прошло с неделю.

Однажды ночью друзья, голодные и злые, лежали рядом на нарах ночлежки, и Ванюшка тихо укорял Салакина:

— Все ты виноват! Кабы не ты, я бы теперь работал где-нибудь...

— Подь к чорту, — кратко посоветовал приятелю Салакин.

— Не лай! Я правду говорю. Чего теперь делать? С голоду помирать...

— Ступай, женись на купчихе, вот и будешь сыт... Мякиш!

— Ряба форма, шитый нос...

Уже не первый раз они разговаривали так.

Днем, — полуодетые, синие от холода, — они шатались по улицам, но очень редко им удавалось заработать что-нибудь. Они брались колоть дрова, скалывать на дворах грязный лед и, получив за это по двугривенному, тотчас же продавали деньги. Иногда на базаре какая-нибудь барыня давала Ванюшке свою корзинку и платила ему

пятак за то, что он в продолжение часа таскал за ней по базару эту корзину, тяжело нагруженную мясом и овощами. И всегда в таких случаях Ванюшка, голодный до боли в животе, чувствовал, что ненавидит барыню, но, боясь обнаружить как-либо это чувство, притворялся почтительным к ней и равнодушным ко всему, что лежало в ее корзине, раздражая его голод.

Порою, тихонько от полиции, Ванюшка выпрашивал милостыню, а Салакин умел украсть кусок мяса, кружок масла, кочан капусты, гирию. Ванюшка в этих случаях дрожал от страха и говорил товарищу:

— Погубишь ты меня! Упекут нас в тюрьму...

— В тюрьме будем и сыты и одеты, — резонно возражал Салакин. — Али я виноват, что украсть легче, чем работу найти?

В этот день они едва собрали шесть копеек на ночлег; Салакин стащил где-то французский хлеб да небольшой пучок моркови, и больше ничего не пришлось им съесть в этот день. Голод жег внутренности и, не позволяя уснуть, озлоблял.

— Я сколько потратил на тебя? — укоризненно спрашивал Салакин Ванюшку. — У тебя всего-навсего имения было кафтан да топор...

— А шесть гривен? Забыл!

Они ворчали друг на друга, словно две злые собаки, и уже Ванюшка, как будто не нарочно, однажды толкнул Салакина локтем в бок. Но ему не хотелось открыто ссориться с товарищем: за это время он привык к нему и понимал, что без Салакина ему жилось бы еще хуже.

Одному жить в городе — страшно. А возвращаться в деревню оборванному, полуголому — стыдно и перед матерью и перед девками, перед всеми. Да и Салакин насмеялся над ним каждый раз, когда Ванюшка говорил о возвращении в деревню.

— Иди, иди! — говорил он, оскаливая зубы. — Пора-дуй мать-то: заработал хорошо, оделся баринном!

Помимо этого, Ванюшку не пускала в деревню смутная надежда на удачу. То ему казалось, что какой-нибудь богатый человек пожалует его и возьмет в работники, то он думал, что Салакин найдет какой-нибудь выход из этой тягостной, голодной жизни. Надежда на ловкость това-

рища поддерживалась и самим Салакиным, который часто говорил:

— Ничего! Проживем, ты погоди. Выбьемся!..

Говорил он это с большой верой и смотрел на Ванюшку как-то особенно зорко. Тогда Ванюшке казалось, что товарищ знает средство, как выбиться.

И все-таки в эту ночь он, лежа бок о бок с товарищем, думал, что, если бы из потолка над ними вывалился кирпич на голову Салакина, это было бы хорошо. И вспомнил, как недавно, среди ночи, раздался дикий крик, напугавший всех, и вспомнил залитое темной кровью лицо человека, расплющенное кирпичом, упавшим из свода ночлежки.

— Велика сумма — твои шесть гривен, — бормотал Салакин, — а вот кабы ты...

-- Что я?

— Кабы ты посмелее был...

— Ну?

— Ну и ничего...

Ванюшка подумал и сказал:

— Ничего ты не можешь, — зря только языком болтаешь...

— Я-то?

— Ты.

— Эх! Сказал бы я...

— Ну, что? Ну, осмелел я, скажем... А потом что делать?

— Потом?

— Ну да!

— Я скажу!

— Говори.

— И скажу, только...

— Сказать нечего, — решительно пробормотал Ванюшка.

Салакин беспокойно завозился на нарах. А Ванюшка повернулся спиной к нему и, безнадежно, с тоской, вздохнув, прошептал:

— О, господи, хоть бы корку какую...

Несколько минут они оба лежали молча. Потом Салакин приподнялся, наклонил голову над Ванюшкой и, почти касаясь губами его уха, едва слышно сказал:

— Иван! Слушай, пойдем со мной!
— Куда? — тоже чуть слышно спросил Ванюшка.
— В Борисово...
— Пошто?
— Дорогой скажу!
— Сейчас говори...
— Ну, пойдем! Я скажу... Пойдем мы и... Матвей Иванова обокрадем, — ей-богу!
— Подь ты к чорту, — со страхом и досадой сказал Ванюшка.

Но Салакин тяжело навалился на него и начал шептать ему в ухо:

— Ты слушай, — просто ведь! Придем, сделаем что надо, и — назад сюда! Кто на нас подумает? Я там все знаю, все ходы-выходы, — и где лежат деньги знаю, — и есть серебро: ложки, стаканчики в горке, за стеклом...

Горячее дыхание Салакина грело щеку Ванюшки, и страх его таял. Но все же он тихо повторил:

— Поди, говорю, прочь, дьявол!

— Нет, ты подожди-ка... Ведь как бы мы зажили, — подумай! Раз — и сыты, обуты, одеты... а?

Ванюшка лежал молча, а Салакин все вдвух в ухо ему и в мозг горячие, убежденные слова.

И наконец Ванюшка спросил его:

— А много денег-то?

V

Через два дня, ранним утром, они шли по большой дороге, плечо к плечу друг с другом, и Салакин воодушевленно говорил товарищу, заглядывая ему в глаза:

— Понимаешь: перво-наперво мы сарай подожжем! И как, значит, загорится, все побегут на пожар, и он тоже — Матвей-то! Он побежит, а мы — к нему! И очистим его, как яичко...

— А поймают? — задумчиво спросил Ванюшка.

— Никак нельзя! — сказал Салакин. — Кому ловить? И строгим голосом он добавил:

— Пожар тушить надо, а не воров ловить! Понял? Ванюшка утвердительно кивнул головой.

Это было в начале марта. Мягкий, пухлый снег тяжелыми хлопьями лениво падал с невидимого неба и быстро залеплял следы людей, шагавших по дороге, между двух рядов старых берез с обломанными сучьями.

— Эх, кабы удалось! — сказал Ванюшка, тяжело вздыхая.

— Погляди, как удастся! — уверенно обещал Салакин.

— Дай бог! То есть ежели бы удалось, — господи! Никогда бы больше не пошел на эдакое дело...

Товарищи шли быстро, потому что были очень плохо одеты, — Салакин в свою бабью кофту, украшенную бесчисленным количеством дыр, из которых смотрела грязная вата, на ногах у него хлябали валеные калоши, а на голову он натянул серую от старости шапку. Ванюшка приобрел себе вместо кафтана коричневый драповый пиджак, но правый рукав пиджака был почему-то черный. В лаптях, в картузе с изломанным козырьком, подпоясанный веревкой, Ванюшка стал похож на пропившегося мастерового, а не на крестьянина.

Накануне того дня, когда они решили идти на дело, Салакин ухитрился стянуть где-то медную кастрюлю и уютю, продал их за восемь гривен торговцу старым железом, и теперь у него в кармане лежал полтинник.

— Ежели бы попался нам по дороге кто-нибудь на лошади, да подвез бы нас, — сказал Салакин. — А то мы к ночи не успеем, — сорок верст с лишком тут! Можно бы даже по пятаку с рыла дагь, кабы подвез...

Снег валился на головы им, падал на щеки, залепил глаза, лег на плечи белыми эполетами, приставал к ногам. Вокруг них и над ними безмолвно кипела белая каша, и они ничего не видели впереди себя. Ванюшка шел, молча понурив голову, как старая, больная лошадь, которую ведут на живодерню, а живой, словоохотливый Салакин оглядывался вокруг и болтал, не умолкая.

— Сколько прошли! А что впереди — не разберешь! Экий снег... Оно, положим, снег нам на руку, — следов не будет... Ежели бы он так все и валил! Только при нем поджигать неловко! Ничего, видно, на свете такого не бывает, которое со всех сторон — и так и эдак — хорошо было бы...

Хлопья снега становились мельче, суше и уже падали на землю не прямо и медленно, а стали кружиться в воздухе тревожно, суетливо и еще более густо. Вдруг из них выступило тяжелой темной кучей покосившееся набок здание, точно вдавленное в землю тяжелыми сугробами на его крыше.

— Это Фокины дворики, — сказал Салакин. — Мы, давай, в кабак зайдем, выпьем по стаканчику...

— Надо, — согласился Ванюшка, вздрагивая всем телом.

У кабака неподвижно стояли две лошади, запряженные в дровни. Маленькие, лохматые, они уныло смотрели кроткими глазами, смахивая снег с ресниц. Некрашенные дуги были пропитаны какой-то черной пылью.

— Ага, угольщик! — сказал Салакин. — Вот кабы по пути нам...

И на самом деле, в кабаке за столиком у окна сидел молодой парень и пил пиво. Ванюшке бросился в глаза длинный смешной нос на худом лице, покрытом черными пятнами. Угольщик сидел на стуле важно, развалившись, широко расставив ноги, и пил из стакана медленными глотками, а когда выпил, то закашлялся, затрясся весь и сразу потерял всю важность своей осанки.

Ванюшка подошел к стойке, проглотил стакан пахучей и горькой водки и мигнул Салакину на угольщика.

— В город едешь, молодец? — спросил Салакин, подходя к угольщику.

Тот посмотрел на него и глухим голосом ответил:

— Мы в город порожнем не ездим.

— Стало быть, из города!

— А тебе что?

— Мне-то? А вот мы с товарищем идем в Борисово, — на маслобойку порядились. Подвези немного, коли по пути!

Парень осмотрел Салакина, потом Ванюшку, налил себе пива и, вылавливая пальцем кусочек пробки из стакана, кратко ответил:

— Нам не рука.

— Подвези, будь другом! Мы тебе по пятакку бы...

— Мы не нуждаемся, — сказал парень, не глядя на Салакина.

— Ну, Христа ради подвези! — попросил Ванюшка тихо и робко.

Парень взглянул на него, нахмурил брови и отрицательно потряс головой.

— Экой ты какой! — воскликнул Салакин. — Не все тебе равно? Идти нам далеко, мы устали, одежда вон какая...

— Теплей бы одевались, — сказал угольщик с усмешкой.

— Да ежели не на что! — убедительно молвил Ванюшка. — Видишь — бедные мы...

— А зачем бедные? — равнодушно спросил угольщик и стал пить пиво.

Ванюшка переглянулся с товарищем, оба замолчали, стоя без шапок перед угольщиком.

Тогда заговорила старуха-кабатчица:

— Ты бы не ломался, Николай, подвез бы их. Чего там? Даром лошадь бежит, — а они вон по пятаку, слышь, дают! Ты спроси деньги вперед, да и пускай сядут.

Угольщик вновь осмотрел обоих товарищей поочередно. Потом вздохнул и сказал:

— По гривеннику.

— Ну, ладно! — крикнул Салакин, взмахнув рукой. — Бери, — на, пользуйся!

— Погляди деньги-то, — посоветовала старуха.

Угольщик бросил двугривенный Салакина на стол, прислушался к его звону, потом покусал его зубами и, подойдя к стойке, вновь бросил монету, сказав старухе:

— Получи за пиво.

— Ну и пес! — шепнул Салакин Ванюшке.

— Ты садись на порожнюю, — сказал угольщик Ванюшке, получив со старухи сдачу, — а ты — со мной...

— Ладно! — согласился Салакин. — А — что не вместе мы?

— А зачем вам вместе? — подозрительно спросил угольщик.

— Теплее нам бы...

— Ишь, — усмехнулся угольщик. — Нет, ты делай, как я велю. Потому, ежели товарищ-то твой захочет

лошадь у меня угнать, — так я тебя гирькой по башке оглушу, свяжу да и...

Не кончив свою речь, он засмеялся, потом стал кашлять долго, трудно...

VI

Отъехали верст пять от кабака, когда угольщик заговорил, наконец, со своим седоком:

— Ты кто таков?

— Человек, — сквозь зубы сказал Салакин.

Ехать было холодно. Салакин весь дрожал мелкой дрожью. Вьюга почти перестала, но дул резкий ветер. Уже дважды Салакин соскакивал из дровней и бежал рядом с ними по дороге в надежде согреться. Но бежать по глубокому, рыхлому снегу было тяжело, он быстро уставал, валился снова в дровни, а после этого еще сильнее зяб. И всякий раз, когда он выскакивал из дровней, угольщик, одетый в крепкий полушубок и чапан, высовывал из рукава чапана коротенькую, толстую палку с цепью на конце ее и фунтовой гирей на конце цепи. Салакин знал, что этот инструмент называется кистенем, и чувствовал, что злорада, такая же острая, как холод, сжимает ему сердце.

— Все люди! — сказал угольщик. — А я спрашиваю про то, чей ты таков?

— Я — ничей. Безродный я, — ответил Салакин и крикнул вперед: — Ваня, жив?

— Жив, — ответил Ванюшка негромко.

— Озяб?

— Да...

— Погляжу я на вас, — ворчливо заговорил угольщик, — несчастные вы. Оборванцы оба... Так, какие-то... лентяи, видно...

Салакин сидел съежившись и молчал, заботясь о том, чтобы не стучали зубы.

Он смотрел назад, видел там, сквозь редкие теперь пушинки снега, пустынную, синеватую равнину. Она дышала холодом, тоской в его лицо. И ничего не было в ней такого, на чем мог бы остановиться глаз.

— А вот мы — Семакины, нас три брата. Жжем мы, значит, уголь, возим его в город, на винный завод, да... Живем дружно. Сыты, одеты, обуты... все как надо быть, слава богу! Кто работать умеет, не ленится, не шалберничает — тот всегда хорошо живет... Старшие братья — женаты, и я вот после праздника женюсь... Вот оно как! Кто работать может, тому жить просто...

Лошадь едва бежала, тяжело вваливаясь в хомут. Сани дергало, и Салакин качался в них, как орех на ладони.

Скучные, тупые, тяжелые слова угольщика ложились ему на душу, точно холодные кирпичи, сжимали ее, и ему было больно, обидно слушать глухой голос этого человека.

— Ванюшка! — крикнул он.

— А?

— Ты бы побежал маленько...

— На што? — слабым голосом спросил Кузин.

— Не замерзни!

— Ничего...

Угольщик вздохнул. Потом усмехнулся, утер нос рукавом и вновь заговорил:

— Эки люди, эки люди! И что живете? Холодно, холодно... несуразно! Али так подобает жить людям? Жить надо хорошо...

— Ты вот поделись со мной деньгами, я и заживу хорошо, — злобно сказал Салакин.

— Чего?

— Поделись, говорю...

— Я те поделюсь! Это видал?

Перед лицом Салакина качалась гиря на цепочке, он видел оскаленное усмешкой черное, как у дьявола, лицо угольщика. И вдруг Салакина точно огнем охватило, точно сердце в груди его разорвалось, извергло пламя, а пламя это хлынуло в голову и окрасило все пред глазами в кроваво-красный цвет. Он сильно, как мог, размахнулся правой рукой наотмашь и ударом локтя по лицу опрокинул угольщика на спину. В то же время гиря упала на него, между лопатками, в тело впилась острая боль и стеснила ему дыхание.

— Караул, — убивают! — отрывисто вскрикнул угольщик.

Но Салакин, всюю тяжестью своей, навалился на него, охватил пальцами шею угольщика и, крепко сжимая, тискал коленями живот угольщика:

— Ну, говори, кричи, говори...

Угольщик хрипел, кусал зубами одежду на плече Салакина, извивался под ним, как рыба под ножом, и тоже искал руками его шею. Кистень выпал из его пальцев, но висел на ремне у кисти руки. Он то и дело касался тела Салакина, и каждое его прикосновение, не вызывая боли, рождало страх.

— Ванюшка! Помогай! — диким голосом закричал Салакин.

Ванюшка, стиснутый холодом, лежал в дровнях, зарывшись в кули из-под углей, и, когда услышал крик угольщика, его охватил страх. Он сразу, инстинктом, догадался, в чем дело, и еще глубже сунул голову в куле...

«Скажу, — я спал, — я не слышал», — быстро сообразил он.

Но когда раздался зов товарища на помощь, он весь вздрогнул и выскочил из саней, словно ком снега из-под копыта лошади. В его мозгу искрой мелькнула мысль, что, если угольщик одолеет Салакина, он убьет и его, Ванюшку. А когда он очутился около двух человеческих тел, скрутившихся в один огромный узел, увидел облитое кровью, но все-таки черное лицо угольщика и кистень, который болтался на правой руке, судорожно искавшей его черными пальцами, — Ванюшка схватил эту руку и стал ломать, коверкать, вертеть ее...

Маленькая, мохнатая лошадка с печальными глазами, качая головой, тихо шагала по дороге, увозя куда-то в холодную и мертвую даль троих людей, которые, хрипя и скрежеща зубами, бессмысленно возились в дровнях, а другая лошадь, боясь, что ноги этих людей ударят ее по морде, начала потихоньку отставать.

VII

Когда Ванюшка, усталый, вспотевший, очнулся от борьбы, он со страхом в глазах вполголоса сказал Салакину:

— Гляди, — где лошадь-то? Ушла!

— Она не скажет, — пробормотал Салакин, вытирая кровь с разбитого лица.

Спокойный голос товарища уменьшил страх Ванюшки.

— Н-ну, наделали делов! — искоса глядя на угольщика, сказал он.

— Лучше нам его убить, чем ему нас, — так же спокойно проговорил Салакин и тотчас же деловито добавил: — Ну-ка, давай его раздевать! Тебе — полушубок, мне — чапан. Надо скорее, а то встретит кто-нибудь или нагонит...

Ванюшка молча начал перевертывать угольщика, снимая с него одежду, и все посматривал на товарища. Он подумал:

«Неужто не боится?»

Спокойное, деловое отношение товарища к убитому вызывало у Ванюшки удивление и робость пред товарищем. И еще более удивляло его рябое, исцарапанное лицо Салакина, — оно все вздрагивало, кривилось, точно от безмолвного смеха, и глаза на нем блестели как-то особенно, точно он в меру выпил вина или чему-то сильно обрадовался. В борьбе Ванюшка потерял картуз, Салакин взял шапку угольщика, сунул ее Ванюшке и сказал:

— Надень, — озябнешь так-то! Да и нехорошо... Человек, и вдруг — без шапки. Почему такое?

Он начал выворачивать карманы штанов убитого и делал это так быстро и ловко, точно всю жизнь только тем и занимался, что убивал и грабил людей.

— Надо все соображать, — говорил он, развязывая кисет угольщика. — Никто без шапок не ходит. Ишь ты, — золотой, пять целковых, — нет, семь с полтиной...

— Ты, — робко заговорил Ванюшка, глядя на монету загоревшимися глазами.

— Чего? — быстро окинув его взглядом, спросил Салакин. И пренебрежительно проворчал: — Ужо этого добра у нас будет довольно! Н-но, шагай, малышка! Вези скорей...

И Салакин ударил ладонью по крупу лошади.

— Я не про деньги, — сказал Ванюшка. — Я хотел спросить ..

— Чего?

— Ты — первый раз это? — Ванюшка показал глазами на раздетое тело угольщика.

— Дурак! — усмехаясь, воскликнул Салакин. — Что я, разбойник, что ли?

— Я потому, что больно скоро ты его раздел...

— Живых — раздевают, а мертвого — не велика мудрость.

И вдруг Салакин, стоявший на коленях, покачнулся и тяжело упал на ноги Ванюшки, тот вздрогнул, точно все тело его вдруг окунулось в холодную воду, закричал, стал отталкивать от себя товарища, а лошадь от крика пустилась вскачь.

— Ничего, ничего, — бормотал Салакин, хватаясь за Ванюшку. Лицо у него стало синее, глаза тупые, тусклые.

— Между крыльцев он меня ударил. Сердце схватило... пройдет...

— Еремей, — дрожащим голосом заговорил Ванюшка. — Воротимся, Христа ради!

— Куда?

— В город! Я боюсь...

— В город — нельзя! Нет, мы поедем, продадим лошадь, — потом туда — к Матвею...

— Я боюсь, — уныло сказал Ванюшка.

— Чего?

— Пропадем мы, брат! Чего теперь будет? Али мы за этим шли с тобой?

— Подь ты к чорту! — громко крикнул Салакин, и глаза его злобно сверкнули. — «Пропадем!» Что значит — пропадем? Одни мы с тобой, что ли, человека убиваем? Первый раз, что ли, на земле это случилось?

— Ты не сердись, — плачевным голосом попросил Ванюшка, видя, что лицо товарища снова стало каким-то отчаянным и точно пьяным.

— Как тут не сердиться! — с негодованием воскликнул Салакин. — Вышло эдакое...

— Ты погоди, — что мы делаем? — убедительно заговорил Ванюшка, вздрагивая всем телом и боязливо оглядываясь вокруг. — Куда мы его возем? Ведь сейчас Вишенки должны быть, — а мы с тобой чего возем?

— Тпрру, чорт! — крикнул Салакин на лошадь и быстро, легко, как мяч, выскочил из дровней на дорогу.

— Верно, брат! — забормотал он, хватая угольщика за руку. — Бери его, тащи! Бери за ноги, ну! Тащи!

Ванюшка, стараясь не видеть лицо трупа, приподнял его ноги и все-таки увидал что-то синее, круглое, страшное на месте лица угольщика.

— Рой яму! — командовал Салакин и прыгал в рыхлом снегу, разгребая его сильными, торопливыми движениями ног в обе стороны. Он делал это так странно, что Ванюшка, опустив тело угольщика на рыхлый снег, встал над ним и смотрел на товарища, не помогая ему.

— Зарывай, зарывай, — говорил Салакин, усердно и быстро засыпая снегом грудь и голову убитого. Товарищи возились в двух шагах от дровней, а лошадь, скосив шею, одним глазом смотрела на них и стояла неподвижно, точно замерзла.

— Едем, готово, — сказал Салакин.

— Мало! — возразил Ванюшка.

— Чего мало?

— Заметно, — бугор...

— Все одно!

Они сели в дровни и поехали дальше, плотно прижавшись друг к другу. Ванюшка смотрел назад по дороге, и ему казалось, что они едут страшно тихо, потому что бугор снега над телом убитого не скрывался из глаз.

— Гони лошадь, — попросил он Салакина, плотно закрыл глаза и долго не открывал их. А когда открыл, то все-таки увидал вдали, влево от дороги, небольшое возвышение на гладком снегу.

— Эх, пропадем мы, Ерема, — почти шопотом сказал Ванюшка.

— Ничего, — глухо ответил Салакин. — Продадим лошадь, потом — опять в город... Ищи нас! Вот они, Вишенки-то...

Дорога опускалась под гору, в неглубокую снежную долину. Черные голые деревья задвигались по бокам дороги. Крикнула галка. Товарищи вздрогнули, молча взглянули в лица друг другу...

— Ты — осторожнее, — шепнул Ванюшка Салакину.

VIII

В кабаки они вошли развязно, шумно.

— Ну-ка, добрый человек, — сказал Салакин кабатчику, — напеди нам по стакашку!

— Можно, — ответил высокий, черный мужик с лысиной, вставая за стойкой. И он посмотрел на Ванюшку так приветливо и просто, что Кузин остановился посреди кабака и виновато улыбнулся.

— В нашем этом месте такой порядок, — заговорил кабатчик, ставя пред Салакиным водку, — что люди, когда куда входят, так говорят: «здорово!» или там «здравствуй!» Дальние будете?

— Мы-то? Нет, мы... мы тут не больно далеко... верст тридцать, — объяснил Салакин.

— В которую сторону?

— В эту, — и Салакин указал на дверь кабака.

— Из-под города, значит? — спросил кабатчик.

— Вот... Иди, Ваня, пей!

— Брат, Ваня-то?

— Нет, — быстро ответил Ванюшка. — Какие мы братья!

В углу кабака, около двери, сидел маленький мужик, с острым птичьим носом и серыми, зоркими глазами. Он встал с места, медленно подошел к стойке и в упор, бесцеремонно оглядел товарищей.

— Ты чего? — спросил кабатчик.

— Так, — скрипучим голосом сказал мужик. — Ду-мал — может, знакомые какие...

— Посидим немножко мы, погреемся, — сказал Салакин, отходя от стойки, и дернул Ванюшку за рукав.

Они отошли в сторону, сели за стол, мужик с птичьим носом остался у стойки и что-то негромко сказал кабатчику.

— Поедем, — шепнул Ванюшка Салакину.

— Погоди, — громко ответил Салакин.

Ванюшка укоризненно поглядел на товарища и покачал головой. Ему казалось, что теперь громко говорить при людях опасно, нехорошо, неловко.

— Налей-ка нам еще по одной, — предложил Салакин.

Дверь кабака завизжала, и вошли еще двое: один — старик, с большой седой бородой; другой — коренастый, большеголовый, в коротеньком, по колено, полубухе.

— Доброго здоровья, — сказал старик.

— Добро пожаловать, — ответил кабатчик и поглядел на Салакина.

— Чья лошадь? — кивая на дверь головой, спросил коренастый.

— Вот этих людей, — указывая пальцем на Салакина, медленно выговорил остроносый мужик.

— Наша, — подтвердил Салакин.

А Ванюшка слушал голоса, и у него замирало сердце от тревоги. Ему казалось, что здесь все люди говорят как-то особенно, слишком просто, как будто они всё знают, ничему не удивляются и чего-то ждут.

— Уедем, — шепнул он товарищу.

— А вы кто такие? — спросил Салакина коренастый.

— Мы? Мясники, — неожиданно ответил Салакин и улыбнулся.

— Ну, — чего ты? — беспокойно, но негромко воскликнул Ванюшка.

Однако все четверо мужиков услышали его восклицание и все, медленно поворотив головы, уставились на него любопытными глазами. Салакин рассматривал их спокойно, только плотно сжатые губы его вздрагивали, а Ванюшка опустил голову над столом и ждал, чувствуя, что не может дышать. Тяжелое, как туча, молчание продолжалось недолго...

— То-то, гляжу я, — заговорил коренастый мужик, — передок-то дровней в крови...

— Чего? — дерзким голосом сказал Салакин.

— А я, — сказал старик, — не заметил крови, — разве кровь? Я на дровни взглянул, — все черное, значит, мол, — угольщики! Налей мне, Иван Петрович...

Кабатчик налил стакан водки и медленно, как сытый кот, пошел к двери. Мужик с птичьим носом подождал, когда он поравнялся с ним, и тоже вышел из кабака.

— Ну, — сказал Салакин, вставая со стула, — ну, Ваня, — надо ехать! Куда хозяин пошел? Деньги-то...

— Сейчас придет, — сказал коренастый мужик, от-
вернувшись от Салакина, и стал свертывать папироску.
Ванюшка тоже встал, но тотчас же снова опустился на
стул, ноги у него стали дряблые, мягкие и не держали
тела его. Он тупо взглянул в лицо товарища и, видя, что
губы Салакина дрожат, тихо зарычал от тоски и страха.

Кабатчик вернулся один. Он так же медленно и спо-
койно, как вышел, возвратился за стойку и, облокотясь
на нее, сказал старику:

— А опять теплеет...

— К тому время идет, к теплу...

— Ну, мы едем! — громко сказал Салакин, подходя
к стойке. — Получай.

— Погоди, — лениво, улыбаясь, сказал кабатчик.

— Нам некогда, — тише произнес Салакин, опуская
глаза.

— Ну, погоди, — повторил кабатчик.

— Чего годить?

— А вот я за старостой послал...

Ванюшка быстро встал на ноги и снова сел.

— Мне староста ни к чему, — заявил Салакин, пере-
дергивая плечами, и зачем-то надел шапку.

— А ему тебя надо, — лениво проговорил кабатчик,
отодвигаясь от Салакина.

Старик и коренастый мужичок заинтересовались
непонятным для них разговором и подвинулись к стойке.

— Хочет он тебя спросить, как это выходит — тор-
гуешь ты мясом, а везешь кулье из-под углей?

— А-а-а? — протянул старик, отходя от Салакина.

— Вот оно что! — воскликнул коренастый. — Ло-
шадку угнали?

— Нет! — тонким голосом воскликнул Ванюшка.

Салакин махнул рукой и, оборотившись к нему, ска-
зал с кривой усмешкой:

— Приехали, — готово!

В дверь кабака с шумом, торопливо вошло еще
человек пять мужиков. Один из них, высокий, рыжий,
держал в руках длинную палку. Ванюшка смотрел на них
широко раскрытыми глазами, ему казалось, что все они,
как пьяные, качаются на ногах и раскачивают кабак.

— Здорово, молодчики! — сказал мужик с палкой. — Нуте-ка, скажите-ка нам, вы кто такие? И отколе? Вот я, примерно, староста, — а вы?

Салакин взглянул на старосту и засмеялся смехом, похожим на лай собаки. А лицо у него побледнело.

— Ты смеяться? — сурово сказал один из мужиков и стал засучивать рукава.

— Погоди, Корней, — остановил его староста. — Всею своя очередь. Они и так... Вы, ребята, тово, — вы прямо, вчистую говорите — где лошадь взяли? Во!

Ванюшка тяжело и медленно, как подтаявший снег с крыши, съехал со стула на пол и, стоя на коленях, начал бормотать, заикаясь:

— Православные, — не я! Он! Мы лошадь не угнали, — мы угольщика убили... Он тут, — недалеко, — в снегу зарыт. Мы не угоняли лошадь, — мы ехали только, ей-богу! Это все — не я! Она сама отстала, лошадь; она придет! Мы не хотели убить, — он сам начал — кистенем! А мы в Борисово шли, — мы хотели приказчика ограбить, — поджечь сначала, — а лошадей мы не трогали! Это все он меня, вот этот...

— Вали-и! — громко крикнул Салакин. Он сорвал с головы шапку и бросил ее к ногам мужиков, стоявших пред ним молчаливой, плотной, темной стеной.

— Сыпь, Ванька, хорони!

Ванюшка замолчал, опустил голову на грудь, руки у него повисли вдоль тела.

Мужики долго смотрели на них угрюмо и молча. Наконец, один — тот, с птичьим носом и скрипучим голосом, — вздохнул и громко, с досадой сказал:

— Эки ведь злодеи, дураки, — а!

ЛЕГЕНДА О МАРКО

В лесу над рекой жила фея.
В реке она часто купалась;
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Ее рыбаки испугались,
Но был с ними юноша Марко:
Схватил он красавицу фею
И стал целовать ее жарко.
А фея, как гибкая ветка, —
В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи глядела
И тихо над чем-то смеялась.
Весь день она Марка ласкала;
А как только ночь наступила,
Пропала веселая фея...
У Марка душа загрустила...
И дни ходит Марко и ночи
В лесу, над рекою Дунаем,
Все ищет, все стонет: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»
Но он закричал им: «Вы лжете!
Вы сами целуетесь с нею!»
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею...
Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась;

А Марка — уж нету...

Но все же

От Марка хоть песня осталась.

А вы на земле проживете,

Как черви слепые живут:

Ни сказок о вас не расскажут,

Ни песен про вас не споют!

ЧЕЛОВЕК

I

...В часы усталости духа, — когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, — когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, — в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта —

науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, — он движется все — выше! и — вперед! звездой путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч, — идет свободный, гордый Человек далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его режут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им; все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

.И как планеты окружают солнце, — так Человека тесно окружают создания его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятия...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы создания его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым глазом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желание овладеть любимым, стремление унижать и унижаться и — Чувственности грязный лик за ней;

— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней, — сестру ее родную, — нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом.

Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство, и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши на них.

Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крыльев, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира, — свободной и бессмертной Мысли, — противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо злая.

Смерть для нее ветошнице подобна, — ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою — ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниения, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска, — три черные, уродливые птицы — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал, — он умрет!

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую, и злую; сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блесит слеза обиды...

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятия, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилие быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог, — она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытается Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом Тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой, серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям своим:

— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет! Я постигаю рост сознания моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде...

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознания моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожную болезнь, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того, — чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримируемый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно,

весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей, — я их разрушу!

— Мое оружие — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытывая, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке — все для Человека!

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую голову, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

Издание товарищества „ЗНАНИЕ“ (Спб., Невскій, 92).

I.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ“ ЗА 1903 ГОДЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Л. Андреевъ. Жизнь Василя Оливейскаго.
Ив. Бунинъ. Стихотворенія.
Ив. Бунинъ. Черноземъ.
В. Вересаевъ. Передъ заѣздомъ.
Н. Гаринъ. Деревенская драма.
М. Горькій. Человѣкъ.
С. Гусевъ. Въ приходѣ.
А. Серафимовичъ. Въ пути.
Н. Телешовъ. Между двухъ береговъ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1904.

Титульный лист 1-го сборника товарищества «Знание», в котором
была напечатана поэма Горького «Человек».

ТЮРЬМА

I

Над городом неподвижно стояли серые тучи; на грязную землю лениво падал мелкий дождь, окутывая улицы тусклой, дрожащей тканью...

Окруженная плотной цепью полицейских, по мокрому тротуару, прижимаясь к сырым стенам домов, медленно шла густая толпа мужчин и женщин, а над нею колебался глухой, неясный шум.

Серые, сумрачные лица, крепко сжатые челюсти, угрюмо опущенные глаза. Кое-кто растерянно улыбается и развязно шутит, стараясь скрыть обидное, тяжелое сознание бессилия. Порою раздается сдавленный крик возмущения, но он звучит тускло и неуверенно, как будто человек еще не решил: пора возмущаться или уже — поздно?

Усталые лица полицейских озабочены, озлоблены. Капли дождя тускло блестят на шапках и усах. И на людей, — побежденных без боя, — вместе с дождем лениво падают крупные, липкие хлопья снега — опускается угрюмая печаль.

— Загоняй во двор! — крикнул кто-то осипшим голосом.

Началась давка, люди, как овцы, тесно прижимаясь друг к другу, темным потоком вливались во двор. Их негодующие крики зазвучали громче, нервнее, слышались резкие возгласы озлобления, высокие голоса женщин зазвенели слезами...

Веселый, добродушный здоровяк, студент первого курса Миша Малинин шел в середине толпы и наивными голубыми глазами жалостно осматривал бледные, злые, растерянные лица вокруг себя. Крики женщин, нервный смех, глухой ропот волновали его; задыхаясь в тесноте, полный тяжелым чувством стыда, готовый плакать от негодования, расталкивая окружающих, он старался скорее пройти во двор, чтобы спрятаться там, отделить себя от всех, остаться одному.

...Чьи-то маленькие цепкие руки крепко схватили его за рукав пальто — он увидел пред собой бледное лицо с огромными влажными глазами. Это лицо, мокрое от слез или дождя, поднялось к его лицу, и яркокрасные, судорожно перекошенные губы, вздрагивая, горячо зашептали:

— Я — не пойду!.. я не могу, не хочу! Он толкнул меня... он не смеет... скажите ему...

Девушка задыхалась, трясла головой, и черные кудри мятежно осыпали ее мокрые щеки и белый высокий лоб.

— Не смеет! — вдруг закричала она, покрывая своим голосом весь шум, взмахнула рукой, выпрямилась, и глаза ее вспыхнули.

Тогда и в груди Миши тоже вспыхнул огонь, жгучими струйками разлился по жилам, выжег стыд, наполнил грудь юношеской отвагой. Миша рванулся вперед, — черная масса расступилась под его напором, как грязь от камня, упавшего в нее... Он увидел пред собой высокого человека, в серой шинели, и звенящим голосом закричал на него:

— Вы не смеете бить!

— Да — э! Кто ж бьет? — раздраженно отмахнувшись рукой, возразил серый человек. Его утомленное лицо с рыжими усами исказилось пренебрежительной гримасой, и, положив руку на плечо Миши, он сказал:

— Ну, прошу вас, — идите же!

Миша видел его гримасу и почувствовал в сердце острый укол обиды.

— Я — не пойду! — свирепо закричал он. — Мы не пойдем... мы не стадо! Довольно насилий!

Все красивые, сильные слова, какие он слышал о свободе, о человеческом достоинстве, хлынули из его груди горячим ручьем и засверкали над людьми, зажигая

у одних гнев, у других — страх. Опьяненный звуками своего голоса, оглушенный пестрым вихрем криков, он закружился в толпе, точно искра в черной туче дыма, и не заметил, как его схватили, вырвали из толпы, — очнулся только на извозчике.

Широко открыв глаза, он жадно глотал воздух и вздрагивал, полный здорового, радостного возбуждения, еще не отдавая себе отчета в том, что произошло. Рядом с ним, обнимая его за талию, сидел околоточный надзиратель, молодой человек с черными усами и со шрамом на правой щеке. Лицо у него было угрюмое; крепко сжав губы, он прищуренными глазами смотрел вперед и все подтрагивался до щеки левой рукой.

— Вы меня... куда? — добродушно спросил Миша.

— Ввв — часть... — сквозь зубы ответил околоточный, и лицо у него болезненно вздрогнуло.

— Вас — ударили? — сочувственно осведомился Миша.

— З-зуб болит... чорт! — промычал околоточный, ткнул извозчика кулаком в спину и злым, истерическим голосом заныл: — Да поезжай ты скорее... будь проклят!

Извозчик — седой, маленький старик — повернул к нему лицо и, ласково моргая красными слезящимися глазами, утешительно сказал:

— По-спеем, ваша благородия... в тюрьму не в церкву, никогда не опоздаешь...

— Поговори у меня! — прошипел околоточный.

Извозчик пугливо задергал вожжами и забормотал на лошадь:

— Эх ты... н-ну...

По улице, в густом, липком тумане, суетливо мелькали темные фигуры прохожих — казалось, что они сбились с дороги в этой серой, влажной мгле и беззвучно, тоскливо мечутся, не зная, куда идти. С глухим шумом и воем проносились вагоны трамвая, под колесами у них вспыхивали злые, синие искры, а внутри вагонов сидели черные люди. Непрерывно звучал усталый лязг подков по камням мостовой, появлялись желтые огни фонарей, растерянно вздрагивали и, ничего не освещая, — исчезали, проглоченные туманом. Резиновые шины пролетки торопливо подпрыгивали по неровной мостовой, и в груди Миши тоже что-то начало дрожать мелкой, неприятной дрожью.

У ворот полицейской части кто-то низенький, толстый и серый, как туман, сказал сиплым, равнодушным голосом:

— Эге! Ще одного привезли? А местов — вже нема!.. Их благородие казали — нехай возют прямо у тюрьму...

— Чтобы черти побрали... — застонал околоточный и вдруг, повернув к Мише страдальчески сморщенное лицо, укоризненно заговорил:

— Вот, господин студент... да-с! Говорите тоже — мы за народ!.. а... а больной человек должен возить вас... несмотря ни на что!

И, резко отвернувшись, он крикнул извозчику:

— Ты! Ну... в губерскую!..

Мише хотелось рассмеяться, но, не желая обижать больного человека, он сдержался, помолчал и потом ласково заметил:

— Вы бы — креозотом...

Околоточный не отозвался. И уже только у стены тюрьмы, слезая с пролетки, он уныло проговорил:

— Пробовал и креозотом... не помогает!.. Пожалуйте!

II

В тюрьме тоже не оказалось свободных мест, Мишу посадили в небольшую камеру для уголовных. Седой, высокий надзиратель, с длинным лицом, острой бородкой и бесцветными, неподвижными глазами, с громом запер толстую грязную дверь и, наклонясь к прорезанному в ней круглому окошечку, сказал, точно в рупор, глухим, ровным голосом:

— Ежели что занадобится — позовите...

Юноша осматривал камеру. У двери, с левой стороны, тяжелым треугольником выступала печь, к ней плотно примыкали покатые грязные нары на четверых; они тянулись по всей длине стены до окна, заделанного толстой железной решеткой. Между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство, шириною аршина в полтора, кроме нар в этой грязной, угрюмой комнате — ничего не было. Иссеченный трещинами каменный свод изгибался тяжелой аркой, опускаясь у левой стены почти до уровня нар. В самой высокой точке свода горела

покрытая пылью электрическая лампочка, освещающая стены, покрытые пятнами от раздавленных клопов и какими-то надписями.

Над нарами около печи были начертаны, должно быть гвоздем, столбцы цифр — кто-то слагал, делил и множил их, заполняя этим пустоту дней, проведенных здесь. На темном пятне высохшей плесени крупными буквами было написано:

Мы из Вязьмы два громилы
Вместе по миру ходили,
С за угла копейку срубим,
На нее краюшку купим
И — хряпаем.

Миша улыбнулся, думая, что значит — «хряпаем»?

«Должно быть — жадно едим!» — решил он, всматриваясь в нестройные ряды букв, весело рассыпанных по стене. «Два громилы» представились ему отчаянными весельчаками. Миша прочитал стихи еще раз и засмеялся...

За дверью камеры раздались шаркающие шаги, глухой голос сердито спросил:

— Вы — что?

Миша вздрогнул, обернулся, — из квадрата, прорезанного в двери, на него смотрел холодный, неподвижный глаз...

— Вы — звали?

— Нет. Я — смеялся.

Глаз подпрыгнул куда-то кверху, долетел тусклый и как будто обиженный голос:

— Здесь не смеются...

Пред Мишей мелькнуло худое, длинное лицо надзирателя, его круглые, бесцветные глаза, седые мохнатые брови, высоко поднятые над ними, широкий лоб, обтянутый желтой, морщинистой кожей...

Студент вздохнул и стал читать надписи. На потолке, там, где, лежа на нарах, легко было достать до него рукой, кто-то очень тщательно, печатными буквами написал:

«Сдесь сидел Якоф Игнатив Усоф. По убийству жены и Сашки Грызлова за подлость иху. Винваре это было. 1900. Выпустил им кишки».

Миша снова вздрогнул. Его поразило содержание надписи и еще больше — тщательность, в которой чув-

ствовалось, что Усов твердо верит в свое право убивать людей.

Он хотел представить себе Усова и не нашел для него человеческого образа, — этот спокойный убийца рисовался в его воображении бесформенным, грозным пятном, и в центре этого пятна ровным светом горел тусклый, кроваво-красный огонь.

За дверью раздались тяжелые шаги и громкий возглас: — Смирно!

Потом загремело железо, дверь отворилась, в камеру вошли двое надзирателей и младший помощник начальника тюрьмы — маленький человек с темной, острой мордочкой и пугливыми мышиными глазками. Он искоса окинул взглядом фигуру студента и молча отвернулся от него. Один из надзирателей — рыжий, толстый, с большим животом — подошел к окну и потрогал рукой решетку; другой, знакомый Мише высокий старик, неподвижно стоял у косяка двери и смотрел в лицо юноши мертвыми глазами. Скользнув около его ног, в камеру влетела — точно облако холодного воздуха зимой — серая фигура уголовного арестанта; он быстро швырнул под нары деревянную шайку, густо вымазанную смолой, и исчез. Ушло и начальство, громко стучая ногами. Взвизгнул тяжелый засов, потом дверь шумно заперли замком и пошли дальше по коридору, унося с собой холодный, твердый лязг ключей.

— Смирно-о! — донеслось в камеру Миши подавленное восклицание.

Где-то протяжно завизжал блок, хлопнула дверь, воздух вздрогнул от звука, похожего на выстрел, вновь раздался тяжелый скрежет железа, отчетливо прозвучали мерные твердые шаги, еще раз Миша услышал суровый окрик:

— Смирно-о!..

И — стало тихо, точно всю тюрьму сразу окутали мягкой, непроницаемой для звуков темной тканью...

Малинин почувствовал, что у него точно зуб заболел, но тотчас же устыдился тихо ноющей боли, встряхнул головой, сунул руки глубоко в карманы брюк и, громко насвистывая, зашагал по камере.

В окошке явился мертвый глаз надзирателя, и его сухой старческий голос спокойно произнес:

— Свистеть — нельзя!

— Нельзя? — остановясь, повторил Миша.

— Ну, да...

— Хорошо... не буду! — усмехаясь, сказал Миша, пожав плечами.

Несколько секунд глаз тускло поблестел, потом медленно всплыл вверх. За дверью прозвучали, удаляясь, мягкие шаги. В соседней камере у каторжан гудел темный, однообразный шум... Кто-то, должно быть, молился или рассказывал сказку... Миша подошел к окну, встал на подоконник и, прислонясь лбом к холодному железу решетки, стал смотреть во тьму ночи... А ночь была так густо темна, что казалось — если за окно высунуть руку, — рука покроется сырым, черным, как сажа, налетом...

III

В тишине, точно подстерегавшей звуки и готовый резко обнаружить их, Миша почувствовал, что в нем снова растет гордость собою.

...Среди сотни людей только он один нашел в себе мужество смело спорить против насилия!.. Ему вспомнились влажные глаза девушки. Может быть, теперь, сидя в своей маленькой комнатке, она рассказывает подругам о том, как высокий студент говорил речь, призывая на борьбу с насилием.

Высоко в черном небе трепетно горели маленькие, страшно далекие звезды — сквозь грязное стекло окна плохо было видно их.

Миша, не мигая, смотрел в высоту, и его думы кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую...

«Приятно будет рассказывать о тюрьме, когда выйдешь на свободу!..» — думалось ему. Он крепко закрыл глаза, подумал и через минуту взволнованно шептал:

Сквозь железные решетки
С неба в окна смотрят звезды...
Ах! В России даже звезды
Смотрят с неба сквозь решетки...

Четверостишие показалось ему красивым и остроумным. Обрадованный этим, он соскочил с окна и, расхаживая по камере, вслух стал декламировать, возбужденно улыбаясь:

Ах! В России даже звезды
Сквозь решетки смотрят с неба!

— Говорить — нельзя! — раздался тревожный, громкий шопот.

Миша остановился и несколько секунд молча смотрел в глаз надзирателя, блестящий среди двери.

— Почему же нельзя? — спросил он наконец, невольно понижая голос.

— Запрещено!

Мише показалось, что теперь глаз точно ожил и в нем сверкает испуг.

— Но — почему? — тихо спросил Миша, подходя к двери. — Ведь кроме вас — никто не слышит... а вам разве я мешаю?

Он наклонился к двери, и вместе с теплым дыханием лица его коснулись странные, строгие слова:

— Чего вы смеетесь, господин студент? Разве для смеху вас сюда посадили?

— Да скажите вы... — начал Миша.

Но глаз надзирателя исчез, за дверью притаилась тишина.

— Смирно! — глухо раздался за окном сиплый голос.

Звякнуло ружье, составленное к ноге. Во тьме часовой торопливо и негромко бормотал:

— Двенадцать окошков... дыве будки...

— Ты, чуваш! Ежели увидишь башка из окна высунется, або рука — не стреляй!..

— Слушаю!

— То-то! А то — бухнешь, как намедни... Быков, объясни ему подробно!..

В тишине каждое слово сверкает, как искра во тьме.

— Ежели увидишь — в окно смотрят — не стреляй! Понял?

— Тах точино...

Слова, сказанные ломаным языком, звучат боязливо и грустно.

— Ну, а ежели кто полезет из окна, а то побежит тут вот, али там — видишь?

— Тах точноно...

— Сейчас ты кричи — кто идет? И раз кричи, и два... а третий — стреляй, ну, только — вверх, для тревоги... И тогда — бегущего этого — тоже стреляй... али бей прикладом, али штыком... Как тебе сподручно, понял?

— Тах точноно...

— Ну, ходи теперь вот отсюда дотудова... и гляди в окна... Да — дрыхнуть не вздумай!

— Никак нету...

— То-то, — идол! А ну, объясни — когда ты должен стрелять?

— Кохда полезит на стине...

— А ежели он прямо через стенку?

Слышно, как ноги нетерпеливо топают о сырую землю.

— Н-ну, чорт!..

— Тохда — бить... — раздается робкий, тихий голос.

— А ежели — голова в окне, — тогда что?

Молчание. Брякает ружье. Озлобленно плюют...

— Н-ну, дубовая башка!..

Громко звучит нецензурное ругательство и — противный звук, — точно ударили ладонью по тесту...

— Тогда — ничего... — как вздох, доносится едва слышный ответ.

— Врешь! — рычит бас. — Тогда должен сказать — убери прочь голову... Понял? У, жабы морда... Марш!..

...Миша плотно прильнул к решетке, стараясь увидеть часового, который говорит так грустно и робко. Узкое пространство между стеной тюрьмы и высокой каменной оградой было наполнено густой тьмой, и в ней медленно, почти бесшумно двигалась небольшая серая фигурка, высоко подняв голову. Тонкая полоска штыка, поблескивая во мраке, была похожа на рыбу в воде.

— Вубери башка! — прозвучал торопливый, испуганный возглас.

Миша тихо слез с подоконника, осмотрелся вокруг. В камере было душно... На глаза ему попало циничное ругательство, крупно выведенное карандашом на сером

фоне стены... Он прочитал его, помолчал и вдруг громко повторил вслух... Потом взглянул на дверь, лег на нары и закрыл глаза...

Тотчас же в двери тускло заблестел рыбий глаз...

IV

Миша крепко спал, раскинувшись на нарах, и ему снилось, что он бежит по узкой, темной улице, а за ним гонится кто-то невидимый, хватает его за плечи и кричит непонятные, строгие слова:

— Поверка!..

Он открыл глаза, приподнял голову — около нар стоял рыжий, толстый надзиратель и дергал его за полу тужурки, а высокий, сутулый помощник начальника тюрьмы насмешливо смотрел на него серыми глазами и говорил:

— Извольте вставать во-время, здесь не у маменьки!

— Сейчас... — безобидно улыбаясь, сказал Миша, быстро соскочив с нар.

Помощник начальника взглянул ему в лицо, отвернулся к двери и уже мягче заметил:

— Вы бы спросили бумаги и написали домой... насчет постели... и прочее...

Потом Миша ходил умываться в конец коридора, где над широким и длинным железным корытом из стены торчал ряд медных кранов, а из них текла круглой, толстой струей холодная вода... По коридору бегали серые арестанты с жестяными чайниками в руках, и время от времени раздавался крик:

— За кипятком... эй!

Гремя кандалами, навстречу Мише прошел высокий, стройный каторжник с бледным лицом, в густой русой бороде; он взглянул на студента, подмигнул ему и, улыбаясь, сказал:

— Что, барчук, накрыли?

Рыжий надзиратель принес Мише кружку теплого, жидкого чая и большой кусок черного хлеба.

Тюрьма гудела, как гнездо ос. Раздавался смех, ругань, обрывки песен, резкие окрики надзирателей, в коридоре мягко шуршали швабры, хлюпала вода, и Миша,

полный острого интереса к жизни и людям, запертым в этом старом здании из камня и грязи, напряженно вслушивался в гулкий шум...

Он мало читал и еще меньше видел: до университета его жизнь скучно текла в строгом доме сестры и ее мужа, и он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и горячо говорили мудреным, книжным языком о разных общественных вопросах. Общая волна недовольства жизнью уже успела коснуться его души, возбуждая в ней смутное, но здоровое желание протеста, но он еще не успел понять, куда, на что именно следует обратить этот протест. Теперь, чувствуя себя героем, он с жадностью юноши поглощал новые впечатления, наполняя ими огромную емкость молодой души...

Выпив чай, он влез на подоконник. По тропинке, у высокой стены, окружавшей тюрьму, быстрыми шагами ходил, заложив руки за спину, широкоплечий, черный человек в картузе и коротком толстом пиджаке. Порою он сильным движением скидывал голову и, не останавливаясь, быстрым взглядом осматривал окна. Несколькими раз Миша чувствовал, как этот наблюдательный взгляд ярких глаз скользил по его лицу. Ему захотелось что-то сказать этому человеку, назвать свою фамилию, спросить, за что он сидит, и, когда человек поравнялся с окном, Миша негромко крикнул:

— Послушайте!..

Откуда-то из-под окна явился часовой и, грозя пальцем, сурово сказал:

— Эй... нельзя!

Человек в картузе пожал плечами и, улыбнувшись Мише, прошел далее. Миша спрыгнул на пол.

Около полудня в камеру вошел молодой и тонкий, как тростинка, надзиратель, с лицом, безобразно изрытым оспой. Он встал в двери и, не глядя на арестованного, тихо сказал:

— Пожалуйте на прогулку...

На дворе тюрьмы, в ямках между камнями, блестела отстоявшаяся вода; трое арестантов ходили по двору с метлами и лениво сгоняли воду к воротам, а она, уже мутная, густо насыщенная грязью, вновь медленно расползалась между камнями...

Надзиратель привел Мишу за угол тюрьмы и негромко проговорил:

— Гуляйте вот тут, от угла до стены, — разговаривать с арестантами — нельзя!

Здесь, под голубым, безгранично высоким небом, слово «нельзя» точно впервые коснулось сердца Миши, и теперь в звуках его он почувствовал нечто унижающее. Нахмутив брови, он взглянул в лицо надзирателя, неподвижное, как маска, поросшее на скулах и подбородке кустиками светлых волос, и глаза на этом лице показались ему лишними, чужими; темные, овальные, прикрытые длинными ресницами, они смотрели ласково, и в них светилось что-то робко-недоумевающее...

— Ходите! — сказал надзиратель. — Останавливаться — нельзя...

Миша медленно пошел, а надзиратель, оглядываясь, следовал за ним немного в стороне.

— Чего вы всё бунтуете? — тихо говорил он, глядя в землю. — Учились бы себе... потом вышли бы товарищем прескурора — только и всего! А вы — бунтуете... такой молодой, красавец... Чай, мамаша есть?..

Миша был тронут его словами, и он остановился, засмеялся и, приложив руки к груди, тоже хотел сказать что-то простое, ласковое... но надзиратель испуганно отскочил, оглянулся вокруг и быстро зашептал:

— Идите, идите! Увидят — оштрафуют меня за разговор...

Он скрылся за углом тюрьмы, а юноша, полный смешанным чувством печали, любопытства, начал медленно ходить вдоль высокой тюремной ограды...

Над приземистым, грязно-серым зданием тюрьмы, с четырьмя башнями по углам, безмолвно распростерлось бледно-голубое небо, вымытое осенними дождями, полинявшее...

«Сколько времени просижу я здесь?» — подумал Миша, оглядываясь вокруг. Ему казалось, что уже и теперь он мог бы рассказать о тюрьме довольно много интересного, если б его выпустили.

Он не заметил, как быстро прошло время прогулки, и, когда рябой надзиратель, подойдя к нему, сказал: «Пожалуйте в камеру...» — он удивленно воскликнул:

— Уже?

Надзиратель утвердительно кивнул головой. В коридоре он тихо сообщил Мише:

— А у меня мамаша в богадельне...

И виновато опустил голову.

— Ага!.. Ну — ничего! — улыбаясь, сказал Миша, не найдя более удачных слов. Снова закрылась тяжелая дверь камеры, резко и зло загремело железо засова и замка...

Так и потекла его жизнь день за днем, однообразно правильная, одноцветная...

V

...Проверка давно кончилась, и тюрьма спит тяжелым сном. Сквозь глазок в двери из коридора доносятся порою какие-то странные звуки... Кто-то шепчет во сне, — кто-то бредит, должно быть. Тихо шаркают за дверью шаги надзирателя — сегодня дежурит старик с неподвижными глазами. Он медленно ходит по коридору и бормочет, а Миша лежит на нарах и, чутко прислушиваясь, думает.

Сегодня, во время прогулки, рябой досказал ему свою историю. Он — сын какого-то офицера, который соблазнил его мать, швейку, и — бросил ее, оставив на память о себе свою фотографическую карточку и ребенка. Молодая женщина четырнадцать лет нянчила сына и все работала без отдыха, не имея в жизни ничего, кроме сына. Она отдала его в приходскую школу, потом в городское училище, но там однажды учитель дернул мальчика за волосы, и мать, никогда не сказавшая сыну своему даже грубого слова, взяла его домой. Потом она нашла ему место писца у судебного следователя, а сама все шила, делала цветы, вязала чулки, все работала. Сына взяли в солдаты, и там он, воспитанный любовью матери и влюбленный в нее, не стерпев насмешек над нею со стороны унтер-офицера, ударил начальника во время ученья. За это его отдали на три года в дисциплинарный батальон, без зачета службы, а мать его все работала и плакала над жизнью своего сына. Прослужив в солдатах

семь лет, измученный, запуганный, он воротился домой и нашел мать почти ослепшей, — она уже не могла работать, а ходила на паперти церковей собирать милостину... Но и тогда она подарила ему шарф, связанный ею, — последнюю работу дряхлых пальцев и полуслепых глаз, последнее воплощение своих сил, безропотно отданных сыну. Он несколько месяцев не мог найти себе дела и жил милостиной, собранной матерью. А потом она совсем ослепла; он, наконец, получил место в тюрьме; кто-то поместил слепую старуху в богадельню, и там она теперь вяжет чулки сыну своему...

«Какая женщина! — думал Миша. — Сколько любви... сколько простой, трогательной красоты!»

Он вспомнил пугливые, недоумевающие глаза рябого, его тихий голос...

— Какой же смысл в ее труде, если сын все-таки...

— Господин Малинин! — послышался громкий шопот.

Миша вскочил с нар, — в окошечке двери беспокойно светился глаз надзирателя.

— Вы чего говорите? — спрашивал старик.

— Я? Я — не говорю... — удивленно ответил Миша.

— Ведь я слышал!

— Это, должно быть, так...

— То-то... А вы удержите себя...

Глаз надзирателя на минуту скрылся, потом снова явился, и старик заговорил предупреждающим шопотом:

— Вот так же все разговаривал с самим собой... один тут... сказать правду — племянник он мне...

— Ну? — быстро спросил Миша.

— Ну, и свезли его в сумасшедший дом...

— Племянник ваш?

Глаз странно прыгал, — должно быть, надзиратель утвердительно кивал головой.

— И — сидел здесь? — тихо спросил Миша.

— В девятом номере...

— И вы его... вы — тоже были здесь? — не сразу сказал Миша.

— Я здесь — семнадцать лет, — спокойно ответил старик.

Миша, глядя на тусклый глаз старика, на его длинный хрящеватый нос, хотел спросить его:

«Неужели и племянника своего вы так же вот караулили, как меня?»

Но, боясь обидеть старика, он не спросил об этом, а только сказал:

— Давно вы здесь...

— Подождите-ка, я стул принесу себе, — подмигнув, зашептал старик, — а то — трудно мне нагибаться... спина болит.

Он ушел. Миша стоял перед дверью, слушая шарканье его ног, и думал:

«Если у человека есть душа — у этого она должна быть такая же темная, сморщенная и сухая, как его лицо...»

Старик воротился, бесшумно приставил к двери стул, и снова в круглом отверстии явился его глаз и мохнатая, седая бровь, высоко поднятая над ним.

— Вот так-то лучше, — заговорил он. — Спать я не могу — косточки болят... И вы не спите... вот мы и поговорим... Ночью это можно... днем — нельзя, а ночью — кто узнает? Днем-то я притворяюсь, будто строгий с вами... нельзя иначе, начальство требует! А ночью и с вами можно поговорить... К тому же — какой вы преступник? Эхе-хе! Жалко мне вас... Смеетесь вы, радуетесь, будто вам чин дали... молодость! Повинились бы вы начальству-то...

Мише стало неприятно слушать. Он нервно наклонился к двери и спросил старика:

— Ваш племянник чем занимался?

Снова зашуршал в камере сухой, бесцветный голос:

— Слесарь... Инженера он застрелил... Про него даже в газетах писали... как же! Он сам мне газету читал... случаем она попала, а в ней как раз про него и напечатано... Читал он — и смеялся... вот как вы... Резкий парень был... Мать-то его — сестра моя — редела, редела... Однако — слезой кровь не смоешь... Бывало, я скажу ему — ну что, Федор, какова она, тюрьма-то? А он только фыркнет... Сначала — все молчал он здесь, сердитый был. А потом — разговаривать начал... да и заговорился...

— Что же он говорил? — тихо осведомился Миша.

— А так — разное... кто же его знает? Вы не калужский сами-то?

— Да...

— То-то... фамилия знакомая. Почтмейстер в Калуге был, Малинин...

— Отец мой...

— Ну-ну... ведь и я калужский... да! Умер отец-то?

— Умер...

— Та-ак... все умрем!

Говорили они оба шопотом, и голоса их шуршали в тишине, как сухие листья осени. За окном, как бы отмеряя уходящие минуты, глухо топали по земле мерные шаги часового.

— Скучно вам здесь? — спросил Миша.

— Старикам везде скушно... — ответил ему из-за двери шопот.

— А... племянника жалко было... когда он здесь сидел?

— Что же его жалеть, коли он человека убил... Сестру жалко... А кто человека убил...

Старик вдруг замолчал, и лицо его исчезло, точно упало вниз. Миша смотрел в окошечко и ждал.

Лицо старика поравнялось с его лицом, и, медленно двигая тонкими губами большого рта, окруженного кочьями седых волос, старик, кивая головой и как будто усмехаясь, сказал:

— Соврал я... жалко мне Федьку... тоже молодой был... хороший парень...

Вдруг по коридору, всколыхнув тишину, точно порыв ветра темную воду уснувшего пруда, пронесся дикий, потрясающий вой:

— Не бей... голубчики... помилуйте!

— Что это? Что? — вздрогнув, крикнул Миша.

— Ш-шш! — зашипел старик. — Ничего... Это он во сне... они часто кричат... Тоже ведь у всякого своя совесть есть... Нуте-ка, спите... Ложитесь-ка с богом... Уж двенадцать било...

Он встал и пошел прочь, и ноги его так шаркали, точно по полу тащили что-то большое, мягкое и очень тяжелое.

Миша подошел к нарам, лег и уставился печальными глазами в каменный, грязный свод, молча нависший над его головой.

Миша как бы откатнулся куда-то в сторону от своего маленького прошлого, и самое яркое в этом — его «подвиг» — уже не так часто вспоминался ему. В странной жизни тюрьмы он чувствовал отдаленный намек на что-то, пока еще недоступное его сознанию.

Тюремное начальство относилось к нему снисходительно, с усмешкой — должно быть, располагало в пользу Миши его открытое лицо, румянец щек, голубые наивные глаза, добрая усмешка крепких, красных губ, красивый грудной голос и сильная, немного неуклюжая фигура.

— Н-ну-с, господин Малинин, как вам нравится у нас? — спросил однажды во время поверки старший помощник начальника.

— Интересно, знаете ли! — ответил Миша, улыбаясь.

Тот хмуро засмеялся, потом изрезанная глубокими морщинами кожа его лба опустилась на глаза, и он сказал:

— Эх вы, — скромный наблюдатель! Прогулка вам увеличена на полчаса...

— Спасибо! — сказал Миша.

— Не на чем-с! — почему-то сухо ответил начальник, уходя из камеры.

Рябой надзиратель, Офицеров, рассказал Мише об этом человеке такую историю: однажды он заподозрил свою горничную в краже кольца у его жены и, чтобы заставить ее сознаться в краже, целый день и ночь истязал девушку. Он позвал двух арестантов, которые чем-то досадили ему, велел им раздеть горничную и, привязав голую к столу, заставил арестантов щекотать ее. Когда девушка впадала в беспамятство, он приказывал давать ей воду и снова мучить. Кончилось это тем, что один из арестантов не вынес пытки, помешался в уме и в диком порыве голодной страсти хотел тут же при начальнике и товарище изнасиловать девушку. Он был избит, посажен в карцер, а когда следы побоев исчезли — его отправили в лечебницу для душевнобольных.

— Только и всего! — тихо добавил Офицеров, когда кончил рассказ, и пугливо оглянулся вокруг, спрятав под ресницами свои робкие глаза. Слушая, Миша чувствовал отвращение к мучителю, но когда — в тот же день —

увидал его в своей камере, то с удивлением заметил, что в его душе нет иного чувства к этому человеку, кроме острого любопытства и легкой брезгливости...

Из окна Миша видел, что, кроме черного человека в толстом пиджаке, на прогулку выходят еще человек шесть политических. Очевидно, это были рабочие — коренастые, крепкие, плохо одетые, — они смотрели на все сурово, исподлобья. Когда их глаза останавливались на лице Миши, он почему-то чувствовал себя неловко под этим взглядом, и ему хотелось спрыгнуть с подоконника. На худых, голодных лицах этих людей точно вырезано было выражение твердой непреклонности. Некоторые из них улыбались ему, делали какие-то знаки. Миша тоже отвечал им улыбками и жестами. Он чувствовал к этим людям интерес, уважение и замечал, что с таким же интересом к ним присматриваются уголовные арестанты. Иногда, пользуясь невниманием часового, серые фигуры уголовных подбегали к политическим и выпрашивали папиросу или вступали с ними в быстрый, тихий разговор.

...Иногда после обеда уголовные, сидя в столовой под камерой Миши, запевали песню, и сквозь пол камеры наполнялась глухими, маговыми звуками. В их густой волне Миша не мог уловить слов, и только однажды он разобрал, как кто-то высоким, тоскующим тенором пел и жаловался:

Море синее,
Море бурное...
Ветер воющий,
Неприветливый...

Но чаще арестанты пели какие-то веселые, бесшабашные песни с присвистом, с гиканьем; эти песни наполняли стены тюрьмы дерзкими звуками буйной силы. Тогда Мише казалось, что тюрьма дрожит, негодуя, на камнях ее стен являются новые трещины, тяжелая злоба тревожно и невидимо льется из них на людей... Отовсюду бежали надзиратели и быстро гасили этот взрыв веселья, рожденного тоской... Миша видел, что надзиратели относятся к уголовным неодинаково: людей ничтожных, которые легко поддавались порабощению, — они презирали и порабощали, а к людям смелым, умевшим отстоять свое человеческое достоинство, — почти все начальство отно-

силось осторожно, даже, порою, дружелюбно, и только редкие позволяли себе открыто и враждебно проявлять свою власть над ними. А на «политиков» надзиратели смотрели — как это казалось Мише — с подстерегающим, затаенным интересом, и в нем чувствовалось недоверие, усталое ожидание чего-то особенного, необычного...

Однажды Офицеров, провожая Мишу на прогулку, шепнул ему:

— Ночью еще троих ваших привезли...

— Студентов?

— Мастеровые...

— Скажите, Офицеров, вы знаете, за что их сажают в тюрьму? — спросил Миша.

Надзиратель подумал, оглянулся и, широко открыв глаза, сказал, подавленно вздыхая:

— Всяк по-своему жить хочет... и выходит распря!

Но, помолчав, он таинственно добавил:

— Не согласны они...

— С чем?

— Вообще не согласны... со всем!..

VII

Почти каждую ночь в свое дежурство старый надзиратель — его звали Корней Данилович — подходил к двери камеры и, вставляя свое темное лицо в круглую рамку окошечка, с болтливостью старика начинал рассказывать Мише какие-то бессвязные истории. Корней много видел, много пережил, но все впечатления жизни перепутались в памяти его в огромный клубок несчастий, бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчетных поступков. Иногда эти поступки казались Мише хорошими, трогали его, чаще — они были нелепы и дурны и всегда — необъяснимы, случайны, как будто человек не своей волей делал их, а только безропотно и бездумно исполнял повеления неведомой и непонятной ему воли, извне управлявшей им...

— Было это... лет пятнадцать тому назад, — шептал он, неподвижно остановив рыбий глаз на лице Миши, — вижу я — стал он у меня задумываться... сын-то, Але-

ксей-то... В церковь — не ходит, в трактиры — не ходит... Присмотрел я за ним... а он со штундой связался... н-да... Поругал его, первым делом — смотри, говорю, я те задам! А он не прекращает... тут пожаловался я на него священнику... ну, пришел он от священника... замечаю — злой такой... Я смеюсь ему — что, мол, задал тебе батюшка-то перцу? Тут он, на грех, как ругнет его, батюшку-то... Я говорю — ах ты, такой-сякой! Как смеешь? А он и меня... Ну, я разозлился да горшком с кашей в морду ему и запалил... Разбил морду-то... Он и ушел... так с той поры и нет о нем ни слуху ни духу... так и нет... Вот вы какие строптивцы, молодые-то... н-да!

— Жалеееете теперь о нем? — тихо спросил Миша.

Старик не сразу ответил. Он помолчал, крикнул, несколько секунд бормотал что-то под нос себе и уж потом спокойно сказал:

— Когда и жалко... Всех жалко... Бывает даже убийцев и то жалко... Тоже — не всякий зря убивает... когда и за дело... Может, некоторых убийцев благодарить надо... Палач, примерно... Он ведь не зря, а для общей пользы убивает... Злодея и убить — не грех, а вы думаете, палачу-то сладко?

Миша быстро наклонился к отверстию в двери — он хотел видеть, что теперь выражает лицо этого старика, который неизвестно зачем отбросил от себя родного сына и способен пожалеть палача? Но лицо, как всегда, было подобно камню, покрытому трещинами, и глаза на нем блестели, точно два куска мутного стекла...

— Что смотрите? — спросил старик.

— Так... ничего... — тихо ответил Миша. — Скажите, почему вам не понравилось, что сын со штундистами познакомился?

— А про нее говорили, что она вредная... штунда! Однако года три назад сидело здесь четверо их... ничего, степенные мужики! Грамотеи всё, смирные... худого за ними здесь не было замечено! Хорошие арестанты... Спрашивал я их про Алексея — не знаем, сказали. Нас, говорят, много. Пожалуй, это и верно — часто они здесь сидят...

Помолчав, он продолжал:

— Теперь преступников все больше пошло... Раньше были одни воры, грабители, убийцы... а теперь вот нача-

лись студенты, рабочие, политические, штунда и еще всякие... Развал пошел!

— Это вы — неверно! — горячо и торопливо заговорил Миша. — Люди хотят исправить жизнь, сделать ее лучше для всех...

Из-за двери раздался негромкий, сухой смех, и потом старик, покашливая, сказал:

— Слышал я это... да! Многие говорили так-то...

Он поднялся и ушел, как будто недовольный и рассерженный.

А однажды он рассказал такую историю.

— Я ведь жалостлив... я могу людей понять! Сидел в моем коридоре беглый каторжник, — здоровенный такой парень, красавец, обходительный... Мужик был, а улыбался, как хороший барин... бывало — улыбается, и ни в чем ему не откажешь. Скажет: «Данилыч! достань табачку!» Достану... Ну, и скрал он где-то себе ножик, сделал из него пилку, добыл сала — и давай решетку у окна обрабатывать... А я это тотчас и заметил... и так мне его жалко стало! Эх, думаю, брат, не удастся тебе это дело! Однако — не мешаю ему, пускай, думаю, тешится, все не столь парню скучно жить... Долго он старался — поди-ка, недели три... а я слежу... Утешайся, мол...

Корней Данилыч ласково засмеялся.

— Ну, а когда работа у него до конца дошла — тут уж я и заявил начальнику...

— Зачем же? — воскликнул Миша.

— А как иначе? — спросил старик.

— Да вы бы этому, каторжнику-то, ему бы сказали!

— Чудак вы, — усмехнулся Корней. — А как же решетка-то? Ежели она перепилена.

— Да ведь можно было тогда сказать, когда он только начал пилить!

— Н-да... так разве? Можно было эдак... это верно... Ну, а как я сделал — оно лучше — все-таки занял себя человек...

— Но ведь его наказали за это?

— А как же? Нельзя без того...

— И — очень?

— Н-не помню... в карцере месяц сидел, однако... потом, кажись, на суде еще что-то дали... уж не помню я...

— Какая нелепость! — возмущенно воскликнул Миша. Темное лицо старика странно закачалось в окошке, и он, вздохнув или позевывая, медленно проговорил:

— Н-да... несправимая жизнь!

...В таких разговорах старик и юноша проводили часы, один — равнодушный и холодный, другой — полный бессильного негодования и недоумения. Между ними крепко стояла окованная изъеденным ржавчиной железом толстая дверь, и сквозь маленькое отверстие в ней бессонный и болтливый тюремный житель заваливал душу юноши угрюмым хламом своих воспоминаний. Миша начинал чувствовать зарождение чего-то тяжелого и темного внутри себя.

Однажды он спросил Офицера:

— Послушайте — неужели вам здесь нравится?

— Ежели бы не дрались — ничего бы... — ответил рябой своим тихим, мягким голосом.

— Вас — бьют? Кто?

— Меня — редко бьют... Я говорю вообще, про всех!.. Арестанты дерутся... — страшно. И надзиратели их бьют... не всех... не всякого можно ударить! Но — которых можно бить — тех уж без жалости!

Он пугливо передернул плечами, оглянулся и, широко открыв красивые глаза, продолжал:

— А я — не могу этого видеть...

Стояли они за углом тюремной башни, около кучи сора, щебня и каких-то обломков дерева. Над ними медленно и важно двигались темные тучи, дул ветер и приносил откуда-то из города разбитые, разрозненные звуки...

— Извините меня, — тревожным шопотом заговорил Офицеров, часто мигая глазами, точно он видел перед собой что-то ослепительно яркое, — извините, может, это — моя большая глупость...

— В чем дело? — понижая голос и волнуясь, быстро спросил юноша.

Офицеров подвинулся к нему и дрожащим голосом сказал:

— Это — насчет бога... Вы — веруете?

Миша опустил голову и, не сразу, тихо ответил:

— Н-не знаю...

— И я тоже не знаю! — торопливо подхватил тюремный надзиратель. — Я очень думаю об нем... ведь если он, действительно... зачем же такой ужас везде?.. И жестокость? Вы — человек ученый... зачем же ужас и жестокость?

На глазах его явились крупные, тусклые слезы, движением головы он стряхнул их и — поспешно, не оглядываясь, ушел прочь.

VIII

Миша возбужденно ходил по камере, а в полумраке вокруг него, вливаясь тонкой струйкой в форточку окна, звучала тихая, жалобная песня — некрасивая песня, похожая на отдаленный вой голодного волка:

— А-а-а! о-о-ой! э-ой...

И все, что пережил юноша за последнее время, точно воскрешаемое этим однообразным стоном, вставало в памяти его последовательно, настойчиво и упрямо, как бы требуя от него объяснения.

Его «подвиг» представлялся ему теперь чем-то тусклым, мало понятным, как старая, покрытая пылью и копотью картина, а себя он видел смешным студентом, безалаберно размахивающим руками среди толпы людей, сконфуженных своим бессилием, устыженных той легкостью, с которой их победила тупая, механическая, но организованная сила. Усталые, злые, равнодушные лица полицейских, пренебрежительная гримаса офицера, которому Миша кричал свою речь, околоточный надзиратель с больным зубом, — все это всплывало в памяти юноши кошмаром, который давил его мозг...

«Вероятно, им было стыдно за наше бессилие...» — думал Миша и тотчас же понимал, что эти угрюмые, уса-тые солдаты, приученные и привыкшие обращаться с людьми, как со скотом, ничего не могут стыдиться и ничего не умеют чувствовать, кроме физической боли и страха пред той силой, которая поработила их и двигает ими, как хочет. Ему вспомнился извозчик — как он пугливо задергал вожжами, когда околоточный крикнул на него... Прозвучал голос равнодушного человека у во-

рот части, — человека, который говорил о людях, как о бревнах или кирпичках... Он вспомнил мать Офицеров, которая не протестовала, когда сыну ее дали фамилию по профессии его отца, а ведь она должна была знать, что эта фамилия будет причиной злых и обидных насмешек над сыном... Может быть, только из-за этого Офицеров провел три года на каторге дисциплинарного батальона... Вспомнилась горничная начальника тюрьмы, простившая издевательство над нею за десять рублей... Офицеров, на всю жизнь испуганный жестокостью людей... бессмысленная жалость старика Корнея, который, безропотно подчиняясь чужой воле, восемнадцать лет твердит людям все одно и то же тупое слово: «нельзя!» — и никогда не спросил себя — почему же нельзя?

Даже во сне люди видят и чувствуют, что их бьют, и, охваченные ужасом, они кричат во сне дикими голосами:

— Не бей! Пощади...

Миша остановился среди камеры — отвратительное чувство какой-то липкой тоски наполнило его грудь. За окном уныло колебалась песня:

— А-а-о-й...

Мише стало казаться, что это в нем, в его груди дрожит и стонет тоска, боль и горький стыд за людей...

— Послушайте... — раздался в камере тихий шопот. Миша почти с радостью пошел к двери; в отверстии посреди ее ласково блестящими красивыми глазами Офицера.

— Что вы? — спросил Миша.

— Не спите?

— Нет...

— В тюрьме очень многие плохо спят... Прослушайте стихи... если любопытно...

— Пожалуйста... говорите!

— Только, я думаю — они запрещенные... Это во втором этаже было написано... в башне, карандашом на стенке...

Глаза Офицера на минуту исчезли из кружка в двери, потом он вставил в него свои губы, и камеру наполнил тихий, таинственный шопот, весь пропитанный теплой грустью и страхом:

Жил когда-то человек..
Только правде был он другом,
И за эту дружбу с правдой
Не любил никто его..
Говорили все о нем
С ненавистью и со страхом.
И нигде себе приюта
Человек не находил..
Одиноким, всем чужой,
Тихо умер он в темнице,
И никто не провожал
Его гроба до могилы..
Неизвестно, где зарыт
Верный друг гонимой правды,
Только сердце мое знает
Эту тайну... и — молчит..

В круглом отверстии старой, туго связанной железом двери шевелилось что-то темное, мягкое, живое, рождая тихие, грустно дрожащие слова. Миша, широко открыв глаза, стоял, наклонив голову к окошку, слушал, и ему казалось, что это само дерево двери, насыщенное тяжелыми вздохами людей, поглотившее множество тоски и одиноких дум, превратило человеческое страдание в печальную легенду и теперь таинственно рассказывает ее. И этой легенде, чуть слышно вздыхая во тьме за окном, вторит бесконечная песня-стон.

В окошечке что-то передвинулось, потом теплыми огоньками заблестели, улыбаясь, глаза Офицера.

— Понравилось вам? — прошептал он.

В горле Миши было сухо, в груди его не хватило воздуха. Он пристально смотрел в красивые глаза, и вдруг ему показалось, что тюремный надзиратель должен был сам сочинить эти стихи, непременно сам! Не сразу и тихо он ответил:

— Понравилось... Почему вы думаете, что это запрещенные стихи?

— Как же — ведь о правде!

— Вы сами... не сочиняете стихов?

— Я? — удивленно спросил Офицеров. — Нет... куда же? Только когда еще в солдатах был, так составил себе одну молитву...

— Какую? Скажите!

Несколько секунд тишины — и снова по камере про-
несся шелест простых, задушевно сказанных слов:

— Господи, боже мой! Почему так много в людях же-
стокости и злобы? Господи — почему?

Этот вопрос мягко, но сильно толкнул Мишу в грудь,
охватил и смял его. Он бесшумно шагнул назад, при-
сел на край нар и, крепко упираясь спиной в угол печи,
неподвижно уставился на дверь и — ждал чего-то...

А Офицеров спокойно говорил:

— Она была длинная... теперь уж я забыл ее...
Знаете — очень я люблю стихи... они совсем не похожи
на то, что люди говорят...

Миша видел, что глаза надзирателя внимательно смо-
трят на него; он слышал шорох за дверью и однообразно
унылые звуки песни за окном... От печки спина его нагрე-
валась, но в груди было тесно и холодно.

— Вам нездоровится? — спросил надзиратель. — Та-
кая погода тяжелая...

— Нет, ничего... — глухо ответил Миша.

Ему казалось, что в камере душно, воздух в ней ка-
кой-то странно густой, насыщенный тяжелым, теплым
шопотом и трудно дышать этим воздухом.

— Вы—лягте,—посоветовал Офицеров. — Спать пора.

И неожиданно он добавил:

— Еще одного рядом с вами посадили...

Миша промолчал. Глаза Офицера сверкнули и
исчезли.

Теперь на месте их осталось только маленькое, круг-
лое отверстие посредине двери, и сквозь него был виден
мертвый, серый кружок стены, освещенный ровным, непо-
движным светом. Болезненно наморщив лоб, Миша смо-
трел на него и читал про себя:

И нигде себе приюта
Человек не находил...

За окном едва слышно вилась и дрожала песня, точ-
но плутая во тьме... Как будто тот, кто начал петь ее,
уже не мог остановиться, безвольно отдался во власть
ей и надрывал себе грудь в этой однотонной жалобе...

Потом слуха Миши коснулся непонятный дробный
стук... точно где-то упало несколько капель дождя...

Малинин вскочил на подоконник, прислонился головой к железу решетки и, тихо постукивая пальцами по стене, задумался, полный тяжелой тревоги.

Извне к стеклам окна плотно прильнула густая тьма ночи, молча рассматривая бледное, осунувшееся лицо юноши. Редкие, сухие снежинки, на миг вырываясь из мрака, грустно шуршали о стекла и исчезали, проглоченные тьмою...

В памяти Миши ясно прозвучала робкая жалоба:

«Господи, боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи — почему?»

Весело усмехаясь, пред ним встали «два громалы» из Вязьмы; он вспомнил твердо уверенного в своем праве убивать Якова Усова...

И откуда-то, как огни во мраке ночи, одиноко, мужественно являются суровые, крепкие люди. Они ходят вдоль тюремной стены и, «несогласные со всем», сосредоточенно думают большую, всю жизнь обнимающую думу.

Миша тяжело спрыгнул с подоконника и забегал по камере.

За дверью, в неподвижной тишине коридора, медленно плавал странный звук, напоминавший кипение воды. Миша остановился, прислушался... В камере напротив его кто-то бредил, кто-то торопливо бормотал неясные слова, захлебываясь ими, и в этих словах тоже слышалась жалоба... В конце коридора тихо разговаривали надзиратели.

— Только и всего! — услышал Миша задумчивое восклицание Офицера.

Снова в камере раздался какой-то странный стук — несколько быстрых ударов, разделенных неправильными паузами. Миша сумрачно оглянулся, — по полу бесшумно пробежал мышонок — точно прокатился маленький клубок шерсти — и исчез под нарами. И еще раз настойчиво прозвучал этот нервный стук. Миша догадался, вздрогнув, зачем-то крепко прижал к стене ладонь своей руки и стал гладить ею по шероховатой штукатурке, как бы желая поймать этот стук.

Ему показалось, что звуки рождаются вот в этой точке стены, — тогда он встал на колени, зачем-то нахмурился,

поднял руку... с досадой опустил ее, снова поднял и бес-толково забарабанил ногтями в стену... Потом прислушался — было тихо.

Он вскочил, бросился к двери и, приложив губы к окошку, тревожно, умоляюще, но негромко воскликнул:
— Офицеров! Надзиратель!

И, когда Офицеров явился у двери, Миша торопливо, нервно зашептал:

— Послушайте... голубчик! Он стучит...

— Сосед?

— Скажите... шепните ему — я не умею!

— Боюсь я...

— Ничего! Мы — осторожно...

— Если узнают... так меня...

— Да нет же! Скажите, чтобы азбуку... Я не знаю...

Офицеров откатнулся от двери, и из коридора прилетел его покорный шопот:

— Хорошо... я скажу.

И он ушел... А потом снова явился, блеснули его грустные глаза, и раздался шопот:

— Слушайте...

Не сказав ему ни слова, Миша подбежал к стене, остановился перед ней напряженно и, улыбаясь, замер, весь охваченный трепетным желанием говорить, говорить!

Полуоткрыв рот, он стоял перед серой, тяжелой стеной и, готовый раскланяться с ней, смотрел на нее жадно горящими глазами...

Из стены отдельно и вятно летели один за другим негромкие, но твердые удары, упрямые, сухие звуки камня, и пальцы правой руки Миши, невольно вздрагивая, послушно повторяли их...

...Спустя несколько дней Миша, закутанный в одеяло, стоял на подоконнике, плотно прижимаясь плечом к косяку, и, нахмурив брови, рассматривал причудливые рисунки мороза на стеклах окна.

За тюремной стеной на холодное зимнее небо поднималось невидимое солнце, серые, скучные тучи становились светлей и прозрачнее. Выпал снег; он лежал на земле

тонким слоем, темная, мерзлая грязь, разрывая его белизну, сумрачно смотрела в небо...

Вздрагивая от холода, Миша вспоминал сухие, твердые звуки, которые передала ему в эту ночь изрезанная трещинами старая стена его камеры, вспоминал и — преворчал их в слова и мысли...

«Жизнь — жестка и беспощадна... Жизнь — борьба рабов за свободу и господ за власть, и она не может быть мягкой и спокойной, она не будет доброй и красивой, пока есть господа и рабы!..»

«Какой у него голос?» — подумал Миша о своем соседе. Он вспомнил худое, тонкое тело и решил, что голос, вероятно, высокий, резкий, неприятный, совершенно лишенный тех сочных, грудных нот, какие звучат в голосах людей добрых и мягких. И Миша недружелюбно покосился на стену, за которой теперь, должно быть, уже спал этот человек, похожий на ярко горящую свечу в грязном фонаре.

В памяти юноши все вставали мерными, суровыми рядами мужественные, твердые, холодные, точно куски льда, слова, складываясь в крепкие, круглые мысли:

«Жизнь не будет справедливой и прекрасной, пока ее владыки развращаются властью своей, а рабы — подчинением... Жизнь будет полна ужаса и жестокости до той поры, пока люди не поймут, что одинаково вредно и позорно быть и рабом и господином...»

Холод утра крепко обнимал тело Миши жестким объятием. Часто мигая красными от бессонной ночи глазами, Миша рассматривал рисунки мороза и порою оглядывался на стену с недобрый чувством, которое он не желал бы замечать в себе, но невольно замечал. За эти несколько ночей стена наполнила душу его неисчерпаемой массой быстрых, нервных, твердых стуков, и теперь, превращая их в мысли, он чувствовал, что сердце его покрывается таким же холодным рисунком, как рисунок мороза на стекле окна.

Но вместе с этим где-то глубоко внутри его тихо разгоралась теплая, согревающая мысль:

«Произвольно и несправедливо все это... Разве можно делить людей только на два лагеря?.. А например — я? Ведь, в сущности, я — не господин и не раб!»

Мелькнув в его душе, как искра, эта маленькая, хитрая мысль тотчас же уступила место большим, суровым, твердым мыслям. Они ставили пред юношей железное требование работы долгой, трудной, незаметной — великой работы, полной непоколебимого мужества, спокойного примирения с простой, скромной ролью чернорабочего, который очищает жизнь огнем своего ума и сердца от гнилого, ветхого, уродливого хлама предрассудков и преубеждений, авторитетов и привычек...

«Могу ли я делать это?» — внутренне вздрогнув, спросил себя Миша.

И тотчас же со стыдом понял, что он, из страха пред чем-то, нарочно спросил себя не так, как было нужно.

Тогда он поставил вопрос правдивее:

«Хочу ли я этого?»

...Наступал холодный, хмурый зимний день. Тюрьма просыпалась: в коридоре гулко гремело железо замков, скрипели и ныли ржавые петли дверей, строго звучали резкие окрики начальства, были слышны то глухие и робкие, то смелые и раздраженные голоса арестантов.

В памяти Миши воскресали гордые слова соседа, переданные им сквозь старые камни тюремной стены:

«Кто освободил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не существует, ибо вот мы заставляем говорить камни, и — камни говорят за нас!..»

...За окном, вдоль тюремной ограды, крепко топая ногами в мерзлую землю, задумчиво ходил часовой, а на стене сидела ворона и, склонив голову набок, любопытно следила за ним круглым, черным глазом...

РАССКАЗ ФИЛИППА ВАСИЛЬЕВИЧА

...Я сидел в городском саду на скамье под деревьями, ветер сердито встряхивал черные мокрые ветви над моей головой и, срывая последние листья, уносил их под гору, к широкой мутной реке, а река дышала в небо сырым холодом.

За рекой, в желтом бархате поблекшей травы, блестело маленькое озеро, вода печально отражала тусклое небо осени; в небе таял бледный диск луны. Солнце давно опустилось в темный омут леса, и багровая полоса зари, среди сизых туч, казалась огненным потоком в теснинах гор.

— Послушайте... — тихо сказал высокий, плохо одетый молодой человек; шум деревьев заглушил его шаги, и я не слышал, когда он подошел. — Дайте мне на хлеб!

Голова его наклонилась, он отступил на шаг, но шляпы не снял. Я молча сунул руку в карман.

— Немного! — быстро предупредил он и гордо поднял голову. — Вы думаете — попрошайка? Нет, — просто без работы... Очень голоден... Верите?

— Верю, — сказал я.

Лицо у него скуластое, глаза большие, мягкосерые, глубоко ушедшие под высокий лоб.

— Спасибо! — угрюмо буркнул он, принимая деньги длинной рукой, дрожащей от холода или стыда.

Я встал и пошел рядом с ним. Он возбуждал мое любопытство, я спросил его:

— Не могу ли я быть более полезным для вас?
— Найдите работу! — быстро воскликнул он. — Можете?

— Попробую...

— Мне тяжело и стыдно просить... я хочу работать!

— Как вас зовут?

— Платон Багров... Я, видите ли, крестьянин, кончил сельскую школу, хорошо учился, и учительница очень любила меня... Ей удалось уговорить старушку-помещицу отдать меня в гимназию...

Под глазами у него были большие темные пятна. Его нос, хрящеватый, с горбинкой, покраснел от холода. Юноша засунул руки в карманы брюк, согнул спину и зябко передергивал широкими плечами. Тонкий пиджак, застегнутый до горла, высокие стоптанные сапоги и старая, измятая шляпа делали его похожим на шарманщика. Говорил он спокойно, без грусти, без жалобы в голосе и так, точно он сам внимательно вслушивался в свою речь, проверяя ее мысленно.

— В гимназии я был четыре года; когда я сидел во втором классе, умерла мать — заплуталась в поле и замерзла; отец умер еще раньше; а когда перешел в четвертый, умерла эта помещица... Наследники ее уже не захотели платить за меня, и пришлось уйти из гимназии... На этом мое образование кончилось...

Какая-то дама, обогнав, толкнула его — он быстро вскинул голову, посмотрел на нее, поднял руку к шляпе и глухо сказал:

— Извините!

Дама, не оглянувшись на него, прошла. Он плотно сжал губы и погом, улыбаясь, сказал:

— Как люди привыкли толкать друг друга... как будто толкнуть — это ничего не значит...

Мы пришли в трактир, заняли столик в углу маленькой комнатки, прокопченной табаком, я спросил себе пива, а он, ожидая, когда ему принесут есть, вполголоса рассказывал мне, осматриваясь вокруг:

— Первое время я жил у одного из сторожей гимназии, потом он устроил меня в бакалейную лавочку мальчигом, но мой хозяин оказался драчуном — я ушел от него...

Половой поставил на стол тарелку с хлебом. Платон тотчас же взял кусок, но рука у него странно дрогнула, он быстро взглянул на меня, положил хлеб обратно и продолжал, опустив голову:

— Тогда мне было четырнадцать лет, теперь — девятнадцать, через два года надо идти в солдаты. За пять лет я очень много видел, жил в разных городах, работал у водопроводчика, садовника, был рассыльным в редакции одной южной газеты, ловил рыбу в Азовском море, был и на Каспии — много испытал! Смотрел, думал... и — знаете — плохо устроена жизнь!

Половой принес миску чего-то мутного и крепко пахучего. Платон глубоко и жадно потянул носом воздух, подвинул обеими руками миску к себе и, не прерывая речь, стал наливать суп в тарелку.

— Я очень люблю читать, у меня правило — треть заработка тратить на книги... Прочитав, я, конечно, продаю книгу... это всегда жалко, но ведь не таскать же их с собой... Я не люблю жить на одном месте долго... хочется видеть как можно больше, хочется быть образованным...

— Быть образованным — прекрасное желание, но, мне кажется, для этого надо долго сидеть на одном месте. Однако — вы кушайте! — сказал я, видя, как раздуваются его ноздри, обоняя запах пищи... Он улыбнулся и начал есть, безуспешно стараясь скрыть от меня голодную жадность.

Было несколько странно слышать его простую речь, в которой звучал какой-то неуловимый ритм и глубокая серьезность, казалось бы, несвойственная годам юноши. Он немного рисовался своей гладкой речью, и было заметно, что он торопится убедить меня в своей интеллигентности... Теперь, видя, с какой острой жадностью он ест, я старался не смотреть на него, чтобы не смутить, и осматривал комнату.

В другом ее углу сидел, сдвинув фуражку на затылок, какой-то телеграфист. Он тяжело навалился грудью на стол и угрюмо рассматривал стоявшую пред ним полубутылку водки. Над ним летали большие черные мухи, наполняя воздух недовольным и тревожным жужжаньем,

они путались в пыльных листьях цветов на окнах и с разлета тупо бились в стекла. В комнате стоял душный запах табаку, кислой капусты, герани и водки...

Вошел какой-то высокий, угреватый человек, сел за столик против телеграфиста, молча налил рюмку, выпил, тщательно обсосал свои рыжие усы и басом спросил:

— Как живешь?

Телеграфист откинулся на спинку стула, шлепнул ладонью по столу и ответил:

— У меня такое настроение — чтобы стекла бить!

— Жалуйся! — посоветовал рыжий, наливая еще водки.

— К чорту! Все жалуются... а кто слушает?

Платон, усмехнувшись, взглянул на меня и тихо заговорил:

— Я — не пью, но очень люблю сидеть в трактирах, — интересно! Всегда подслушаешь какие-то особенные слова...

— Все это уродливо и грязно, — заметил я. — Если вы любите читать — читайте больше, ведь в книгах вы найдете нечто более ценное, чем в трактирах!

— Д-да, конечно! — почему-то не сразу согласился он и, помолчав, добавил: — Хотя, знаете, иногда подумаешь и под уродливыми словами увидишь ту самую мысль, которую вычитал в книге... Тогда и книге больше веришь и люди кажутся лучше... умнее...

— У вас были знакомые интеллигенты? — спросил я.

— Когда я служил в редакции — были... Сотрудники очень хорошо относились ко мне... давали книги... И еще был у меня в Ростове один знакомый — он столяр, но очень образованный человек, у него была целая библиотека, — медленно сказал Платон.

Он немного опьянел от сытости, и, видимо, ему хотелось спать; глаза его помутнели. Я поднялся, дал ему свой адрес, сказал, чтобы он завтра же пришел ко мне, и протянул ему руку. Он крепко пожал ее и, кивнув головой, просто сказал:

— Спасибо!

Я не заметил, чтобы он был тронут моим отношением к нему, и хотя, разумеется, не ждал благодарности, однако эта его сухость — или что-то другое — не очень

понравилась мне. Мы все обязаны ценить взаимные услуги друг друга, это необходимо в общежитии...

Когда я вышел на улицу, было уже темно. Длинная вереница фонарей, сверкая, тянулась во тьму; дул ветер, огоньки вздрагивали...

«А ему, должно быть, холодно в легком пиджаке», — подумал я о Платоне Багрове...

Мне удалось найти для Платона место дворника в доме моего знакомого, профессора, очень милого старика, — несколько лет тому назад он отказался от чтения лекций в университете и теперь скромно жил на покое, занятый исследованием о каком-то паразите пшеницы.

Домик у него был маленький, славный; он стоял на окраине города и летом, окруженный со всех сторон старыми липами, окутанный густыми волнами акации и сирени, смотрел из моря зелени гостеприимным, тихим островом.

У профессора была дочь — маленькая девица с голубыми глазками и звонким смехом, веселая, балованная и беспечная. Она недурно играла на рояле, рисовала, читала изящную литературу и всегда носила белые платья, — они шли к ней, как идет к березе ее кора. Она всегда была окружена подругами, такими же изящными, как и сама, у нее часто бывали студенты. Почти каждый вечер было шумно, иногда — весело; играли, спорили, читали стихи, танцевали, а старый профессор сидел где-нибудь в углу и, поглаживая седую бороду, усмехался веселью молодежи.

Я часто бывал в этом доме и видел Платона. Теперь лицо у него пополнило, круги под глазами исчезли, он носил толстую черную фуфайку, черные шаровары и высокие сапоги. Этим не совсем обычным костюмом он, должно быть, хотел подчеркнуть себя в глазах людей. Высокий и костлявый, он был угловат в движениях. Его темные короткие волосы немного вились, глаза смотрели вдумчиво, спокойно, и в скуластом лице было что-то значительное.

Он молча кланялся мне, — он был настолько тактичен, что никогда не заговаривал со мной при хозяевах,

должно быть, чувствуя, что этим он поставил бы меня, да и себя, в неловкое положение. Но, встречая его на дворе, один на один, я подавал ему руку, и мы вступали в беседу.

— Ну, как вам нравится здесь, Платон?

— Ничего! — добродушно отвечал он. — Свободного времени немного, но все-таки я могу читать... Видеть, чувствовать, работать, думать — вот жизни! Верно?

— Да, да! — одобрительно говорил я, любуясь его оживлением. — И, главное, читайте побольше хороших книг... Ну, а как вам нравятся хозяева?

— Славные, должно быть, люди... не грубы с прислугой. Редко это встретишь... Барышня забавная! Бегаёт, визжит, делает гримаски, — всегда чистенькая, точно холёный поросенок!

Мне не понравился этот отзыв о Лидии Алексеевне, — отрицательное отношение прислуги к хозяевам вполне понятно, но Платон — человек полунинтеллигентный и должен бы понимать, что таким отношением к своей хозяйке он опускается до психологии судомоек. Я ничего не сказал ему по этому поводу, а он, улыбаясь, продолжал:

— Она — славная! Добрая, и хотя капризничает, но к людям относится хорошо... иногда кричит на горничную, но не обидно, по-детски...

— Она только на год моложе вас, — заметил я.

— Ничего не значит! — спокойно возразил он. — Годы бывают разные, — время надо измерять количеством и качеством впечатлений... Что она видела и знает?

Он любил хвастнуть своим житейским опытом, это надоедало мне. И я имел основание не верить ему, я несколько раз замечал, что, когда Лидия Алексеевна проходила мимо дворника, его рука подозрительно торопливо взлетала к шапке; голова покорно склонялась пред нею, и весь он смешно и угловато сгибался, точно боясь испугать девушку своей длинной фигурой, — он был чудовищно нескладен и велик в сравнении со своей хозяйкой. Я не понимал значения этих поклонов, но Лидочка заметила их преувеличенную почтительность. Это естественно: глаза врага всегда прекрасно видят; смешное в мужчине всего скорее доступно зрению женщины...

Веселая девушка ласково улыбалась ему, иногда дарила его парой незначительных слов, а однажды, когда он колол дрова, даже спросила его — не устал ли он? Этого не следовало делать.

Я предупредил ее:

— Он слишком самонадеян... считает себя исключительной личностью и способен забрать себе в голову бог знает что!

Она не обратила внимания на мои слова...

— Чудак он, — сказала она, задумчиво улыбаясь. — Такой смешной, длинный... и все философствует там в кухне... а над ним смеются за это...

Она рассказала мне, что прислуга дома считает Платона глупым за то, что он не ухаживает за горничными, не сидит у ворот, истребляя семена подсолнухов, и читает книжки. Его поведение в глазах кухарки и горничных было не свойственно дворнику, говорил он много, непонятно, — все это раздражало людей кухни.

— Нужно посоветовать ему сдать экзамен на учителя, и пусть он отправится в деревню, — сказал я.

— Да, — согласилась Лидия Алексеевна, — это лучше для него...

Должно быть, с этого момента она усилила свое внимание к Платону — не потому, конечно, что думала открыть в нем переодетого принца сказки, а просто ей было любопытно узнать, как чувствует и рассуждает человек, который метет двор ее дома...

Насгупала весна. Прилетели грачи. В старых липах, над крышей дома, целыми днями, не умолкая, раздавался громкий крик хлопотливых птиц.

Я заметил, что глаза Платона смотрят как-то странно, дальше того, что было перед ними, как будто они упорно ищут нечто необходимое ему, не находят и, удивленно расширяясь, улыбаются невеселой улыбкой. Он стал молчалив, и в движениях его явилась какая-то растерянность... Однажды, в тихий апрельский вечер, запирая за мной ворота, он негромко спросил:

— Можно мне придти к вам завтра?

— Пожалуйста, — сказал я. — Между пятью и шестью вечера... До свидания! Между пятью и шестью...

Он пришел аккуратно в это время, пришел одетый, как всегда, в свою фуфайку, смущенно улыбнулся мне и тяжело сел к столу.

Я заговорил о прочитанных им книгах, но это, видимо, не интересовало его; он отвечал рассеянно, неохотно и смотрел печальными глазами куда-то через мою голову или сквозь мое лицо. Печаль не шла к его скуластой физиономии.

Вдруг он объявил:

— Я... стихи писать начал!

Он сконфуженно взглянул на меня и спросил негромко:

— Вам это смешно?

— Нет,нисколько! — успокоил я его. — Прочитайте мне стихи, — можно?

Он улыбнулся невеселыми глазами, положил локти на стол, опустил на них свою лохматую голову и глухим голосом отрывисто заговорил:

Ночь пришла. Сажу я у окна,
Сад уснул. В нем — тьма и тишина.
Я смотрю в немую нощи тьму,
И душа моя кричит невольно:
Почему мне тяжело и больно?
Почему?

От его стихов пахло махоркой, от сапог — дегтем, фуфайка на локтях была протерта, у ворота она не имела пуговиц, и я видел, как тяжело и сильно бились жилы на шее Платона. Он, глядя в стол, читал:

Нет нигде душе моей ответа...
Душной тьмою все кругом одето...
Спит земля, и влажный воздух нем...
Только мое сердце громко бьется —
О, зачем она всегда смеется?
О, зачем?

Он замолчал, поднял голову, и брови его вопросительно поднялись.

— Ну, что?

Я хотел обратить его лирику в шутку.

— Нехорошо! — сказал я, усмехаясь. — Нужно, чтоб или оба смеялись или — оба плакали... Есть у вас еще стихи?

— Есть, — тихо сказал он и, снова опустив голову, медленно начал читать:

Прощай! Душа — тоской полна..
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонек!..
Прощай!
Прощай. Я поднял паруса,
Стою печально у руля,
И резвых часек голоса
Да белой пены полоса —
Все, чем прощается земля
Со мной... Прощай!

Глухой голос его звучал однотонно, напоминая о чтении псалтыря над усопшим. Он помолчал, взглянул на меня и, вздохнув, продолжал:

Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне душу гложет,
И грозно воеет вал седой..
Но — море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!

Он замолчал, сидя неподвижно. Мне было неловко, я не знал, как помочь ему? Подумав, я решил действовать, как хирург, — сразу отсечь ненужное. Я спросил:

— Вы — влюбились?

— Ну да, — тихо сказал он.

— Кто она? Горничная Феклуша?

Он удивленно поднял брови и ответил:

— Лидия Алексеевна...

Разумеется, я знал это, но не ожидал, что он скажет так прямо, и мне не хотелось слышать об этом из его уст. Мне было немного неприятно и очень смешно.

— Послушайте, голубчик, — заговорил я как мог серьезно и ласково, — поймите, что ведь это же — забавно!

— Забавно? — тихо вскричал он, и глаза его удивленно расширились.

— Ну да! — сказал я. — Мне прямо-таки трудно говорить с вами серьезно...

— Почему? — повторил он сдавленный крик.

— Да, — вы подумайте: вам девятнадцать лет... ну, вы там кое-что видели, кое-что знаете, но — разве вы пара ей? Она — девушка образованная, с тонкими вкусами... ей органически враждебно все грубое, — да не в этом дело, наконец! — а в полной невозможности такого сочетания, как она и вы... Человек неглупый, вы сами должны чувствовать эту невозможность...

— А я — не чувствую... — тихо, но упрямо сказал он и тем же тоном спросил: — Разве я не человек, как все?

Я пожал плечами и снова начал говорить ему, а он смотрел на меня серыми глазами, и я видел, что мои слова не действуют на него.

— И, наконец, — сказал я, отходя в сторону от Платона, — Лидия Алексеевна любит меня...

Он медленно встал со стула, плотно сжал губы, сгорбился и, забыв подать мне руку, ушел...

Я посмотрел вслед ему и почувствовал, что мне надо серьезно вмешаться в эту забавную, но неприятную историю...

На другой же день, вечером, я пришел к Лидии Алексеевне и, осторожно, чтобы не очень насмешить ее, но в то же время достаточно внушительно, сказал ей, что, пожалуй, будет лучше, если она перестанет обращать внимание на своего дворника.

— Почему? — удивленно спросила она. — С ним очень интересно говорить... Иногда его рассказы, несмотря на их грубость, так трогательны... и так ярко рисуют жизнь простых людей... Почему же, деспот, я не должна разговаривать с ним?

Тогда я сказал прямо, что Платон влюбился в нее и что первая любовь, — какова бы она ни была, — на всю жизнь формирует сердце мужчины... Она брезгливо вздрогнула, ее глазки сделались круглыми от изумления, щечки ярко вспыхнули, и она взволнованно забежала по комнате, обожженная и смущенная.

— Как он смеет! — растерянно восклицала она. — Он? У него потные руки... и такие красные... и уши тоже красные... Но — как я сама не догадалась? Вот... смеш-

ной! Мне и жалко его... и это так нехорошо... Вы говорите — сочинил стихи?

— Даже, кажется, недурные, — заметил я.

— Нет, как же это я сама не заметила? Право, это интересно... влюбленный демократ... роман! Ах, боже мой! Но что же теперь с ним делать, Филипп Васильевич? Необходимо отказать ему от места, да?

— Отнюдь — не сейчас! — посоветовал я. — Зачем же оскорблять человека, когда можно обойтись без этого? Отказать ему от места, конечно, необходимо, но нужно сделать это осторожно... не вдруг...

— Я бы хотела все-таки посмотреть его стихи, — задумчиво сказала она...

Вскоре я искренно и горько раскаялся в том, что дал такой совет, упустив из вида ребяческое легкомыслие Лидочки.

На другой же день я уехал из города, а через два-три дня уже все в доме знали, что дворник влюблен в барышню. Происходили, — как я потом узнал, — веселые и, надо сказать правду, злые сценки.

— Платон! — звала Лидочка.

Он являлся.

— Вы любите меня? — ласково спрашивала она.

— Да! — твердо говорил дворник.

— Очень?

— Да, — повторял он.

— И, если бы я попросила вас о чем-нибудь, — мечтательно рассматривая его скуластое лицо, таинственно и тихо говорила Лидочка, — ведь вы все сделаете для меня, Платон?

— Все! — с непоколебимой уверенностью отвечал дворник.

— Ну, если так, — восторженно улыбаясь, продолжала она, — если так, дорогой мой Платон...

Лицо ее становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:

— Поставьте самовар...

Он шел и ставил самовар, а скулы у него становились острее, и глаза все глубже уходили под лоб.

Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви, заставляла его вымыть ее грязные калоши или

посылала его с запиской к подруге, и во всем, о чем она его просила, она всегда задевала его любовь.

Вечером, когда собирались гости, она звала Платона, заставляла его читать стихи, и он читал, низко опустив голову, не глядя ни на кого. Его хвалили, он кланялся, а лицо у него было каменное. Лидочка при нем же говорила гостям:

— Ведь недурно, не правда ли? Иногда печатаются стихи хуже этих. Эти — неловки, но искренни... мне известно, что поэт действительно влюблен и — безнадежно! На пути к его счастью стоят сословные предрассудки и холодное сердце той, которую он воспекает...

Я нахожу, что она обращалась с юношей неосторожно и незаслуженно зло... Мне кажется, что его любовь — оскорбляла ее самолюбие и она немножко мстила за это бедняку... Впрочем — и все другие относились к нему не лучше. Старик-профессор был очень добрый человек, он любил любовью мудреца всех насекомых, но и он находил удовольствие в шутках над юношей.

— Послушайте, поэт! — говорил он. — Убедительно прошу вас, не наваливайте вы так много навоза на грядки для спаржи! Я не однажды говорил вам это, а вы все забываете... и я останусь без спаржи, если дело пойдет так плохо... Я, впрочем, не сержусь, я понимаю ваше положение... Вас влечет в Аркадию... Что ж? Законно: в детстве человек болеет корью и скарлатиной, в юности он влюбляется, пишет стихи и мечтает о подвигах... трата времени не очень полезная для жизни... но все же это лучше, чем благоразумие старости!

Профессор всегда говорил длинно, красноречие его было скучновато, но ему оно нравилось.

Шутила и прислуга — она, конечно, шутила проще и грубее. И, очевидно, все шутки попадали в цель метко, ибо цель была достаточно велика. Но изобретательнее всех была Лидочка, — я не могу скрыть этого и не одобряю, конечно.

Вечерами, при луне, она красиво и задумчиво садилась у открытого окна и громко говорила подругам о том, что любовь — не знает преград, что для нее — нет дворян, нет крестьян, а есть только мужчина, человек, любимый. Платон слышал это.

Потом она звала его, смотрела холодно и сухо в его лицо и заставляла что-нибудь сделать для нее.

Она играла меланхолические пьесы, нежно трогавшие душу влюбленного мягкими и ласковыми аккордами, она пела нежные, тихие песенки, в которых звучало ожидание ласки и тоска о милом, и все это она делала так, чтобы дворник видел, слышал, чувствовал...

Однажды он подошел к ней в саду и сказал:

— Зачем вы смеетесь надо мной? Что смешного в том, что я люблю вас? Скоро я уйду из города... мне хочется помнить вас ласковой, доброй... не мучайте меня!

Говорил он тихо и стоял неподвижно, но Лидочка чего-то испугалась в нем и убежала, ни слова не сказав ему.

Но на другой день она не могла отказать себе в удовольствии еще немножко помучить его, — призвала в комнаты и заставила читать стихи перед двумя ее подругами. В стихах шла речь о молодом, крепком дубе, — одна из его веток коснулась лица королевы, и королева приказала срубить дуб. Стихи были неуклюжие; барышни, слушая их, улыбались...

Кончилось это тем, что однажды утром я получил записку от Лидочки:

«Немедленно приезжайте Платоном несчастье Лида».

Она встретила меня растерянная, бледная, полубольная.

— Вы знаете — он застрелился!

— Неужели? — воскликнул я, тяжело пораженный.

— Да, да! Вот вам! — нервозно бегая по комнате, говорила она. — И в этом виноваты вы, вы!

— Я?

— Конечно! Надо было тогда же, сразу отказать ему от места, а вы сказали — нельзя! Вот теперь... Бедный! Мне его жалко...

На глазах у нее сверкали слезы, видно было, что плохо спала ночь и много плакала...

— Если бы я знала, что он... серьезно... я бы не позволяла себе шутить, — говорила она, приложив платок к лицу и вздрагивая. — Говорят, он еще жив... поезжайте к нему! Я не могу... я потом... Папа так расстроен... и всем его жалко... он был такой оригинальный!

Дитя! Она и тут говорила о нем, как о сломанной игрушке...

Я тотчас же поехал в больницу и по дороге печально думал о Платоне. Он казался таким крепким, твердым — и вот, при первом же столкновении с жизнью, опрокинут и разбит. Этой неустойчивости, вполне понятной в культурном человеке, живущем нервной жизнью, я не понимал в Платоне...

Он лежал вверх лицом, желтый, бескровный, с морщинами на лице; глаза у него потемнели, стали огромными, и в них застыла тоска и боль. Его длинная, жилистая рука бессильно свесилась с койки, почти касаясь пальцами пола. Он долго смотрел мне в лицо тяжелым взглядом и молчал... Наконец, сквозь зубы, скрипящим голосом, задыхаясь от слабости, он с усилием сказал мне:

— Спросите их... вот я — работал на них... чтобы им жилось удобнее и чище... за что же они изувечили меня?

Глаза его закрылись. Я поднял его руку, положил ее на койку и ласково заговорил:

— Мой друг, не надо судить людей так строго... Вот — выздоровеете вы, и — все это разъяснится... Ведь вы же знаете — они хорошие люди...

Не открывая глаз, он сказал:

— Там у меня... остались книги... пошлите их в Ростов... столяру Евсею Скрябину... не забудьте!

— Хорошо, я пошлю!

Вынув записную книжку, я занес в нее адрес столяра, а он все лежал неподвижно. В груди его глухо хрипело, и огромные, темные пятна на месте глаз делали его лицо мертвым.

Я смотрел на него, молчал, и мне было неловко оставаться, неловко уйти.

Наконец, он открыл глаза и прошептал:

— Уходите!

— До свидания! — сказал я.

Он ответил мне движением руки.

Медленно, с неприятным, едким чувством в груди, я пошел из палаты и когда вышел в коридор, то услышал хриплый голос Платона:

— Сиделка... не пускайте ко мне... никого...

Очевидно, он думал, что придет Лидочка.

Ночью он умер.

...Исполняя его поручение, я послал в Ростов книги, оставленные им, — тетрадки со стихами он сжег в печи, сказала мне прислуга, — но среди книг мне попался перечеркнутый листок почтовой бумаги, и на нем торопливо были написаны вот эти строки:

«Медленно и долго поднимался я с низу жизни к вам, на вершину ее, и на все в пути моем я смотрел жадными глазами соглядатая, идущего в землю обетованную...»

Я взял листок себе на память о Платоне; недавно, роясь в столе, нашел его и вспомнил о юноше... и — вот рассказал о нем.

ДЕВОЧКА

Однажды вечером, усталый от работы, я лежал на земле у стены большого каменного дома — печального, старого здания; красные лучи заходящего солнца обнажали глубокие трещины и наросты грязи на стене его.

Внутри дома день и ночь — точно крысы в темном погребе — сутились голодные, грязные люди, их тела всегда были полуодеты в лохмотья, а темные души — наги и так же грязны, как тела.

Из окон дома медленно и густо, как серый дым пожара, летел однообразный гул жизни, горевшей в нем. Я слушал этот давно знакомый мне тревожный и унылый шум и дремал, не ожидая услышать хотя бы краткий, новый звук.

Но где-то близко от меня, из груды пустых бочек и поломанных ящиков, вдруг раздался тихий, нежный голос:

Спи, милая! Спи, детеночка!..
Баю-баюшки-баю,
Баю девочку мою..

Раньше я не слышал, чтоб в этом доме матери баюкали детей такими, любящими голосами. Я тихо встал, посмотрел за бочки и увидел: в одном из ящиков сидела маленькая девочка. Низко наклонив русую, кудрявую головку, она тихо покачивалась и задумчиво напевала:

Уж ты спи, ты усни,
Угомон тебя возьми..

В маленьких, грязных ручонках она держала черенок деревянной ложки, окутанный в красную тряпку, и смотрела на него большими, грустными глазками.

Красивые глазки были у нее, ясные, мягкие и — не по-детски печальные. Заметив их выражение, я уже не видел грязи на лице и руках девочки.

Над нею, в воздухе, как тучи саж и пепла, носились крики, ругань, пьяный смех и плач, вокруг нее на грязной земле все было изломано, исковеркано, и лучи вечернего солнца, окрашивая обломки разбитых ящиков и бочек в красный цвет, придавали им зловещее и странное сходство с остатками какого-то большого организма, разрушенного тяжелой и суровой рукой нищеты.

Нечаянно я пошевелился — девочка вздрогнула, увидела меня, ее глаза подозрительно сузились, и вся она боязливо съежилась, точно мышонок перед кошкой.

Улыбаясь, я смотрел на ее чумазое, печальное и робкое лицо; губы она крепко сжала, и тонкие брови ее вздрагивали.

Вот она встала на ноги, деловито отряхнула свое рваное, когда-то розовое платье, сунула в карман свою куклу и звенящим, ясным голосом спросила меня:

— Чего глядишь?

Было ей лет одиннадцать; тоненькая, худая, она внимательно осматривала меня, а брови ее все дрожали.

— Ну? — продолжала она, помолчав. — Чего надо?

— Ничего, играй себе, я уйду... — сказал я.

Тогда она шагнула ко мне, ее лицо брезгливо сморщилось, и громко, ясно она сказала:

— Пойдем со мной за пятиалтынный...

Я не сразу понял ее, только, помню, вздрогнул в предчувствии чего-то ужасного.

А она подошла вплоть ко мне, прижалась плечом к моему боку и, отвернув лицо свое в сторону от моего взгляда, продолжала говорить тусклым и скучным голосом:

— Ну, идем, что ли... Неохота мне на улице гостя искать... Да и выйти-то не в чем — мамкин любовник и мое платье пропил... Ну, идем...

Молча и тихо я стал отгалкивать ее от себя, а она взглянула мне в глаза подозрительно-недоумевающим

взглядом, губы у нее странно искривились, она подняла голову и, глядя куда-то вверх широко открытыми, ясными, печальными глазками, негромко и скучно проговорила:

— Ты что кобенишься? Думаешь — я маленькая, так кричать буду? Не бойся, это я прежде кричала... а теперь...

И, не окончив свою речь, она равнодушно плюнула...

Я ушел от нее, унося в своем сердце тяжелый ужас и печальный взгляд ясных, детских глаз.

А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двух-этажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят

в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, — чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечта-

ний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхоли-

чески загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь; — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам — тоже — в чахотке, жалование — двадцать рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела бо- жия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а уйду вот — как

от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочника, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбы зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать

о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разума, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографии вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этикие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно нажимают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется *morbus priritvoralis*.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза станови-

лись холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решетке, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при

нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромнен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоящей необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нег в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали во-время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишённые силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Солёный от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздаётся выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наводнении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, огравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятливы два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за суще-

ствование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишённым радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболее мне!
Жарко быдохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады все сажил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господе:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.



А. П. ЧЕХОВ и А. М. ГОРЬКИЙ
Ялта, 1900 г.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю,

ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить значит — все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулер-жицкого, — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были встарину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом миллом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

БУКОЕЛОВ, КАРП ИВАНОВИЧ

В душный сумрак камеры сквозь мутные стекла окна падает солнечный луч, — Букоелов лежит на нарах кверху лицом, смотрит, как в золоте луча тихо кружится пыль, лениво летают мухи, и, может быть, думает о быстрых полетах ласточек и стрижей в голубой бездне небес...

Махин и Шишов сидят на корточках около старика и молча играют в шашки, сделанные из мякиша черного хлеба, а Хромой, сидя у окна, чинит рубашку и вполголоса гнусаво поет:

Просидела день без дела,
Капитал свой весь проела...

В такт своей однообразной песне он тихо постукивает в пол тяжелой и грубой деревяшкой, заменяющей ему левую ногу, отрезанную у колена.

— Не можешь ты играть, Махин! — с презрением говорит Букоелов. — Ходи налево, Шишов!

— Я знаю, — наклоняясь к шашкам, отвечает Шишов сиплым голосом.

Мил дерется, коль не сыт,
Сытый милый только спит...

— грустно тянет Хромой.

— Тьфу! — плюется Букоелов. Песня надоела ему; она, точно скрип пилы, неприятно сверлит уши.

Старик недружелюбно повертывается в сторону Хромого и молча смотрит в его лицо — бледное, чистое, оваль-

ной формы. Небольшая окладистая бородка, вместе с длинными волосами темного цвета, делает Хромого похожим на молодого священника. Его черные глаза смотрят всегда сосредоточенно и спокойно, говорит он мало и почти никогда не смеется. Сосланный в Сибирь на вечное поселение за поджог, он трижды уходил с места ссылки в Россию. Второй раз он дошел только до Перми, поступил там в сторожа на железной дороге и спокойно служил более полугода. Но однажды ночью на станцию пришли вору, ударили его кистенем, он свалился и, лежа без памяти, отморозил себе ногу. В больнице узнали, что он беглый, приделали ему деревяшку на место отрезанной ноги и возвратили в ссылку. Хромой ушел в Россию снова, — теперь его поймали уже в Калуге.

Много измерил земли этот человек, много, должно быть, он видел и слышал, но — не нашел он на земле песни, более приятной ему, чем эта песня:

Я бы бросила его,
Да нет на свете никого...

От его небольшой, красивой фигуры веет затвердевшим упрямством, в глазах застыл какой-то холодный блеск. У старика Букоемова пропадает желание помешать ему петь, он медленно поворачивает голову, смотрит в потолок и сквозь зубы говорит:

— Однако скушно с вами, анафемы...

Крепкий, румяный красавец Махин напряженно сморщил лоб, прикусил нижнюю губу и, не отрывая карих глаз от шашек, угловатыми, судорожными движениями руки молча двигает их по нарисованным на нарах квадратам. Шишов играет осторожно, он долго думает над каждым ходом, сильно трет лысину, двигает рыжими бровями, сделав ход, облегченно сопит и с достоинством гладит спутанную бороду. Он толстый, круглый, и лицо у него тоже толстое, красное...

— Оба вы плохо играете! — решительно заявляет Букоемов и тщательно крутит папиросу.

Я пошла бы к своему краю,
Да родилась где — не знаю!

— тихонько выводит Хромой.

— А этот все скулит, как голодный пес на цепи, — угрюмо двигая седыми бровями, говорит Букоемов.

Ему не отвечают.

В коридоре — смутный гул, — он все ближе подвигается к двери камеры. Это — староста разносит подаяние — калачи, баранки, яйца.

Кто-то визгливо сквернословит, и слышен хриплый голос:

— Пара, две, три...

— Ты! Куда суешь руку? Мало тебе, сволочь?

Букоемов курит, смотрит острыми глазками на конец папиросы, и его угловатое, точно железное, лицо — темно и неподвижно. Серые и голубые струйки дыма путаются в седой бороде, вползают на голову, сливаются с жесткими волосами сивого цвета — старик весь серый, точно большой обломок скалы. Ему уже за шестьдесят лет. Но у него целы все зубы, волосы его густы, движения сильны, голос тверд и ясен. Ловко носит свою одежду, кандалы не стесняют его: на ходу они у него звенят как-то особенно — негромко и легко. Он солиден, любит чистоту, порядок, в нем много старческой красоты и чувства собственного достоинства.

По его словам, первый раз он был приговорен на каторгу двадцати шести лет за двойное убийство и грабеж. С дороги он бежал и три года с лишком занимался разбоем; был пойман и осужден на Сахалин без срока. Отбыв девять лет, он снова бежал и снова занимался «своим делом» почти пять лет. Его поймали во второй раз, но в Сибири он «сменился», с год прожил в Тобольской губернии как поселенец, потом пришел в Россию, а теперь — после целого ряда убийств и грабежей — он снова возвращался на Сахалин, где его ждала бессрочная каторга и кнут...

— Хромой! Ступай, прими подаяние, — говорит он тоном старшего.

Хромой поднимает голову, смотрит на него, кладет рубашку на подоконник и шагает к двери, покачиваясь с боку на бок. Тупо стучит его деревяшка, и вздрагивают волосы на голове.

— Готова! — довольным голосом кричит Шишов, потирая свои пухлые руки, поросшие красной шерстью. Махин виновато улыбается, бережно собирает шашки и

высоким тенором, который не идет к его сильной, стройной фигуре и вьющимся, черным, как у негра, волосам, говорит Шишову:

— Ты больно долго думаешь, а я не думаю! Я сразу играю...

— Дурак! — кратко говорит Букоемов. — Хорошие однако люди... у одного — нога деревянная, у другого — башка...

Шишов тяжело слезает с нар на пол и хохочет жирным смехом. Его большой живот противно колышется, он щурит свои масляные глазки, точно сытый кот. Кандалы на его коротких ногах тяжело звенят, путаются, мешают ему; он весь какой-то расстегнутый и мокрый, как будто тает в духоте. Кажется, что, если сильно встряхнуть его, он весь развалится и расплывется по полу киселем.

Букоемов аккуратно тушит папиросу, смотрит на Шишова, и его тонкие, сухие губы складываются в презрительную усмешку.

— Труха! — говорит он, сплевывая. — Умрешь ты скоро... Зальет тебе сердце жиром — и умрешь ты, как навозный жук...

Шишов подобострастно смеется, берет из рук Хромого калач, осматривает его со всех сторон сладко прищуренными глазами и открывает рот, полный мелких белых зубов, похожий на щучью пасть...

— Постой! — говорит Букоемов. — Ведь ты жрать не хочешь?

— Нет — чего же? Я могу, — смущенно хихикая, возражает Шишов. Он стоит перед стариком и обеими руками держит калач у подбородка.

— Мо-огу! — передразнивает старик сиплый голос Шишова. — Тебе же нельзя жрать: издохнешь! Тебе голодать надо... накопил жиру, как скупой деньжищ, и задыхаешься вот... дура дряблая!

Он отворачивается от Шишова; тот робко мигает глазами, смотрит на калач, потом вваливается на нары, тяжело ползет в угол и там начинает медленно и внимательно есть, стараясь не чавкать громко...

Славное море — широкий Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка...

— тихо запекает Махин, стоя у окна...

— Не видав — хвалишь, — угрюмо усмехаясь, говорит Букоёмов.

К окну подходит Хромой, молча, движением руки, отстраняет Махина, садится и снова чинит рубаху.

Букоёмов оглядывает всех по очереди и опускает голову, сумрачно двигая бровями. Грустно вьется песня, шуршат нитки, громко чавкает увлеченный Шишов. Старик вскидывает голову и смотрит на него холодными глазами; Шишов перестает есть и, не закрывая рта, с куском калача пред лицом, сидит неподвижно и ждет.

Букоёмов смеется. Смех у него негромкий и странный, точно в горле старика пересыпаются осколки битого стекла.

— Лавошник ты, рыжая скотина, — насмешливо говорит он, — и поступок твой поганый, лавошников... Купил девочку-подростка, — как, скажем, бараньи тушки покупал, и задавил девочку... сволочь ты!

Шишов тяжело вздыхает и снова ест. Теперь смеется Махин веселым, юношеским смехом. Хромой сосредоточенно шьет.

— Живу я между вами, — продолжает суровый старик, — и надоели вы мне, как бельма на глазах... Скушно мне тут... хоть всего две недели с вами я...

— Расскажи чего-нибудь, Карп Иванович! — просит Махин, подходя и усаживаясь на нарах рядом со стариком.

— Вот, Хромой, — говорит Букоёмов, не взглянув на юношу, — ты все говоришь: все люди одинаковы по евангелию... А ты по правде скажи, — разве они двое — люди однако? И разве я — похож на них?.. Не похож я... и ты не похож... ты хоть без ноги, а с характером... в тебе сопротивление есть... Тебе приказывают — живи в Сибири!.. а ты — не хочешь, ты вот уходишь... это хорошо! Даже на одной ноге ушел... очень хорошо, да! А вот Махин, — что он такое? Зачем он вообще? Зарезал толстого трактирщика, облился весь кровью, нанял извозчика и — поехал... Куда же однако поехал? Неизвестно... Потом со страху — бац извозчика ножом по горлу... зачем оно? Тоже — не понять...

— Я не со страху, — конфузливо улыбаясь, отвечает Махин, и его темные воловьи глаза смущенно мигают.

— Ну, а для чего?

— Он все оглядывался, — виновато говорит Махин, — едет, едет, да и оглянется... ну, и...

— Болван! — спокойно и холодно определяет Букоемов, снова свертывая папироску.

— Все надо делать умеючи... — продолжал он, закуривая. — Ежели толстого резать — для этого случая надо раздеться догола... В нем, в толстом, всегда кровищи много... брызнет она, обольет тебя, — вот и улика против... А голый — ты хоть и попачкаешься — сейчас взял сырую тряпку, вытерся весь и — чист пред людьми...

— А перед богом? — негромко говорит Хромой. Он не пошевелился, не поднял головы, и в голосе его не звучит ни упрека, ни любопытства...

— Чего? — помолчав, спрашивает Букоемов.

— Я говорю — перед богом как? — повторяет Хромой, продолжая работать.

Старик смотрит на него, поводит своим хрящеватым носом и поучительно говорит:

— Нет, Хромой, люди — разные... Иному кандалы-то ноги спутают, а душу освободят, а у другого — душа железками скована... это однако надо понять!..

— Карп Иванович! — спрашивает Махин тихо и с жутким любопытством.

— Ну?

— Много ты убил людей?

— Много ли? — Холодные глазки старика тяжело упираются в лицо Махина, и юноше неловко под этим взглядом. Он передергивает плечами, точно от холода, и, полуоткрыв рот, ожидает слов старика, заглядывая сбоку в его лицо. Из угла, с нар, доносится короткое, тяжелое дыхание Шишова.

Старик властно кладет на плечо Махина свою большую руку, пальцы ее сильны и гибки, как стальные пружины, он постукивает ими по телу юноши и говорит:

— Много. А сколько много — не помню... Зачем тебе это?

— Так... интересно... — глупо улыбаясь, поясняет Махин.

Старик легонько отталкивает его от себя.

— Эх ты... кутенок!..

— А лица помнишь? — вдруг спрашивает Хромой.

— Какие лица?

— Которых ты убил...

— И лиц не помню... ведь больше — ночью приходилось... — спокойно говорит старик.

— А не верю я тебе... не верю, чтобы ты людей убивал... — покачивая головой, тихо замечает Хромой.

Букоёмов смотрит на него и беззвучно усмехается.

— Вот кабы следователи да прокуроры не верили мне, ну, это было бы лестно... а если ты не веришь — не велика мне от этого прибыль... Однако — недаром я почти пятнадцать годов кандалами брякаю, — как ты смекаешь?

В коридоре раздался шум, смех и визг — это малолетних пригнали со двора.

— Не орать, дьяволы! — раздаётся крик надзирателя.

Громко хлопает дверь, скрипит железо засова и замка, бойкий шум молодых голосов становится глуше.

— И не жалко тебе было убивать людей? — раздаётся сиплый голос Шишова. Он сидит в углу нар, вытянув шею вперед, и его глазки, заплывшие жиром, блестят боязливо.

— А кто кого жалеет? — спокойно отвечает Букоёмов.

— Это — верно! — негромко отзывается Хромой. — Никто никого.

— Напрасно ты об этой твоей жалости говоришь... врешь ты, собака... — говорит старик.

— Разве нет жалости? — спрашивает Махин и смотрит на всех поочередно, ожидая ответа.

— Подаяние, примерно, — ворчит Шишов.

Хромой вскидывает голову и с упреком в голосе отвечает:

— Подаяние — не для тебя, а для бога...

— Дают — чего не жалко, — подтверждает Букоёмов.

В камере малолетних налаживается песня, — звучный альт бойко затягивает:

Пóгиб я, мальчишка,
Пóгиб навсегда...

Солнечный луч поднялся с пола, теперь он, красноватый и дрожащий, полого висит в густом воздухе камеры и упирается в низ двери. И все так же лениво в нем кружится пыль, тяжело и бестолково летают мухи. Звонкий альт, захлебываясь от возбуждения и не договаривая слов,

ярко выкрикивает песню, все учащая ее темп; мальчишки считают особенным удалством петь эту песню на плясовой мотив.

Отца я зарезал,
Маму удушил...
Эх! Малую сестренку
В Волге утопил!

— Их! — подхватывает хор с присвистом и топотом ног.

— Цыц, щенки! — орет надзиратель и стучит в дверь камеры кулаком.

— Люблю я тебе говорить, Хромой, — медленно разбирая пальцами жесткие волосы своей серой, острой бороды, говорит Букоемов, — умеешь ты слушать... А когда ты сам говоришь — не люблю я этого... Серый ты человек... и напрасно себе глаза замазываешь. Гляди на все прямо — вот тебе закон! Тут вся премудрость... Гляди на все прямо — только и всего... А ты говоришь — люди... то и се... надо жалеть!

Речь старика течет ровно и плавно, в голосе его звучит холодная энергия, и под мохнатыми бровями сверкают острые, как гвозди, серые глаза.

— Зачем я буду жалеть, ежели ни в ком нет жалости? И ненужно мне это и невыгодно... Ты погляди: я докажу тебе все это...

Старик вытягивает руку и загибает один палец на ней.

— Первое, это я с детства помню, лежим, стало быть, мы с матерью на печи, говорит она мне сказку, и приходит отец... сгреб он мать за волосы и сдернул ее на пол, вроде как тулуп сбросил... Бил, бил ее — устал... «Ставь, говорит, ужинать, шкура...» — а она вся кровью залита и на ногах стоять не может...

— За что это он? — с большим интересом спрашивает Махин.

— Один раз, помню, — говорит Букоемов, не отвечая Махину, — устал он ее бить, сел на лавку, отдыхает... Встала мать на коленки пред ним и просит: «Убей, Христа ради, сразу, не мучь!» А он ей: «Нет, ты погоди, зачем сразу?» Мне тогда годов шесть было, а то — семь... Так и забил он ее насмерть...

Махин прищурил глаза и с каким-то восторгом торопливо рассказывает:

— У меня брат жену свою, бывало, бил... ух! только косточки хрустят! Он — гусар, пришел со службы, а у нее — дите... Как он ее хряснет по роже!

— Бьют в деревнях лошадей, бьют собак... — мерно и упрямо продолжает старый Букоемов, — ну однако баб сильнее бьют... За бабу деньги не плочены, а жизнь — трудная, народ — злой... А часто так себе... для забавы людей мучают... Расскажу тебе, Хромой, был я извозчиком и, пьяный, попал в часть... Привезли туда девку пьяную, бросили ее на пол ничком, и лежит она, спит, как мертвая... Ну... пришли двое полицейских, принесли сургучу, заголили ее, зажгли сургуч и — капают на голое тело... Сургуч горит на коже у нее... запах скверный идет, она — мычит, а они — хохочут... На что им это нужно было? Н-да... Испугался я тогда, дрожу весь... думал — и меня палить будут...

— А еще — сидел я в тюрьме екатеринославской... был в ту пору рабочий бунт... и привели на двор одного рабочего, — арестовали, значит... Смотрю я в окно и вижу: околоточный офицеру — солдаты на дворе были и офицер с ними — предлагает: «Хотите, говорит, господин поручик, я этому рабочему перепонку в ухе разорву с одного удара, и на всю жизнь он оглохнет?» — «А ну-ка», — говорит офицер-то. Околоточный — р-раз! И — верно, разорвал перепонку... я потом узнал — оглох парень-то...

В углу вдруг засопел и завозился Шишов, дремавший под мерные звуки голоса Букомова.

— Это — можно! — раздался его сиплый голос. — Надо ладонью ударить, чтобы воздуху туда больше нагнать, в ухо-то... воздух и прорвет перепонку...

Он засмеялся. И старик тоже усмехнулся.

— Не видал я, брат, Хромой, жалости в людях... и сам жалеть их не умею... негде было научиться этому... Шел я как-то с партией, политики были в ней, а между ними — жиденек один, Венькой звали... Вениамином, значит. Маленький такой, кудрявый, глазенки веселые, складный весь... и такой утешный парнишка был... Все устанут, бывало, жарко, пыльно, а он — ничего, поет песни, шутки шутит, ласковый со всеми... Есть эдакие ребятки — с него хоть кожу сдирай, ему весело, а глядя на него, и другой тоже улыбнется да легче вздохнет... Любили его все в пар-

тии... а начальник конвоя — не взлюбил... за что — неведомо, ну однако так упрямо, как иной раз баба мужа не любит... Орет на него совсем зря... и всё — жиденок, жиденок! А чего там? Тюрьма всех в одну веру крестит... Всяко он над Венькой измывался... разбередил его все же, осви-репел Венька и скажи: «Вы, говорит, мерзавец!» Как тот его ручкой шашки двинет промеж крылец... у мальчишки кровь горлом... Так он его и свел с земли... совсем зря...

— Жалко? — тихо спрашивает Хромой.

— Чего?

— Жалко, мол, тебе жиденка-то? — повторяет Хромой.

— Про жалость ты мне не говори! — строго возражает Букоёмов. — Какую там я могу иметь в себе жалость, ежели на моих глазах всегда людей били... и вижу я, что человек дешевле скота ценится? То-то... Коли я тебе только про себя расскажу, сколько раз меня били... и то ты сыт будешь... Про жалость — врешь ты! Я почти на двадцать годов старше тебя, я всю Россию обошел, объездил, оглядел — врешь ты!

Старик говорит «врешь» так тяжело и твердо, точно бьет по черепу Хромого своим сухим и жестким кулаком.

— Жутко жить, — раздается шопот Хромого.

— Чего? — сурово спрашивает старик.

— Говорю — жить жутко...

— А ты говори внятно!.. — строго советует Букоёмов.

Махин задумчиво прищурил глаза и, поводя широкими плечами, медленно и негромко вспоминает:

— Парнишкой торговал я огурцами... и взяли меня в полицию... ка-ак били! И за волосья... и по бокам... господи Иисусе!

Букоёмов смотрит на Хромого и с важностью, со спокойным торжеством победителя, снова начинает:

— Я человек серьезный, правильный, я все на земле видел, и все я знаю... а когда ты про жалость говоришь — беспокойно мне, — неужели я ошибся? Хорошее-то оглядел? Ну, только врешь ты, Хромой... зря меня мутить... Люди друг друга не жалеют, и мне жалеть их не за что... Доброго от них не видал я... одни разве калачи да баранки... ну, калачом меня в обман не вманишь... Ты мне то самое дай, чего тебе наиболее жалко... дорогое твое отдай! Не можешь? Ну, и не ври... собака! И — опять же,

что такое люди? ежели их можно мучить, как базарных крыс... а они только бегут да прячутся...

Снова в разговор вступает Шишов; он смеется жирным, негромким смехом, и сквозь смех слышны отдельные слова:

— Бывало, у нас... в мясном ряду... обольют крысу керосином, да н... зажгут... а она — трещит... мечется...

Махин смотрит на него и тоже весело смеется...

Хромой медленно поднимает голову, оглядывает всех, потом говорит:

— А... сказано: «Всякое дыхание да хвалит господа...»

Старик косится на него исподлобья и сердито возражает:

— Мало ли что сказано... ты гляди, что сделано.

Солнечный луч медленно ползет по двери кверху и становится все краснее. Букоемов сидит на краю нар, смотрит в окно и качает головой.

— Иной раз — тошно бывает мне, Хромой... Пошел бы я тогда на улицу, встал бы посередине и сказал: «Я — убивец, верно! а вы все — подлецы! И это хуже... Может, оттого я и убивец ваш... что вы мне это позволяете... да! Что вы против моего характера придумали? Железки?»

Он громко трясет кандалами.

— Кто тебе поверит? — тихо спрашивает Хромой. И сам себе отвечает: — Никто тебе не поверит...

— И — наплевать... — угрюмо говорит Букоемов. — Пускай будут железки... неизвестно, кому от них хуже... мне али им... это — неизвестно...

С минуту в камере все молчат. Тает солнечный луч...

Махин встает и, оглядывая камеру растерянным взглядом, бестолково топчется на месте.

— Шишов, давай сыграем, а? — просительно говорит он. Шишов тяжело возится на нарах и сопит...

— Давай... я те покажу!

Карп Иванович Букоемов смотрит в пол, двигая бровями, ноги у него болтаются, кандалы тихо позванивают, и под их звон старик угрюмо и медленно говорит:

— Совсем ты, Махин, на кутенка похож... Как жил я, после смены, на поселенье, был в ту пору кутенок у меня... рыжая такая животная, с белыми пятнами... веселая скотина была! Бывало, прыгает около меня туда-

сюда... идти невозможно! Спал со мной, шельма ярославская... заберется на постелю и спит... а блохи его кусают меня... Отшвырнешь его — зарычит, опять лезет ко мне и одеяло зубами дергает... Так я и не могу его прогнать... Поутру проснусь, а он смотрит на меня, зубы оскалены и хвостом виляет, — дескать, что, взял?

Букоемов улыбается и молчит, неподвижно глядя в пол. Хромой перестает шить, пристально смотрит на него и — ждет.

— Ну?

— Чего?

— Что же кутенок?

— Околел... кто-то хребет ему перешиб...

— Жалко? — тихо спрашивает Хромой, и на его губах дрожит усмешка.

Старик медленно поворачивает к нему лицо и с презрением говорит:

— Пошел ты к дьяволу... Тоже! Захотел поймать ежа зубами...

Хромой смотрит ему в глаза, губы его всё вздрагивают, и он, позевывая, возражает:

— Ежели не жалко, — зачем помнишь? Людей, которых убивал, не помнишь, а кутенка — помнишь? Сам ты все врешь... вот что!

— Дерево! — скучно и лениво говорит старый каторжник. — Он ко мне ласков был...

Он опрокидывается спиной на нары и лежит, закинув руки за голову.

Шишов и Махин молча двигают шашки.

В окно смотрит клочок неба — оно золотое и розовое, высоко в нем кружится стая голубей. Больше ничего нет в небе. А земли — не видно из окна.

В камере тихо.

Хромой кончил шить. Он распылил рубаху пред лицом, наклонил голову набок и, любясь заплатами, тихо поет:

Я туда, сюда ходила,
И везде мне плохо было...

Карп Иванович Букоемов глубоко вздыхает и, плюнув в потолок, медленно говорит:

— А однако скушно с вами, — черти лиловые...

С НАТУРЫ

В деревню, для успокоения возбужденных умов, явился администратор. Не выходя из коляски, он, окруженный казаками, обратился к мужикам с успокоительной речью. Говорил милостиво и грозно, укоризненно и отечески, говорил долго.

Вдруг из толпы, прерывая речь, раздался вопрос:

— А он?

— Что? — спросил администратор.

— А как он?

— То есть кто — он?

— Ну, знаешь...

— Дурак! Что такое — он?

— Конечно... А все-таки — как же он?

— Да что такое? О чем ты спрашиваешь?

— Насчет его...

— Ну?

— Он останется?

— Пороть! — приказал администратор.

Мужика схватили. Разложили... Выпороли.

Он встал и, застегивая штаны, сказал:

— Ну, вот... Я так и думал, что, покуда он останется, — будут нас пороть...

И ЕЩЕ О ЧОРТЕ

Приятно утомленный всем, что он видел, слышал и говорил в заседании бюро своей партии, Иван Иванович Иванов, придя домой, лег в кабинете на диван, улыбаясь, сладко потянулся и застыл в истоме отдыха.

За окном дребезжали пролетки извозчиков, в голове еще звучало эхо свободных речей, он вспоминал живую игру слов, красивые фразы, ловкие обороты, возбужденные лица ораторов и — вдруг почувствовал, что он не один.

Невольно сдвинув брови, он поднял голову — на белых кафлях печи в углу кабинета тускло блестело чье-то, желтое, квадратное, холодное лицо. Иван Иванович сразу, движением всего тела, поднялся, сел на диване, упираясь руками в колена, и, вытянув шею, прищурил глаза.

— Не узнаете? — раздался негромкий, металлический, взвизгивающий голос.

— Ах... это вы? — сказал Иван Иванович смущенно. — Да, я не сразу вас узнал... теперь так много живого, реального дела, что невольно забываешь о вашем существовании, — извините! К тому же вы несколько изменились...

— Но, изменяясь, я не изменяю... — с усмешкой сказал чорт.

— Гм... — произнес Иван Иванович, — я ведь говорю только о вашем лице...

— Ба! Теперь у всех не те лица, что были вчера, — молвил чорт беззаботно...

«Кажется, намекает на что-то, бестия!» — подумал Иван Иванович и, беспокойно почесав мизинцем лысину, спросил:

— Вы что же... по делу ко мне?

— Эх, Иван Иванович! — печально вздыхая, сказал чорт. — Что делать на земле чорту теперь, когда люди превзошли его в творчестве мерзостей? Я стал теперь каким-то заштатным существом... наблюдаю, учусь провоцировать...

— Да, — солидно сказал Иванов, — предрассудки исчезают...

— Как же, как же! — согласился чорт. — Я был на вашем съезде и видел, как усердно вы хоронили в потоках слов любовь к родине, интересы трудящихся классов, правду, честь...

— Позвольте! — сухо перебил Иван Иванович. — Я говорю о предрассудках...

— Я тоже! — молвил чорт и засмеялся.

«Вот негодяй!» — подумал Иванов.

— Ну, как, Иван Иванович, довольны вы результатом вашей долгой и упорной деятельности? — дружелюбно спросил чорт.

— Конечно!.. То есть... позвольте! Что именно считаете вы результатами моей деятельности? — Иванов строго вперил глаза в желтое лицо чорта — а оно переливалось улыбками, как расплавленная медь.

— Как что? — воскликнул чорт. — А пробужденные всей страны? Этот могучий прибой развитого вашей работой чувства человеческого достоинства, это растущее с волшебной быстротой сознание народом своих прав, сознание, которое вы так долго будили, эту огненную волну стремления к свободе...

— Позвольте-с! — вскричал Иван Иванович, вскочив на ноги. — Прежде всего вы — чорт, и вам не следует впадать в высокий стиль, да! И обвинять меня... то есть приписывать мне все это... эти огненные волны... покорно благодарю!

У Иванова дрожали пальцы, а лысина покрылась мелким потом. Он стоял перед лицом чорта и размахивал в воздухе рукой — а чорт беззвучно хохотал.

— Пробуждение и прочее... это, конечно, я не отрицаю... нет! Но — вам известно, что у меня сожгли усадьбу? Вы знаете, что перерезали моих овец и лошадям моим хвосты оторвали? Вы в этом видите сознание народом своих прав? Огненные волны... я? Я, было бы вам известно, не разжигал никаких огней...

— Иван Иванович! — звеня и взвизгивая, воскликнул чорт. — Не отрицаете ли вы себя? Подумайте, кто издавал журналы и газеты, в которых говорилось о бедствиях голодного, бесправного народа? Разве не вы всю жизнь служили идее свободы? И разве вы не говорили много раз, что эту идею осуществит только революция? Ведь вы сочувствовали революционерам и порою облакали это сочувствие в рсальные формы. Разве вы никогда не давали трех рублей в пользу политических и рубля на нелегальную литературу?

— Довольно! — закричал Иван Иванович. — Я знаю-с, я писал в газетах, я читал лекции и вообще... но я всегда доказывал одно: необходимо заменить бесправие порядком! И больше ничего... И я не учил мужиков жечь мой дом... я не учил рабочих оставлять меня по неделям без огня и воды, без лекарств и железных дорог, без почты, телеграфа... я не учил анархии! И на революцию за все шестнадцать лет я дал всего семь рублей сорок пять копеек, — я это помню! И дал не из сочувствия, а... а из сожаления!

— Но, Иван Иванович, право же, вы несколько помогли... Вы внесли в сознание рабочих и крестьян кое-что... — убедительно заговорил чорт, и на лице его отразилось что-то похожее на стыд.

— Ничего, что позволяло бы им портить мой скот! И никогда я не занимался пропагандой среди рабочих и крестьян... это ложь! Нет, уж извините, я предпочитаю, чтоб страна не пробуждалась в такой чрезмерной степени, но усадьба моя уцелела...

Иван Иванович проговорил эту фразу и вдруг почувствовал себя голым. Его костюм, солидный и удобный, рассеялся, как облако дыма, и, смущенно прикрывая руками то место, где на статуях помещается фиговый лист, он, в смущении, переминался с ноги на ногу, колыхая животом...

— Иван Иванович! — воскликнул чорт. — Что с вами? Это преждевременно... так обнажать себя!

Иванов огорченно осматривал свое тело и молчал.

— Конечно, я... хватил через край, как говорится, — пониженным и грустным тоном начал он.

— Но это было искренно? — подсказал ему чорт.

— Вовсе нет! — снова возмущаясь, крикнул Иванов. — У вас отвратительная манера разговаривать. Ведь вы прекрасно знаете, что во всех этих забастовках, беспорядках и прочих ужасах я ни при чем... И если иногда... что-нибудь говорил... немного резко... может быть... так это — среди своих и в состоянии запальчивости и раздражения! А вы мне навязываете роль провокатора...

— Нет! — сказал чорт. — Но я думал, что так называемый честный человек...

— Ну да! Честный человек — это человек разумный! — внушительно сказал Иванов, поднимая вверх правую руку. — Вы... просто политически незрелы и не понимаете моей программы... А между тем она ясна, она вполне определена: идею равенства я признаю, но — солдат должен быть солдатом, почтальон почтальоном, и больше ничего! Вы поняли?

— О, да! — сказал чорт. — Очень остроумно...

— Равенство людей не должно отрицать порядка, а для порядка необходима армия... и еще многое... Свободу должен регулировать разум, а представитель его — кто?

— Вы? — спросил чорт.

Иван Иванович скромно потупил глаза и продолжал:

— Женщина равна мужчине, но было бы преждевременно признать ее таковой...

— Разумеется! — сказал чорт.

— И если я говорил иногда о революции, то всегда прибавлял: ее необходимо совершить мирным путем... вот! Я никогда не был революционером...

— А на съезде вы себя назвали таким именем! — заметил чорт.

— Но — не в смысле аграрных беспорядков! — огорченно возразил Иванов. — Я революционер, но только... не теперь... то есть не здесь... я «революционер в области права»... но не могу же я отрицать право собственности!

И, тяжело вздохнув, Иванов потер руками бедра.

— Итак, — сказал чорт, — это не вы сделали революцию?

— Поймите меня, — страдающим голосом сказал Иванов, — все, что в ней есть разумного, сознательного, — это моя работа, все стихийное, бессознательное — работа крайних партий... это так просто!

— Значит, правда, — сказал чорт, — что пролетарий сам завоевал свободу?

— У вас совсем нет логики, мой дорогой! — с досадой сказал Иван Иванович. — Как мог сделать это пролетарий? Когда он заикался о свободе, в него стреляли, и он... исчезал. А я... разве я мало ходатайствовал во всех инстанциях, от участка до сената, о необходимости разрешения свободы? Я писал об этом, я говорил, я направлял молодежь на борьбу за свободу... но я всегда ей говорил — борись миролюбиво! Я, наконец, устраивал банкеты — вы помните? — публичные банкеты, на которых я вполне открыто говорил, что пора уже... и прочее! Однако — в меня никогда не стреляли, — значит, я пользовался в глазах правительства престижем и — отсюда ясно — значит, именно мой голос сделал всю эту музыку. Я вел себя всегда корректно и с полным уважением к чужому мнению. В ту пору, когда было не принято пить за конституцию, я скромно поднимал бокал свой «за нее!» — и все понимали, о ком идет речь. Но допустим, что пролетарий тоже... помог делу освобождения страны... допустим! Что же из этого следует? Может ли он воспользоваться дарами свободы? Вот вопрос!

— Вы его решили? — спросил чорт.

— Давно! — сказал Иванов, пожав плечами.

— До завоевания?..

Иванов посмотрел на чорта и не ответил на вопрос. Осмотрев свое блестящее тело, он любовно погладил его руками и продолжал:

— Пролетарий... конечно, тоже человек, но он не пользуется доверием правительства, потому что он дерзок, некультурен и не умеет уважать чужое мнение. В него попрежнему готовы стрелять, и вообще с ним неохотно разговаривают. В обществе он... непопулярен... то есть популярен с отрицательной стороны. Он ведет себя некор-

ректно: в то время, как я и моя партия просим только власти, он требует бог знает чего и даже кричит — долой... то и это и все прочее! Он устроил одну забастовку, она дала вполне осязательные результаты, прекрасно! Их используют в интересах развития общей культуры страны... чего же он хочет? Зачем еще забастовки и вся эта анархия, вызывающая общую дезорганизацию хозяйства страны? Зачем создавать излишек революции? Революция, государь мой, всегда была только «переходом власти из рук абсолютизма в руки либеральных групп общества, как истинных носителей культуры».

— Это вы уже из «Слова»? — спросил чорт.

— Для меня не важно, блондин или брюнет говорит правду! — сухо ответил Иванов.

— Значит, вы играете до 48, не более?

— Не могу же я играть в 89, согласитесь! Или в какую-то еще более крупную игру... я не мальчик! Вы рассуждаете, как социал-демократ, то есть очень несолидно. Пролетарий должен понять — если он разумное существо, — что «мы все — дети одной России». «Нужно любить всем что-нибудь одно» — вот великие слова, сказанные недавно одним моим другом на страницах «Русских ведомостей». «Нужно любить всем что-нибудь одно» — вот лозунг времени!

— Волшебное будущее! — воскликнул чорт. — Я его вижу: капиталист и рабочий, крестьянин и помещик, солдат и генерал — все «любят что-нибудь одно»!

— Не издевайтесь! — возмущаясь, сказал Иван Иванович. — Поймите — речь идет о благе родины, о спасении культуры... Мы на границе краха: промышленность погибает, фабриканты закрывают фабрики и переводят капиталы за границу. Вы понимаете? Вот что сделал этот пролетарий! Он губит страну!

— Иван Иванович! — ехидно подмигнув, перебил чорт. — А что, если пролетарий, ради спасения страны, восстановит промышленность своими средствами?

— Какие у него средства! — презрительно пожав плечами, сказал Иван Иванович.

— А представьте — что он посмотрит на господ капиталистов, которые лишили народ работы и переводят свои деньги за границу в то время, когда страна умирает

с голоду, он взглянет на них как на бунтовщиков, идущих против воли народа, а затем конфискует фабрики, объявит их собственностью нации...

-- Что-о? -- дико закричал Иван Иванович. — Это невозможно-с! Этого никогда не было... Это не будет позволено... И, наконец... кто вы такой? Как вы смеее?

Иван Иванович сжал кулаки, бросился вперед и — проснулся.

В кабинете было тихо и уютно. Он ощупал себя, вытер потное лицо и строго посмотрел в угол кабинета. Там, на белых кафлях печи, тускло блестел медный вентилятор...

О СЕРОМ

На земле спорят Красный и Черный.

Неутомимая жажда власти над людьми — вот сила Черного. Жестокий, жадный, злой, он распростер над миром свои тяжелые крылья и окутал всю землю холодными тенями страха пред ним. Он хочет, чтобы все люди служили только ему, и, поработав мир железом, золотом и ложью, он даже бога призывает только затем, чтобы бог утвердил его черную власть над людьми.

Он холодно говорит:

— Все — для меня! Я — сила, значит, я душа и разум жизни, и я владыка всех людей. Кто против этого, тот против жизни — он преступник!

Сила Красного — его горячее желание видеть жизнь свободной, разумной, красивой. Его мысль всегда горит трепетно и неустанно, освещая тьму жизни яркими огнями красоты, грозным сиянием правды, тихим светом любви. Его мысль зажгла повсюду могучее пламя свободы, и этот огонь радостно и жарко обнимает нашу темную, слепую землю великой мечтой о счастье для всех.

Он говорит:

— Все — для всех! Все равны, в сердце каждого скрыт целый мир красоты, и нельзя исказить человека, превращая его в тупое орудие бессмысленной силы. Никто не должен подчиняться, никто не имеет права подчинять, власть ради власти преступна!

В этом споре светлого рыцаря правды с черным чудовищем власти — вся жизнь, вся красота ее и муки, ее поэзия и драма.

Между Черным и Красным суетливо и робко мечется однообразный маленький Серый. Он любит только жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную, и ради этой любви треплет свою душу, как голодная уличная женщина дряблое тело свое. Он готов рабски служить всякой силе, только бы она охраняла его сытость и покой. Вся жизнь для него — зеркало, в котором он видит только себя. Он очень живуч, ибо обладает всеми талантами паразита. Ему все равно, кто дает ему есть, животное или человек, идиот или гений. Его душа — трон скользкой жабы, которую зовут пошлостью, его сердце — вместилище трусливой осторожности. Он хочет много наслаждаться и боится беспокойства — это делает его раздвоенным и фальшивым.

Если в борьбе за власть побеждает Черный — Серый осторожно подстрекает Красного:

— Смотри, как растет Реакция!

Если побеждает рыцарь свободы и правды — Серый доносит Черному:

— Берегись — развивается Анархия!

Его идол всегда один: «Порядок для меня!» — хотя бы ценой духовной смерти всей страны.

Когда он чувствует, что Черный утомлен борьбой, он вмешивается в спор Черного с Красным и всегда обманывает и того и другого. Почтительно и осторожно он говорит Черному:

— Конечно, люди — скоты, и пастух необходим для них, но мне кажется — уже пора расширить пастбище! Если к тому, чего у них нет, дать им еще немножко, — у них будет хотя и меньше того, сколько они желали, но больше, чем они имеют. Это успокоит их и обезопасит Красного, — ведь вся его сила в их недовольстве! Позвольте, я помогу вам устроить это?

Ему позволяют, и он устраивает для себя жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную.

Черный, сливаясь с Серым, становится как будто менее определенно жесток, но более глуп и пошл. Красный разгорается ярче.

Тогда Серый поучительно говорит Красному:

— Разумеется, уже пора приблизить жизнь к идеалу, но сразу невозможно удовлетворить всех! Немножко сегодня, немножко завтра, — в конце концов люди будут иметь все. Расчет — вот энтузиазм мудрого... Черный уступит, если повести дело осторожно... позвольте, я поговорю с ним по душе?

И, позволяя ему или нет, он устраивает для себя жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную.

Красный становится более тусклым, Черный шире распускает крылья своей власти, жизнь темнеет, жизнь дышит медленно, Серый наслаждается счастьем покоя. Он может предать и продать, он способен на все, но никогда не действует честно и никогда не бывает красивым.

Эта маленькая двоядушная гадина всегда занимает средину между крайностями, мешая им своекорыстной суетой своей развиться до конца, до абсурда, до идеала. Расплываясь в середине, он бездарно смешивает два основных цвета жизни в один тусклый, грязный, скучный...

Серый задерживает смерть отжившего, затрудняет рост живого, он-то и есть вечный враг всего, что ярко и смело...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. Г. г. Редактор!

Сим покорнейше прошу вас восстановить истину. Мое общественное положение и взгляды мои не позволяют мне допускать преувеличения событий, даже и в том случае, когда эти события неприятно касаются меня лично.

Ваша газета, по обыкновению, усвоенному за последнее время русской прессой, в заметке по поводу осмотра моей квартиры представителями законной власти допустила преувеличения, доходящие до явной карикатурности.

Дело происходило так: действительно, я и мои гости играли в карты, когда явилась власть, но совершенно неверно, будто бы она въехала в гостиную верхами на лошадях и закричала нам: «Сдавайтесь!» Все агенты ее были пешие, и предводитель отряда любезно, хотя и не без строгости, вполне уместной в таких случаях, предложил нам: «Прошу поднять руки вверх!»

Затем приступлено было к осмотру наших карманов, причем факт нахождения в бумажнике одного из гостей двух билетов государственной ренты вызвал на лице начальника экспедиции благосклонную улыбку, и он немедленно отдал приказание: «Этого господина донага не раздевать!»

Строгое выполнение служебного долга мне всегда приятно видеть, и я считаю долгом моим заявить, что осмотр квартиры производился в высшей степени тща-

тельно и усердно, но, несмотря на это, в квартире моей решительно ничего явно преступного не было обнаружено и ничего не пропало, если не считать, что нижние чины отряда, сидя в кухне, выпили там купленное мною для гостей пиво в количестве семи бутылок и бутылку Понте-Кане и съели, очевидно, вместе с жестянками, коробку сардин и маринованную кефаль. Подобное проявление некультурности не вызывает у меня каких-либо претензий; зная духовную неразвитость низших классов русского народа и видя крайнюю усталость нижних чинов, истомленных непрерывным исполнением долга, я не могу в данном, совершенно исключительном случае отнестись к этому нарушению права собственности так строго и нелицеприятно, как вообще следует относиться к подобному нарушению. Пора уже нам научиться приносить интересы личности в жертву интересам государства и безропотно подчиняться всему, что правительство наше предпринимает для укрепления порядка в расшатанной анархией стране.

Сообщенное в вашей газете сведение о том, что будто бы у меня исчезли кальсоны, а у одного из моих гостей шапка, — тоже неверно в отношении кальсон: я сам снял их и спрятал под кресло, где они и остались незамеченными. Сделать это побудило меня обстоятельство, о коем говорить не считаю удобным, но кое с каким-либо неблагонамеренным актом не имеет однако ничего общего. Также неверно, будто бы у меня был найден пулемет. Ящик, сначала принятый за это орудие, по рассмотрении оказался аристоном, на коем я, в доказательство его истинного назначения, и сыграл пародный наш гимн. Вообще, кроме столовых и кухонных ножей и вилок, каминных щипцов и других домашних орудий, в квартире моей ничего не обнаружено.

Каминные щипцы привлекли особенное внимание начальника отряда, из чего я заключаю, что это, видимо, человек образованный и знакомый с историей последних дней царствования блаженной памяти императора Павла.

Я тотчас же заявил предводителю экспедиции, что особенной нужды в этом инструменте не вижу и могу изъять его из употребления, на что начальник дружески ответил мне: «И благоразумно поступите». Считаю его правым,

ибо человеку нужно только необходимое, все же, что не суть необходимо, — излишне.

Вообще нахожу долгом своим заявить, что поведение представителей закона в квартире моей было вполне корректно, а их серьезное отношение к возложенным на них обязанностям доставило мне искреннее удовольствие. Сообщение же ваше о том, будто я упал в обморок при появлении их, нуждается в поправке: в обморок я упал не от испуга, как это можно понять из вашей заметки, а просто от неожиданности.

Засим не могу удержаться, чтобы не заявить вам, М. Г., что общий тон вашей заметки поразил меня. Вы, например, позволяете себе называть начальника отряда «предводителем полчищ» — считаю это дерзостью, недопустимой в столь серьезном случае и свидетельствующей о крайне легкомысленном, чтобы не сказать — вредном, образе ваших мыслей. Мы живем в такое смутное время, когда каждый, кто искренно желает блага родине нашей, сам бы должен ежедневно являться в охранное отделение для того, чтобы подвергнуть себя осмотру со стороны благонадежности. Издеваться же над действиями агентов законной власти, столь усердно водворяющих всюду упокоение, — могут только люди, явно враждебные законности.

Статский советник

Антином Исходящий, член п. п. п.

С.-Петербург

Января 3-го 1906 г.

МУДРЕЦ

Был мудрец.

Он понял печальную тайну жизни, тайна наполнила сердце его темным трепетом ужаса, и во мраке ее грустно погасли улыбки земли, тихо умерли радости. Холодным оком разума своего он смотрел в глубь времен и видел там тьму; будущее было ясно для него — там была тьма. Он ходил по дорогам родины своей, по улицам городов и по селам ее, он ходил, печально помавая одинокой, мудрой головой, и звучала в пестром шуме жизни его проповедь, как печальный звон похоронного колокола.

— Люди! Вы живете между тьмою и тьмой. Из пропасти неведения вышли вы, в тумане неведения трепещет жизнь ваша, ледяная тьма неведения ждет вас впереди...

Люди слушали грустную речь его, понимали горькую правду ее и вздыхали, молча глядя в очи мудреца.

Но, проводив его в одинокий путь мудрого, они шли к работам своим и на пиршества свои, ели хлеб свой, пили веселое вино свое и, со смехом любуясь играми детей, забывали о нуждах своих и о горе, изведанном ими вчера.

Боролись друг с другом за власть и богатства, умиленно слушали проповедь любви, руками в крови ближнего своего ласкали милых сердцу красавиц и устами предателей целовали друзей своих. Воровали друг у друга имущество и, обогатившись кражами, горячо защищали собственность, бессовестно лгали друг другу, и все говорили, что лишь правда должна быть царицею жизни, а некоторые даже верили в благодетельную силу правды и страдали за веру свою. Любили они музыку и счастливо

плакали под звуки ее, восхищались красотой, а вокруг себя допускали безобразное, совершали отвратительное. Порабощали они друг друга и говорили, что жаждут свободы, презирали подчинявшихся власти их и тайно, трусливо, как хитрые звери, ненавидели владык своих. И всегда, желая лучшего, тревожно искали его вокруг себя, но в себе не умели создать это лучшее, поглощенные мелочными заботами об удобствах жизни своей, истощая свой ум во вражде и во лжи, в грубых хитростях ради торжества ненасытной своей жадности ко благам земли.

Так, подобно грязным свиньям, жили эти забавные чудаки и считали себя падшими ангелами. И была их жизнь как вулкан грязный, вулкан неистощимый, изрыгавший в светлую пустыню небес смрадный пар стонов и воплей, липкий пепел страданий и горя, вонючую грязь вождений звериных...

Одиноким мудрец, тихо шествуя сквозь суету земли, говорил голосом всеведения:

— Что есть жизнь? Вы не знаете. Что — истина? Вы не скажете. И зачем вы? Неизвестно вам. Вот в чем ваше несчастье!..

И, видя, как влюбленный обнимает возлюбленную свою, говорил им печально:

— Смерть ждет вас и погостство ваше...

И, видя, как люди строили роскошные жилища себе, говорил, укоряя:

— Все сие — в жертву гибели...

И, видя детей играющими на лугу среди цветов, подобных им, вздыхал и говорил в сердце своем:

«Жатву смерти видят очи мои...»

И, если некто из мудрецов жизни, чуждых душе познавшего темную мудрость смерти, поучал юношество в храме науки своей чудным тайнам ее, он говорил, усмехаясь.

— Ограниченность — имя мудрости твоей! Ибо погибнет земля, и все храмы ее, и науки ее, и правда и ложь их, и неведом тебе день и час гибели твоей...

Но однажды, на окраине шумного города, в темной, узкой улице грязи и нищеты, в смрадном тумане запахов гниения, мудрец увидел тесную толпу работников; один

из них говорил им речь, и удивился мудрец вниманию слушателей, — никогда люди не слушали его проповедь с такой жадностью. И острый укол зависти коснулся сердца мудреца.

— Товарищи! — говорил оратор работникам. — Мы лежим в грязи труда нашего, подобно камням на дне реки, а над нами быстро катятся волны жизни владык наших. Мы для них — как ступени, и по нашим телам они поднимаются вверх, на высоту истины, и оттуда обращают силу разума своего против нас, дабы и еще поработить души наши... Они всё знают, — мы — ничего, они — живут, мы — еще не жили, им ведома вся мудрость, нам — только сказки; все светлое в их руках, в наших — ничего, и даже, даже хлеба мало, чтобы сытыми жили мы. Поработили они нас и пресытились, и вот уже скоро голод наш победит пресыщенных, ибо бессилен дух их, тогда как мы жизнь духа живы и сильны. Мы хотим жить, мы хотим знать, мы хотим быть людьми. Мы хотим насытить алчущий дух наш всею мудростью земли, созданной на твердых терпения нашего, мы хотим всего, что уже есть, мы хотим создать то, чего нет еще!

— Человек! — сказал мудрец, снисходительно усмехаясь. — Заблуждение — имя слов твоих. Ограничено познание людей, и не будут они знать более, чем могут. И не все ли равно тебе, как погибнешь ты, — голодный или же пресыщенный, подобно тем, против которых ты направляешь столь слабое жало мудрости твоей? И не все ли равно, невеждой ляжешь ты в гроб твой или оденешься в холодный саван жалких учений владык твоих? Подумай, — все на земле и сама земля будет ввергнута в черную пропасть забвения, в бездонную пучину смерти...

Работники молча смотрели в очи его и недвижно слушали мудрую речь, и, чем больше говорил он, тем сильнее одевались лица их суровым холодом. Потом один из них сказал товарищу:

— Матвей! У меня рука болит, — дай ты в шею этой старой обезьяне...

Вот и все.

...Да, конечно, я согласен, он несколько грубоват, этот рабочий народ, но разве он виновен в этом? Ведь его никто и никогда не учил хорошим манерам.

ПРАВИЛА И ИЗРЕЧЕНИЯ

Если ты пойдешь в Думу Государственную, помни, сидя там, что ты сидишь в кресле, которое стоит пятьдесят семь рублей, а потому — води себя сообразно особенностям седалища твоего.

Сколь туго ни застегивай штаны твои — все едино: начальство выпорот тебя, если пожелает того.

ИЗРЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

Жаждешь свободы? Иди служить в полицию.

Жаждешь абсолютной свободы? Поступи в агенты охранного отделения. Очень просто.

Будь милосерден — не убивай и блоху, раньше чем поймаешь ее.

Не всякий лысый брюнетом был. Это особенно нужно помнить теперь, когда многие считают себя героями только потому, что их казак нагайкой отхлестал.

Хотя у верблюда и длинная шея, однако не решайся утверждать, что верблюд подобен лебедю. Также и о генералах, ныне занятых упокоением страны: некоторые из них человекообразны, но как докажешь ты, что они не суть звери?

Самолюбие твое, подобно мозоли твоей, вызвано давлением извне, — знай это!

Земля — это сердце Вселенной, искусство — сердце земли.

СОБАКА

...Сизые сумерки прозрачно окутали поле, от земли, согретою за день солнцем, поднимался душный, теплый запах. Медленно всходила красная, угрюмая луна, темная туча, формой подобная рыбе, неподвижно стояла на горизонте, разрезая диск луны, и луна казалась чашей, полной крови.

Я шел полем в маленький, сонный город и смотрел, как угасал блеск крестов на церквах; встречу мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень, а по темной, пыльной дороге бежала собака. Опустив хвост, высунув язык и качая головой, она, не торопясь, шла прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала шерсть, свалившуюся в клочья. В ее неспешной походке было что-то серьезное, озабоченное, и вся она — жалкая, голодная, — казалось мне, решила что-то твердо и навсегда. Тихо свистнув ей, я позвал ее. Она вздрогнула, села, подняла голову, глаза ее враждебно сверкнули, и, оскалив зубы, она зарычала на меня. А когда я шагнул к ней, она тяжело встала на ноги, сухо сверкая глазами, хрипло залаяла и, круто свернув с дороги в поле, снова пошла, оглядываясь на меня и поводя хвостом, усеянным репьями. Я смотрел вслед ей — она одиноко шла полем в тишину сумеречной дали прямо на холодный и зловещий, красный диск луны.

Дня через два или три я снова увидел ее. Она лежала под кустом на краю оврага, над нею жадно кружились

большие, черные мухи, они ползали по ее мертвым глазам, влезали и в открытую пасть, жужжали и бились в ее шерсти. Вытянув шею, она оскалила желтые зубы, и тусклый, сухой глаз ее неподвижно смотрел в сторону города. В небе рассеянно плавали белые клочья облаков, играя в лучах солнца, по земле скользили мелкие тени, и это было похоже на безмолвную беседу неба и земли. Порою тень покрывала труп собаки, и тогда строгий глаз ее, смотревший в даль, на город, где жили люди, становился темнее...

Я сказал мертвому псу:

— Хвала тебе! Ты жил с людьми и ушел от них, чтобы умереть в одиночестве. Ты не хотел оскорбить людей зрением твоего разрушения при жизни, ты был горд и не допустил, чтобы тебя, веселого, доброго пса, они видели старым, больным, трусливым дармоедом, который живет воспоминаниями о прошлом и питается обидной жалостью людей. Хвала тебе за то, что ты не опоганил жизни хриплым, лживым лаем старческого самолюбия, глупой воркотней бессильной злобы животного, издыхающего от немощей старчества! Хвала тебе!

Истинно мудрый умирает во-время... Хвала тебе, собака, ибо ты узнала время смерти своей и молча ушла прочь от жизни. Хвала тебе!

Как хотел бы я сказать эту похвалу множеству полумертвых людей, которые отравляют жизнь нашу циничным запахом гниения своего, как хотел бы я, чтоб они взяли в пример тебя, славная собака!

Они давно уже носят смерть в сердцах своих, но всё еще стонут, всё еще говорят, изливая на головы наши смрадный гной мертвых душ...

Хвала тебе, собака!

АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ

Человек, который считает свою зубную боль несчастьем всего мира, — явно склонен преувеличивать события.

Будучи подлецом, — не воображай, что это оригинально.

Речи правителей о желаниях народа подобны рассказам глухонемого о музыке.

Пли! И благо ти будет, но долголетен ли будеши на земле — кто скажет?

Если на похоронах играет музыка, — не думай, что покойник был отчаянный весельчак и умер с удовольствием; ты можешь ошибиться.

СТАРИК

Миниатюра

...Люди окружили Жизнь тесной толпой, как грязные нищие богатую купчиху на паперти храма, стонали, жаловались и злобно плакали, прося милостыню внимания к себе, болезненно изрыгали хулу друг на друга и на Жизнь, ползая у ног ее в судорогах жадности своей, в гнусном бешенстве нищенских желаний.

Извиваясь и прыгая, точно скользкие серые жабы и холодные змеи, лишенные яда по слабости своей, они были воем безумия и, ослепленные мелкою пылью желаний своих, не видели солнечного лица Жизни, а оно, источая радужное сияние, наклонилось над ними с мудрой улыбкой, и молчала Жизнь, терпеливо слушая отвратительную музыку стонов и жалоб.

— Ты однообразна, ты бедна! — скучно злясь, говорил ей пресыщенный. — Я был всюду на земле, все изведаль — видел все развалины прошлого, знаю тревоги и надежды настоящего — что мне будущее? Я думал, неисчислимы дары твои, неисчерпаемо щедра рука твоя, и вот уже нет на земле ничего, что желал бы я видеть, что хотел бы иметь. Дай мне еще желаний, укажи возможности, чтобы я захотел достижений, чтобы вновь ожила душа моя многими жаждами! Укажи мне новое, поведи любопытство мое к неизвестному, если безгранично содержимое твое, как это казалось мне в юности. Но ты вся исчерпана мною. Ты — бедна, ты — нищая!..

Раб умолял ее:

— Сделай так, чтобы сильные не попирали волю мою тяжелыми ногами своими, если ты справедлива! Я истощен трудом невольника, я не имею хлеба, сколько нужно мне, умирают от голода дети мои, и нет ни у кого жалости ко мне. Внуши сильным чувство жалости к слабому, пощади угнетенного, если ты справедлива!

— Зачем ты существуешь? — спрашивал мудрец. — Какой смысл заключен в пестром хаосе игры твоей? Чего ради мучаются все эти люди? Отвечай, если ты разумна!

— Ты воплощение не разума, а безумия! — вторил мудрецу поэт. — Как дитя — игрушки, надоевшие ему, ты легкомысленно разрушаешь с трудом созданное людьми, о, жалкая раба времени! Ты грубо издеваешься над лучшим из чувств человека, над любовью, которой обязана ты существованием своим, жалкое создание насмешливого дьявола!

— Ты обманула меня! — обиженно гнусавил беззубый, лысый человек с провалившимся носом на желтом лице. — Я был юн, всеми силами сердца я любил тебя, всю мощь юности посвятил я любви к женщине, лучшему из воплощений твоих! Но на дно чаши наслаждения ты положила гнусный яд болезни и разрушила сильное тело мое, ограбила ты меня, как разбойник прохожего! Отдай мне здоровье, чудовище, исказившее лицо мое!..

— Укажи мне место на лоне твоём! — горестно зывал неудачник. — Я хотел быть пахарем на нивах твоих и не имею сил для этого, я хотел быть проводником разума, но не знаю — где истина и что могу проповедовать, не вводя людей в заблуждение? И хотел я изображать красками многообразное лицо твое, но не имею таланта, хотел вести летопись деяний твоих — и нет во мне способности к этому! О, зачем ты создала меня с короткими пальцами — музыкантом хочу я быть! Что же делать мне? Научи, если ты мудрая!..

— Почему ты слеп? — спрашивал слепой, судорожно искривив мертвое лицо свое. — Зачем ты слепым создала меня?

И даже глухонемые что-то мычали, быстро двигая пальцами, только дети и пьяные были веселы.

— Гони их прочь! Всех — прочь! — пошатываясь, кричал один пьяный. — Такая дрянь... шумят, шумят... Кто напоит человека вином, если он сам не напьется?

Он засмеялся и ушел.

Женщины, озлобленные горем пола своего, раздраженные несчастьями материнства, разбитые ударами любви своей, женщины голодные — проклинали и плакали в пламенном отчаянии, в диком возбуждении злобы своей.

И множество людей убивали себя: одни — чтобы бросить труп свой на пути тех, кто отказал им в любви, другие — чтобы погасить тление страха пред жизнью в груди своих, все — потому, что сознали ничтожество свое, и только некоторые — из гордости, но смерть последних проходила не замеченной никем...

Точно стая бесноватых мух, кружились они в пляске злобного раздражения, растравляя боль и раны друг друга едкою горечью жалоб своих. И звучал в хоре стонов истощения, в диких воплях больной жадности беззаботный смех детей, как журчание отдаленного источника, приносившего в жертву Жизни милый смех радостного опьянения силами ее.

Сквозь этот рой одиноко шел старик, направляя медленный шаг свой к солнцу, нисходящему с небес, обливая темные одежды земли багряными потоками прощальных лучей. Он шел спокойно, молча, и шум вокруг не будил его внимания; поглощенный великолепною игрою огненных красок на небе вечера, он смотрел вперед, и глаза его мягко улыбались.

— Старик! — закричали ему. — Скажи и ты твои жалобы...

Он, отрицая, качнул головой.

— Не имею я жалоб в сердце моем! — сказал он. — Был я всегда другом Жизни и другом ее ухожу к закату дня моего. Я черпал полными пригоршнями из океана щедрот ее, и душа моя полна любви к ней, доброй подруге дня моего. Красив и богат был день мой, как игра солнца на вершинах снежных гор или звездное небо в теплую ночь лета. Я любил, и не раз, и не однажды было тяжело

ранено сердце мое, но и страданиями горжусь, ибо искренни и чисты были они, не увеличивал я стонами силу их и злобою на источник боли моей — не уменьшал. Во дни скорби — женщины были сестрами милосердия мне, в годы любви — матерями лучших чувств моих.

Наслаждался я простором степен, и теснота тюрем не мешала свободе духа моего: одиночество — польза человеку, оно укрепляет душу сильного. Был я мятежен, радостно и гневно боролся против злобных, побеждал — и ликовала душа моя, поражен был — и не отчаивался, ибо вера в победу правды крепла во мне и острые зубы несчастий моих не могли сокрушить крепости ее. Я понял, что неверие — только незнание, старался познавать и — нашел в познании неугасимый огонь веры!

Я люблю все цветы и все краски земли, и человек, лучшее ее, во все дни мои был для меня чудеснейшей из загадок, и любоваться им не устал я! О нет, не устал!

Видел я темное в нем — и болела душа моя гневом и горечью, видел светлое — и радовался. Я боролся с ним, видя злое в нем, и негодовал на неразумие его, но и в гневе не терял уважения к нему! И никогда не искал я внимания людей ко мне, ибо не то ценно, что мне дадут, но только то, что я могу дать, и неважно, что скажут обо мне, но — что я подумаю о человеке. Я жил один, жил внутри себя: то, что всем было нужно от души моей, я всем отдавал искренно; то, что только мне было нужно, — я хранил глубоко в сердце моем, не отягощая внимания близких моих бесплодной скорбью духа моего в часы уныния и усталости.

И не делился я с людьми слезами и стонами, но всегда отдавал им все богатства смеха и радостей моих. Раны сердца моего не болели долго: я не растревлял их, не подавлял разума моего, ибо знаю я — человек рождается с болью и кровью для матери своей, а душа моя была матерью и восприимницей всех явлений жизни.

И еще знаю я: все, что есть безобразного, издохнет, подобно псу прокаженному, издыхает уже, как бесполезное для людей. Все более ясна на земле бесполезность

отвратительного, и всем становится видимо излишество безобразного...

Я взял все, что мог, от Жизни, и еще возьму из щедрот ее, ибо еще не угас день, хотя круто наклонился к закату путь мой. Но и во тьму забвения, в глубину вечного молчания я сойду с бодрой улыбкой благодарности, как нисходит в ночь светило это, излившее за день на грудь земли все лучи свои, все силы и радости. Я жил прекрасно, я нашел свой путь, и некого мне благодарить за это. Прощайте!

Он спокойно пошел к закату дня своего.

А дети, смеясь и играя, побежали за ним.

ПРИМЕЧАНИЯ

В пятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1900—1906 гг. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Трое», «Песня о Буревестнике», «Злодеи», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Девочка», «А. П. Чехов», «Букоёмов, Карп Иванович». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 гг.

Остальные шестнадцать произведений пятого тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в газетах, журналах, сборниках, нелегальных революционных изданиях 900-х годов, М. Горький повторно не редактировал. Не законченное М. Горьким произведение «Публика» полностью печатается впервые.

ТРОЕ

Впервые напечатано не полностью в журнале «Жизнь», 1900, книги XI и XII, ноябрь, декабрь; 1901, книги I—IV, январь — апрель. Журнальный текст обрывался на эпизоде посещения Луневым кладбища (кончая словами: «...он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей...») и был разделен на шесть глав. Конец повести опубликован не был в связи с запрещением журнала. Полностью (без деления на главы) повесть впервые напечатана в собрании сочинений: «М. Горький, Рассказы», том пятый, издание товарищества «Знание», СПб, 1901.

Повесть «Трое» написана М. Горьким во второй половине 1900 — январе 1901 года.

В журнале «Жизнь», постоянным сотрудником которого был М. Горький, помещал свои произведения В. И. Ленин. В 1899 году здесь была напечатана его статья «Ответ г. П. Нежданову», в 1900 году — «Капитализм в сельском хозяйстве».

8 июня 1901 года министр внутренних дел представил совещанию четырех министров доклад о журнале «Жизнь» с требованием его закрытия. Одним из оснований для этого он считал публикацию повести «Трое». По этому докладу 8 июня 1901 года состоялось решение совещания о закрытии журнала.

Пятый том «Рассказов» М. Горького, содержащий первую полную публикацию «Троих» и «Песню о Буревестнике», упомянут В. И. Лениным в письме из Мюнхена от 26 февраля 1902 года к М. И. Ульяновой: «Горького 5-й том у нас уже (случайно) имеется». Возможно, этот том имеет в виду В. И. Ленин в письме из Лондона от 7 июня 1902 года к М. И. Ульяновой: «Горького, Скитальца получил и читал с очень большим интересом. И сам читал и

другим давал» (В. И. Ленин, Письма к родным. Партиздат, 1934, стр. 279, 284).

Зимой 1901—1902 годов М. Горький заново отредактировал повесть «Трое» для второго издания. В связи с этим он тогда же писал К. П. Пятницкому: «Сейчас прочитал «Трое». Знаете — это хорошая книга, несмотря на длинноты, повторения и множество других недостатков, хорошая книга! Читая ее, я с грустью думал, что если бы такую книгу я мог прочесть пятнадцать лет тому назад — это избавило бы меня от многих мучений мысли, столь же тяжелых, сколько излишних. А теперь я думаю: если б можно было продавать эту книгу по гривеннику!» (Архив А. М. Горького.)

В январе 1902 года М. Горький писал К. П. Пятницкому о том, что он с увлечением работает над редактированием своих произведений, называя эту работу проверкой самого себя. М. Горький сообщал при этом, что он сильно сокращает текст повести «Трое» и хочет усилить положительные стороны образа Павла Грачева, включив в речи этого героя несколько стихотворений.

Повесть «Трое» снова редактировалась М. Горьким в 1922 году, при подготовке собрания сочинений в издании «Книга».

В результате обоих редактирований текст повести сокращен почти на одну четверть.

Предложение «Гости замолчали» на стр. 278, вычеркнутое М. Горьким при подготовке текста для собрания сочинений в издании «Книга», восстановлено и взято в скобки редакцией. Его исключение нарушает связность повествования.

Повесть входила во все собрания сочинений писателя.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ПУБЛИКА

Полностью публикуется впервые, по черновым рукописям. Рассказы второй и пятый были переработаны автором и напечатаны в 1905 году как самостоятельные произведения под заглавиями: «Девочка» и «Рассказ Филиппа Васильевича». Рассказы третий, четвертый и шестой были впервые напечатаны после смерти автора в журнале «Октябрь», 1937, № 6, июнь. Там же частично был приведен и рассказ, служащий обрамлением для остальных. Кроме публикуемых рассказов, сохранился черновик еще одного рассказа, который должен был войти в этот же цикл, — о юном

борце за свободу. Однако этот замысел автора остался незавершенным.

Над циклом рассказов «Публика» М. Горький работал, повидимому, в 1899—1900 гг.

Заключенное в скобки на стр. 304 слово «слезы» — в рукописи зачеркнуто автором и ничем не заменено.

О ПИСАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАЗНАЛСЯ

Впервые напечатано литографским способом в марте 1901 года в Москве. Неоднократно перепечатывалось революционными кружками в различных нелегальных изданиях. Первый, отпечатанный типографским способом, текст появился в газете «Русский Туркестан», 1901, № 211, 31 октября, и № 215, 4 ноября. Редакция газеты поместила следующее примечание к рассказу, явно рассчитанное на то, чтобы ввести в заблуждение цензуру:

«Настоящая фантазия перепечатывается нами с личного разрешения автора.

Эта фантазия является ответом Горького на ту массу газетных толков, которые вызваны были случаем с ним в одном из московских театров. М. Горький вместе с А. Чеховым посетил театр. Их появление было встречено публикой шумными рукоплесканиями, но слишком откровенное внимание толпы показалось Горькому назойливым любопытством, и он не скрыл неприятного впечатления и выразил это, по-русски, просто и энергично».

С 1902 года произведение неоднократно перепечатывалось за границей в сборниках запрещенных произведений М. Горького. Во всех этих сборниках была допущена перестановка отдельных частей рассказа, в известной степени искажавшая смысл произведения.

Рассказ «О писателе, который зазнался» написан М. Горьким осенью 1900 года. 26 ноября 1900 года писатель сообщал о нем В. Брюсову как о произведении законченном. О том же свидетельствует и письмо В. Поссе, посланное им М. Горькому из Петербурга 21 ноября 1900 года. (Архив А. М. Горького.)

Горьковское выражение «писатель, который зазнался» использовано В. И. Лениным в его книге «Что делать?» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 5, стр. 334.)

В начале двадцатых годов, предполагая выпустить свои публицистические произведения в издании «Книга», М. Горький правил текст рассказа «О писателе, который зазнался» по машинописной

копии с текста книги «М. Горький. Запрещенное», изд. Гуго Штейнница. На первом листе машинописной копии имеется надпись М. Горького: «Прочитано на банкете, устроенном нижегородской публикой в 900 году, когда автора выслали из Нижнего». Год здесь указан ошибочно. Рассказ был прочитан М. Горьким не в 1900 году, а в ноябре 1901 года. Приказ о высылке из Нижнего-Новгорода в Арзамас, под надзор полиции, был объявлен М. Горькому 21 сентября 1901 года.

6 ноября этого года нижегородская интеллигенция устроила в честь писателя прощальный обед-банкет, на котором М. Горький прочел рассказ «О писателе, который зазнался». Ленинская «Искра» писала об этом банкете: «7 ноября из Нижнего уезжал в Крым М. Горький, и его отъезд взбаламутил наше мирное болотце, и, видимо, уже надолго. Местная либеральная интеллигенция, присяжные поверенные, доктора и проч. решили устроить Горькому прощальный обед и поднести ему адрес. Молодежь, с своей стороны, тоже решила участвовать в этом «банкете» и воспользоваться этим случаем, чтобы раз навсегда указать этой буржуазной интеллигенции, что между ней (буржуазной интеллигенцией) и людьми, хоть сколько-нибудь желающими активно проявить свой протест против существующего строя, нет ничего общего. На «банкете» присутствовало человек 150. Адрес интеллигенции, написанный на изящном свитке, в пышных и туманных фразах восхвалял Горького, воспевавшего «безумство храбрых». От молодежи был прочитан адрес следующего содержания: «...Исторические условия и недавние свежие факты резко и определенно выставили задачей нашего времени: борьбу за свободу, и мы, высоко ставя Ваш огромный художественный талант, больше всего ценим Вас за идеи, красной нитью проходящие через все Ваши произведения: мощное прославление свободной, смелой личности, отрицающей все условности, стесняющие ее развитие, могучий призыв к открытой и смелой борьбе за свободу. Но и это прославление и этот призыв привлекают нас не столько красотой формы, сколько ясностью и определенностью, которые не допускают никаких колебаний и которые кажутся нам так необходимыми. Ваше могучее слово особенно нужно теперь, когда человеческая личность все более и более подавляется растущей наглостью темных сил, когда реакция все усиливается, когда открытая борьба и смелость становятся необходимыми. Да! в наше время странно восхищаться Вашими идеями и проповедовать «благо-разумие и постепенность», непоследовательно отзываться на Ваш призыв «к свободе и к свету» и оставаться в бездействии тогда,

когда сажают по тюрьмам всех, кто не мирится с гнетом и протестует против тьмы...»

...Горький, с своей стороны, высказал свое отношение к либеральной интеллигенции, а отчасти и к радикальной молодежи, прочтя свое произведение «О писателе, который зазнался», где клеймил холопство, трусость, полнейшее отсутствие активности, господствующее в современном обществе.

На этом же «банкете» молодежью было решено устроить по поводу отъезда Горького демонстрацию (о ней см. корресп. в № 13 «Искры»). («Искра», 1902, № 15, 15 января.)

7 ноября М. Горький выехал из Нижнего-Новгорода в Крым. Революционная молодежь и рабочие, провожая своего любимого писателя, устроили на вокзале, а затем и в городе демонстрацию протеста против произвола властей, о которой В. И. Ленин писал в статье «Начало демонстраций»:

«В Нижнем небольшая, но удачно сошедшая демонстрация 7-го ноября была вызвана проводами Максима Горького. Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло — как справедливо выразился оратор нижегородской демонстрации — в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города. Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас, — говорил оратор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления к свету и свободе, — а мы заявляем, что это было хорошее влияние. Опричники бесчинствуют тайно, а мы сделаем их бесчинства публичными и открытыми. У нас быют рабочих, отстаивающих свои права на лучшую жизнь, у нас быют студентов, протестующих против произвола, у нас давят всякое честное и смелое слово! — Демонстрация, в которой участвовали и рабочие, закончилась торжественной декламацией студента: «падет произвол, и восстанет народ, могучий, свободный и сильный!»

В Москве Горького ждали на вокзале сотни учащихся, и перепуганная полиция *арестовала* его среди пути в вагоне, запретила ему (несмотря на особо данное прежде разрешение) въезд в Москву и заставила прямо проехать с Нижегородской дороги на Курскую». (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 5, стр. 295—296.)

Рассказ «О писателе, который зазнался» в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту газеты «Русский Туркестан» с учетом всех поправок и изменений, внесенных в рассказ М. Горьким при подготовке его для собрания сочинений в издании «Книга».

ПЕСНЯ О СЛЕПЫХ

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 1, январь, в серии «Рассказы из жизни на окраинах города». Продолжения серии не последовало.

В 1903 году М. Горький предполагал включить рассказ в седьмой том своих «Рассказов» в издании товарищества «Знание». «Затем, — писал он в начале октября 1903 года К. П. Пятницкому, — мы сможем выпустить том 7-й. Для него есть «Погром», «Песня о слепых», «В сочельник». (Архив А. М. Горького.) Однако рассказ в седьмой том включен не был и при жизни автора не переиздавался.

Печатается по тексту «Журнала для всех».

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

Фантазия

Произведение написано М. Горьким в марте 1901 года и тогда же направлено им в редакцию журнала «Жизнь» для напечатания в апрельском номере. Царская цензура запретила печатание рассказа, дав, очевидно, по недосмотру, разрешение лишь на опубликование «Песни о Буревестнике», которой заканчиваются «Весенние мелодии». «В апрельской книжке «Жизни», — доносил один из жандармов своему начальству, — предназначался к напечатанию рассказ Пешкова «Весна» («Весенние мелодии». — *Ред.*), в коем характеризуется современный момент, — момент возрождения сознания в обществе. Действие происходит в пернатом царстве, которое разделяется как бы на два поколения, одно — консервативное, старое, а другое — молодое, стремящееся к свободе. Представитель молодого поколения — чиж — поет крайне возбуждающую песнь «О Буревестнике». Самый рассказ был запрещен цензурой, но отдельно «Песнь о Буревестнике» напечатана в апрельском номере текущего года журнала «Жизнь». (Сб. «Революционный путь Горького», Центрархив, М. — Л., 1933, стр. 49—50.)

Вплоть до Октябрьской революции «Весенние мелодии» находились под цензурным запретом и распространялись среди читателей в нелегальных изданиях, чему содействовал и сам автор. 15 июля 1931 года М. Горький писал по поводу фантазии «Весенние мелодии» Нижне-Волжскому архивному управлению: «...черновик ее был передан мною кружку московских студентов, высланных в Н.-Новгород, они и занимались размножением и распространением ее». (Сб. «Алексей Максимович Горький. Статьи и документы», Саратов, 1937, стр. 20.)

Одно из ранних гектографированных изданий произведения заканчивалось следующим примечанием: «От редакции. Предлагая читателям последнее произведение М. Горького, редакция имела целью познакомить русскую публику с «Весенними мелодиями» в полном виде, так как в печати имеется только отрывок этой фантазии, напечатанный «по недосмотру отечественной цензуры» в журнале «Жизнь» за 1901 год. При полном отсутствии в России свободы слова даже такая грациозная вещь, милая шутка, как «Весенние мелодии», в глазах аргусов-цензоров является чем-то «зловредным» и «потрясающим» устои; наша цель — борьба с давящим гнетом цензуры, и страстное желание наше — это знакомить сограждан со всем тем светлым, молодым и сильным, что правительственный карандаш вымарывает, как якобы опасное и вредное, заражающее «ядом свободы» умы русских рабов».

В 1931 году Нижне-Волжский краевой архив снял машинописную копию с гектографированного московского издания «Весенних мелодий», 1901, и послал ее на просмотр М. Горькому, прося разрешения на опубликование. Писатель внес в присланный ему текст ряд важных поправок и добавлений, сообщив Н.-Волжскому архивному управлению следующее: «Рукопись переписана небрежно, текст ее — плохо помню, а насколько мог вспомнить — кое-что исправил». (Сб. «Алексей Максимович Горький. Статьи и документы», Саратов, 1937, стр. 20.)

В собрания сочинений произведение не включалось.

Печатается по тексту гранок набора для предполагавшегося издания в журнале «Жизнь», сверенному с рукописью 1901 года, с учетом всех изменений и добавлений, внесенных писателем в машинописную копию произведения в 1931 году. (Все указанные тексты находятся в Архиве А. М. Горького.)

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1901, книга четвертая, апрель.

Как уже указывалось выше, песня является заключительной частью «Весенних мелодий». В самостоятельное произведение она была превращена М. Горьким после запрещения царской цензурой остальной части «Весенних мелодий».

«Песня о Буревестнике» создана М. Горьким в марте 1901 года в Нижнем-Новгороде, после возвращения из поездки в Петербург и Москву. «Буревестник», — писал М. Горький 28 марта 1923 года

редакции газеты «Известия», — написан мною в Нижнем и был послан в «Жизнь» почтой». (Архив А. М. Горького.)

Выписав полностью текст «Песни о Буревестнике» из журнала «Жизнь», царский цензор доносил: «Означенное стихотворение произвело сильное впечатление в литературных кружках известного направления, причем самого Горького стали называть не только «буревестником», но и «*буреглашатаем*», так как он не только возвещает о грядущей буре, но *зовет бурю за собою*. (Сб. «Революционный путь Горького», Центрархив, М. — Л., 1933, стр. 50—51.)

Старый большевик Ем. Ярославский в статье «Путь пролетарского писателя в подполье» вспоминал о первых годах двадцатого века:

«Появляется рассказ Горького «Весна» («Весенние мелодии». — *Ред.*), который печатался и переписывался от руки; но особенно большое значение имел «Буревестник» Горького — эта боевая песня революции. Вряд ли в нашей литературе можно найти произведение, которое выдержало бы столько изданий, как «Буревестник» Горького. Его перепечатывали в каждом городе, он распространялся в экземплярах, отпечатанных на гектографе и на пишущей машинке, его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж «Буревестника» в те годы равнялся нескольким миллионам... Нет никакого сомнения в том, что... воззвания Горького и его пламенные боевые песни — «Буревестник», его «Песнь о Соколе» — имели не меньшее революционное воздействие на массы, чем прокламации отдельных революционных комитетов партийной организации; да и сами партийные организации нередко издавали горьковские воззвания и распространяли их широко в массах». (Сб. «Революционный путь Горького», Центрархив, М. — Л., 1933, стр. 8—10.)

«Песня о Буревестнике» принадлежала к числу любимых В. И. Лениным произведений М. Горького. «Владимир Ильич, — рассказывала Н. К. Крупская, — очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя. Особенно нравились ему «Мать», статьи в «Новой жизни» о мещанстве, — сам Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство, — нравилось «На дне», нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой, любил он такие вещи Горького, как «Страсти-мордасти», как «Двадцать шесть и одна». (Н. К. Крупская, Ленин и Горький. «Комсомольская правда», 1932, № 222, 25 сентября.)

Художественные образы «Песни о Буревестнике» неоднократно использовались В. И. Лениным и другими руководителями большевистской партии в борьбе за социалистическую революцию.

В 1906 году, в статье «Перед бурей», В. И. Ленин писал:

«Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной того же героизма массы, которым ознаменованы все великие этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы погрозить правительству, пусть эти ограниченные мешане всю силу «ума и чувства» вкладывают в ожидание новых выборов, — пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут тело жирное в утесах».

«Пусть сильнее грянет буря!» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 11, стр. 117.)

В. М. Молотов в прощальной речи на Красной площади 20 июня 1936 года говорил: «Своими особыми путями пришел великий художник Максим Горький в ряды бойцов за коммунизм. Вошел он в наши ряды еще до революционного подъема 1905 года, но уже с развернутым знаменем буревого революционера». («Правда», 1936, № 169, 21 июня.)

М. И. Калинин назвал горьковского «Буревестника» предвестником 1905 года. (Сб. «М. И. Калинин о литературе», Л. 1949, стр. 153—154.)

В статье «К шестидесятилетию со дня рождения товарища Сталина» М. И. Калинин писал: «1900—1901 годы были годами дальнейшего подъема революционного движения по всей России. В обществе чувствовалась энергия к борьбе. «Буревестник» Горького как бы обобщил настроение, желание бороться с самодержавием, с его порядками». (Там же, стр. 158.)

В статье «Славный путь комсомола» (1938) М. И. Калинин указывал:

«С конца девяностых годов значительно усилилось революционное движение как в столицах, так и в провинции... Рабочее движение вышло на широкую арену политической борьбы, захватило и увлекло за собой огромные массы народа, что великолепно выразил Горький в своем «Буревестнике». (Там же, стр. 160.)

На собрании актива днепропетровского комсомола М. И. Калинин говорил:

«Я очень советую комсомольцам, нашей молодежи прочесть «Буревестник» Горького. Там прекрасно передано революционное стремление передовых людей старой России». (Там же, стр. 158.)

В годы героической борьбы русского народа с самодержавием «Песня о Буревестнике» была одним из могучих средств революционной пропаганды.

«Песня о Буревестнике» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ПОГРОМ

Впервые напечатано в литературно-художественном сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», СПб, 1901.

В 1903 году М. Горький предполагал включить рассказ в седьмой том «Рассказов» в издании товарищества «Знание». (См. примечания к рассказу «Песня о слепых».) Однако рассказ в седьмой том включен не был.

В 1935 году М. Горький заново отредактировал рассказ для журнала «Колхозник», внося в него ряд существенных поправок и изменений: сильно сокращен конец рассказа, дописана заключительная фраза и др. В новой редакции произведение было напечатано в шестом номере журнала «Колхозник», 1935, июнь.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту журнала «Колхозник», сверенному с хранящейся в Архиве А. М. Горького машинописной копией рассказа, исправленной рукой писателя в 1935 году.

ЗЛОДЕИ

Впервые напечатано одновременно в газете «Нижегородский листок», 1901, № 311, 13 ноября; № 313, 15 ноября; № 316, 18 ноября; № 318, 20 ноября, и в газете «Курьер», 1901, № 314, 13 января; № 316, 15 ноября, под заглавием: «История одного преступления (Рассказ)».

Вскоре после первой публикации М. Горький правил рассказ по вырезкам из газеты «Нижегородский листок» для предполагавшегося его перевода на немецкий язык, а также повторного издания товариществом «Знание». Внося в рассказ ряд поправок, автор изменил заглавие «История одного преступления» на «Преступление».

В декабре 1901 года М. Горький специальным письмом просил Н. Д. Телешова, занимавшегося подготовкой сборника, в который

должен был войти и горьковский рассказ, озаглавить его: «Преступники». (Архив А. М. Горького.)

В 1914 году М. Горький отредактировал рассказ для десятого тома собрания сочинений в издании «Жизнь и знание». Подготавливая рассказ для этого издания, писатель дал ему название «Злодеи».

Начиная с издания «Жизнь и знание», рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Жизнь и знание».

ЛЕГЕНДА О МАРКО

Стихотворение первоначально входило в рассказ «О маленькой фее и молодом чабане (Валашская сказка)», напечатанный в «Самарской газете», 1895, № 98, 11 мая; № 100, 14 мая; № 105, 20 мая; № 106, 21 мая; № 107, 24 мая. В начале 900-х годов М. Горький коренным образом переработал стихотворение, заново написал последнюю строфу, сделал стихотворение самостоятельным произведением и разрешил композитору А. Спендиарову положить его на музыку. В 1903 году появилось первое издание нового текста при нотах. В последующие годы стихотворение неоднократно переиздавалось под заглавиями: «Валашская сказка», «Фея», «Рыбак и фея» и др.

В 1906 году стихотворение вошло в книгу «М. Горький. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Легенда о Марко», СПб, 1906. Это — первая книга из обширной «Дешевой библиотеки товарищества «Знание», изданной в 1906 году и включавшей более тридцати произведений М. Горького.

В собрания сочинений «Легенда о Марко» не включалась.

Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

ЧЕЛОВЕК

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1903 год», книга первая, СПб, 1904.

Творческий замысел произведения на тему о Человеке относится к началу 900-х годов. В июле 1902 года М. Горький сообщил К. П. Пятницкому, что он «задумал одноактную пьесу «Человек».

К работе над поэмой «Человек» М. Горький приступил в 1903 го-

ду. В первой половине 1903 года он известил К. П. Пятницкого: «Пишу во все концы и свое дело делаю, — начал писать «О человеке и мещанине». (Архив А. М. Горького.) «Берусь за литературу, пишу «Человек!» — поэма», — писал он летом 1903 года А. Н. Алексину. (Архив А. М. Горького.)

В начале второй половины октября 1903 года писатель послал К. П. Пятницкому первую редакцию поэмы: «Посылаю Вам моего «Человека» и очень прошу Вас внимательно, не однажды, прочитать его. Затем сообщите мне, как это звучит и где я наврал.

На неровности ритма — не обращайтесь внимания, если они не очень уж резко режут слух.

У меня не было намерения писать ритмической прозой, вышло это неожиданно, будучи, видимо, вызвано самим сюжетом.

Гладких и слащавых стихов — я не хочу и языка править не стану.

А вот — что тут лишнее и чего не хватает?

Вообще — посмотрите. Потом возвратите рукопись вместе с теми примечаниями и указаниями, которые найдете нужным сделать... Продолжать я буду — о мещанине, который идет в отдалении — за Человеком и воздвигает сзади его всякую мерзость, которой потом присваивает имя всяческих законов и т. д.

Тут уже другой язык, конечно...» (Архив А. М. Горького.)

Однако уже на следующий день после отсылки рукописи поэмы М. Горький уведомил К. П. Пятницкого письмом о своем намерении коренным образом, «сверху донизу», переделать поэму. В последующие дни поэма была переделана и под названием «Человек» направлена К. П. Пятницкому для напечатания.

В Архиве А. М. Горького хранится следующий набросок к неосуществленной части поэмы — о мещанине:

«Маяк, пылающий во мраке жизни, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью, завоеватель мира — Человек — горит далеко впереди людей и освещает им дорогу к совершенству — а в отдалении от него, рассчитывая каждый шаг и осторожно озираясь, следит за ним действительный хозяин всей земли, благоразумный и почтенный Мещанин.

Он далеко отстал от Человека и не может подойти ближе к нему, ему невыгодна эта близость, она — опасна, беспокойна и тяжела.

Его руки и ноги окованы цепями собственности, и он всегда заботливо увеличивает длину и тяжесть своих цепей, потому что — только под их гнетом он чувствует себя независимым.

Он — благоразумен. Гордое сознание внутренней свободы чуждо его серенькой и узкой душе, он понимает только независимость от своего соседа и хочет только ограждения своих личных и имущественных прав.

Его небольшое сердце тесно набито маленькими вожделениями — жаждой удобства, покоя, стремлением к сытости, почету, он хочет полноты желудка и души, и в этой полноте он видит — свое счастье.

Спокойно, не спеша, он следует за Человеком и все, что тот открывает и находит на своем пути, — берет себе, рассматривает, ценит и — применяет к жизни.

И если Человек похитит огонь с небес — Мещанин освещает этим огнем свою спальню или пользуется им как средством передвижения, не бросая в то же время старого и удобного способа подвигаться к своему благополучию — езды верхом на шее ближнего.

Человек, в поисках души вещей, воздух превращает в жидкость. Мещанин лечит этой жидкостью свой катарр, Человек исследует жизнь звука — Мещанин делает для своего развлечения граммофон, а таинственными лучами, которые проникают сквозь тела вещей, — освещает карманы и пазухи рабочих, оберегая свою собственность от расхищения.

И во всем Мещанин делает существование Человека полезным или забавным для себя. Он любит, чтобы в доме у него стояла прочная, удобная мебель, а в голове были крепкие, надежные истины, за которыми он мог бы хорошо укрыть себя от напора новых веяний мысли. И потому он всегда торопится сделать из смелых догадок Человека что-нибудь полезное для своего обихода — именно его работе жизнь обязана такой массой заблуждений и предрассудков, которые он считает истинами испытанной прочности. Ему гораздо удобнее верить — он хочет жить спокойно — и он не любит мыслить, потому что Мысль неустанно ищет и творит, исследует созданное ею и — разрушает, и вновь творит.

В Архиве А. М. Горького хранится также исправленный автором печатный текст поэмы, взятый из девятого тома собрания сочинений в издании товарищества «Знание», СПб, 1910.

Поэма «Человек» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по хранящемуся в Архиве А. М. Горького тексту девятого тома собрания сочинений в издании товарищества «Знание», исправленному рукой автора.

ТЮРЬМА

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год», книга четвертая, СПб, 1905.

Значительной правке рассказ подвергся при подготовке его М. Горьким для собрания сочинений в 1923 году.

Начиная с 1910 года произведение включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

РАССКАЗ ФИЛИППА ВАСИЛЬЕВИЧА

Первоначально рассказ входил в цикл «Публика». Как самостоятельное произведение впервые напечатан в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год», книга пятая, СПб, 1905.

Произведение включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ДЕВОЧКА

Первоначально рассказ входил в цикл «Публика». Как самостоятельное произведение впервые напечатан в изданном товариществом «Знание» «Нижегородском сборнике», СПб, 1905; изд. 2-е, 1905; изд. 3-е, 1906. Рассказ был помещен в сборнике непосредственно после рассказа А. Пустынниковой «Дунька» (об изнасиловании восьмилетней девочки) и сопровождался следующим примечанием автора: «Рассказ г-жи А. Пустынниковой напомнил мне один эпизод из впечатлений моей юности, и мне захотелось сообщить его здесь же, рядом с рассказом г-жи Пустынниковой».

Начиная с 1923 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

А. П. ЧЕХОВ

Впервые напечатано в изданном товариществом «Знание» «Нижегородском сборнике», СПб, 1905; изд. 2-е, 1905; изд. 3-е, 1906, с подзаголовком «Отрывки из воспоминаний».

Написано в 1904 году. В 1914 году М. Горький записал ряд новых воспоминаний о Чехове. Эта часть воспоминаний, начиная со

слов: «Пятый день повышена температура...», впервые была опубликована в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, под общим заглавием «Из дневника». В 1923 году обе части были объединены и подготовлены М. Горьким к печати как единое произведение.

Начиная с 1923 года, произведение включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

БУКОЁМОВ, КАРП ИВАНОВИЧ

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1905 год», книга шестая, СПб, 1905.

Включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

С НАТУРЫ

Впервые напечатано в журнале «Жало», 1905, № 1, 29 ноября. Подпись: Г.

Редактор журнала «Жало» Ив. Власов в своих воспоминаниях сообщает, что сценка «С натуры» «написана Горьким вечером 20 ноября 1905 года, в Москве». «Тогда же, — пишет Власов, — автограф был передан мне, как редактору сатирического журнала «Жало», для помещения в первом его номере. Этот первый и единственный номер «Жало» вышел в свет 29 ноября 1905 года». (См. журнал «Пламя», 1937, Иваново, № 6, стр. 7.)

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

И ЕЩЕ О ЧОРТЕ

Впервые напечатано в московской газете «Борьба», 1905, № 1, 27 ноября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Борьба», сверенному с хранящейся в Архиве А. М. Горького машинописной копией рассказа, исправленной и подписанной автором.

О СЕРОМ

Впервые напечатано в журнале «Жало», 1905, № 1, 29 ноября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Жало», сверенному с хранящейся в Архиве А. М. Горького машинописной копией рассказа, исправленной автором.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Впервые напечатано в сборнике «М. Горький. Материалы и исследования», т. I, Л., 1934.

Написано в конце 1905 — начале 1906 гг.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по хранящемуся в Архиве А. М. Горького списку произведения, сделанному М. Ф. Андреевой и выправленному автором.

МУДРЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Адская почта», № 1, СПб, 1906.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

ПРАВИЛА И ИЗРЕЧЕНИЯ

Впервые напечатаны в журнале «Адская почта», № 1, СПб, 1906. Подпись: Иегудиил Хламида.

В собрания сочинений не включались.

Печатаются по тексту журнала «Адская почта».

ИЗРЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

Впервые напечатаны в журнале «Адская почта», № 1, СПб, 1906. Подпись: Иегудиил Хламида.

В собрания сочинений не включались.

Печатается по тексту журнала «Адская почта».

СОБАКА

Впервые напечатано в журнале «Жупел», СПб, 1906, № 3.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Жупел».

АФОРИЗМЫ И МАКСИМЫ

Впервые напечатаны в журнале «Жупел», СПб, 1906, № 3.
Подпись: Иегудинл Хламида.

В собрания сочинений не включались.

Печатаются по тексту журнала «Жупел».

СТАРИК

Миниатюра

Рассказ был напечатан в «Новом журнале для всех», 1911, № 37, ноябрь, со следующим примечанием: «По просьбе автора отмечаем, что миниатюра «Старик» написана М. Горьким в 1906 г. (появляется в печати впервые)».

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Нового журнала для всех», сверенному с хранящимся в Архиве А. М. Горького списком рассказа, сделанным М. Ф. Андреевой, и с машинописной копией, выправленной автором.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Москва. 1903 г.
2. А. М. Горький на даче И. Е. Репина «Пенаты», 1904 г.
3. Часть страницы черновой рукописи М. Горького «Весенние мелодии». 1901 г.
4. Титульная страница первого сборника товарищества «Знание», в котором напечатана поэма М. Горького «Человек».
5. А. П. Чехов и А. М. Горький. Ялта. 1900 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Трое	5
Публика	291
О писателе, который зазнался	306
Песня о слепых	315
Весенние мелодии. <i>Фантазия</i>	322
Песня о Буревестнике	326
Погром	328
Злодеи	334
Легенда о Марко	360
Человек	362
Тюрьма	369
Рассказ Филиппа Васильевича	399
Девочка	414
А. П. Чехов	417
Букоёмов, Карп Иванович	436
С натуры	448
И еще о чорте	449
О Сером	456
Письмо в редакцию	459
Мудрец	462
Правила и изречения	465
Изречения и правила	466
Собака	467
Афоризмы и максимы	469
Старик. <i>Миниатюра</i>	470
Примечания	475
Иллюстрации	494

Подписано к печати 22/IV-50 г.

А-01423

Формат бумаги $82 \times 108 \frac{1}{32}$

$7 \frac{3}{4}$ бум. листа — 25,42 печ. листа

+ 5 вклеек, 24,45 уч.-изд. листа

Тираж 300 000

Цена 12 р. Зак. № 574.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.